



# ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 6

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

## *В номере:*

### ПРОЗА

БОРИС БОКСЕР. Жребий. Повесть . . . . . 17

### ПОЭЗИЯ

БАРОТБАЙКАБУЛОВ. Звезда Хорасана. Главы из романа в стихах. Перевод с узбекского Г. Регистана . . . . . 109

### ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА

ЮРИЙ НОВИКОВ. Уроки истории . . . . . 3

### Трибуна писателя

САРВАР АЗИМОВ. Память и памятники . . . . . 101

### ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

БОРИС ЛУНИН. Свет из прошлого . . . . . 125

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. «Каким судом судите...» . . . . . 135

ВИКТОР ИВАНОВ. «Всяк сущий в ней язык...». Инонациональное в спектре художественной образности . . . . . 144

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ю. ПОДПОРЕНКО. Поиски жанра и ... правды . . . . .	151
В. ФЕДОРОВА. Путь мужества . . . . .	152
СЭМЮЭЛЬ БАХЛИ. Тайна черепахи . . . . .	153

## КОРАН

Сура 7. Преграды . . . . .	155
Комментарии . . . . .	163

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

АГАТА КРИСТИ. Убийства по алфавиту. Окончание. Перевод с английского Л. Крашенинниковой . . . . .	166
---	-----

## К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Р. САИДОВ. И красок буйство, и мыслей простота . . . . .	206
О наших авторах . . . . .	208

Главный редактор **С. П. ТАТУР.**

Редакционная коллегия: **В. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. М. АЛЯБЬЕВА** (отв. секретарь), **А. Ф. БАУЭР, А. Р. БЕНДЕР** (зам. главного редактора), **Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, С. А. БРЫНСКИХ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, Н. К. ГАЦУНАЕВ, М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ, Ю. А. МОРИЦ, И. Ф. РОГОВ, Р. А. САФАРОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Ш. ХАЛМИРЗАЕВ, Н. ХУДАЙБЕРГАНОВ.**

© Звезда Востока, 1990 г.



Юрий Новиков,  
член-корреспондент  
ВАСХНИЛ

## УРОКИ ИСТОРИИ

Нужны ли человечеству гидростроители? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к истории...

Пожалуй, стоит вспомнить об одной дискуссии по работам профессоров Ю. Поставского и Н. Ярошевича. Стенограмма этой дискуссии помещена в последнем номере ташкентского журнала «Народное хозяйство Средней Азии» за 1930 год. Спор был посвящен вопросам районирования сельскохозяйственного производства среднеазиатского региона СССР. На указанной дискуссии некто Анишев утверждал, что исследования идейных представителей «кожановщины» — «все что угодно, только не то районирование, которое нужно социалистическому строительству» (с. 81). «Какая задача стала перед нами, когда мы освободились от анархического влияния капиталистического рынка?» — вопрошает он. И тут же отвечает: «Стоит задача перекроить карту Советского Союза» (там же).

Прежде чем разбираться в грехах «кулацких профессоров», которые вместе с группой их единомышленников были вскоре «вычищены» из Среднеазиатского государственного университета (САГУ), заглянем ненадолго во времена, предшествовавшие дискуссиям конца 20-х — начала 30-х годов.

Конец XIX века... Русская колонизация Средней Азии привела ненадолго к возникновению крупных хлопковых плантаций. Появляется множество капиталистических предприятий, созданных русскими купцами, земледельцами и заводчиками, основанных на эксплуатации местного населения. Однако очень скоро «доходность хозяйств, ведущих дело исключительно наемным трудом, резко пала и даже стала убыточной. Размеры русских плантаций постепенно сокращались, а культура хлопка из американских семян перешла в руки мелких трудовых хозяйств, ведущих посевы на сравнительно небольших участках. Эксперимент русских плантаторов оказался мимолетным эпизодом капиталистической экспансии» («Народное хозяйство Средней Азии», 1929, № 8, с. 59).

Нельзя, конечно, сказать, чтобы все предприимчивые русские плантаторы разорились, отдав землю мелким трудовым хозяйствам. Просто большая их часть перешла к истари существовавшей в Средней Азии арендной системе в разных ее формах и стала придерживаться так называемых «буначных правил». Последнее — не что иное, как контрактация посевов хлопка, широко использовавшаяся вплоть до конца 20-х годов.

Аренда и буначная система закабалили дехкан, которые фактически теряли самостоятельность, но сохраняли «чувство хозяина земли». Действительно, «наибольший эффект в условиях поливного земледелия и примитивной техники давал высококвалифицированный труд заинтересованного в конечных результатах земледельца» — писал Б. Карп в том же журнале (№ 8 за 1929 г., с. 55).

Процесс разорения мелких земледельцев в Средней Азии безусловно шел точно так же, как и во всех остальных регионах мира. Но укрупнение землевладения никогда не сопровождалось напрямую укрупнением землепользования и соответствующим

«укрупнением» технологии сельскохозяйственного производства. Конечно, мелкий арендатор, закабаленный землевладельцем и капиталистическими перерабатывающими фирмами, никогда не был истинным хозяином земли; но одновременно он никогда не расставался с мечтой (а иначе и жить нельзя было бы!) — стать таким хозяином.

Уже одно это очень важно — в силу «биологичности» (а лучше бы сказать — экологичности) сельскохозяйственного производства, о которой вместе с А. В. Чаяновым, Н. В. Челинцевым и другими выдающимися учеными-аграрниками говорил и Николай Николаевич Кожанов — основатель так называемой «организационной школы» в сельхозэкономике 20-х годов. Некоторое время он работал в САГУ, изучал аграрное положение региона; его идеи оказали большое влияние на сельскохозяйственную науку того времени.

«Поскольку сельское хозяйство, — писал Кожанов, — мы понимаем как биологическую промышленность, как производство, оперирующее с биологическими процессами природы, постольку в этом своем консервативном ядре оно всегда является неприступной цитаделью для проникновения сюда промышленного капитала» (Н. Н. Кожанов. Основные положения сельскохозяйственной экономики. М. 1925, с. 76).

Действительно, в 1908 году в Узбекистане только 14—15 процентов хозяйств использовали наемную рабочую силу; положение это практически сохранялось до 1917 года. Можно ли считать такую экономику землепользования капиталистической в полном смысле слова? В то же время в идеях Кожанова было и некоторое преувеличение. «Цитадель» на деле все же завоевывалась капитализмом, но не напрямую — путем превращения ее обитателей в наемных рабов, а изнутри, путем медленного экономического проникновения.

Был, однако, у дехкан и инструмент противостояния механизму экономического закабаления. Этот инструмент — универсальный для всего мира — существовал и в Узбекистане. Речь идет о кооперации, одна из форм которой — «ширик» — была известна здесь издавна. Именно в кооперативной системе при сохранении трудового крестьянского хозяйства и видели «кожановцы» основу для социалистического переустройства кишлака (аналогично теории А. В. Чаянова в России). Могла бы оправдать себя эта система? Вероятно, да, если судить по тому обстоятельству, что к 1930 году неколлективизированные дехкане с их примитивной техникой, незначительным количеством вносимых удобрений и при полном отсутствии ядохимикатов получали в среднем 26—32 центнера хлопка-сырца с гектара («Народное хозяйство Средней Азии». 1930, №№ 9—10, с. 86). Сравните ее со средней урожайностью хлопка-сырца в наше время (по статистическим сборникам «Народное хозяйство СССР»), и вы убедитесь, что разницы нет (разница лишь в стоимости хлопка!).

Благодаря хлопководству сельское хозяйство Узбекистана уже в 1914 году характеризовалось высочайшей по тому времени товарностью. Она составляла 50 процентов (в Фергане — 60—70 процентов). Это обстоятельство, однако, уже и тогда имело свои отрицательные последствия.

О вытеснении хлопком других сельскохозяйственных культур в регионе заговорили еще в конце XIX века. Если в 1880 году посевы «белого золота» составляли лишь десять тысяч десятин, то через 35 лет — более полумиллиона. Расширение посевов хлопка всячески поощрялось. Хлопковая монокультура появилась уже на рубеже веков и прежде всего в самых мелких хозяйствах, наиболее зависимых от скупщиков-кредиторов. Подобный протекционизм был продолжен и после 1917 года. Так, к концу 20-х годов в Средней Азии были введены повышенные налоговые обложения на орошаемые поля зерновых. На орошении, по мнению государства, должен был возделываться только хлопок!

В начале 20-х годов приступили к районированию сельского хозяйства среднеазиатского региона. Эти работы выполнялись Институтом экономики САГУ совместно с рядом научно-исследовательских учреждений страны на базе монографических исследований и экспедиций во все области Средней Азии. К 1930 году исследования были закончены и опубликованы в ряде книг и статей. Ю. Пославский и Н. Ярошевич являлись основными их авторами...

На каких же принципах строился первый проект плана районирования и специализации сельского хозяйства Средней Азии?

Исходным моментом плана был учет природных, экономических, этнических и прочих особенностей отдельных районов и региона в целом. Кожанов, Пославский, Ярошевич и другие специалисты считали необходимым знать генезис местной экономики, чтобы не только выявить установившиеся тенденции стихийного ее развития, но и канализировать его в нужном для советского общества направлении. Разработанный ими проект плана предусматривал сбалансированное развитие экономики Средней Азии на основе проведения целого комплекса агрометеорологических мероприятий. На последнем особенно настаивал Н. Ярошевич, который считал, что в районах высокой интенсивности хлопководства (Фергана, Хорезм, Ташауз, Ходжент) при введении европейской техники нельзя ограничиться простыми агромероприятиями, так как местная



техника достигла здесь высоких стадий развития и обуславливает довольно высокую урожайность. Вытесняя эту технику, необходимо противопоставить ей высокую европейскую технику, точнее, сложный комплекс агромероприятий, который сможет привести к большей эффективности производства. В частности, полагал Ярошевич, кроме «тракторизации», на которую делали упор его оппоненты, необходимо прежде всего переустройство ирригационной сети, рационализация поливов, введение улучшенной обработки почвы, интенсивное внесение удобрений. Без этого с в я з а н н о г о комплекса техника, по его мнению, ничего не даст, тем более, что уже тогда в относительно перенаселенном Узбекистане проблема роста производительности труда не являлась первоочередной.

Последний тезис особенно раздражал сторонников быстрого превращения региона в «коллективизированный центр хлопкопроизводства», так как их больше всего заботило «раскрепощение дехкан от рабского труда». Так, профессор Н. А. Морозов, объявляя Н. Ярошевича «апостолом кондратьевских идей», вопрошал его со страниц журнала «Народное хозяйство Средней Азии»: «В результате чего повышается производительность труда в колхозах, не благодаря ли тем организационным формам или — организации труда, организации живого и мертвого инвентаря и других средств производства, на основе их обобществления?.. А также нам хотелось бы услышать непосредственно из Ваших уст о роли для поднятия производительности труда таких фактов, как социалистическое соревнование, ударничество, встречные промфинпланы, буксирсы, технические и производственные совещания, сквозные бригады и т. д., которые в корне меняют производственные отношения, а производственные отношения, да будет Вам известно, влияют на ход развития производительных сил».

Вероятно, этот образчик веры во всемогущество заорганизованного общественного устройства и силы административно-командной системы — один из первых в той новой истории Советского государства, которая началась в 1929 году. «Эффективность» подобной демагогии теперь хорошо известна.

Первый, и единственный, по-настоящему научно обоснованный план развития, специализации и кооперации сельскохозяйственного производства Средней Азии был рассчитан не только на развитие хлопководства как одной из главных товарных культур ( по мнению Ю. Пославского, она должна была занимать не более 28 процентов пахотной площади), но и на самообеспечение республик региона хлебом, мясом и молоком, на развитие овцеводства, каракулеводства, садоводства и т. п. В нем выделялись районы, соответствующим образом специализированные — от наиболее интенсивных хлопковых до скотоводческих, где главной отраслью оставалось кочевое скотоводство (пустынные и полупустынные области). Этот план призван был обеспечить м а к с и м а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е всех природных ресурсов как национальных республик в отдельности, так и всего среднеазиатского объединения в целом.

Что касается организационных форм аграрного переустройства, то они виделись, например, Н. Ярошевичу так же, как их представлял себе и А. В. Чаянов. Он выступал за дифференцированный подход к проблеме социалистической реконструкции, выделяя, в зависимости опять-таки от социально-экономических и природных условий, районы «массовых единоличных хозяйств, объединенных в товарищества», «переходные» — с преобладанием первой формы, сочетающейся с колхозами, и, наконец, районы сплошной коллективизации.

Отвечая сторонникам «бешеных темпов» коллективизации, Ярошевич утверждал, что они входят в противоречие с действующими социальными, этническими и техническими факторами. Авторы первого плана реконструкции сельского хозяйства Средней Азии выступали также против политики «быстрого оседания» кочевых народов Средней Азии и Казахстана, за модернизацию скотоводства и быта этих народов.

В 1929—1930 годах все эти научно обоснованные предпосылки сбалансированного развития Средней Азии были объявлены вредительскими. В передовой журнал «Народное хозяйство Средней Азии» № 8 за 1929 год Н. Мамченко писал о срочной необходимости в ы т е с н е н и я х л о п к о м зерновых и других культур, возделываемых в регионе. К этому времени хлопок занимал уже более 800 тысяч гектаров из трех миллионов посевной площади. Первый пятилетний план первоначально предусматривал расширение посевов хлопка до 1,2 миллиона гектаров, но затем эту цифру увеличили до 1,7 миллиона гектаров. «Почти удвоить хлопковые площади,— писал Н. Мамченко,— можно только при том условии, если провести широкую техническую революцию». К сожалению, последнюю отождествляли всего лишь с коллективизацией, которая далеко не всегда и не везде с успехом сопровождалась механизацией. К 1930 году обстановка в Узбекистане ничем не отличалась от той, которая сложилась во всей стране, где были введены «чрезвычайные меры» с целью выполнения хлебозаготовок. М. Болдырев в журнале «Народное хозяйство Средней Азии», № 8 за 1930 год, писал: «Мы не можем допустить того, чтобы наши аппараты сидели и ждали у моря погоды, когда дехканин сам повезет хлопок, когда ему заблагорассудится это сделать».

Создаваемая административная система вступила в противоречие со свободным экономическим развитием сельского хозяйства, с рынком и товарно-денежными отношениями. Представители системы видели единственный выход из создавшегося противоречия в немедленной коллективизации. Отсюда «разгром буржуазных профессоров» с их планами районирования. Выдвигаемые контраргументы стереотипны. Например, по мнению С. Ф. Архангельского, исходным моментом плана является не учет социально-экономических и природных особенностей региона, а «организованное воздействие пролетарской диктатуры... Природные условия являются той средой, в которой развертывается хозяйственная деятельность человека, и не имеют принципиального значения для объяснения экономических законов, ибо человек в процессе труда активно воздействует на силы природы» («Народное хозяйство Средней Азии», 1930 г., №№ 8—9, с. 64). Или: «В условиях планового хозяйства единственно правильным является установление производственной специализации, исходя из народнохозяйственного задания для данного района» (с. 72).

Летом 1930 года Средазгосплан в полном соответствии с этой «методологической основой» постановил: «Задачи районирования... вытекают из общих задач планирования и сводятся к выявлению районов и путей их развития в отрезке времени, определяемым генеральным планом построения коммунизма».

Предложения «кожановцев» и «кондратьевцев» о сбалансированном развитии всех отраслей сельского хозяйства региона были отвергнуты, Средняя Азия, и в особенности Узбекистан, становились в то самое положение полуколониальных стран с односторонним развитием хозяйства, о котором впоследствии так часто писали наши экономисты, критикуя «империалистическую геополитику». Крупные колхозы и совхозы, обладатели десятков тысяч гектаров, оказались наиболее пригодными для административно-командной системы. Теперь «аппарат» мог «сидеть спокойно», будучи уверен, что дехкане вовремя завезут хлопок на заготовительные пункты! Неважным при этом представлялось то обстоятельство, что эта политика фактически продолжала колониальную политику царской России, а колхозы и совхозы по-существу воскрешали крупные плантации конца XIX века. Не имело большого значения и нарастающее отставание в продуктивности хлопководства от других хлопкосеющих стран, все отчетливее проявляющиеся негативные последствия монокультуры.

Для ученых и большинства думающих практиков очевидность грядущей катастрофы была совершенно ясной; о ней — множество более или менее «осторожных» (по-другому в то время было нельзя) статей в периодической печати начала 30-х годов. Достаточно информировано было и руководство Узбекской республики, но оно оказалось бессильно что-нибудь изменить. В 1933 году «бешеные темпы» сделали свое дело: Советский Союз завоевал «хлопковую независимость». В том же году Акмаль Икрамов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, отвечая на вопрос о необходимости введения правильных севооборотов, с горечью признавал: «Севооборот нужен, но, товарищи, чистого хлопково-люцернового севооборота мы ввести не можем... прежде всего потому, что такой тип севооборота, при осуществлении его на всей хлопковой поливной площади, потребовал бы сокращения посевов хлопка, против достигнутого нами уровня, примерно на 180—190 тысяч гектаров. Мы не можем снижать темпов роста производства волокна» («Борьба за хлопок», 1933, №№ 2—3, с. 29).

Более полувека во имя лозунга «стране нужен хлопок» плановые органы непрерывно повышали задания производства «белого золота». Борьба за хлопок обернулась борьбой против человека и природы.

Негативные последствия перенасыщения хлопком посевных площадей Узбекистана были очевидны большинству специалистов республики уже в конце 20-х годов. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить материалы, публиковавшиеся, например, в 1928—1929 и в 1988—1989 годах. Читая их, поражаешься: за 60 лет как будто ничего и не изменилось — одни и те же проблемы! Монокультура хлопчатника, вторичное засоление почв...

Монокультура ухудшает не только физические свойства почвы, но и приводит к непомерному размножению вредителей, накоплению в почве болезнетворных микроорганизмов, вызывает массовые заболевания хлопчатника. Усиливающееся в связи с этим использование ядохимикатов отравляет среду. Минеральные удобрения, хотя и вносятся меньше, чем необходимо по нормативам, тоже засоряют среду из-за несовершенства техники и слабости технологической дисциплины. В конце 20-х годов скота было больше, чем в конце 80-х, поэтому обстановка с органическими удобрениями ухудшилась. Люцерны в достаточном количестве как не было, так и нет.

Что же изменилось за 60 лет? Достигнут незначительный рост урожайности хлопчатника, но в последние десять лет он прекратился и даже кое-где снизился. Мешают болезни, отсутствие новых, устойчивых к ним сортов, засоление почв, которое стало значительно большим как по абсолютной площади, так и относительно к общей, еще более резкое ухудшение физических свойств земель (образовалась плотная почвенная подушка из-за ежегодной вспашки тяжелыми тракторами на одну и ту же глубину; ее

теперь следует разрушать чизельными культиваторами). Усилилась, наконец, и эрозия, которая охватила почти все сто процентов пашни.

Благодаря частым обработкам полей и езде по ним тяжелых транспортных средств увеличилась плотность почвы: в большинстве случаев она достигает 1,35—1,80 грамма в кубическом сантиметре против желательного одного. Ухудшилось состояние лесонасаждений. 60 лет назад над каналами и арыками стоял главным образом тополь, который способствовал расслоению почв и предохранял от эрозии. На смену ему пришли тутовые насаждения, необходимые для шелководства. Но «шелковица» — не тополь... Кое-где, как, например, в Бухаре, уничтожили даже те лесополосы, которые защищали оазис от ветров из Кызылкумов и были посажены здесь в 50-х годах. Как следствие — наступление пустыни...

Что же, «вредители» оказались правы, а те, кто громил их за «пассивное отношение к природе», поставили регион на грань катастрофы.

Но, несомненно, самая тяжелая утрата — потеря целого поколения (а может быть и нескольких) людей, веривших в свою землю и трудившихся на ней, как их предки, радостно и вдохновенно. О коррупции, которая охватила и опутала Узбекистан да и в существенной мере весь среднеазиатский регион, писалось достаточно. Не будем касаться этой темы, важно подчеркнуть лишь одно: «адыловщина» и «рашидовщина» способствовали деформациям и разрушениям связей человека-труженика и земли, общества и природы.

Не следует, конечно, полагать, что по части эрозии, опустынивания и засоления почв Средняя Азия или СССР в целом — единственные в мире. Может быть, по масштабности этого процесса мы действительно бьем все рекорды: в среднеазиатских республиках антропогенному засолению подвержены практически все земли, а 85 процентов — достаточно серьезному. Но если рассматривать проблему во времени...

От 40 до 60 процентов орошаемых земель во всем мире подвержены засолению. Ежегодно засоление съедает 500 — 600 тысяч гектаров.

Крупнейший советский почвовед В. А. Ковда замечает, что прошлое «убеждает, как поспешное решение и строительство больших каналов, водохранилищ, новых оросительных систем иногда вызывает непредвиденные отрицательные последствия, затопление и заболачивание больших пространств, сильное засоление почв, ухудшение их физических и биологических свойств».

Из курса элементарной механики известно: для устойчивости любому телу достаточно три точки опоры. Природа боится себя многократно — у нее миллионы опор. Сложность, многокомпонентность всех живых систем, ее слагающих, многочисленность нитей, связывающих их со средой, — вот что делает мир устойчивым.

Человек долгое время мог, не заботясь, выбивать одну опору за другой. Что за беда, если их в самом деле миллионы? Но терпение природы не бесконечно. Там, где люди переступали черту, равновесие кончалось, наступала экологическая катастрофа. И вот уже заносит песком некогда цветущую Северную Африку, превращаются в пустыни долины Тигра и Евфрата. Может быть, именно такое нарушение равновесия привело к гигантским миграциям народов?

В Средней Азии можно назвать некогда процветавшие страны — Дахистан, Бактрию, Согдиану, Хорасан, Маргиану, древние оазисы Хорезма, Нижнего Зарафшана, Сурхандарьи и Ферганы. Некоторые из этих районов сегодня снова укрыты зеленью, некоторые остаются пустыней. Поднимись над ней — и увидишь легко угадываемые под слоем песка квадраты полей, линии каналов.

В одном Приаралье насчитывается пять миллионов гектаров земель древнего орошения, а всего в СССР — 8—10 миллионов. Больше, чем орошается сейчас!

Ученые спорят о причинах запустения этих районов. Гипотезы высказываются самые разнообразные — от природного усыхания Азии до войн и нашествий. Конечно, война — всегда инструмент разрушения, а не созидания, орды кочевников, то и дело захлестывавшие Среднюю Азию, безусловно, не способствовали ее расцвету. Но важно и другое.

Почвоведы, изучавшие земли древнего орошения, обнаружили, что значительная или даже большая их часть засолены. Борьба с вторичным засолением почв — сложна и трудоемка. Так что стоило ослабить государству, а землевладельцу опустить руки и жить лишь сегодняшним днем, и вот уже не наступал день завтрашний.

Очень важно, чтобы гигантские гидросооружения не оживляли древние и не вызвали новые процессы соленакопления. Нельзя допустить появления «неуправляемо обводненных территорий». Между тем, уверенности в том, что этого не будет, нет. Напротив, вся мировая практика до сих пор свидетельствует о другом.

Вследствие многовековой деятельности человека сильно засолены содой, сульфатами и хлоридами равнины и низменности Анатолии, дельты рек Инда, Ганга, береговые низменности Индийского субконтинента, дельтовые равнины Восточного Китая.

Широко распространено вторичное засоление в Индии и Пакистане. Не избежал антропогенного засоления и американский континент. Одна только площадь территорий Великих Равнин США и Канады, подверженная воздействию минерализованных грунтовых вод, близка к 60 миллионам гектаров.

Процесс антропогенного вторичного засоления знаком всем. Можно сказать более того: он в определенной мере неизбежное побочное следствие орошения, в особенности в тех случаях, когда его масштабность превышает некоторый уровень.

Иоанн Плано Карпини в своем сочинении «История монголов» писал о низовьях реки Талас (Семиречье), которое он посетил в VIII веке: «На седьмой день к югу нам стали видны очень высокие горы, и мы выехали на равнину, которая орошалась как сад, и нашли возделываемые земли... и с гор спускалась большая река, которая орошала всю страну, так как они проводили от нее воду, куда им было угодно; эта река не впадала в какое-то море, а поглощалась землей, образуя также много болот».

Разница между реками Талас и Сырдарья измеряется лишь временем. Финал же у них один и тот же: им было суждено окончить счеты с жизнью при помощи человека, лишившего их естественного устья...

Конечно, масштабность деяний гидростроителей в XX веке иная, чем в восьмом. Но здесь плохо не то, что в пустыню пришла большая вода, не то, что были построены для этого гигантские (и иногда действительно плохо задуманные) водохранилища. Хуже всего то, что вода, как и земля, в наше время оказалась здесь ничьей, а потому плантации хлопка стали походить на плантации риса — их стали обильно заливать.

Больше поливной воды — быстрее засоление. Единственный способ борьбы с ним — промывка. Но на нее нужно в десять раз больше воды, чем на полив. Отсюда — сбросные воды и моря — солеприемники.

Рассоление территории чаще всего связано с ... засолением ее периферии. Старый, как мир, вопрос: куда девать неизбежные загрязнения, отходы производства? В ответ на него вы ничего не придумаете, кроме тривиального: «переложить на другое место». В прошлом это правило широко использовали земледельцы Средней Азии. У них это называлось «сухой дренаж» — «ок шудгар». Представлял он собой незасеянное в самом пониженном месте поле, являющееся испарителем грунтовых вод, а следовательно, соленакопителем.

Сухой дренаж основан как раз на принципе «переложить загрязнение». Беда только в том, что по мере соленакопления на незасеянном «поле» оно из солеприемника может превратиться в «солеисточник». И тогда процесс повернет в обратную сторону.

Все зависит не только от умения земледельца, но и от масштабности его действий. Мелкие, пятнами располагающиеся в местных понижениях соленакопители могут очень долго, чуть ли не вечно, быть безвредными. С небольшими локальными загрязнениями-свалками природа всегда справлялась успешно. А вот если площади орошения становятся гигантскими и столь же огромными должны стать «солеприемники», положение меняется...

Природа достаточно инерционна. Если бы она обладала, как говорят медики, «лабильной нервной системой», мгновенно реагирующей на внешние воздействия, она давно была бы мертва. Инерция нужна, чтобы обрабатывать движение маятника вспять — до тех пор, пока не настанет равновесие. «Сухой дренаж» хорошо работает при мелко-контурном земледелии, «мокрый», основанный на прокладке вертикальных, а чаще горизонтальных дрен-водоводов, позволяет сбрасывать излишнюю воду уже с обширных сплошных массивов и таким образом поддерживать постоянный уровень грунтовых вод. Но и здесь все та же дилемма: раз под уклон, то независимо от характера дренажа (вертикальный — глубже, горизонтальный — мельче, сухой — с поверхности) искусственно создается подземный поток, рано или поздно попадающий в реку (или озеро, понижение рельефа). Вследствие перенесения сюда загрязнений соленость речных вод в Средней Азии повышается в три-пять раз за каждые 15—20 лет. А откуда же брать воду на орошение людям, живущим в нижнем течении?

Антропогенных солеприемников — «искусственных морей» — в низовьях рек Средней Азии появилось в послевоенный период чрезвычайно много, и занимают они очень большую поверхность: Арнасай, Сарыкамыш...

Все, что попало в искусственные солеприемники, предназначалось природой для Арала. Теперь мы мучаемся над вопросом, как вернуть эту воду морю.

Проблема Арала, безусловно, уникальна. Но столь же впечатляюще среднеазиатские проблемы типа «куда деть соленую дренажную воду?» Подогреваемая малосведущими алармистами, общественность наша в такой обстановке, когда один писатель пытается перекричать другого (хотя оба кричат одно и то же — «караул!»), чаще всего считает, что «такое могло случиться только у нас». Между тем, оно и раньше случилось, и не у нас только, и не раз. Например, в середине текущего века вспыхнул «дренажный конфликт» между США и Мексикой. Штаты в это время предприняли работы по ирригации обширных территорий в верхней части бассейна реки Колорадо. Благода-

ря сразу и быстро увеличившейся солености в нижней части этой реки, принадлежавшей мексиканцам, из нее ни пить, ни поливать оказалось невозможным.

Вот что писал В. А. Ковда: «Разрушающее действие опустынивания и засоления почв на локальном, региональном и национальном уровнях может даже иметь политическое последствие. Строятся новые оросительные системы на орошаемых землях, создаются новые фермы, возникают новые кооперативные хозяйства. Люди ждут, что вслед за этим вырастут доходы, не будет недостатка в продуктах питания. Однако процветание не наступает — оно изначально подорвано засолением почв. Из-за неудач отдельных проектов лишаются доброго имени ученые и инженеры, дискредитируются планы и намерения национальных правительств. Социально-политические последствия опустынивания и засоления в каждой данной стране будут тем тяжелее, чем крупнее эти проекты и чем больше явления засоления и заболачивания почв приближаются по своим масштабам к общенациональной катастрофе» (В. А. Ковда. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв. М., 1984 г., с. 33).

Эти слова В. А. Ковда адресовал Пакистану, где сложилась к началу 80-х годов тяжелая ситуация с развитием орошаемого земледелия. Но эти слова целиком и полностью можно отнести и к среднеазиатскому региону, бассейну Арала...

Кто-то сравнил современное нам человечество с безумным экспериментатором, непрерывно ставящим опыты, но не интересующимся их результатами. В этом есть доля правды: сегодня вопрос не в том, чтобы создать более эффективные технику и технологию, а в том, чтобы они принесли природе минимум нежелательных «последствий». Мы достигли такой ступени технического развития, когда вынуждены затрачивать значительно больше времени и средств на изучение последствий этого развития, чем на его обеспечение.

Научно-технический прогресс в конце XX века настолько скор, что те, кто им занимается, рискуют опоздать. Мы рискуем тем, что к тому времени, когда ознакомимся с исходной информацией, подготовимся к решению проблемы методически, создадим теорию и поставим эксперимент, устареет не только методика, но и сама цель исследования. Положение современного ученого в какой-то мере сопоставимо с тем, которое описали фантасты: посетив далекие миры, отстоящие от Земли на сотни световых лет, они убеждаются, что их опередили... собственные потомки.

Парадоксы эйнштейновской теории относительности мешают жить и получать удовлетворение от своего труда не только гипотетическим путешественникам по звездам, но и нашим современникам. Боязнь опоздать еще до того, как начал двигаться, — одолевает ученых и технологов и приводит к дилемме: не двигаться вовсе или бежать, не рассчитав сил — ни своих, ни противодействующих.

В начале 80-х годов ученые составили прогноз уровня грунтовых вод в зоне Каракумского канала. Построенная модель фильтрации сквозь стенки этого сооружения точно учитывала геологические, гидрологические и климатические условия тысячекилометровой трассы. Теперь благодаря этой модели и ЭВМ мы абсолютно точно можем сказать, когда именно туркменская пашня полностью покроется солью или превратится в болото, затянутае рясной обыкновенной.

А что, спросите вы, когда начали строить канал, не могли разработать такой же модели? Могли и разработали, и даже считали (хотя и без компьютеров, так как в те времена кибернетика проходила по классу «лженаук»). Но ... торопились очень. Полагали, что долги отдавать не скоро, деньги жалели, рапортовать спешили. Вот и построили тысячекилометровый канал в земляном русле. Вначале вода действительно дала жизнь пустыне (а людям — «звезды героев»). Теперь поля теснят болота и солонцы, канал заиливается и целая флотилия занята черпанием из пустого в порожнее: вычерпываем ил, а вместе с ним и воду, питающую болота...

Каракумский канал — не исключение. Есть у статистиков, которые считают все и всех, такие графы в отчетности: «Площадь орошаемых земель, га, в т. ч.: а) регулярно-орошаемые; б) условно-орошаемые».

Что такое — «условно орошаемые»? Это фактически неорошаемые земли по причине неисправности внутривозвратной сети (тут виновато хозяйство), планировки (это уже огрехи стрителей-мелиораторов) и подъема грунтовых вод вследствие все той же фильтрации (этот грех, формально, — на совести проектировщиков, а фактически — тех, кто над ними, кому невтерпеж было досрочно освоить, отрапортовать, получить очередную награду...). Так вот, по состоянию на 1980 год на территории юго-востока европейской части РСФСР (Северный Кавказ, Волгоградская, Ростовская области) таких земель было 20 процентов. И это, учтите, данные официальной статистики, которые далеко не всегда, к сожалению, согласуются с действительностью!

Хватит истории? Лучше скажите, что делать? Но ведь именно история отвечает на этот вопрос.

Экологи утверждают, что если человек хочет остаться человеком, а это означает

необходимость сохранения того «дома», эйкоса, в котором он вырос, ему следует оставить в неприкосновенности что-то около двух третей территории планеты. Но это — в среднем. Одни ее регионы допускают большее, другие — значительно меньшее антропогенное воздействие. «Нормы вмешательства» наукой пока что не установлены. Но совершенно очевидно, что в отдельных местах они давно уже и серьезно перекрыты.

Очень кстати в ситуации этой вспомнить слова поэта Л. Мартынова:

Опомнись и умом пошевели,  
Томимый жаждой, жадный человек!  
Ты, как без рук, останешься без рек.

Первой реакцией многих специалистов-водоохозяйственников, республиканских ученых, писателей, а тем более администраторов, на решение правительства о прекращении работ по перебросу части стока сибирских рек в Среднюю Азию, что греха таить, было возмущение: забыли, мол, о судьбе целого региона! Да, забыли! Но не сегодня, а шестьдесят лет назад, когда принялись «раскрепощать» дехканина от тяжелого труда на клочке принадлежавшей ему или арендованной земли путем закабаления в крупных механизированных хозяйствах, когда принялись подсчитывать, сколько неосвоенной еще земли кругом и сколько можно освоить. Вполне вероятно, что в конце 20-х годов, когда в Средней Азии орошалось три миллиона гектаров, некоторый резерв пригодных для орошения земель в Приаралье еще был, но в 60-х норма была уже превышена...

И до сих пор некоторые ученые утверждают, что в Средней Азии «принципиально» пригодных для орошения земель — 25 миллионов гектаров. Из них 14 можно оросить «хоть сегодня» — была бы вода (например, сибирская). А орошается только семь.

На деле же, вероятно, должно орошаться менее семи (если, во всяком случае, ничего не менять в технике орошения), и вот почему.

За прошедшие после 1929 года шестьдесят лет мы привыкли считать себя всемогущими. Сталинским «бешеным темпам» очень подходило философское обоснование тезиса «человек звучит гордо», заканчивающееся утверждением вседозволенности и вседоступности. Целые поколения людей выросли, заучив сталинский постулат о незначительности влияния географической среды на развитие общества. Вспомните поэта А. Безыменского:

...Мы весь мир своим трудом  
Завоеем, перестроим,  
Вздыбим, взрежем и возьмем!

А ведь между тем среднеазиатский, к примеру, мир принадлежал не только «раскрепощенному» человеку эпохи «развитого социализма», но и среднеазиатскому географическому региону с его естественной историей и пустынным климатом. «Вздыбить, взрезать», после чего «взять» его можно было лишь в том случае, если бы нам удалось избавиться на всей территории сразу от этого самого климата и сопутствующих ему разнообразных почвенных и прочих естественных факторов. С помощью орошения (хоть какого угодно совершенного и при полном избытке воды) этого сделать никак нельзя. Можно лишь оросить какой-то кусочек региона.

Где бы ни раскидывал человек свои поля, он всегда был вынужден в той или иной мере ограждать их от окружающей среды. Если он переставал заботиться об «ограждении», поля вновь становились лесом, болотом или пустыней. Тысячелетия люди борются с сельскохозяйственными вредителями. Близка ли победа?

Сегодня мы теряем на этой борьбе в сотни и тысячи раз больше средств, чем вчера. Почему? Да потому, что чем больше наши поля и выше урожай на них, тем больше и кормовая база для всяческих жуков да гусениц. Больше еды — больше будет и вредителей, больше сил израсходуешь на их уничтожение!

Всему есть разумный предел. Это знал еще Хидаи: «Нельзя проводить воду по такой земле, которая не имеет права на нее, так как при этом вода будет поглощаться землей, не имеющей права на воду».

Чем дальше от истоков вод, от горных ручьев и русел рек расходятся поля, тем сильнее давит на них пустыня, тем больше сил нужно, чтобы разжать клещи климата, преодолеть соляной противоток... Отсюда — водохранилища, дренаж, промывки, солеприемники и ...гибель Арала.

Промышленность можно развить за счет загрязнения среды (пока не задохнешься — громозди домну на домну!) Но нельзя развить сельское хозяйство, разрушив окружающую его среду, так как она является частью этого хозяйства. Природа и крестьянин — совладельцы земли, поэтому нельзя стать сытым и счастливым, «вздыбив и взрезав» тот самый мир, что нас кормит.

Итак, мы давно перешагнули дозволенную «норму освоения» среднеазиатского

региона: свидетельство тому — Арал. Но этого мало: шагая через эту черту, мы шагали вперед «по-безыменскому»...

Природа многообразна и пестра ландшафтами, но она никогда не отделяет их друг от друга резкими границами. Лес через опушку переходит в лесостепь, потом — в степь; равнина — в предгорья и горы; влажные джунгли никогда не соседствуют с сухой пустыней. «Преобразуя природу пустыни», мы отгораживались от нее той границей, куда достигала вода из каналов.

И именно на этой черте заканчивались... хлопковые поля. А надо бы отступить с «белым золотом»! Переход к пустыне не должен быть резким, на «опушке» не место самым влаголюбивым культурам, здесь должен быть виноградник, сад, пастбище, наконец. Впрочем, сама пустыня тысячелетия была пастбищем. Конечно, не тем, культурным, обводненным, которой должна быть «земледельческая опушка», но все же — пастбищем!

Ведь Каракумы — «Черные пески», в понимании кочевников, не безжизненные, белые песчаные Аккумы, а — темные, покрытые зеленью... Кочевое пастбищное скотоводство Казахстана и Средней Азии в 1913 году насчитывало 45 миллионов голов скота. Столько же было в 1928-м. В 1935-м осталось не более пяти.

«Реакционное отгонное скотоводство» (этот термин мной не выдуман — полистайте журналы начала 30-х годов) было уничтожено вследствие проведения сталинской политики оседания и коллективизации. Теперь в регионе (вместе с Казахстаном) что-то около 60 миллионов голов скота, дающего самое дорогое в стране молоко и мясо. А по расчетам ученых, выполненных в конце 20-х годов, отгонное скотоводство при условии его модернизации могло бы прокормить на даровых площадях пустынь и полупустынь 90 миллионов!

... Теперь в Средней Азии и особенно в Узбекистане больше всего говорят об экономии поливной воды. Это, конечно, правильно.

В Узбекистане и в других среднеазиатских республиках еще живы старики-аксакалы, знавшие цену воде. Тысячелетиями пустыня приучала человека к экономному расходованию влаги. Ручьи стекали с гор по цепочке пробитых в скалах каналов, собирались в маленьких тоннелях и запрудах, откуда вода по капле дозировалась в арыки. И там, куда попадала последняя капля, стоял последний дом.

Вода в пустынях и засушливых районах всегда ценилась выше, чем земля. Право на воду наследовалось или передавалось в соответствии с законами, гораздо более жесткими, чем те, что регулировали землевладения и землепользование. Родовое право у туркмен, живших в пустынях предгорья Копетдага, гласило: «Всякий мужчина из родов тилки и мокруб, живущий в ауле Кизыл Арват, получает одну долю воды при вступлении в брак, независимо от того, будет ли он иметь одну или несколько жен; эту воду он продолжает пользоваться всю жизнь» (А. Оразов. Этнографические очерки хозяйства туркмен. Ашхабад, 1985).

«Доли воды» мерялись примитивно, но достаточно точно. Очередность полива соблюдалась свято, нарушения карались жестоко. В такой обстановке переполив допускался исключительно редко, причем, о вредности его знали исстари. История полна случаев возникновения больших и малых войн, стычек и раздоров из-за воды, недостаток ее, необходимость жесткой экономии были, таким образом, не столько злом, сколько благом. (Нельзя не упомянуть, что в 1887 году на всю Самаркандскую область имелся всего лишь один «заведующий ирригацией», которому подчинялся «штат» из двух техников; распределением же воды ведали тысячи «водяных судей» — арык-аксакалов.)

Модернизация оросительной сети, дренаж, экономное расходование воды — все это остро и в первую очередь необходимо региону. Но оно необходимо не для расширения или сохранения границ хлопкосеяния, а для их размывания, для внедрения разумных севооборотов, для восстановления и развития исконных, исторически сложившихся отраслей сельскохозяйственного производства.

В 1930 году Пославского и Ярошевича обвинили в том, что их план отвергает индустриализацию и делает ставку на аграризацию среднеазиатской республики на базе экстенсивных форм полеводства и отгонного животноводства, то есть «варварски-отсталых форм кочевого и полукочевого животноводства». В 1988 году в статье И. Я. Богданова («Звезда Востока», № 5) подводится практический итог старым преиям: «Хлопковый комплекс Узбекистана сегодня — типичный пример того, к чему может привести сырьевая ориентация экономики». Гипертрофия ее привела не к индустриализации, а к одностороннему аграрному развитию региона, благодаря чему в настоящее время «Средняя Азия находится на более низком этапе исторического развития». Кто же разворачивал Среднюю Азию на «путь экстенсивных форм» — «вредители» или их оппоненты?

В конце 80-х годов национальный доход на душу населения Узбекистана чуть-чуть превышал 60 процентов от союзного уровня. Это означает, что по производимым на

одного человека ценностям Узбекистан находится на уровне таких стран, как Индия и некоторые из развивающихся африканских.

Говорили в конце 20-х годов и об относительной перенаселенности Узбекистана. Именно этот факт являлся главной опорой тех, кто в 30-х начал поспешное освоение новых орошаемых площадей. Продолжали говорить о том же и в шестидесятых. В 1966 году, спасаясь от перенаселенности и избытка рабочей силы, ввели в эксплуатацию 100 тысяч гектаров новых земель. Но одновременно... вышло из строя 80 тысяч, поскольку освоены они были в тридцатых слишком поспешно, «неинженерно», а лучше бы сказать «не по-человечески».

Не перестаем мы говорить о перенаселенности Узбекистана и в конце восьмидесятых: в 1965 году на одного человека здесь приходилось 0,25, а в 1985 году — 0,21 гектара орошаемой площади. Если бы мы остановились на уровне освоения земель, характерном для начала 60-х годов, то в 1985 году было бы только 0,15 гектара на душу населения.

Много это или мало на деле — 0,15 гектара на душу населения? В 1975 году приходилось пахотной земли на одного жителя: Великобритании и ФРГ — 0,13, КНДР и КНР — 0,14, Индонезии — 0,15, а Японии — только 0,05 гектара.

В конце 80-х годов эти цифры стали еще меньшими. А ведь между тем большинство из перечисленных стран полностью обеспечивает себя продовольствием (и даже вывозит его). Другой вопрос — сколько средств, труда и энергии вкладывается в «подушевые делянки», но ведь ответ на него — это одновременно и характеристика степени интенсивности хозяйства, его рациональности! Теперь уже очевидно, что сельское хозяйство не только среднеазиатского региона, но и всего Союза развивалось до сих пор преимущественно за счет экстенсивного расширения посевных площадей. Практически только за этот счет нам и удалось получить весь прирост «хлопкового вала». Что касается «конечного» его выхода — в техническом волокне, — то он у нас на орошении в середине 80-х годов составлял 7—8 центнеров с гектара, а в США — 11—12, хотя там хлопчатник на больших массивах выращивают и на богаре.

Средняя Азия вообще, а Узбекистан в особенности, могут полностью обеспечить себя всем необходимым и дать достаточно хлопкового волокна, если даже подушевая норма земли опустится здесь до «китайской» или «японской». Чтобы это случилось, нужно одно — изменение характера и форм сельского хозяйства и повышение культурного уровня производителей (трудолюбия же здесь не занимать — ни у китайцев, ни у японцев!).

Во всем мире посевные площади под хлопком неуклонно снижаются. Например, в США за двадцать лет — с 1965 по 1985 годы — они сократились в два раза. Волокно естественного происхождения все больше заменяется синтетическим: одна тонна последнего равняется двум-четырем тоннам хлопкового, а служит в четыре-пять лет дольше. Конверсия оборонной промышленности снижает и «оборонную роль» хлопка.

Нам просто не нужно столько хлопка, сколько мы производим сейчас! И если невозможно в кратчайшие сроки решить проблемы развития индустрии синтетического волокна, то почему бы, в конце концов, временно не закупить часть хлопка за границей? Ведь в настоящее время мы возем оттуда, помимо зерна, огромное количество овощей и фруктов, которые могли бы выращивать на поливных землях того же Узбекистана!

Возрождение дельт Амударьи и Сырдарьи и обводнение прилегающих полупустынных и пустынных пастбищ могло бы обеспечить прекрасную базу для развития животноводства, в том числе традиционного (но модернизированного) отгонного.

Вся страна бурлила в ожидании закона об аренде. Мне кажется, меньше всего было «бурления» в Узбекистане. Странно! Ведь эта форма землепользования здесь была исконной, исторически сложившейся... Что пугает? Если раздать земли убыточных колхозов и совхозов в семейную, мелкогрупповую аренду, то не образуется ли армия безработных, которых и так достаточно?

Но разве не дешевле содержать миллион безработных, чем десять миллионов — полубездельников?! Если эффективность труда в хозяйствах малых форм (обязательно кооперированных «по-чаяновски») окажется сопоставимой с той, что в США и Японии, то именно так и будет. Кроме того, новых безработных подберет промышленность, которую нужно срочно развивать!

Другой и более сложный вопрос — техника для малых хозяйств, обслуживающая инфраструктуру и уровень культуры «среднеазиатского фермера», — этого ничего почти нет!

Если, в соответствии с Н. Н. Кожановым и А. В. Чаыновым, сельское хозяйство — производство биологическое, требующее обязательности интимных отношений человека с землей, то искусство искусственного орошения — высшая школа земледелия. Ведь в обычном, неорошаемом земледелии человек напрямую не управляет водным режимом почвы. Управлять им — значит регулировать не только влажность земли, но и ее химический состав, и условия питания растений. Процесс этот — очень тонкий, интимнейший из интимных... Грубости и некультурности он не терпит и за нее мстит.



Результаты бывают устрашающими: вспомните о узбекской «земле — наркоманке», что не родит без инъекций искусственных удобрений, об отравленной пестицидами питьевой воде. Все это — не только от административно-командной системы, но и от безграмотности крестьянина (от безразличия, впрочем, больше).

Здесь — большие трудности, но надо, чтобы кто-то хотя бы захотел их преодолеть! Школы фермеров обычны в Англии, американских фермеров учат в колледжах. По среднему уровню дипломированности сельское хозяйство Узбекистана выше российского! Первых фермеров можно было бы выбирать, потом — готовить, позаботиться о технике...

Если бы мы нашли в себе силы перестроить таким образом сельское хозяйство среднеазиатского региона, то был бы осуществлен, наконец, тот самый первый «вредительский план», который составлялся «буржуазными экономистами» двадцатых годов.

Другим бы стал и труд людей. Ведь сейчас в поле, на хлопковых плантациях основная рабочая сила — женщины и дети; мужчины заняты, как правило, более «престижным» делом — они учетчики, кладовщики, бригадиры. Это свидетельство деградации крестьянства, если не подневольности труда, то уж во всяком случае — того, что он не дает твердых основ для безбедного существования крестьянской семьи.

Следует понять, что продолжение «хлопкорабства» (в самом широком смысле — не только на хлопковых плантациях — а вообще наемного незаинтересованного и неэффективного труда) смертельно опасно и для народа, и для государства. В эпоху непрерывной научно-технической революции, сопровождающейся нарастанием экологических проблем, могут выжить только культурные и грамотные народы. Но ведь чтобы стать такими, следует быть в этом заинтересованными. Именно поэтому перестройка экономики невозможна без перестройки в сфере социальной и культурной.

И еще отличие современной научно-технической революции от всех предыдущих в том, что она ставит технику на порог гуманизации и, значит, экологизации. Ее воздействие на природу, а следовательно и на человека, по точности, осторожности, гармоничности должно походить на движение смычка в руках Паганини и кисти Леонардо.

Кажется, отгремели теперь дискуссии «о переброске»? Автор статьи в ней тоже участвовал. Правда, он об этом ничего не знал...

В 1983-м году в издательстве «Молодая гвардия» выходила моя книга «Внимание: вода!» А перед тем как принять ее, еще в конце 1981-го, я выдержал острую дискуссию с руководством издательства. Оно в категорической форме требовало изъятия из книги «главы о перебросе». И это несмотря на очень взвешенное отношение к проблемам, связанным с «поворотом рек». Руководство, по-видимому, хотело «быть в струе», которая уже обозначилась «в верхах», я же этого не знал. В результате книга вышла без спорной главы...

Думается, что вся дискуссия прошла примерно так же, как это было со мной. ...Нет, нет, я — не сторонник переброса. Убежден, что если бы он состоялся вчера или сегодня, или даже до конца XX века, ничего, кроме новых проблем, мы бы не получили. Еще раз утверждаю: мы перешли допустимую границу освоения Аральского бассейна, и сибирская вода нас не спасет. Мы уже давно (в 30-х!) «перекроили карту» (и географическую, и «человеческую»), и не новым перекраиванием следует заниматься, а перестройкой того, что перекроили.

Все так, но ведь остается Арал. Вернее сказать: исчезает Арал...

У этой проблемы, кстати, тоже длинная «борода». И тоже, кстати, немало ученых в прошлом высказывалось в пользу «ненадобности» этого моря.

Крупнейший русский климатолог А. И. Воейков на рубеже XIX и XX столетий утверждал, что существование Арала совершенно не оправдано, поскольку использование речного стока на орошение сулит значительно больший экономический эффект. Кроме того, по мысли этого ученого, увеличение общего зеркала оросительных систем и водохранилищ и, соответственно, площади испарения, приведет к интенсификации влагооборота, и над полями Средней Азии появится значительно больше дождевых туч.

Из числа сторонников Воейкова (их было немало) упомянем еще только директора Института пустынь АН Туркменистана А. Бабаева. В конце 70-х годов он говорил: «Я принадлежу к той группе ученых, которые считают, что осушить Аральское море гораздо выгоднее, чем сохранить. Во-первых, в его зоне мы получим прекрасные плодородные земли. По предварительным подсчетам, они могут дать 1,5 миллиона тонн хлопка в год. Возделывание только этой культуры окупит нынешнее существование Арала с его рыболовством, судоходством и другими промыслами. Во-вторых, многие ученые убеждены, и я в их числе, что исчезновение моря не повлияет на ландшафт региона».

Цитирование можно было бы продолжить. Число ученых, подписывавшихся под

приговором Аралу, было достаточно велико. И не следует огульно обругивать их всех последними словами, как это нередко теперь делается в прессе. Далеко не все из них были послушными «обоснователями» идей перестройки природы, истекавших с вершины административной системы. Воейков, например, умер задолго до ее возникновения, а многие из «заблуждавшихся» были крупнейшими специалистами и людьми достаточно принципиальными.

Подумайте: а стоялось бы изобретение того же плуга, знай его изобретатель все последствия использования этого орудия для лесов и всей природы Европы и всего мира? Может быть, он ужаснулся бы и изувечил свое детище?

Человек до сих пор перекраивал природу сообразно сумме накопленных им знаний, своему сиюминутному пониманию выгод от такой перекройки и возможных негативных последствий ей. Другое дело, что сегодняшняя техническая мощь человечества существенно превосходит наработанные наукой нормативы «географической безопасности» использования указанной мощи. Полная гласность при обсуждении «проектов века» или даже менее масштабных предложений о строительстве всяческого рода каналов и водохранилищ в сложившейся ситуации не бесполезна, но окончательное решение должны все же принимать специалисты. Сегодня крайне левые защитники природы митингуют и зачастую добиваются успеха: не строить, не проводить, не возводить... Быть может, сейчас большинство из этих «не» вполне оправданы. Но никто из наших потомков и никогда не оправдает нас, если мы остановим движение нашего общества. Не строить — значит не развиваться; возведение в главный принцип догмы «не» означало бы конец прогресса и, следовательно, конец человечества.

Нельзя при этом уповать на то, что мы когда-нибудь найдем столь взвешенное решение проблемы географической перестройки, при котором негативных последствий вовсе не будет. Технология остается технологией, так как она в с е г д а изменяет мир. Важно другое: важно, чтобы после окончания очередной технологической операции установившееся н о в о е экологическое равновесие было бы не только количественно, но и качественно предпочтительнее для человека.

И вот, если подходить к этой проблеме с подобных позиций, то проблема переброски предстанет перед нами в новом свете. Разве мы можем быть уверенными в том, что через некоторое время, исчерпав все ресурсы водосбережения и находясь перед необходимостью дальнейшего экономического развития среднеазиатского региона, мы не будем вынуждены вновь заняться проектом переброса — и даже не для прямого «дальнейшего развития» хлопководства, а просто в целях спасения Арала?

Трудно сказать, насколько объективные оценки того или иного ученого, который ведь тоже испытывает разнообразное воздействие, зависящие от его принадлежности к тем или иным слоям общества, национальности, политических и просто конъюнктурных факторов. Абсолютная гласность и самое широкое обсуждение крупных проектов, перекраивающих географическую карту страны, — обсуждение прежде всего специалистами всех категорий и профилей, должно быть неременным условием принятия решений.

Но чтобы специалисты могли вынести объективное суждение, необходима их независимость от ведомственной подчиненности. Свобода мнений, столь нужная обществу, вдвойне нужна науке, от которой во все большей степени зависит благоденствие и даже само существование общества.

Всесторонне взвешенные решения требуют научного плюрализма. Наука ведь не свод незыблемых законов, не некая атеистическая Библия. Она допускает множество решений, часто противоречащих друг другу, поскольку никогда не стоит на месте. Помимо всего прочего, ей приходится непрерывно и все более оперативно изучать последствия деяний человека. А как говорил Ричард Фейнман, «все изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным».

Сегодня на переброс части стока северных рек наложено вето. Максималисты от экологии требуют прекращения не только подготовительных, но и исследовательских работ (нечего, мол, народных деньги на ветер бросать). Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть выступления писателя С. Залыгина.

Мы снова выстроили баррикады и всякий раз спрашиваем: ты по какую сторону? Мы все еще никак не поймем, что и в науке, и в практике не существует только «да» и «нет» или, напротив существует множество отрицаний и утверждений. Жизнь значительно сложнее, чтобы отвечать на выдвигаемые ею проблемы столь категорично и односложно, а у истины не две, а множество граней. Да и нужны ли нам снова баррикады, на которых мы в тридцатых годах потеряли так много? А если я, к примеру, не по ту или иную сторону, а на баррикаде?

Спору нет, множество грандиозных проектов подхлестывалось административной системой и устоявшейся идеологией покорения природы. Вспомните хотя бы популярную до войны песню:

По полюсу гордо шагает,  
Меняет течение рек,

Бездумное, вредное сочинение,— скажем мы теперь и будем правы. Правы в конце 80-х годов. А в начале следующего столетия? Вопрос, конечно, не в праве на гордость носить имя человека, а в продолжении развития рода человеческого. Впрочем, и гордость — не помеха, если она подкреплена трезвостью.

И снова спрашиваю: остановиться, ничего не строить и не копать, уничтожить всем ненавистный Минводхоз и считать проблему решенной, экологию спасенной, а человека — сытым?

Боюсь, что мы выворачиваем теперь наизнанку методы административной системы. Раньше без ее приговора мы и шагу не ступали, а теперь — без приговора «общественности». Но ведь кто-то готовит эту общественность, которая грамотной во всех вариантах той же гидротехники и мелиорации быть никак не может? И разве эти учителя имеют право на одно-единственное и — веки веков непоколебимое решение — «не перебрасывать»?!

На деле сколько бы мы ни сэкономили воды, какие бы замкнутые системы ни создавали, обязательно рано или поздно, но наступит момент, когда воды не хватит. На юге прежде всего, где живет 80 процентов населения, где основная база — сельскохозяйственная и промышленная.

Некоторые проекты человечество составляет столетиями. Возьмите тот же полет в космос. От фантастики Сирано де Бержерака, проектов Кибальчича и Циолковского до современных конструкций космических кораблей — расстояние гигантское. Можно допустить, что уровень сегодняшних проектов перебрисов — уровень Кибальчича. Но и только.

Максималистам от экологии следовало бы понять, что человек стал и остается человеком не потому, что однажды изобрел каменный топор, а в другой раз — атомную энергостанцию, а потому, что он изобретает непрерывно. Если люди остановятся, общество деградирует, а вместе с ним деградирует и природа, которая уже не может существовать без человека.

Совершенно точно рассчитано, что Обь могла бы заполнить Аральское море за три года. И наверное следовало бы пойти на это, не будь кроме Оби и Арала еще нескольких тысяч связанных с ними речек и многих миллионов гектаров самых разнообразных по свойствам земель, не существуй вокруг них невообразимо сложный, связанный тысячами нитей мир.

Если мы не научимся видеть мир во всей его сложности и видеть будущее, земной шар может остаться без человека. Видеть завтрашний день — значит знать все последствия своих действий в сегодняшнем.

Сегодня мы всем обществом — знающим и незнающим существо дела (больше незнающим) — отвергли «проект века» — перебрис части стока северных рек на юг. Но знаем ли мы все последствия такого решения для будущего? «Не строить» еще не означает «не думать». Не пожалеем ли мы через каких-нибудь двадцать-тридцать лет, что и думать об этом перестали? Поэтому, по-моему, сегодня однозначно ответить на вопрос — упадет ли когда-нибудь Обь в Аральское море — нельзя.

Вспоминается мне один летний вечер, который я провел в охотничьем домике, в горах, у берега ручья. Я лежал и слушал дождь, ощущая, как он мириадами капель падает на листья и бьется о стволы деревьев, а оттуда медленными струями стекает на землю, покрытую травой и прошлогодними павшими листьями. Было тепло, и часть выпавшей влаги тут же испарялась, поднимаясь легкой дымкой над долиной ручья. Каждое растение жило своей жизнью, по-своему глотая и отдавая влагу, взойдет завтра солнце, и испарение нагретой земли и травы усилится, закружится туман, а невидимые на листьях устьица жадно откроются, чтобы глотать углекислый газ; листья развернутся навстречу свету, ловя живительные фотоны, чтобы снова и снова осуществлять это чудо из чудес — рождение жизни из энергии и неорганического вещества. В этой гигантской паутине жизни нет повторений, но все — одно; есть невероятная индивидуальная живучесть и невозможность жизни в одиночку. Травы и деревья не могут без ручья, но ведь и ручей не может жить без них. Они так взаимообусловлены — живая природа и, казалось бы, абсолютно мертвая вода, мертвая органика и песок, и мириады существ, живущих меж ними, — что не поймешь, где кончается Жизнь и начинается ее неорганическая Среда.

Мы еще раз должны осознать себя частицей Природы, кормящейся природой же. А, как писал Тейяр де Шарден в своем «Феномене человека»: «Как бы широко и разнообразно ни развивалась живая материя, распространение ее ростков всегда происходит с о л и д а р н о ... Взятое в целом, живое вещество, расплывшееся по Земле, с первых же стадий своей эволюции вырисовывает контуры одного гигантского организма».

Итак, мы — часть одного единого организма Природы. Часть, которая, надо сказать, не слишком-то заботилась до сих пор о частях соседних. В результате человечество по существу вот уже несколько тысячелетий занимается каннибализмом — разрушением Природы. Быть может, этот тип поведения обусловлен, он не прихоть и не случайность? Но тогда тем более следует задуматься — не несем ли мы под откос в машине, у которой отказали тормоза?

Раз уж мы «выедаем» части природы, следовало бы подумать о их замене. Раз мы вынужденно разрушаем некоторые природные механизмы, следует заменять их искусственными. Надо только, чтобы они работали не хуже природных. Изменяя природу, надо научиться быть с о л и д а р н ы м и с ней.

Чтобы понять судьбу каждой капли дождя, орошающего горный лес и питающего ручей, надо провести здесь много дней и ночей. Чтобы до конца понять, что станет с ручьем и всеми живущими рядом с ним, измени мы его течение, запруди и поставь на нем мельницу или маленькую гидроэлектростанцию, одному человеку наверняка не хватит целой жизни. А сколько человеко-жизней следует истратить на изучение течения реки и роста лесов вокруг нее, рождения, жизни и смерти водохранилища, созданного нами же или естественно возникшего болота, которое — тоже водохранилище?

Наверное, надо, чтобы была такая наука — водохранилищеведение. Неуклюжее название, но важно ведь не это, а то, что она, наука эта, занялась бы полезнейшим делом — обоснованием необходимости в тех или иных условиях аккумулировать влагу в искусственных емкостях или доказательством ненужности этого — в зависимости от условий социально-природной среды. Она бы все поставила на свои места и ответила точно, когда, где и сколько строить.

Это ведь легче всего (а теперь и моднее) утверждать, что строить вовсе не нужно, а следует вспомнить, в какой гармонии с природой жили наши предки. Да не было этой гармонии никогда! Просто жизнь была медленнее, на нее не уходило ни грамма нефти. С природой наши предки делали то же самое, что и мы, только управлялись за тысячелетия, а нам хватает порой и десятка лет. Отношения с природой у нас всегда были одни и те же, а вот ответственности сегодня перед ней — куда больше!

Мы «переинженерелись», слишком много готовим инженеров, убежденные все еще в том, что только научно-технический прогресс может сделать наше существование сытым и обеспеченным всяческими благами. Не от одного искусства инженера сейчас зависит счастье человечества, и главным образом потому, что для него, инженера, нет ничего принципиально невозможного. Нам теперь нужнее специалист, доказывающий противоположное инженеру — н е в о з м о ж н о с т ь. Инженер должен уметь другое — предложить сотни, а то и тысячи разных решений одной и той же проблемы. Главное же состоит в том, чтобы выбрать из них единственное верное. А для этого возле одного инженера должны сидеть десятки экологов разных профилей, биологи и микробиологи, почвоведы и ботаники, орнитологи и герпетологи и пр., и пр. Должен там, очевидно, сидеть и водохранилищевед.

Лишь когда мы будем знать всю тайную механику взаимосвязей живого и неживого, воды и растения, капли дождя и ручья, ручья и реки, болота и водохранилища, лишь тогда можно будет надеяться на оптимальный выбор. Но при этом он никогда не будет совершенно безопасным для всех и вся. По крайней мере — не будет безразличным. Ведь, в частности, мы никогда не уйдем от необходимости сохранять про запас воду, оставляя ее то ли в естественных болотах, то ли в искусственных водохранилищах. В этом — и ответ на вопрос, поставленный в начале статьи.



Борис Боксер

## Ж Р Е Б И Й

ПОВЕСТЬ

Там ордена сдают вахтерам,  
Зато приносят в мыльный зал  
Рубцы и шрамы — те, которым  
Я лично больше б доверял.

Борис Слуцкий. «Баня».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мост

Глава первая

В победном 1945 году, в самом начале апреля, артиллерийский полк майора Гущи медленно продвигался на Запад в арьергарде длинной корпусной колонны. На узком, залитом дождями шоссе колонна то и дело останавливалась, хотя надо было спешить: корпус по распоряжению Ставки срочно перебрасывался к Котбусу — к германскому городу, у которого стягивались в узел важные дороги. Там сражались и были уже порядком обескровлены наши передовые дивизии. Они ожидали подмоги, немцы же в свою очередь делали все для того, чтобы подход подкреплений задержать. Едва колонна приблизилась к мосту через узкий, но протекавший в обширной болотистой пойме приток берлинской Шпре, как дерзкая диверсионная группа уже за спиной у нашей походной заставы и на виду у всех этот мост взорвала. Группы пожертвовавших собою солдат в серо-зеленых мундирах валялись на прибрежном откосе, скошенные запоздалой пулеметной очередью. Уйти им не удалось, однако дело свое они сделали: оставленный немцами при поспешном отступлении мост рухнул с каменных опор.

Понтонную переправу саперы навели быстро, но как только появлялась в сером небе прогалина, оттуда с воем начинали пикировать бомбардировщики. Зенитки открывали по ним яростную пальбу, их разгоняли истребители, нет-нет какой-то из «юнкерсов», задымив, валился вниз, остальные улетали, поспешно отбомбившись, однако стоило движению возобновиться, как угрожающий гул возникал вновь: взлетевшие с бетонных полос берлинских аэродромов самолеты обрушивали на переправу очередной бомбовый груз.

Сливались воедино резкие разрывы зенитных снарядов, сухой треск пулемет-

ных очередей, нагсадный рев моторов, тяжкое уханье бомб. Бесконечная цепь — автомашины, танки, орудия, повозки — замирала опять. Как на беду, свернуть с шоссе невозможно было никак. Узкая асфальтовая полоса являлась единственной твердью среди расквашенных затыжными дождями полей и поросших ржавой осокой болот.

Командир артполка майор Гуца воевать начал давно, еще при отступлении, девятнадцатилетним командиром взвода в полковой артиллерии на Дону. Ему надо было напрягать воображение, чтоб понять и представить, что же творится сейчас там, впереди, и почему корпусная колонна движется такими нервными пульсирующими рывками, замирая подчас на несколько часов подряд. Все могло случиться. Могло разбросать понтоны. Могла застрять у въезда на переправу какая-то машина — и тогда добираются до нее, разбрызгивая по обочинам грязь, штабные «виллисы», потом большие начальники в гнев хватаются за кобуры, а водитель, обезумевший от удердия, отчаянно и бесполезно вертит баранку, пока не навалются люди, не считаясь с чинами и званиями, на борта, и не полетит грузовик колесами вверх прочь, освобождая путь всем, кто позади. Но это пустяк по сравнению с тем, если кака-то бомба все-таки разорвется на самом шоссе. Тут уж лучше не рисовать никаких картин, а терпеливо дожидаться: колонна вскоре двинулась вновь — значит как-то обошлось.

Надолго ли? К рассвету колонну сковало напрочь. Стало ясно, что на этот раз и переправа разбита основательно, и завалы там, впереди на шоссе, немалые. В подтверждение полковая рация приняла шифровку, направленную командиром корпуса всем частям и подразделениям. Смысл распоряжения был несколько туманен — возможно, из-за неудачной дешифровки или плохого приема. Полковой радист был глуховат, заменить же его было некем, тем более что капризную рацию мог оживать только он сам. Так или иначе, понятно было, что приказано, поскольку возобновится движение нескоро, обезопасить себя от возможных бомбовых ударов.

Подавая Гуце этот текст, начальник штаба полка майор Лобаш выпятил иронично губу и выразился в том смысле, что, чем, мол, начальство выше, тем более простой и легко осуществимой представляется ему невыполнимая задача. Тут Лобаш посуровел и раздраженно спросил это невидимое начальство: ну как, скажите, рассредоточиться, когда орудие, едва спустишь его с шоссе, вмиг увязнет по самый прицел! Пробитый ямкой крутой подбородок Лобаша дрогнул. Начальник штаба не сомневался, что командир разделит его чувства, однако Гуца, шевеля подковкой бурых усов, все перечитывал те несколько фраз, в которых Лобаш после радости ко всему и грамматические ошибки исправил.

Майор Лобаш терпеливо ждал. Совсем недавно Гуца был еще командиром дивизиона — значит, подчиненным Лобаша, теперь же он являлся его начальником, и установить с ним на этом новом уровне верный контакт, даже тон в обращении нужный найти Лобашу пока не удавалось. Не мог он ни терять давно обретенный образ невозмутимого, сознающего свое превосходство над другими офицера, ни тем паче скатываться к грубоватому амиокошнству. Он молчал, а Гуца все оглядывал окрестности, уже четко проступившие в белесом и сыром воздухе. Даже на взгляд по обе стороны дороги угадывалась непролазная хлябь, но Гуца все рыскал глазами: нельзя ли все-таки пробраться хотя бы вон к той ближней опушке, что на склоне справа? Что, ежели рискнуть? Выбора-то никакого: пусть сейчас, слава богу, не сорок первый и с господством немцев в воздухе покончено, однако какой-то оголтелый «юнкерс» может прорваться и сюда, в хвост колонны. А ведь на шоссе не только орудия, но в каждом кузове «студебеккера» и снаряды. Одноединственное точное попадание бомбы может невеселых наделать дел.

— Разведчиков выслать. Чтоб порыскали хорошенько со всех боков.

— Я уже распорядился, — Лобаш сообщил об этом вроде бы небрежно, но так, что стало понятно: разве мог он, опытейший начальник штаба, терять время, дожидаясь само собой разумеющихся указаний? — Три поисковых группы ушли. С одной — сам Третьяков (то был начальник полковой разведки). Вот здесь я им районы обследования определил... — Лобаш обвел на спрятанной под целлулоид карте несколько кружков. Он оглянулся на державшихся, как и положено, несколько поодаль штабных офицеров и добавил доверительно, избрав обращение по имени-отчеству: — Может, нам лучше все-таки не рыпаться, а, Николай Васильевич? Так ли, иначе ли переправу восстановят, а мы неизбежно отстанем от колонны. Вот попробуй докажи тогда начальству, что мы из самых благих побуждений действовали, от бомбежки укрыться хотели.

— А если в самом деле — «юнкерсы»? Мы — неподвижная мишень...

— Вероятность такая имеется, как ты знаешь, где бы мы ни были. Но куда хуже, если в грязи застрянем, как под Шауляем. Вот тогда уж — ни вперед, ни назад. Ты не забыл, я полагаю?

Гуща не забыл. Недавняя осень в Прибалтике. Цепкая холодная жижа во все концы, до самого края земли. В грязи барахтались люди и кони. Орудия порой так увязали в месиве, что бросать их приходилось.

А Лобаш все настаивал:

— Чего нам опасаться? В любом случае мы приказа не нарушим. Сказано же, — ткнул пальцем в бумажку, — «Рассредоточиться ПО ВОЗМОЖНОСТИ». Ну а если возможности не представилось? Тогда, само собой, с нас и взятки гладки.

— Даже если половину полка разбомбят, — закончил Гуща, вовсе, разумеется, не так, как хотелось начальнику штаба. — Нет уж, дорогой мой товарищ майор, — продолжил он, — наш комкор понимает, что твердое покрытие лучше болота. Говорит он «по возможности», а сам надеется: «Найдите же выход, хлопцы!..» Так что не будем генерала на слове ловить. Негоже такое.

Сказал спокойно, но словно отчитал. А тут еще и это «ловить на слове» — кольнуло Лобаша. Никак не забудут в полку, что он, в недавнем прошлом, словесник. По-ихнему — болтун, буквоед. Мол, вместо дела казуистикой занимается. А что тут такого? И на войне слово своей великой силы не утерять. Вовремя скажешь то, чего от тебя как раз сейчас и ждут, вовремя истолкуешь что-то так, как того хочется начальству, — глядишь, и цена тебе повыше, чем иным. Вот и теперь: Гуща толкует приказ, конечно, благородно, но представим, что движение возобновится, а полк отстанет? К стенке сразу припрут: «Вам что — приказывали с шоссе в трясину сходить? Не было возможности укрыться — значит, оставались бы в колонне. Отличиться болванам захотелось».

Надо же понимать, что и сам генерал отлично сознает: какая тут, к черту, возможность рассредоточиться? Дожди проклятые превратили распаханные поля в топь настоящую. Но генералу тоже ведома сила слова. Он свое сделал — дал своевременное и нужное указание: рассредоточиться по возможности. Ну а если не было таковой, то нести потери, страдать — обычное дело на войне.

Нет, лучше не лезть на рожон. Понятно, Гуще в его новой самостоятельной должности хочется выгладеть получше соседей, но надо же и с реальностью считаться.

Вскоре возвратились разведчики в заляпанных поверх капюшонов маскхалатах. Злые, издерганные бессмысленными, как были они с самого начала убеждены, рысканиями. Лишь бы начальству в угоду! Неужто неясно: по бездорожью до того леса пеший и то с великим трудом доберется.

Быстро обвел Лобаш на карте районы, где велись поиски, поторопил сержанта-топографа, чтоб быстрее снял сколок, а сам уже строчил донесение в штаб дивизии: сделали все, что требовалось и что было в силах, постараемся рассредоточиться, оставаясь на шоссе, благо, идем последними. Такова была суть бумаги, составленной по всем правилам армейской документации.

Лобаш уже говорил о том, что с донесением этим они наверняка обгонят других, а Гуща все еще всматривался, моргая покрасневшими от бессонницы веками, в карту, сличая ее с местностью, проступавшей сквозь серый воздух все четче. Видно, и он уже не сомневался: единственный выход — рассредоточиться на шоссе, хотя и эта задача не из легких. Орудия, тяжеленные гаубицы в том числе, придется на руках откатывать назад. Работенка — врагу не пожелаешь.

Подбежал запыхавшийся солдат и подал новую расшифровку от радиста. Опять приказание из самого штаба корпуса. И опять там заботились, чтоб дошло до каждой части как можно быстрее, без перевалки в дивизионных штабах, свидетельством крайней важности. Речь шла о том, что надо быть готовыми к внезапному танковому нападению.

— Як мед, так ще и ложкою, — молвил сквозь зубы Гуща. И Лобаш нахмурился тоже. Недоставало, чтоб по застрявшей на дороге колонне еще и танки ударили! Пусть даже издали, вон хотя бы из того леса. А если сзади наскочат? Лобаш даже поежился. Как же выпутается его вновь испеченный командир из такой вот ситуации? Мыслишка была явно из числа недостойных, и, поймав себя на этом, Лобаш поморщился. Он молчал, решая про себя так же, как и командир полка, задачу, теперь еще более неразрешимую: как же на этой вот узкой асфальтовой полоске рассредоточишься, да еще и противотанковую оборону построишь? Даже сошники в асфальте не укрепишь, думал и Гуща. Ну, допустим, развернешь все орудия в линию, но между огневыми позициями неизбежно окажется тьма-тьмущая грузовиков, повозок, кухонь? И люди, люди... Челядь, как называл Гуща тыловиков. Понимал, что несправедлив, убеждался не раз: без тех, кто сам не стреляет, на фронте не обойдешься никак. Вот только почему на войне — все те же семеро с ложкой, а один лишь — с сошкой?

— Арифметика в пределах четырех классов,— говаривал немолодой вьедливый лейтенант из запасников.

Долгие разговоры точились, скорее всего, от вынужденного безделья, в плохо топленной палате уральского госпиталя, где отлеживался Гуца после второго ранения.

— ...И совсем же не надо быть гением,— продолжал запасник, храня на сизом лице все ту же усмешечку,— чтоб подсчитать: всего только одна четверть личного состава занимается на фронте тем, что убивает врагов. Ну, возьмем, к примеру, хоть артиллерийский полк. Считай, 36 стволов, соответственно — 36 боевых расчетов. И в каждом (возьмем уставную численность, хотя где и кто видел, чтоб на фронте расчет был полный?) 6 человек. Сколько это получается? 216 всех этих наводчиков, заряжающих, ящичных, подносчиков. Плюс 36 командиров орудий, 18 командиров взводов, 9 командиров батарей; 3 командира дивизиона и один командир полка. Будем считать, что даже он участвует непосредственно в бою. Итого, получается 285 человек.— Запасник прищурился, переходя к самому главному, ради чего был произведен весь этот немудрый подсчет.— А теперь,— со значением вопрошал он,— припомним, сколько человек числится в полку по строевой записке? По той самой, по которой выдают продовольствие, и обмундирование, и все прочее. Чуть не на целую тысячу больше! Так или нет? — И заключал победно: — Так! Вот эти-то тысяча фронтовиков могут еще двадцать лет провоевать без единой царапины.

Пожилой лейтенант торжествующе шурился, окидывая взглядом тыловиков: железнодорожника с обмороженными ногами, армейского журналиста с печально опущенным носом, придававшим ему виноватый вид. Печатление было обманчиво: тени сомнения не мелькали в спокойном голосе журналиста, когда он возражал прежде всего вот этому постоянному своему оппоненту — дотошному немолодому лейтенанту из запасников, да и другим тоже. Конечно же, был он здесь и образованней, чем все остальные, и словом мог кольнуть не грубо, едва заметно, а оттого еще больней. Умел и посмеяться над самим собою первым, лишая своих противников самых выигрышных козырей. Все в палате знали, к примеру, что письма свои журналист, не страшась самоунижения, подписывает — Иззауглапозадустукнутый. На бис рассказывал он историю своего странного ранения. Притопал на свидание к радистке, только вызвал девочку в рожицу ближнюю, а тут — артналет. И надо же — прямое попадание в блиндажик, где она только что за своей рацией сидела! Щепки, обломки бревен во все стороны. Его и звездануло чем-то с небес упавшим как раз по копчику, да еще в самый неподходящий момент. А вот девочке хоть бы хны: он же ее своим телом прикрывал! Буквально. Будь она не ефрейтором, а хотя бы лейтенантского звания, ему бы еще и орден полагался. Как-никак, спас офицера.

Так ли все было на самом деле, но, смех смехом, травма у журналиста была серьезная. Два месяца уже лежал он на спине, закованный в гипсовый корсет. И все-таки даже над бедственным положением своим журналист так подшучивал, что в краску вводил многое слышавших медсестер. Даже танкист, обгорелый и полуслепой, коротким хохотком из своего угла откликнулся. Но когда дело касалось серьезного, как в разговорах о тыловиках или о солдатах-неумехах, журналист рубил твердо:

— Groш цена твоей обывательской арифметике! Воюет народ. Значит, каждый воюет, кто хоть крохотным краешком к фронту причастен. Разве найдутся весы, чтобы взвесить, кто для победы сделал больше? Один, допустим, еще только-только из окопа выбраться успел, а его первым же осколком с ног сшибло. (То был намек на сизолицего, страшно гордившегося тем, что рана у него чуть выше колена, в ляжке. Следовательно, находился он в роковой миг лицом, а не задом к врагу). Даже такой вояка,— продолжал, как бы смягчаясь, журналист,— что-то полезное сделал, пусть и не выстрелил по немцам ни разу: само появление его вместе с другими нашими бойцами уже сыграло роль. «Ох, как же много этих русских, доннерветтер!» Кроме того, надо же было фашисту и в этого прицелиться, пустить в том направлении мину или пулеметную очередь. Ну и так далее... Или вот, опять же к примеру, наш советский торгпред. Выбил он у западных союзничков лишний вагон тушенки или тысячу пар сапог... А полковой почтальон, если доставил он вовремя письма на передовую...

— Ты еще до бабы доберись, с которой переспал накануне какой-то там сержант или полковник.

— И до нее — тоже не грех добратся. Ты абсолютно прав. Она тебе не только ласку подарила, но и напомнила: нельзя ее немцам оставлять, как и всех наших женщин, и детей, и землю нашу. Она тебе о долге твоём мужском напоминать будет, когда тебя, как камнем, к земле прижмет, а команда: «В атаку!»



На время все умолкали. Молчал и Гуца, хотя было у него что сказать, пусть оба спорщика были по-своему правы. Конечно же, все, весь народ — может, только за исключением всяческой погани, ну там, спекулянты, черные дельцы, дезертиры, липовые белобилетники, — воюет. Ни единого звена из цепи не выкинешь. Но почему все-таки так до обидного мало тех, кто сам лицом к лицу с врагом стоит, и много таких, кто распоряжается, контролирует, обеспечивает, вдохновляет, награждает и казнит? Мужчина, если он уж на войне, должен в бой рваться, а взгляните вы хотя бы на штабных писарей, от полка начиная: ряшки — поперек шире. Сытые, отлично одетые, даже благополучные. И рядом с таким вот поставьте солдатика с передовой в его шинелишке задрюпанной, в обмотках с присохшей грязью. Отощавшего, вшивого зачастую. Разве справедливо — вот такое?

Но ляд уж с ним — со жратвой досыта, с сапогами хромовыми. Неужто тысячам мужиков здоровых самим не хочется хоть раз единый выстрелить по врагу?

Сам Гуца, даже став командиром батареи, и то не отказывал себе в удовольствии «самолучно пальнуть по фашистской нечисти»: выйдет, бывало, на открытые позиции, наведет пушку и выпустит два-три снаряда, профессионального достоинства перед бывальыми наводчиками не уронив ко всему. Ну, о той поре, когда он взводом командовал, и говорить не приходится, тем более что и обстановка побуждала не только к прицелу самому становиться, но и за автомат браться. Только ли это? И во время тяжелого отступления на восток, и потом приходилось и в рукопашной схватываться: были случаи, когда, сморенные войной, засыпали в темноте под одной крышей вместе с врагами, а с рассветом, разобравшись, сцеплялись в смертельной схватке. И потому не мог Гуца избавиться от неприязни к тем, кто будто бы тоже на фронте и все-таки не под вражеским огнем: в наступлении — последний, в отступлении — первый. Достается, понятно, и ему, но есть разница, и великая, — когда человек залег вместе с сотней других под артобстрелом или бомбами, которые «юнкерс» сбросил на «скопление войск», и когда именно в него, не в кого-то иного, снайпер стреляет. В первом случае пусть даже полтонны взрывчатки сброшены все-таки не на тебя, а на всех сразу. Во втором же, крохотная пулька послана как раз в твое сердце, в твою, а не в другую голову. И словно слышал тут Гуца веское возражение того же журналиста:

— Ну а мало ли погибло тех же почтальонов от вражеских пуль?

Что тут скажешь? Погибших (своих) всегда много, но разве сравнишь потери на передовой, где подчас чуть ли не все в роте или батарее костями ложаться, и в тылу, даже самом ближнем?

«Таков закон войны...»

Нет! Таково устройство жизни нашей, потому что и на ремонтном трамвайном заводе, где Гуца когда-то слесарил, еще фабзайчонком начав, всегда недоставало станочников, а в селе у тетки Катерины не хватало баб, чтоб гнуться в три погибели «на буряках». Зато и там и там в избытке было таких, кто только покрикивал: «Давай, давай...» На фронте, правда, призыв сменился. «Вперед, вперед!»

Тут Гуца обрывал себя даже мысленно. «Нехорр-рошие р-рассуждения... Чужим душком пахивает...» А ведь поговаривали в палате, что вон тот молчаливый, что на лучшем месте у печки лежит, едва ли не из госбезопасности.

Существовала зато для окопников особая награда. Нет, не медали, не ордена, а та невольная, пусть скрываемая почитительность, с какой неизменно поглядывали на Гуцу, на других, только что вышедших из боя, измученных, злых, грязных, — те мужчины, кому не довелось или по должности не полагалось до окончания войны побывать самому там, в схватке. Но и сами артиллеристы... Не их ли, в свою очередь, попрекает многострадальная пехота: «Прицел двадцать, уровень пятнадцать!» За три версты от фрицев, да еще из-за бугра и дурак пулять сумеет. А ты вот за кадык фрица пощупай, как мы...»

«Вот ты и съел...» Нет уж, каждому, кто на фронте свое дело честно делает, — почет и слава. Беда в ином (и тут, пожалуй, тот сизолицый прав): и на фронте тьматмущая тех, кто устраивается получше и даже вполне уютное местечко находит для себя. И еще посмеивается. До войны хвастался, что «умеет жить», теперь — «умеет выжить». И разве неправда, что все тыловые службы, все штабы (а чем выше они, тем обширнее) неизменно укомплектованы по полнейшему штату? И даже сверх! Чего только не измышляют, чтоб, едва звездочкой погон себе украсив, тут же ординарца завести («Петьку» по-фронтovому, хоть сам командир далеко не Василий Иванович). Почему в дивизионном госпитале не только медсестер хватает, но и «санбратьев», а у Гуци в полку на две батареи один-единственный санинструктор Надя, да и та на передовой временно. Отправил ее из высокого штаба какой-то чин, чтоб поузнала: любишь взводного Галкина, вот и будешь к нему поближе.

А попробуй получи пополнение из тех же тыловиков. Потребуй, к примеру, чтоб кого-то из ординарцев хоть на время поставили к пушке, весь расчет которой

полег во вчерашнем бою. Пусть бы бугай тот станины ворочал или снаряды подтаскивал. Дудки!

И, заняв уже в конце войны должность, где он мог решать и распоряжаться самостоятельно, майор Гуца, трижды к тому времени раненный, решил, что восстановит и справедливость, и торжество здравого смысла: поставит основную часть мужчин, призванных в о е в а т ь, лицом к лицу с врагами. Не ведал только молодой командир полка, что все предшественники вступали на должность с теми же или похожими намерениями. Да и не знал, что времени для этого отпущено ему немного.

Вновь с тоской оглядел Гуца «челядь», запрудившую сейчас шоссе. Впрочем, люди эти при бомбежке или танковой атаке (хоть бы пронесло!) еще как-то укроются. Каждый себе щелочку отыщет. Не привыкать. А вот матчасть? А лошади? Они-то в чем повинны? Вот и скажи опять даже о лошадях, что не воюют и они? Может, попытаться разбросать орудия на подступах к шоссе, на этом вот вязком поле? Ну а вдруг все обойдется? Вдруг ни «юнкерсов», ни танков, а движение возобновится? Отстанем тогда от колонны — не догнать: пушки из грязи сразу не вытащишь. Тут, пожалуй, Лобаш прав: начальство только единственно и увидит, что отстал артполк от колонны по дурости собственной. Во все прочее, в добрые намерения твои, и вникнуть никто не пожелает. Остается одно: на судьбу фронтую положиться.

И судьба явилась. В тот раз она предстала в лице подполковника Курмаева: лысеющего каменносулого заместителя Гуцы по политической части одолевали, как и полагалось, заботы о моральном состоянии личного состава. Недавно прогремел по всем фронтам строжайший приказ о лояльном поведении на вражеской территории, на которую вступили наши войска. Одним из первых шел в этом приказе параграф, запрещающий под страхом трибунала употреблять спиртные напитки, которые либо обнаружены где-то, либо получены от местных жителей. Нарушителей, независимо от чина, звания, заслуг, — под трибунал. Так вот вам подарочек в нашем полку. Опять батарея Корявина отличилась: на «студебеккере» взвода управления обнаружено трофейное вино. Четыре графина! Одному лишь ему ведомыми путями разузнал замполит о том вине, извлек самолично графины, как ни были тщательно укрыты они, и не медля, в соответствии с грозным приказом, потребовал объяснений от сержанта Волченогова, поскольку именно тот отвечал за все, что хранится в кузове.

Волченогов запирается не стал. Рассказал, что прослышал по «солдатскому телеграфу»: колонна застряла надолго. И вдвоем с разведчиком Желудяком решил тогда опробовать трофейный мотоцикл. Газанули они (так выразился Волченогов) назад по пустынному шоссе, потом вдруг свернули на дорогу, которая привела к лесу, и вот там в каком-то, как они называют его, замке, обнаружили в подвале целый винный склад.

Желваки возмущенно ходили на лице Курмаева, когда он пересказывал все, как был он убежден, побасенки, на ходу сочиненные бывалым армейцем Волченоговым. Он требовал, чтоб обоих отступников взяли под арест, чтоб на первом же привале провести партийные и комсомольские собрания, но Гуца, оживившись, начал вдруг расспрашивать Курмаева совсем о другом:

— Что ж оно получается: они на мотоцикле аж до самого лесу добрались или как?

— Бабушкины сказки!

Но Гуца уже подозвал своего ординарца.

— Волченогова и другого — сюда. Живо!

— С вином, с поличным, значит? — Курмаев был несколько обескуражен тем, что командир полка едва ли не радуется, когда плакать надо.

— Нехай с тем вином. Поглядим на него и мы. Но чтоб только быстрее!

Вскоре оба предстали перед полковым начальством. Ординарец, служивший еще у прежнего, вызванного учиться в академию командира, щеголеватый малый в надетой набекрень неуставной кубанке подтолкнул нарушителей вперед.

Старшему из двоих, сержанту Волченогову, уже чуть перевалило за сорок. То был крупный человек с большим, оплывшим, не лишенным лукавства лицом. Ефрейтор Желудяк, одетый в укороченную телогрейку и ватные брюки, с его детским румянцем на щеках, мог бы показаться рядом с Волченоговым напраказывшим сынишкой. Но Гуце было не до сопоставлений. Он и на сосуды с узкими высокими горлышками всего лишь мельком взглянул. На темном граненом стекле были выведены глазурию вензеля и даты: 1929, 1932, и выделялись следы от пальцев, оставленные, несомненно, вот этими двумя, что стояли сейчас перед командиром

полка, опустив руки по швам и отводя глаза. Ничего хорошего это происшествие, справедливо полагали они, им не сулило.

Гуца присел на ступеньку «виллиса». Над ним виднелась голова водителя. Тот устало уткнул лоб в ладони, сложенные на руле. Трое штабных офицеров, нахолившиеся, зябко передергивающие плечами (даже майор Лобаш выглядел далеко не таким победно красивым, как обычно), оживились и начали разглядывать диковинные графины, споря о том, что же означают надписи и цифры? Заговорил Гуца, и все смолкли.

— Только чтоб не брехать, Степан! — предупредил он жестко. — Тут дела поважнее, чем твое вино, хотя и за него ты ответишь, конечно. Так вот, отвечай мне, как на духу: где и когда вы его взяли?

— Они же болтают, что вроде бы к какому-то лесному замку ездили, — вставил, хмыкнув, Курмаев.

— Точно! — Волченогов поднял на Гуцу маленькие заплавленные глаза. — Километра четыре вправо, от этого тракту. Прямо в соснячке он и стоит. Весь каменный. Ни души, а видать, были еще там недавно людишки. Зола в печи не остыла. Вот в подвале, — а он агромадный! — как раз и сыскалось это самое, значит, — и он приложил большие ладони к груди и невольно улыбнулся: — Ей-богу, товарищ майор. Даже капли не отведали.

— Забудь на время про выпивку! Про другое отвечай: какая дорога? Где начинается, где кончается?

— Километров пять назад проехать, а там она как раз и отходит. Узковата, но «студер» пройдет запросто.

— А ну-ка, покажи мне эту дорогу на карте. — Лобаш рывком раскрыл планшет и поднес его под самое лицо Волченогова. — Где она? Тут чуть ли не от самого Губина никаких ответвлений в помине нет.

Волченогов, сопя, несколько раз торопливо подтерев рукавом телогрейки нос, тщетно вглядывался в карту.

— Врет! — заключил Лобаш и добавил: — Ответите и за хранение спиртного, и за то, что командование полка в заблуждение вводите.

— Зачем вы на меня так, товарищ майор? — высокий голос Волченогова вздрогнул. — Вот вам и Желудяк подтвердить может.

— Есть, есть там дорога, — торопливо подхватил Желудяк. Он приподнимался на цыпочки, чтоб выглядеть убедительней. — И дом в лесу стоит. Здоровый. Точно.

— У-у, — презрительно протянул Лобаш, — знал бы ты, пацан, кому подражать.

— Не верите, тогда у младшего, то есть, у комвзвода нашего спросите, — почти выкрикнул с обидой Волченогов. — Он же, никто другой, как раз ту дорогу и сыскал. Только ездили мы, грешить на младшего не стану, без его ведома.

— Это ваш командир взвода — младшой? — спросил Гуца. — У него что — ни звания, ни фамилии не имеется!

— Младший лейтенант он, а как прозывается не упомню. Чудная фамилия у него. Недавно он с нами, в управленцами, значит. Комбат Корявин то в огневики его поставит, то к нам, во взвод управления. Обратное, значит.

— Ладно, разберемся и с этим. — Гуца лишь взглянул на ординарца. Тот, козырнув, умчался. Возвратился он вместе с поспешно вышагивавшим за ним младшим лейтенантом. Явно робея перед командиром полка, с которым он общался впервые, младшой<sup>1</sup> вытянулся и доложил, что явился по приказанию. На щеке младшего краснели рубчики: конечно же, он спал, подложив по щеку жесткий ворот шинели, когда ординарец, не забываясь, понятно, об учтивости, растолкал его.

Он был тощ и высок, и потому сутулился. Темные глаза смотрели встревоженно и предупредительно, пухлый рот был приоткрыт, чем тоже выражалась готовность отвечать на все вопросы начальства. Запинаясь, употребляя неуместные и явно книжные выражения наподобие: «Что-то тайлось за всем этим...» — младшой доложил, что еще накануне вечером, когда колонна в очередной раз надолго остановилась, он прошелся по дороге назад. Просто хотел дремоту разогнать. Совсем недалеко, чтоб успеть вернуться, едва раздастся команда: «По машинам!» И увидел, что в кювете валяется покореженный дорожный указатель, а на нем надпись «Вальдшлюсс Курцгофф». Первое слово означает «Лесной замок», а второе, очевидно, фамилию владельца, какого-нибудь графа или барона: даже в Германии простые люди лесных замков, наверное, не имеют. Неподалеку стоял покосившийся железный столбик. С него-то наверняка и сшибли тот дорожный указатель. По всему судя — в крайней спешке, одним резким ударом: гайки с обрывками жести так и остались на столбике. Подчинившись, как он выразился, не понимая, почему при этом морщится майор Лобаш, безотчетному побуждению, младшой

<sup>1</sup> Дело в том, что до самого конца никто так и не назвал его ни разу по фамилии и даже не знал ее. Поэтому пусть он и для читателя будет всего лишь «младшой» (автор).

решил убедиться, есть ли на самом деле дорога, которая ведет к тому «Вальдшль-оссу», и действительно сразу же обнаружил узкую асфальтовую полосу. Она уходила через взгорок к еловому подлеску и куда-то еще дальше. Первые метров сто этой дороги были поспешно замаскированы хвоей и дерном, поэтому, глядя, скажем, из кузова или кабины движущейся машины, вряд ли возможно было заметить это ответвление. «Движимый любопытством» (тут Лобаш снова усмехнулся), младшой подозвал разведчика Желудяка, вдвоем они поднялись по дороге на взгорок, но дальше идти не решились чтоб не отстать от колонны. Ну а потом, когда колонна удалилась всего лишь километров на пять, движение замерло уже надолго...— Тут младшой коснулся заспанной щеки и, выдав себя этим, густо покраснел.

Лобаш слушал его со все усиливающимся раздражением. Суть речей, немаловажная, конечно, и та отступала. Коробила какая-то пока неуловимая собственная схожесть с этим юнцом, отсутствовавшая перед полковым начальством. Неприятны были, прежде всего, витиеватые выражения, несомненно взятые из беспорядочно читанных книг, чему и сам Лобаш отдал немалую дань когда-то. Чрезмерно грубо Лобаш упрекнул младшего лейтенанта:

— Не дрыхнуть нужно тебе, а сразу же доложить как положено, по начальству, о том твоём, нечаянно обнаруженном ответвлении.— Тут же отметил он уже собственное «нечаянно обнаруженное» и продолжил еще более сердито: — Бай-бай, малютка. А войну пусть делают другие, так? Добро, разведчики твои хоть расторопней своего командира оказались: ты почивал, а они по той дорожке на мотоцикле прокатились. Только опять же — в собственных интересах.— Он дотронулся носком сапога до граненого графина.

Гуца жестом остановил начальника штаба, подозвал младшого к себе и развернул карту.

— Другое важнее сейчас,— произнес он и обратился к младшому:— Вот гляди внимательно: мы стоим здесь, возле отметки 211. Соображай, где ж она, та дорога твоя?

Штабные сперва расступились было, но теперь наклонили головы, дыша в затылок младшому, и он от этого разволновался еще больше, а тут и Лобаш подстегнул нетерпеливо:

— Что ты пальцем по карте елозишь, офицер! Вот, возьми карандаш. Тупым концом показывай. От поворота ориентируйся. Вот же он! Мы его как раз вечером прошли. Где твоё ответвление? Здесь оно быть должно или как?

Статный, в плотно облегающей плечи кожаной куртке, перетянутой желтыми ремнями, Лобаш и впрямь мог осознавать себя подлинным офицером рядом с этим неуклюжим растерявшимся пареньком. Такому бы не воевать, а зубрить в университетской библиотеке славянские спряжения или какое-то там римское право. Но неожиданно младшой возразил весьма смело:

— Там, где вы показываете, товарищ майор, никакой дороги и быть не могло. Там низина. Вот видите: минусовая отметка. А я же сказал: дорога поднимается вверх и переваливает через высоту.

Задетый за живое, Лобаш рывком вытащил другую карту.

— Вот у меня трофейная немецкая. И на ней, как видишь, даже намёка нет ни на дороги, ни на замки.— Он словно прозрел: — А не морочишь ли ты нас, чтоб своих разгильдяев выгородить?

— Да что вы, товарищ майор. Есть дорога. Факт. Хоть сейчас могу повести туда кого угодно.

Лобаш отгородил его широкой спиной и обратился к Гуце:

— Ну, допустим, есть там какая-то тропа. Ну приведет она к тому замку, как они его называют. И что же? Мы в тупике окажемся! Сами себя загоним.

— Дорога еще дальше уходит,— все так же спокойно сообщил младшой.

Вот теперь вскинулся замполит Курмаев:

— Как, как? Что такое получается! Оказывается, и вы, товарищ младший лейтенант, вместе с подчиненными своими за вином туда ездили?

— Никак нет, товарищ подполковник. Я сделал выговор разведчикам. Они всего на двадцать минут отпрашивались, а отсутствовали больше часа. Они оправдывались, конечно, и сказали, что по той же дороге поехали, только не к шоссе, а в противоположную сторону. Получается, дорога еще дальше куда-то уходит?

— Степан! — Гуца повысил голос.— А-ну, подойди ко мне и отвечай: вы отбредаться от своего взводного хотели или та дорога на самом деле не тупиковая?

Волченогов ответил, улыбаясь по-свойски:

— «БМВ» же прямо-таки зверская машина, товарищ майор. Попер, а мы и не заметили, как уже и через сопочку перевалили. Гляжу, справа и рельсы выскочили. Выходит — железка. Однопутка, а колея широкая. Тут я и спохватился, что не туда несет нас. А куда развернулись, куда ворочались, лишник полчаса и ушло.

— Значит, даже железнодорожное полотно там имеется? Чудеса.

— Вот именно! — Лобаш хмыкнул, выражая насмешливое сомнение.

Но Гуца настроен был иначе.

— Младший лейтенант! — сказал он. — Ровно час вам дается. За это время произвести тщательную разведку дорог и местности. О результатах доложите лично мне. Оба ваших разведчика пойдут с вами. Мотоцикл твой, Волченогов, троих сдюжит?

— Зверь, — вновь подтвердил охотно Волченогов, радуясь, что гроза, кажется, стороной обходит, несмотря на то, что подполковник Курмаев ворчит обиженно:

— Разгилядаям потворствовать собираемся. Их же, по всем правилам, под арест надо.

— Успеется с этим, — откликнулся Гуца. Он заметно приободрился и подстегнул удалявшихся троих, крикнув им вслед: — Что поплелись, как на поминки? А-ну, шире шаг! Жив-о, бегом!

— Донесение подпиши, Василийч. Отправлять наверх надо, — напомнил Лобаш.

— А чего тут докладать? Стоим четвертый час подряд и не рыпаемся. От такого доклада командованию радости маловато. Вот если там на самом деле обходной путь имеется или хотя бы укрытие по крайности, так тогда же для всего корпуса интерес! Так? Вот погодим, пока вернутся эти, и тогда доложим.

— Как хочешь, — Лобаш явно обиженно пожал плечами под кожаной курткой. — Только что же это получается: все штабы ответят, что приказ поняли, разведку провели, меры приняли, а наш полк будто и не слышал ничего? Попасть на дурной счет у начальства, конечно, легко. Вот только потом отмываться трудно.

Гуца шумно выдохнул, раздув широкие ноздри, так, что даже усы шевельнулись, и черкнул синим крандашом.

— Да разве можно полагаться на такого, как этот младший лейтенант? Пацан пацаном. Если по-серьезному, то следовало бы Третьякова послать, но жалко его: он из сил выбился, пока облазил все вокруг. — Лобаш уже передал пакет с донесением связному. — Дай бог, чтобы мы еще и не ушли далеко, пока они там все эти свои замки и дороги искать будут.

— Никуда мы не уйдем, мой товарищ начштаба. — Гуца приподнял голову. Лобаш тоже услышал тяжкий удар. Один, другой... — Танковый полк уже бомбят, не иначе. Как бы и до хвоста, до нас не добрались скоро.

— А что мы можем? Дополнительная маскировка осуществлена, пулеметы в боевой готовности, сойти с шоссе полк возможности не имеет, что подтверждено и своевременной разведкой. — Лобаш отвечал словно не своему командиру полка, а вышестоящему начальству. Тому, которому только что отправил донесение, составленное по всем правилам и оперативно.

## Глава вторая

Как все юноши, был и младшой честолюбив, хотя уже успел он понять, что слава военная прихотлива. Он находился на фронте третий месяц. Срок немалый, если учесть, что почти все это время полк вел бои, подчас весьма тяжелые, батарея же, в которой младшой служил, доставалось особенно. Сравнительно легкие 76-миллиметровые орудия постоянно выкатывали по приказу комбата Корявина на прямую наводку. Тогда не требовалось ни готовить данные для стрельбы, ни проводить предварительную пристрелку. Вражеские цели представляли перед артиллеристами, как на ладони, порой всего в каких-то двухстах метрах перед ними. Лови в перекрестье пулеметы, блиндажи, скопления пехоты — и бей! Как из винтовки. Худо лишь, что и противник видит тебя так же отчетливо, а стреляет он не хуже. Пусть — из-за укрытия. Пока что ни разу не довелось увидеть младшому, чтоб и немцы, вот так же, как наши, выкатывали свои пушки на прямую наводку. «Трусят...» — говорил Корявин, а собственная его батарея, одна из четырех пушечных, входивших в состав гаубичного артполка, что ни бой теряла и орудия, и людей. Младшой был уже дважды контужен, ранен в мякоть ноги. Провел десяток дней в медсанбате и был выписан на передовую. Бинты еще намокали, и полковой врач, сухощавый неулыбчивый капитан, заведев младшого на марше или в полковом тылу, тут же затаскивал его на перевязку, ворча:

— Все — на прямой... Год тебя учили вести огонь с закрытых позиций. Зачем, спрашивается?

Упрек был адресован вроде бы младшому, но в прищуренных глазах пожилого доктора читалось: не жалеют, не жалеют этих мальцов. Где она, та «малая кровь», про которую перед войной — и с трибуны самой высокой, и в песнях?

Даже в мечтах недоступная полногрудая Люба (у нее, и младшой уже слышал об этом, был роман с кем-то из штабных, до которых ему было, как до неба) туго

накладывала бинты на мальчишескую голень, а он, еще и близостью Любы вдохновленный, возражал нестроевому капитану, даже эрудицией военной щеголяя: — Генерал Гобято, герой Порт-Артура, полагал, что высшей доблестью истинного артиллериста является ведение огня прямой наводкой.

Впрочем, стрельбу впрямую младшой не считал подвигом, хотя погибнуть при этом было закономерней, чем уцелеть. Он верил, как все юноши, в собственную избранность. И даже об отличии мечталось.

Вот теперь, думал он, явился счастливейший случай. Ведь молвил майор Гуца, прожая: «Вы мне только укрытие найдите, а еще лучше — обходной путь. И родина вас не забудет». Присловье, впрочем, было на фронте ходячим. Могли сказать: «Где-нибудь раздобудьте, хлопцы, курева, а уж родина вас не забудет». И все же робкая надежда щекотала потайной уголок души, тем паче, что он уже и сам сообразил, почему командир опасается оставлять полк на узенькой полоске тверди среди раскисших полей и болот. Если «юнkersы» прорвутся и сюда, полку туго придется.

Он был взволнован и приподнят. В самый ближайший час подтвердится, что это же не кто иной, как он, младшой, выручил в трудную минуту весь полк. А может, и дивизию.

Пока же, едва упираясь острыми коленями в грудь, младшой покачивался в коляске в такт движению мотоцикла. По выработанной на фронте собственной привычке сжимал он в кармане шинели гранату-лимонку. Раздались бы откуда-то сбоку выстрелы или враги встали бы поперек пути, он, не раздумывая, швырнул бы гранату и, возможно, оказался бы тут даже расторопней своих подчиненных, а ведь они, даже его сверстник девятнадцатилетний ефрейтор Желудяк, воевали уже не первый год.

Однако в лесу, куда они спустились с холма, было тихо. Даже птиц не было слышно. Все живое затаилось в норах и гнездах, распуганное войной. В сыром сером воздухе улавливал младшой запахи нарождающейся весны, а среди бурой хвои и почерневшего за зиму хвороста замечал перышки уже пробившейся травы и даже венчики кое-где желтеющих цветов. Тем грозней показалась среди этой тишины и умиротворенности раскатно надвинувшийся грохот бомбежки. Вроде бы где-то уже в середине колонны!

— Быстрей, сержант, быстрей!

— И так на предельной бежим, — откликнулся не сразу Волченогов. Он сидел, согнувшись, небрежно держа рогатый руль большими руками в кожаных перчатках. Младшой о таких лишь мечтал.

Желудяк — он сидел позади сержанта — наклонился к плечу Волченогова и громко посоветовал, как можно поддать газу еще. Оба засмеялись грубой шутке. Они вообще вели себя так, будто не замечали, что рядом с ними их непосредственный начальник, офицер. Это и задевало, потому что лишь недавно перешедший из безликого курсантского строя в офицерский корпус, был младшой чрезмерно самолюбив. Он еще не отвык от среды, где неизбежно почитание каждого, будь у того хоть на лычку больше. Ему еще только предстояло осознать, что не просто на фронте, а на передовой — перед лицом равно уготованной всем без исключения гибели — все уравниваются, становятся попросту смертными. Что и рядовому, и генералу достаточно дольки обжигающего металла, чтоб вмиг уравниваться.

— А он уже и вежи видать! — громко прокричал Желудяк. Снова же обращался он не к младшому, а к Волченогову. И тут же открылась обширная поляна с озерцом. Над ними высилось сложенное из граненых камней здание с зубчатыми башнями по бокам.

— Сколько времени мы добирались? — спросил младшой. Своих часов у него не было.

Подчеркивая значимость момента, Волченогов извлек плоские трофейные.

— Как раз двенадцать минут будет от поворота.

Места на поляне достаточно было на полк с лихвой. Младшой ощутил радостный толчок в груди: здесь, да еще совсем рядом с шоссе, полк может не опасаться ни бомбежек, ни артобстрела. И это же все — он, он! Ну а если бы еще и обходной путь найти!

Вспомнился насмешливый и в то же время сострадательный, что ранило самолюбие еще больше, взгляд, который бросил на него, смиренно стоявшего в своих кирзовых с убийственно широкими голенищами сапогах, майор Лобаш. Как же хотелось, чтоб в пику тому же Лобашу прозвучало что-то наподобие: «... Проявил личную инициативу, в результате чего была получена возможность быстро и без потерь преодолеть водный рубеж на подступах к Берлину».

— Сержант, — теперь он обращался вовсе не приказным командирским тоном, а советуясь на равных, — что, если нам вперед проехать? Ну, подумаешь, потратим мы еще минут двадцать. У нас же время осталось. Давайте все-таки доберемся до

железной дороги. Если она к реке ведет, так там же и мост должен быть. Понимаете: мост!

«Умень...» Волченогов отмечал это не впервые. Хотел не хотел, а надо было признавать, что малец, данный ему нынче в командиры, в чем-то не уступает, а в чем-то (о сугубо артиллерийской подготовке уже не говоря) и превосходит его, сорокалетнего матерого мужика. И все-таки неизбежно возникало в такие минуты желание противоречить.

— Ну, допустим, даже мост. Так не дурни же фрицы, чтоб нам мосты целенькими оставлять. Или взорвали, или, того хуже, все подходы и фермы заминировали. Побегем дале, зря время потеряем. И вся тебе сказка тут.

Бензину всего километров на двадцать, не больше, — Волченогов хлопнул перчаткой по мотоциклу, — а этот же вдруг еще и упрется, ровно бык...

Опасение было не напрасным. Гонял сержант лихо, однако машины не знал. Недели две назад нашел он этот мотоцикл в городе Губине, и полковые разведчики, бесшабашные ребята, быстро обучили, как с места трогать, тормозить да скорости переключать. Что ж до прочего, то, как известно, не боги горшки обжигают. На передовой закон этот утверждался повсеместно, впрочем, с переменным успехом.

И все же заметно было, что сержант колеблется. Конечно, и он понимал, как важен мост, когда колонна которые сутки топчется у переправы. Было к тому же и личное соображение: найди они какую-никакую переправу, легче будет списать с себя провинность. Может, и Курмаев, о Гуще уже не говоря, тогда смягчится.

Как же это дернуло его, казалось бы, тертого-перетертого? Перелил бы вино в канистру — и лады! Ни один черт не догадался бы. А те графины немецкие, они же сразу в глаза бросаются. Сообразил же это Волченогов, когда заметил, что Желудяк перед собой на коленях еще и пятый графин держит. Было это на обратном пути. — «Скинь от греха подале». Где-то неподалеку от этого места, где они стоят сейчас. Тут сосна с кривулиной должна быть.

Отыскал бы Волченогов и теперь ту сосну без труда, но в предвидении неприятностей от подполковника Курмаева уже и о вине думалось без радости. Пусть уж валяется тот пятый графин в кустах. Авось, найдет какой-то славянин подарочек от фронтового бога.

А младшой между тем насупился, губы надулись. Произнес сухо:

— Выход у нас только один, если мотоцикл ваш ненадежен. Хотя, помнится, командиру полка вы по-другому говорили: «Зверь!»

— Да будет уж! — Волченогов сердито ударил каблуком по стартеру, и мотоцикл обиженно взревел.

Вскоре выскочили они на гребень, и действительно — сразу открылась высокая насыпь. По ней пролегла колея. Она влажно поблескивала. Рядом виднелась еще и полоса бетонки.

Значит, правду говорили его разведчики! А Лобаш посмеиваться кривовато посмел! Вот тебе! Да, но почему же и эти дороги никак на карте не найти? Даже мелькнуло: а в здравом ли уме он сам? Но нет же: вот город Губин, откуда недавно вышла их колонна, вот то селение, Шпремберг, а перед ним мост, который немцы ворвали. Вот приток Шпре, а вот в этом квадрате как раз и застрял на шоссе их полк. Все на месте, но как же понимать тогда, что немцы, не кто-нибудь, не обозначили на карте две параллельные дороги, одна из которых — железная? Мистика какая-то. Но дальше больше. Едва дорога снова пошла в гору, младшой оглянулся. Что-то словно заставило его. И надо же: над гребнем леса торчал четырехгранный церковный шпиль. Можно было даже определить, что покрытие из пластин в виде ромбов, а поскольку уроки тактики были еще в памяти свежи, то получалось, что до церкви той километра три-четыре, никак не больше. Но нет же на карте, прыгнувшей сейчас перед глазами младшого, и никакого крестика, которым обозначаются церкви.

Не наваждение же это?

Младшой потербил за плечо Волченогова. Тот притормозил и с неудовольствием повернул назад широкое лицо.

— Ну церква какая-то там. И к богу ее. Фрицы, буржуи. Взбрендило, вот и поставили осеред лесу.

— Но где церковь, там и селение быть должно, — младшой искал подтверждения и поддержки у сержанта, — а вот на карте же ничего не обозначено. Опять.

Волченогов устало вздохнул:

— Ну нельзя так: чуть что поблазило — сразу новая заковыка. Да надо нам побыстрее доложить, чего мы разведали тут. И все дела. Вон по тому бы тракту еще сбегать чутьок вперед, и с богом в полк возврататься.

— Но как же так: в тылу имеется селение с церковью, на карте оно не обозначено, и мы тоже о нем не разузнали ничего? Лобаш обязательно спросит.

— Дался тот Лобаш. Не съест. Чего тут ватолить? — С тем Волченогов рванул

мотоцикл с места так, что младшого опять резко отбросило назад, а Желудяк, гогнув, едва удержался на своем покоем на насест седле.

Асфальтовая полоса нырнула под виадук, затем плавно завернула на эстакаду, и они оказались на бетонке. Теперь уже и самому Волченогову трудно было удержаться, чтоб не пронестись подалее, туда, где загадочно и потому маняще клубилась легкая завеса тумана. Совсем скоро проступили сквозь нее и вмиг выросли, приближаясь, сизые фермы моста. У младшого перехватило дыхание. Ну пускай и этого моста на карте нет, но вот же он, вот, наяву! Никаких сомнений!

И тут Волченогов резко сбросил газ.

— Кто ж это к мосту приближается в открытую? — произнес он, нахмурясь. Надел автомат на плечо, стволом вниз, и ткнул в плечо Желудяка. — Потопали, Володька.

— Подождите, сержант! — поспешно удержал его младшой. — Останетесь вы.

— Это еще зачем?

— Вы на мотоцикле. Если мост не поврежден, ну и, конечно, если там немецкой охраны нет — значит, мы вернемся и тогда уедем все вместе.

— А ежели там эта охрана есть? Они же скосят вас шагов еще за двести. А нет — подпустят близко и спаают. Как цыплят!

— Тише! — Младшому стало жутковато: предсказание Волченогова вполне могло сбыться. Но чтоб офицера с цыпленком сравнивать! — За мной, Желудяк, — велел он, спрыгнул с насыпи и быстро пошел вдоль подножия, устланного трухлявыми фашинами. В неподрубленной шинели, в уродливых кирзовых сапогах, напоминал он Волченогову болотную птицу, шагающую с кочки на кочку. За ним, весь в стеганом, колобком катился Желудяк.

— Вовка, — напомнил Волченогов, — ты уж сам гляди. Особенно чтоб на подходах построже.

Желудяк хотел что-то крикнуть в ответ, но младшой зыркнул сердито и прикрыл Желудяку ладонью рот.

Он не оглядывался и не останавливался ни на миг, хотя полы шинели становились все тяжелей: они терлись о голые стебли болотных кустов, на них налипали бурые комья. Остановился младшой лишь тогда, когда совсем явственно зябко и влажно дохнула в лицо река, забив запахи гари и тления — неистребимый смрад войны.

Чертыхаясь, с трудом удерживая тяжелый мотоцикл, сержант Волченогов скатил его с шоссе и приткнул к насыпи. Забраться дальше от дороги, туда, где виднелся высокий кустарник, он не решался: вдруг там топь? Тяжелая машина увязнет основательно. Все же он полагал, что здесь, между шоссе и кустарником, скорей всего не зыбун, а самый обычный заливной луг. На болоте насыпь не удержалась бы. Чтоб убедиться, следовало пройти хоть с полсотни шагов вправо и при этом неизбежно набрать полные сапоги воды. Сержант лишь передернул плечами, забрался в коляску, закрылся по грудь полостью из коричневого ледерина и закурил сигарету.

Трофейный табак казался ненастоящим, легким, отдавал приторным лекарством. То ли дело в родном городе, где махоркой издавна торговали китайцы. Крупно нарубленные стебли они смешивали с какими-то лишь им одним известными травами. Нутро от такого курева продирало до слез, тем паче что курить Волченогов начал едва ли не лет с двенадцати. Потому-то, уверяла уже смутно припоминаемая ныне учительница, и успевал он хуже, чем мог бы по своим способностям.

У него и вправду была прекрасная память. Стихи из школьной хрестоматии он заучивать не любил, зато прочно схватывал, достаточно было от старших подслушать, сибирские истории — об охотниках, золотоискателях, каторжанах и шаманках — страшные, волнующие воображение. И скабрезные — тоже. Знал их Волченогов множество и охотно пересказывал приятелям, одетым в отцовские старые зипуны и треухи, когда все вместе дымили они сигарками на пологом берегу широкой спокойной реки, пока какие-то прилежные мальчишки, чинно сидя за партами, учились правописанию и решали мудреные задачки. Один из тех примерных ребят, потомок польских инсургентов Владик Марцинский, высокий, хрупкий подросток с бледным лицом, неизменно вызывал в Степане Волченогове непонятную, а потому — еще более раздражающую неприязнь. Что-то похожее на то, что будил теперь в сержанте его нынешний командир — младшой. В ученисти они его, само собой, превосходили, зато во всем прочем, в том, что, как был свято убежден Степан Волченогов — потомок тех россиян, которые пришли за тысячи верст в неведомые края с одним лишь топором за поясом да лопатой на плече, но укоренились на дикой земле прочно, покоров и зверя, и леса, и морозы, — и составляет истинно мужскую суть, был тот Владик никчемным, безруким. Ни расколот не-



сколькими хлесткими ударами топора прочный кряж на мелкие полешки, ни выловить из-под льда тайменя на самую обычную булавку, ни даже выюшку, перекосившуюся в трубе, задвинуть... Владик этот стал потом видным адвокатом. Когда он наезжал в родной город по делам или в гости, его встречали на перроне судья Иннокентий Сергеевич, а то и сам председатель исполкома или начальник милиции. Волченогов наблюдал эти встречи без зависти, но все-таки с желанием поскорей отвернуться. Лет с пятнадцати он уже работал на станции. Начиная смазчиком букс, потом ремонтником, а перед войной стал уже старшим кондуктором товарных составов. Дошел бы и до большей должности, в те годы на высокие посты выдвигали людей и без особого образования, но когда послали на курсы профактива, споткнулся на первом же шагу. Говорили же ему, напутствуя: «Ты, Степан, с головой. Смотри, чтоб не пропала зря!». А он на вокзале сразу в драку ввязался. Обидней всего, что трезвый был (уезжал, едва ли не на крови поклялся, что ни-ни), но как было душе стерпеть?

Приехал он тогда в город ночным, волей-неволей пришлось коротать время до утра в тесно набитом зале ожидания, где двое хлюстов в барашковых нездешних шапках давно вели картежную игру. Выбирали наметанными поблескивающими глазами тех мужиков, кто из глубинки, а значит — и с деньгами, а то, может, и с золотишком. Один, чернявенький, сдавал, другой же садился напротив, рядом с очередной жертвой, вроде бы безучастно баловался наборным пояском с никелированными цацками, и вот в них — Волченогов и то не сразу смекнул — отражались карты, которые были на руках у очередной жертвы. К тому же помощник этот и глазами давал напарнику понять, как следует действовать, а тот объявлял безошибочно: «Еще карту» или: «А теперь — себе!»

Так и обобрали пройдохы в два счета какого-то не то грузчика, не то старателя в широченных по забайкальскому обычаю шароварах. Неподалеку сидела на вещичках жена этого простака. Тетешкала на руках младенца, поглядывала на мужа обиженными глазами, но, наученная, помалкивала. Вскоре те двое принялись и за старичка подвыпившего, ввели его в раж до того, что он пару куничек из-за пазухи рванул и на кон поставил. Тут-то в Волченогове и поднялось то, что всю жизнь, кажется, мешало ему, но зато и позволяло себя уважать. Выхватил у чернявенького наборный пояс, оттолкнул пройдоху в сторону, а другому бросил, взяв, понятно, за грудки (что было, то было!):

— Вот ты, падла, теперь попробуй сдай!

Тут и мужик, обыгранный недавно, поднялся, подметая шароварами грязный пол: и до него дошло, как именно его облапошили. Двинул в морду кулачищем и потребовал деньги назад. Но и за прохиндеев людишки из их компании вступились, выкатили глаза, заорали горловыми голосами:

— Выйдем, поговорим, если вы только настоящие мужчины!

Относилось теперь и к Волченогову, потому и он со всей кучей выкатился на продутый ночным ветром перрон, а там и свалка, и ножи сверкнули, и вскоре свистки милицейские послышались. Все те, в плоских барашковых шапках, как сгинули вмиг. А Волченогов да еще тот мужик, как выяснилось уже в отделении — шахтер из северного района, остались: правда, рассудили, на нашей стороне.

Зато переспать пришлось на голых нарах, да утром из милиции еще и сообщили — не поленились — на курсы, что будущий слушатель задержан за драку до выяснения.

Сутки спустя с того же перрона отправился Волченогов домой и вскоре снова помахивал сигнальным фонарем с тормозной площадки, сопровождая длиннющие составы. Проезжая мимо большой станции, все искал глазами, не возникнут ли те, промышляющие и в этих краях на людской доверчивости. Их не было. Были другие, похожие.

А годы катились. На тупиковой станции, пока зерно перегружали на баржи, засел едва ли не на месяц. Тут-то и пришла самому непонятная любовь к разведенке-весовщице Марте. Нежданно для себя женился. Родились две девочки-погодки — к Мартиному рыжему мальчишке в сводные сестрички. Уже и дом строил, но только и успел надежную пятистенку под венцы подвести: как запасника первой очереди в самом начале войны призвали, и оказался Волченогов на Дальнем Востоке, в округе у достославного генерала Апанасенко.

Давно шла на Западе страшная война — отступления, окружения, люди гибли, в плен попадали, а здесь в тылу, кадровые красноармейцы изнемогали от беспрестанных учений, зачастую в непогоду, в распутицу, а чистоту винтовок и орудийных замков генерал нередко проверял лично, батистового платка своего не жалея при этом; недосыпали (то тревоги, то караул), кормились скудно, чирьями маялись. Мудрено ли, что еще и по всему по тому весть об отправке на фронт восприняли, как милость судьбы. Офицеры, коим суждено было оставаться в Дальневосточном до конца войны, грустно глядели вслед теплушкам со счастливыми.

На обуглившихся августовских полях под Курском окрестили Волченогова злым огнем фашистские танки. Он числился старшим разведчиком, но кто там считался с должностями по боевому расчету? Сам Гуща, в ту пору командир батареи, снаряды подтаскивал, раненых наводчиков заменял. А Волченогов то пушку за станины ворочал, то стрелял, пока и его не стукнуло тремя осколками сразу в руку и в плечо. Все же ни единую кость не задело, и ранение считалось легким. Но, когда повязки меняли, он так зубами скрипел, что санитары бледнели.

Зажило... В конце того же сорок третьего воевал уже под Добрушем. Гуща к тому времени стал командиром дивизиона. Вместе с ним на хлипком плотике переправлялся Волченогов ночью через Сож. Взрывной волной их перевернуло — к счастью, вблизи от берега. Волченогов и сам выплыл, и стереструбу сберег. Обсушиться всем удалось лишь после того, как закрепились на берегу. В чем мать родила у костра сидели, а исподнее и гимнастерки на палках распяты сушились. Гуща выглядел совсем юнцом, странно свисали пшеничные усы, но почтительности к нему, к командиру, Волченогов не утрачивал даже тогда, когда смоченными в спирте ладонями растирал худую спину и то, что ниже.

Гуща был старшим, и Волченогов признавал это безропотно. Старшим не потому, что занимал командирскую должность. Он был командиром по всей сути, принимая на себя ответственность куда большую, чем та, что лежала на подчиненных, и деля в то же время тяготы наравне со всеми. Ну разве что блиндаж был у него поудобней, так об этом ведь без его приказаний сами заботились — и разведчики, тот же Волченогов прежде других, и ординарец. Многие были необъяснимо, но в том скорей всего и заключалась сила Гущи: душой чуяли, что каждое слово командира — закон, и не потому, что устав так велит, а потому, что оно как бы изначально свято. От Гущи исходит. В отличие хотя бы от Лобаша. Тому при всей импозантности то и дело приходилось давить званием, положением, окриком, а то и угрозами.

Зная Гущу, полагал теперь Волченогов, что, конечно же, проступка со спиртным командир полка ему не простит, но и под трибунал, как уже успел погрозить Курмаев, не отдаст. А вот суток на десять в какой-нибудь там подвал или за неимением такового — в наспех самим тобою же вырытый ровик посадит. Да еще — на переформировке, когда весь полк блаженствует, люди в баньке моются, отсыплются, девчонкам из тыловых служб куры строят.

Однако грядущее наказание, заслуженное, а к тому же исходящее от майора Гущи, представлялось не столь уж и обидным. Иное дело, когда вот этот младшой за наган схватился.

Случилось это в феврале на небольшой речке Пилице, при прорыве под Варшавой. Теперь, поостынув, признавал Волченогов, что и младшой пригодился там. Несомненно. Не зря вложили в его голову кое-что в училище. Не умел еще воевать, но и не трусил. Наоборот, главного не понимал: погибнуть на войне — самое простое и никакой заслуги в том нету. Иное дело — врага убить, а самому в живых остаться.

### Глава третья

Тот бой на Пилице, на замерзшем левом притоке Вислы, когда началось общее январское наступление под Варшавой, был для младшого первым и мог, конечно, оказаться последним.

Плотный белесый туман, будто дым от сырых поленьев, застлал противоположный обрывистый берег, где немцы за время, пока отсиживались в обороне, успели понастроить и прочные блиндажи, и разветвленные глубокие траншеи. Все это было давно пристреляно, и в назначенный командованием час на оборонительную линию обрушились снаряды и мины. Опомившись вскоре, немцы, как водится, открыли ответный огонь. И они, разумеется, все успели пристрелять: мины одна за другой ложились прямо в извилистый ход сообщения, по которому, как только началась артподготовка, пригнувшись, побежал младшой. Командир батареи Корявин отправил его в пехотный батальон — управлять оттуда огневым валом, за которым пехотинцы вот-вот должны были подняться на штурм. Впереди рывками, то падая, то стремглав бросаясь дальше, тяжеловато перебежал от колена к колону траншеи сержант Волченогов, а позади трусил связист Грибков, отягощенный телефонным аппаратом и катушкой; с нее быстро сматывалась нитка провода. Еще одну катушку тащил Грибков в руке, сгибаясь набок.

Рядом с командиром батальона младшой оказался в то неизменно радующее фронтовиков мгновение, когда над головами с особым, всеми узнаваемым мощным шорохом, будто взлетела стая железных птиц, пронеслись ракетные снаряды. Про-

хот тут же потряс вражеский стан. Розовые сполохи прорвали туман и на миг ярко осветили небосклон. То было завершение артподготовки. С этой минуты батарея должна была действовать уже самостоятельно, так, как того требовала обстановка на участке батальона.

Младшой напряженно вглядывался в этот участок, но едва различал за пеленой смешавшегося с дымом тумана ту кручу, где сидели враги. Всего-то и было до них метров четыреста — сотня шагов по открытому полю, ледовое русло Пилицы, и сразу крутой подъем. Он отыскал на схеме огней этот хорошо знакомый рубеж и передал через Грибкова команды, подчиняясь которым батарея — четыре пушки — тотчас начала выбрасывать снаряды по первой немецкой траншее. Батальон тут же поднялся и исчез в подрагивающей дымчатой пелене, пробиваемой многочисленными бледными вспышками.

Командир батальона оставался здесь, на своем наблюдательном пункте. Справа и слева от него залегли десятка полтора автоматчиков — скромный резерв, как догадался младшой. Тщетно пытался определить он, что и как происходит там, впереди, но видел перед собой только повисшего на бруствере, будто пополам переломившегося, длинного бойца (все бросалась в глаза алюминиевая ложка, прижатая обмоткой к крутой голени). Еще несколько убитых темнели бугорками в нескольких шагах отсюда. И все.

— Переносить огонь поглубже? — прокричал младшой.

Немолодой капитан с синеватыми, будто следы от пороха, точками на щеках промолчал, и младшой, не зная, как быть ему теперь, оттеснил кого-то и вновь обратился к капитану с тем же. Ему не давало покоя, что там, впереди, идет бой, а пушки, призванные поддерживать пехоту, уже умолкли, подчинившись его команде.

Младшой не догадывался, что и суровому командиру батальона известно сейчас о боевой обстановке не больше, чем другим. Правда, мелькнули недавно над мутной завесой три зеленых огонька. Это должно было означать, что роты уже прошли первую немецкую траншею, но над полем боя взлетало множество и своих, и чужих ракет. Немудрено было и ошибиться, а вот связные от атакующих все не появлялись, и ординарец — его капитан послал в роты — упал на виду, положив голову на руку, будто уснул некстати. За ним был отправлен еще и автоматчик, но и тот не возвращался пока.

Батарея молчала, и младшого мучило это так, будто он, а из-за него — все приданные батальону артиллеристы уклонялись от боя.

— Так, может, все-таки перенести огонь в глубину метров на триста? — прокричал он снова, едва ли не в самое ухо капитану.

Капитан отыскал глазами Волченогова.

— Почему Корявин сам не пришел? — спросил он недовольно.

— Он на огневой, — ответил Волченогов. — Там тоже командовать некому.

Младшого словно подхлестнуло.

— «НЗО» «Барс», — прокричал он решительно, и Грибков повторил в трубку: — Четыре снаряда беглый...

Волченогов — он сидел рядом, на дне окопа, спиной к немцам — поднял глаза и заключил:

— Полетели наши.

И младшому показалось, что среди грохота и воя различил он вскоре ободряющие разрывы своих снарядов.

— Огонь! — прокричал он, вдохновляясь. Грибков, как эхо, повторил команду, и тут вместе с грудой сырой земли в окоп, наконец, свалился связной. Он приблизил грязное лицо к капитану и что-то прокричал ему. Капитан кивал вроде бы удовлетворенно, но вдруг помрачнел и сердито подозвал младшого пальцем. Признал-таки в нем приданного артиллериста.

— Мои во второй траншее, — сообщил он, сдерживая гнев, — куда же бьешь ты?

— Пожалуйста, вот у меня на карте рубеж, — младшой не сомневался, что снаряды его рвутся далеко позади второй линии немецкой обороны, но, мигом сообразив, что к чему, Волченогов, будто он был здесь старшим из артиллеристов, выхватил у Грибкова трубку и хрипло прокричал:

— Стой, батарея! Отставить огонь!

Опыт подсказал сержанту главное: недовольна или сомневается пехота — сразу прекращай пальбу, а там разберемся.

— Сержант! — опять командир батальона обращался к Волченогову. — Запроси на батарее данные, и не открывать огонь, пока я лично не укажу рубеж. Поняли, артиллерия, в гроб вашу... Не то вы мне сами всех уложите.

Стало намного тише.

— Залегли мои, лежат, — в тоске произнес капитан. Он оглядел еще раз своих

автоматчиков, будто пересчитал, сколько же их осталось, и стукнул кулаком по мерзлому брустверу.

— Товарищ капитан, — младшой переступил через робость и уязвленное самолюбие, — так вы мне укажите рубеж. Вот здесь, на моей карте. Я вам обеспечу огонь. Не сомневайтесь.

Но капитан почему-то все еще колебался. Зато Волченогов вступил, яростно блеснув маленькими глазами:

— Чё там показывать, чё? Где наши снаряды ложились, там и пехота залегла. Может, и навеки.

Младшого как подбросило. Он вскочил во весь свой немалый рост, соскользнул было с насыпи обратно, но тут же выбрался из окопа и, разбрасывая ноги в широких кирзовых сапогах, понесся вперед. Сперва он пригibasлся, когда падали мины, пренебрегая разрывами, поднялся в полный рост, обегая свежие воронки, убитых. Не убавляя скорости, пересек он Пилицу, вскарабкался по крутому склону наверх и оказался в редких зарослях кустарников.

Из мглы ударила навстречу гулька очередь, но все-таки мгновением раньше сильная рука успела дернуть за полу шинели. Младшой упал ничком и сполз куда-то вниз. Пули просвистели над ним.

— Помирать торопишься? — спокойно поинтересовался ротный. Недокуренная сигарка прилипла к его широкой губе. Рядом в воронке от тяжелого снаряда устроился еще один в таком же, как у ротного, мокром испачканном грязью ватнике.

— Вы из батальона Шатного? — прерывающимся голосом спросил младшой. — Тогда помогите сориентироваться. Я — приданный артиллерист. Мне надо знать, где там впереди — наши? — Плевком ротный сбросил куцый окурок.

— Впереди... — насмешливо повторил ротный. — Впереди только те, кто уже отвоевался. А остальные вот здесь, — он чуть повел головой вправо-влево. — С гульки нос лаян осталось, а вы, доблестная артиллерия, все по тылам немецким лупите, по тылам. Главное, стараетесь без обеда фрицев оставить.

Объясниться младшой не успел. В эту же воронку съехал на задку по положому скату командир батальона и уселся на ноги младшому. Мелькнуло поблизости и широкое оплывшее лицо Волченогова. Младшой видеть его сейчас не мог.

— Выходит, Шубин, вы тут и загораете? — хмуро заключил капитан. — А я-то сдуру твоему связному поверил. Ошалелый он у тебя, что ли? Доложил: все роты уже вторую траншею заняли и дальше пойдут вот-вот. Я потому и на артиллериста насыпался: зачем он по вашим головам лупит, — он впервые прямо взглянул на младшого и уселся так, чтоб не шибко стеснять его.

— Кому ж, кроме армейской разведки трепаной, знать было, что у немцев еще и запасной рубеж имеется? Всего метров пятьдесят за второй траншеей. Они и отсиделись там, а потом как поперли. Вроде из-под земли вылазят, и конца им нет. Линецкий так во второй траншее и остался, бедняга. Да и чуть ли не вся рота его. Им больше всех досталось. Я и Самаров хоть половину своих сберегли. Но отступить пришлось. — Шубин засопел: — И мы их, конечно, положили порядком. Вон сколько валяется. Они теперь тоже бока зализывают.

— Ладно! — прервал капитан. — Кто кому больше врезал, будем после драки считать. А сейчас в Варку ворваться надо. И быстрей! — Он сжал младшому локоть. — Вот что, артиллерист, слава богу, все нам теперь ясно, хотя веселого, сам видишь, мало. Значит, слушай внимательно: ударь все-таки по второй траншее, залпами и погуще. Мы сразу и поднимемся, но ты гляди, не прозевай: как дам три зеленых ракеты, перенеси огонь на запасной рубеж! Ты понял, где он у них? И чтоб аккуратно. — И сорвался снова на крик: — Не тяни! Немцев опередить надо, пока они сами не поперли на нас.

— Я понял, понял. Сейчас... — младшой беспомощно оглядывался.

— Тьфу ты, растяпа! У тебя же связи нет.

Конечно, Грибков с аппаратом остался позади. Провода у него не оказалось: вторую катушку (ее Грибков оставил в ходе сообщения) разбил миной. Волченогов подполз и сообщил об этом, отворачивая лицо.

— Ладно... — произнес, как бы со злой судьбой споря, младшой. — Отсюда до Грибкова метров четыреста, не больше. — Он нервно начеркал на вырванном из блокнота листке данные и порядок огня и ткнул листок Волченогову. — Передайте команды через Грибкова на батарею, и чтоб через пять минут был открыт огонь, понятно вам?

— Четыреста метров... Пять минут... — Волченогов усмехнулся кривовато и печально. — Как же оно просто все, ежели не самому...

Он сказал еще что-то, но младшой уже не расслышал. Взрывная волна пригнула всех к земле. Когда младшой поднялся, то прежде всего увидел у себя на ладони кровь. (Рукавицы он потерял где-то, но холода не чувствовал). Секунду-

другую разглядывал он растерянно свою руку, пока не сообразил, что это же не он ранен, а ротный, Шубин. У того вся ватная штанина была пропитана кровью. Младшой, поднимаясь, и коснулся ее. Сам Шубин, молча, деловито развертывал бинт. Пожилой солдат торопливо распорол штыком ткань и покрасневшую вату над коленом у своего командира.

И Волченок был еще здесь! Мотал головой и вытаскивал из-за воротника мерзлые комья.

— Вы что, приказания не поняли, сержант? — Голос по-мальчишески сорвался, а темные глаза блеснули болью. Вот тогда-то и хлопнул младшой по кобуре.

«Мал еще, сопляк, наганом меня пужать!» И все же Волченок, словно оправдываясь, похлопал себя по ушам: оглушило мол. Но тут же вымахнул наверх, перекатился раз-другой с боку на бок и побежал, наклонившись, петля между воронками и под редкими уже разрывами мин.

И без часов можно было понять, что минуло куда больше, чем заданные минуты, а батарея все молчала. Командир батальона отвернулся от младшого. Широкая спина была обтянута таким же, как у всех, стеганым ватником. Ротный Шубин курил, прислонившись к скату, вытянув раненую ногу. На бледном лбу выступили капли пота.

— В санбат надо бы их поскорее, — несмело проговорил пожилой солдат.

— А то я сам этого не понимаю! — раздраженно откликнулся капитан. — А фрицы уже и пристреливают нас, — произнес он с тоской. — Нет, опередить надо их. Опередить во что бы то ни стало. Они уже и накапливаются, наверно, паразиты, — неожиданно капитан бесшабашно взмахнул рукой. — Перехватим их, а? На встречном движении. Грудь с грудью. По-русски.

И он начал передавать через связных распоряжения командирам рот, пулеметчикам, бронбойщикам, а в паузах вставлял сетования на роковую судьбу: если контратака — так непременно на участке его батальона, и никогда — толковой артподдержки.

Не решаясь встретиться с ним глазами, младшой чистил, как уж мог, Волченок. Простейшей догадки, что сержант мог быть убит или ранен всего лишь в десятке шагов отсюда, он не допускал, хотя это-то и было бы самым вероятным.

А немцы уже зашевелились. По-прежнему различать их было трудно, но сомнений не оставалось: приближаются ползком, залегают за бугорками, за трупам. Уже и прицельно постреливать начали. Короткие очереди вспышками замечались вблизи. В ответ заговорил «максим». В воронке справа по-деловому прильнул к пулемету длинноногий солдат. Вместе со всеми сыпал очередями в ответ немцам командир батальона.

«Максим» умолк. Пулеметчик лежал все так же, широко разбросав длинные ноги, но ладони с рукояток уронил. Младшой сжался, похолодев. Сейчас вот накинутся немцы, и окончится для него по-глупому, впустую, война, а он ничего путного так и не успел свершить. Не сразу сообразил он, что это же ему кричит капитан:

— Порядок, артиллерия! Вот теперь они, твари, чуток поутихнут!

Забывшись, младшой поднялся. Впереди, совсем неподалеку, вздымались и нискали черные столбы с красными ступками внутри. Это его снаряды рвались как раз там, где требовалось сейчас. И немцы замерли.

Помогло и то, о чем младшому не дано было узнать. Везение. Удача неизменно помогает в поединке одной из сторон. Тогда она склонилась к младшому. Всего лишь какой-то взвод немецких автоматчиков выполз чуть вперед, да и то лишь затем, чтоб ввести в заблуждение наших. Главный же удар должен был нанести отборный батальон, и он уже действительно скапливался во второй траншее, готовый встретить нашу атаку, прорвать на этом вот узком участке фронт и ударить с тылу в спины наступающим нашим подразделениям. Залпы, вызванные с опозданием, пришлось тем не менее кстати: снаряды ударили в скопление врагов, отсекали выползших вперед, а батарея еще и продолжала стараться на совесть.

У ног командира батальона возник маленький солдат с телефонным аппаратом. Но то была пехотная связь — с командиром полка. Воспрянув, капитан что-то сообщил своему начальству. Приказания его зазвучали бодрей.

— Вот теперь-то и двинемся мы. Так смотри, артиллерия, чтоб в самом деле не накрыл ты нас!

В отчаянии хотел напомнить младшой, что связи с батареей у него как и прежде нет, но командир уже не слышал его. Он послал вперед три ракеты, указывая ротам направление атаки, и вскоре справа и слева поднялись и реденькой неровной цепочкой побежали вперед согнутые, как в поклонах, фигурки. Капитан наклонил-

ся, поцеловал раненого в бесцветные губы и, напряжив тело, вымахнул с горловым криком наверх, вслед за всеми.

Уж как на зубок, казалось бы, затвержено было в училище, что приданный офицер-артиллерист обязан во время боя находиться рядом с командиром подерживаемого подразделения. Первый же бой сразу опрокинул разумное правило. Младшой сперва оставил командира батальона и побежал вперед, теперь же, когда пехота атаковала, он во весь опор мчался назад, туда, где, он был уверен, сидит себе безмятежно телефонист Грибков. Не сумел сберечь запасную катушку, растяпа, а теперь вот командира взвода отдуваться.

С самого начала все вершилось для младшого будто во сне, когда события перепутаны, образы стерты, а самого себя видишь со стороны, хотя и принимаешь все происходящее ой как близко к сердцу. Теперь он еще и ошалел от разрывов, пусть уже не столь частых, как прежде. Густые, удушливые и кислые волны толкали в спину; глаза, разъеденные гарью, засоренные песчинками, слезились, но он ничего не замечал, одержимый одним стремлением — остановить огонь батареи. Лишь однажды он оглянулся на миг: позади загрохотало слаженно и мощно. Он понял, что это уже немецкая поддерживающая артиллерия заговорила. Если снаряды и не накрыли наступающий батальон, то оказалась наша пехота между двух огней, и тот, что впереди, свой, надо остановить или перенести глубже. Иначе и впрямь — пулю в лоб!

Как же нелепо все сложилось, казалось бы, из-за мелочи сущей: мина в запасную катушку кабеля угодила.

Рвануло совсем близко. Младшого толкнуло еще горячей и злей. Он упал, и все вокруг стало на мгновение тихо. И голос Волченогова пробился, как сквозь вату:

— Живой, лейтенант? Держи! Комбат на проводе.

Младшой сипел, хватал воздух по-рыбьи. Не удивился тому, что Волченогов здесь, и трубку, вожделенную трубку телефона, принял вяло, как нечто самое заурядное.

Голос комбата Корявина доносился будто из недр земных, однако младшой даже подтрунивание почувствовал, неизбежное, когда комбат разговаривал с ним.

— Что там у тебя опять такое, артист? — спрашивал со снисходительным все же укором Корявин.

— Стой, батарея! — насколько силы позволяли свирепо прокричал младшой. Он слышал, как покорно и торопливо повторил команду Корявин. Младшой передал установки на подвижной заградительный огонь — всего еще несколько залпов, которые должны были докатиться до окраины Варки и там стихнуть. Лишь чуть отдышавшись, спросил он у Волченогова о Грибкове. Где же сам-то связист вандается до сих пор?

Приблизив в упор к младшому большое, в грязи и копоти лицо, Волченогов произнес:

— В лоб Грибкова. Тремя пулями сразу...

— Да, хороши субчики, — молвил день-другой спустя командир батареи Корявин. По-цыгански смоляной чуб комбата рвался из-под белой папахи. Корявин усмехался кривовато, обдавая обоих ледяным взглядом. Впрочем, Волченогов, блюдя неписаную солдатскую заповедь, держался поодаль: пускай офицеры между собой сами разбираются. Жмурил и без того узкие глаза, пожимал плечами.

Конечно же, это Волченогов, — для того и послан был он, разведчик, в батальон, — обязан был, едва пехотинцы занервничали, уйти вперед и убедиться, где именно рвутся посланные батареей снаряды. Уточнить, где же залегла пехота, вернуться и доложить обо всем своему командиру взвода, а уж какую там команду подать, младшой сообразил бы. Теперь Волченогов утверждал, что именно так и поступил бы, но дернуло же младшого — понесся, как оглашенный, под разрывы во весь рост. А для чего? Чтоб собственную правоту доказать. Самолюбие его, видите ли, задето было.

Огневой рубеж обязан был вам указать командир батальона, жестко напомнил Корявин. А молчал он, так пускай и батарея молчала бы, пока он не разродится. Поступи младшой так, и не было бы всей этой нервотрепки. Со связью — тоже. Артиллерист же без связи, все едино, что жених без прибора, заключил Корявин, еще раз окинув невеселым взглядом нескладную фигуру своего очередного взводного.

Где уж там было надеяться на похвалу. А вот Грибкова — посмертно — и Волченогова комбат представил к «Красной Звезде». В пустынном поселке лесопильного завода, где полк остановился на короткую перестроировку, писарь Мац,

подмигивая повеселевшими после штабного обеда глазами, доверительно сообщил об этом Волченогову, а еще о том, что «почти все за Пилицу что-то получают, даже обозники».

Младшой оказался рядом. Искать писаря глазами ему было неловко, сам же Мац его будто и не замечал.

Связист Грибков был одним из тех немногих в батарее, к кому сержант Волченогов благоволил. Все хорошо знали: если сержант пускает по кругу самокрутку, то первым после него курит Грибков. А строили новый блиндаж, так для Грибкова было отведено и застлано хвоей удобное местечко, и занимать этот угол никто уже не смел, даже если связист являлся четверо суток спустя.

Сближало их не только то, что и Грибков был постарше других, женат (хранил в нагрудном кармане фотографию: жена с выступающим вперед, как у самого Грибкова, небольшим ртом и трое похожих на них детей). «Леонтий Грибков — мужик кондовый», — говаривал Волченогов. Мало кто знал теперь, что же стояло за этим. Стучилось же в начале сорок четвертого еще в Белоруссии.

Там, на забитой эшелонами станции Кричев, бомба угодила в вагон, загруженный американскими консервами. Банки разлетелись и раскатились во все стороны, и кое-кто тут же кинулся подбирать. Нелегкая дернула и Волченогова: пусть и нашим достанется что-то. Он выскочил из теплушки, пролез под ближним составом — а впереди стоял локомотив под парами! — набросал за пазуху сколько там успел, чтобы возвратиться поскорей.

Тормозные колодки были отпущены, но он-то, железнодорожник, знал, что прошмыгнуть под вагонами еще успеет. Лег на брюхо, чтоб пролезть по рельсам, и сразу увидел Грибкова. Тот сидел на корточках на противоположной стороне у самих рельсов и отчаянно показывал жестами, что сюда, на его сторону, нельзя сейчас никак. Волченогов все не мог взять в толк, что же там происходит? Драгоценные секунды уходили, а он все то разводил руками, не понимая Грибкова, то намеревался все-таки нырнуть под вагон. Тогда вот Грибков и кинулся сам навстречу ему, что-то отчаянно крича, а по эшелону уже прокатился цепной грохот буферов.

В последний миг выдернул Волченогов Грибкова из-под колес. От души покрыл выдержанным матом и даже кулаком в бок двинул. Но вскоре покаялся. Оказалось, по всей станции носятся комендантские патрули, и как раз рядом с Грибковым задержали двоих с поличным — с теми консервами злосчастными.

Банки, понятно, пришлось Волченогову выкинуть подальше, но вот так, не в бою, открылось, что Леонтий Грибков — краж.

Гибель Грибкова, как и все смерти, даже на войне, представлялась нелепой, и, думая о ней, Волченогов с неизменной неприязнью выходил все на того же взводного — на младшого. «Был бы кто посмышленей да порасторопней, не довелось бы и мне под обстрелом бегать с тем клочком в руке. Глядишь, и Леонтий жив бы остался...»

...Сладковатый дымок не насыщал, вертеть сигарку было неохота. Так или иначе, придется отвыкать от махры. Война-то явно — к концу. Впервые подумал сержант о том, что ему-то самому, может, еще и уцелеть удастся. Даже совсем недавно, под Лиенаей, не приходили в голову подобные мысли. Там о жизни будущей еще не думалось, хотя теплилась в душе надежда, что авось да останешься жив. Вдруг — ранение. В этом едва ли не что-то закономерное усматривалось. Однако какие там загадывания, когда война отнимала все силы тела и души для солдатской работы, столь тяжелой, что даже каторжная рядом с ней — едва ли не безделица. Под нескончаемыми дождями вытаскивали артиллеристы свои пушки из сырого, противно скрипевшего песка, устанавливали на новой позиции опять на прямую наводку, но успевали сделать лишь выстрел-другой, как выползал очередной «фердинанд», плюхал снарядом, и пушка взлетала вверх тормашками. Очумелый от удара воздушной волны, Волченогов еще и в себя-то прийти не успевал, а комбат Корявин, встряхнув за плечи, уже приказывал принять соседнее орудие, где убило и командира, и наводчика. И вскоре опять: «На колеса!» Тело, не желавшее считаться с велением души, одного жаждало — отдыха, покоя. Да стань он хоть вечным, если иного не суждено! «Ничего, после войны отоспитесь, да еще с самыми красивыми бабенками!» — обещало в благую минуту начальство.

Сейчас конец лиха виделся уже не в далеке, застланном горьким дымом, а совсем близко. Вот и недавно замполит Курмаев, отчитывая Волченогова и Желудяка, сверкнул колючим взглядом и бросил в лицо им, что наши-то воины уже к фашистскому логову приближаются, а вам совесть позволяет где-то за вином шастать. Получилось, что замполит будто лично Волченогову сообщил, что и штурм Берлина не за горами. Даже упреки показались не такими тяжелыми, и впервые,

вопреки моменту, забрезжила на миг за недалеким уже временным перевалом собственная мирная, едва ли не бесконечная жизнь, именно там, в глуши, где осталась недостроенная изба-пятистенка и теплая Марта с мальцами. Сотни раз мог потерять он эту жизнь, а на Пилице — всего вероятней.

Ожесточенно и зло костерил тогда Волченогов младшего. «Пять минут вам дается, чтоб батарея прекратила огонь!» Сам бы попробовал!

Едва пробежал он полпути, как с обрыва ударила очередь. Навык не подвел: сержант упал мгновенно. Фонтанчики взбитой земли заплясали прямо перед носом. Он понял, что его засек немецкий пулеметчик. Один из тех, кто застрял на нейтралке, оказался отрезанным от своих, однако о верности фюреру не забыл: убивал, пока был жив сам. Конечно же, не ведал он, что в варежке у сержанта важная записка, однако интуиция хищника и опыт убийцы срабатывали безошибочно: бей того, кто бежит.

Не на такого все же напал. Переваливаясь с боку на бок, сержант скатился в свежую воронку. Хотя яма была неглубока, пулеметчик на время потерял его. Пустил раздраженно еще очередь и стих, выжидая. Волченогов толкнул предохранитель автомата. Самым достойным было бы всадить во врага верную пулю, а уж затем спокойно продолжить путь, но отыскать пулеметчика, умело спрятавшегося на круче, сразить его из автомата вряд ли удалось бы. А тут еще клочья дыма и нерасеявшегося тумана по-прежнему ползли над полем боя. Но это и помогло сержанту. Он улучил минуту, когда обрыв закрыло пеленой, выбросил тело из воронки, а на бегу еще и застрочил в том направлении, где засел немец. В ответ тотчас брызнуло свинцом, однако прицелиться так точно, как прежде, немец сейчас не смог, а Волченогов — со стороны выглядело, будто по-звериному стелется он по земле — уже достиг сосны, наполовину срезанной снарядом.

То было единственное на их участке дерево — «одинокая сосна». Росла она на бугорке, и за ним Волченогов залег. Сгустившаяся кровь билась в глотке. Сержант был невредим, однако понимал, что появиться на виду вновь пулеметчик ему не позволит. Но уже был виден бруствер над окопом, где еще недавно размещался наблюдательный пункт командира батальона. Всего шагов сорок. Здесь должен быть и связист со своим телефоном.

— Грибков! — Волченогов улучил секунду тишины. — Леонтий! — прокричал он еще громче. — Да только не высовывайся ты, слышишь? Не поднимайся, понял? Я тебе команды на батарею голосом подам.

Не мог же Грибков не слышать, тем более что и ветер относил слова к нему. И Грибков приподнялся над краем окопа. Медленно поводит он головой, пытаясь разглядеть, кто кричит и откуда.

— Да не вылазь же ты, нудило грешное! — вовсе уж отчаянно закричал сержант. — Это же я, Волченогов. — Спрячься и слушай. Падай, дурень! Ложись! — Он уже услышал роковую очередь и, позабыв об опасности, кинулся к окопу, злой, намереваясь с ходу дать телефонисту по уху.

Свалился он на уже безжизненное тело. Перевернул Грибкова, увидел три ступка крови над бровями. Пули скрипели, впиваясь в мерзлый бруствер. Волченогов укрываясь, нажал на зуммер, услышал ответ с батареи, передал команды на перенос огня в глубину, хрипло произнес, после отзыва: «Огонь!» — оттащил труп в сторону и накрыл его плащ-палаткой.

Откуда-то возникли двое бронебойщиков. Они примостили поудобней свое длинное ружье и начали тщательно, как на полигоне, прицеливаясь, стрелять по пулемету (тот выдавал себя желтыми мигающими вспышками).

— Нахальный фриц попался, — сказал бронебойщик, окончив стрелять, и, уже безбоязненно шагая, приблизился к Волченогову. — Закурить не найдется, землячок?

— Поздно вы сняли его, мужики. Поздно! — не сразу откликнулся Волченогов, протягивая кисет.

Впереді загрохотали разрывы. Свои. Волченогов сверился с запиской, подал команду: «Залпом!» — вздохнул, огляделся и заметил раздутую катушку трофейного кабеля. Зря, выходит, грешил на связиста: тот, оказывается, не дремал.

Теперь можно было подать связь и вперед, к младшему. Пускай сам командует огнем, слегка кривая. Это же через него Грибков погиб, через него. Понимал сержант, что напраслину возводит, но душу все-таки облегчало.

Он шагал в полный рост, держа аппарат за брезентовые лямки. На плече висела вертящаяся катушка. В третий раз проделывал все тот же путь, едва не оказавшийся для него последним.

Снова распоролли воздух мины. Пришлось залечь. Вот только провод не оборвался бы. Он подсоединил аппарат, услышал отзыв, поднял глаза и увидел нескладную



фигуру младшего. Тот бежал чуть левее и упал под разрывом. Неужто и его? Нет, кажется, шевелится. В один бросок Волченогов добежал до младшего.

Уже в Варшаве, на улицах, засыпанных горами битого кирпича и стекла, где среди закопченных острых обломков стен ликовали люди, похожие на тени, окликнул Волченогова знакомый командир батальона. Сейчас был он весел и розов от желтого с керосинным запахом самогона-бимбера, поднесенного полячками. (А иные уже и кокетливые тюрбанчики надели, и глазами живыми постреливали, пусть жалкие их плащики были потрепаны, а на ногах громоздились уродливые «буты».)

— Эй, артиллерия! Сюда подойди.— Капитан подал Волченогову мятую кружку с сивухой. Сержант поломался, сказал, что идет в штаб полка с заданием, но выпил до дна.— Командир послал? Самолюбивый тебе попался.— Капитан будто сочувствовал, откусывая от кольца колбасы, и засмеялся, припоминая недавнее:— Как же доказал он нам, что не по своим бьет! Выскочил, ну и я сразу за ним. Инстинкт. Да... Фамилия-то ему как будет, а?

Волченогов мялся. Зря на войне о фамилии не спрашивают. Однако непривычную для его слуха фамилию Волченогов и впрямь не помнил. Сказал, что боится напутать: младший лейтенант этот новенький, всего за неделю до наступления прислали его из резерва.

— Разрешите идти, товарищ капитан?

— Да. Идите, сержант. А взводному своему передайте: пусть и дальше, если требуется, бегают под пулями, но только — чтоб не в полный рост. Он же длинный. Не то, что мы.

Так и не понял Волченогов, каким же показался пехотному капитану младшой.

Они приблизились к предместью, надсадно дыша. Спешили, таились. Маленькому Желудяку было все-таки легче, а вот младшой выбивался из сил, передвигаясь едва ли не вприсядку среди зарослей высохшего камыша и цепких болотных кустов. Пригнувшись, осторожно поводя биноклем, осмотрел он мост, до которого было уже рукой подать, а вслед за тем — бетонные плиты и рельсы. Иди, впрочем, знай, не заложены ли под плитами мины? Тут саперы нужны с их шупами и сноровкой. Но и за этим дело не станет, был бы только мост цел, выглядел мост как раз таким. Сизый пролет спокойно навис над едва заметной полоской русла. Рядом с железной однопуткой пролегла по настилу полоса для автомашин, неширокая, но по ней прошли бы не только «студебеккеры» с гаубицами на прицепе, а, пожалуй, даже танки. (Знать бы младшому, как он от истины недалек.) Въезд на мост был заманчиво свободен, и вот это-то и усиливало настороженность: а вдруг там, на другой стороне, только и ждут...

— Что, ежели вон по тому желобу перебраться? — зараженный осторожностью младшого, спросил шепотом Желудяк.

Как раз над берегом навис край бетонного лотка; в нем лежали тонкие асбестовые трубы, очевидно, с кабелем внутри.

— Вы только подсобите чуток, — попросил Желудяк, — и все.

У виадука он взобрался на плечи к младшому, тот хоть и согнулся, пошатывался, но устоял.

— Ползком! — бросил младшой вслед, но Желудяк без предостережений исчез в лотке.

Он вернулся гораздо быстрее, чем младшой ожидал. Шел уже в полный рост, еще и покрикивая издали:

— Та вылазьте ж! Никого там и близко нету, а мы с вами ховаемся, как те дурни. Зазря я только вымазался весь.

Младшой подставил было плечо, но Желудяк, ухнув, спрыгнул с лотка.

— В полк теперь, Володька! — охваченный радостью, младшой и сам охотно перешагнул через болезненно оберегаемую им грань фамильярности.

— Само собой! — возбужденно поддержал Желудяк. Он притопывал и даже напевал что-то бодренькое.

— Ты бы все-таки потише, — попросил младшой.

— Да что — тише? Вы тут хоть за тридцать верстов кругом ни хрена не найдете живого, — откликнулся беспечно Желудяк и пробормотал про себя: — От человек, всего он пугается.

Младшой уверил себя на этот раз, что не слышит.

Сизая болотная птица на длинных ножках-соломинках, изящно ступая широ-

кими лапками с кочки на кочку, приблизилась к сержанту, замерла, подрагивая пленкой, прикрывавшей круглый неподвижный глазок. Волченогов не шевелился, разглядывая ее. Но птица вздрогнула и сразу же тяжеловато взлетела, со свистом разрезая воздух большими крыльями. Тут же словно вырос младшой; за ним показался Желудяк. Торжествуяще, как в детских играх, покачивал он головой: вот, мол, мы какие! Знай наших!

— Ну-у,— удивленно протянул и Волченогов, услышав о мосте.— И целый, говоришь? Вот обрадуется-то Гуца. Да и урочища на том берегу во-он какие. Там целую армию укрыть можно запросто. — Усевшись в коляску, младшой уже набрасывал по горячим следам простенькую схемку— «кроки маршрута». Он обозначил принятыми условными знаками все (открытые ими!) дороги, начиная с лесной, которая вела от автостреды к замку, а затем к тому месту, где вдруг возникало шоссе и рядом железнодорожная колея. И, конечно же, мост! Все выглядело отменно. Вот только обе линии, обозначающие дороги, пришлось нелепо оборвать. И поставить на месте обрыва вопросительный знак, не предусмотренный никакими уставами. А чуть правей, прямо посреди леса, изобразить топографический крестик, которым обозначаются культовые сооружения.

Сутулящийся вопросительный знак этот (выходит, разведка все-таки неполноценна?) гасил радость, не давая покоя, пока Волченогов, воспрянув, гнал мотоцикл назад через рощи и пригорки, поросшие молодым сосняком. А с перевала опять увидел младшой словно подраживающий церковный шпиль. Острый наконечник четко выделялся на фоне серого неба.

Самым вероятным было, что и дороги проходят где-то вблизи этой непонятной кирхи. Добраться бы все-таки до нее!

А с мотором и впрямь происходило что-то неприятное. Он трещал, постреливал. И Желудяку вдруг в кусты приспичило. Он нетерпеливо стучал по плечу Волченогова, а тот почему-то еще и подтвердил потихоньку, но младшой все же слышал. «Здесь?» Будто не все равно было — где. Мотор умолк. Желудяк соскочил, исчез и долго не возвращался.

— Рожает он там, что ли?— не выдержал младшой.

— Брюхо часу не выбирать,— Волченогов как-то неестественно позевывал.— Забота не проста.

Наконец ефрейтор мячиком скатился с пригорка. Приблизился он чрезмерно бойко, а глаза прятал. И отворачивался от младшого, когда тот упрекнул:

— Сколько же времени мы из-за тебя потеряли.

И Волченогов неодобрительно оглядел Желудяка. Завел мотор, однако постреливание стало еще сильнее, а вскоре мотор заглох вовсе, как ни клял его сержант, поминая всех мыслимых матерей, как ни ударял яростно по рычагу стартера. Младшой вылез из коляски и тревожно наклонился над сидевшим на корточках Волченоговым. Тот, орудуя отверткой, уже снял крышку, извлек какую-то округлую детальку, начал бережно протирать похожие на лапки пластинки, продувать невидимое отверстие.

— Хрен его ведает, сколько нам теперь загорать придется,— заключил он, пытаясь затолкать толстыми пальцами детальку обратно.

— А правда, Степан Степанович, лучше, когда наш полк на конной тяге был? — подала чрезмерно возбужденный голос Желудяк. — Конь, он хоть тоже постреливает на ходу, так все ж едино вперед идет. И, не дожидаясь отклика, заголосил:

Кликну, кони мои, вороныя,  
Черны-вороны кони мои...

— Заткни поддувало! — бросил ему Волченогов, и младшой, ужаснувшись, сообразил наконец, что пьян же негодный Желудяк этот. Попросту пьян. Так вот зачем он в кусты бегал. У них там, опять же, вино где-то припрятано было. Мелькнуло, что, возвратившись, он и Волченогову какую-то посудину, кажется, сунул. Так, может, и возню всю эту с мотором сержант тоже затеял нарочно? Ну, негодяи... Но пусть не надеются, что он на этот раз их пощадит. Такую разведку испортили. Боевое задание сорвали.

Младшой кипел. Горло у него перехватило от негодования, от обиды. Чего угодно мог ждать он, но чтоб разведчики, фронтовики бывалые, вот так подвели! Пусть уж — его, их командира. Но дело общее!

Он едва ли не расплакаться готов был от досады и обиды. Отвернулся и прислонился к мокрому стволу, решая, как же быть-то теперь?

Желудяк что-то бормотал про себя. Волченогов все еще озабоченно продувал отверстие в металлической детали, держа ее на уровне глаз.

— Сержант! — позвал младшой и для себя самого неожиданно, вовсе уж не

к месту взвился: — Потрудитесь подойти и встать как положено, когда вас офицер требует!

— Что колготиться зря? И без того тошно. — Но все-таки Волченогов поднялся с корточек, хотя шапку не надел. — Не надо уж в полку говорить про этого, — попросил он примирительно. — Я сам ему, охламону, устрою — век помнить будет. — Нет! — яростно отпарировал младшой. — Под трибунал негодя!

Все, все рухнуло. Возвращаться теперь придется не со щитом, как мнилось, а таясь. Не дай бог пьяную рожу Желудяка кто заметит, а пуще — подполковник Курмаев.

Вспомнились железные скулы замполита. Без слов убеждали они, что пощады ждать не приходится. «Пьянку устроили вместе с подчиненными, да еще — на боевом задании...»

То был последний толчок. Рывком выдрал младшой из блокнота схему пути.

— Передадите, сержант, командиру полка вот это. Бросайте свой дерьмовый мотоцикл и отправляйтесь в полк пешком. Нет! Бегом!

— А его как же? — Теперь и Волченогов был в замешательстве.

— Да пусть хоть подохнет в этой люльке, разгильдяй! — Младшой даже слова цедил сквозь зубы, не сознавая, что подражает командиру батареи Корявину. — И доложите майору Гуще, что я отправился обследовать район церкви, — он ткнул пальцем в крестик на чертеже, — вот сюда.

— Снова, получается, в одиночку. Теперь мне уже не Корявин, а сам командир полка врещет: на что офицера одного оставил? — Сержант помялся и, переменяя тон, воззвал к благоразумию: — Ну какого лешего там делать, возле церкви той? Что за забота така?

Как ни был раздосадован младшой, но объяснил сквозь зубы:

— Вы еще не поняли, что немцы весь этот район скрывают. Даже церковь, и ту на карты не нанесли. А это же не курятник. Вот нас и спросит начальство: почему это? Что ответим мы?

— Так что ж полковым разведчикам не заняться? Не все им по трофеям шарить.

— Но командир полка нам доверил, нас в разведку послал. — И сорвался на крик: — А у вас мотоцикл, зверь ваш, а не машина, вдруг сдох! А Желудяк надрался, как свинья!

— Меня попрошу не задевать, — подал заплетающийся голос Желудяк. Он забормотал что-то, явно неприятное для младшого, о его чрезмерной осторожности у моста, но Волченогов подскочил и сжал физиономию Желудяка ладонью:

— Чтоб тебя не слышно было больше! Понял?

Столкнул Желудяка в люльку, только голова одна и виднелась теперь над бортиком, и разразился заковыристой бранью. Могла она относиться к одному лишь ефрейтору, но младшой ссутулился и еще быстрее зашагал к лесу.

— Погодь! — Волченогов рывком вытащил из-под Желудяка черный клеенчатый дождевик. Он догнал младшого. — От фрица вместе с мотоциклом досталось. Пригодится, — он указал на небо, где опять копилась оловянная пасмурность.

Младшой даже не кивнул, но плащ взял.

Еще только подъезжая к автостраде, где по-прежнему недвижно стояла колонна, заметил Волченогов рухнувший «юнкерс». Смятые обгорелые ребра фюзеляжа, чуть дальше — стабилизатор, с крестом в кругу. Как всегда, шевельнулось: молодчики! долбанули все-таки паршивца! Но и тревога закралась: выходит, они уже и сюда, до хвоста колонны, добираются?

Сгоревший бомбардировщик все вспоминался сержанту, когда стоял он перед командиром полка. Гуща был сер от бессонницы и озобочен нелегкими раздумьями. Он только что вернулся с совещания, заляпанный грязью «виллис» еще стоял позади него, скособочившись. Там командир корпуса говорил, что обстановка серьезная и час от часу не легче: ко всем трудностям переправы добавилась еще и новая опасность: стало известно, что бронированный кулак — танковая бригада «СС» — все-таки прорвалась через наши позиции где-то неподалеку на севере, у Любена и, по всему судя, будет пытаться выйти в район Шпремберга — того населенного пункта, который и находился за переправой, на другом берегу. Пока что танки укрылись в обширном лесном массиве — Шпревальде, на северо-восток от Шпремберга. Это все, что пока нашей разведке известно.

Понятно, были даны обычные указания, как подготовиться к танковому удару, который может последовать неожиданно и в любом месте, а положение у корпуса по-прежнему самое невыгодное для ведения боя. Поэтому вновь было приказано — рассредоточиться елико возможно, но все же так, чтоб в любой момент можно было снова начать движение на запад, к Шпрембергу.

В свою очередь распорядился и Гуща, чтоб прежде всего — пушечные батареи

были в боевой готовности, чтоб оборудовали для них временные боевые позиции, чтоб раздали гранаты группам истребителей и было бы сделано все прочее, что следовало в подобной обстановке предпринять, однако тревога молодого командира полка даже после этого не уменьшилась. Наоборот, она усиливалась с каждой минутой тишины, грозившей теперь взорваться уже и грохотом танковых орудий. Да и «юнkersы» нет-нет все-таки прорывались сквозь зенитный заслон и бомбили колонну, пока наши истребители не отгоняли их прочь. Слушая Волченогова, Гуща то и дело откидывал капюшон плащ-палатки и поглядывал вверх.

— Выходит, и дороги какие-то там имеются, и мост тоже, — удивленно повторял он. — На что же немцы пооставляли все это, спрашивается? Не для нас же? Не для нашего удобства. Так понимаю я.

— Ну а на Даугаве они почему один мост все-таки оставили? — парировал тут же Лобаш и сам ответил: — Потому что мы тогда уже к Бауске вышли, а значит — могли их от фронта отрезать. Вот так же они и здесь драпанули, тем более что мосту этому далеко до того. Местного значения, как говорится. Его даже на картах нет, да и в глаза его сержант наш тоже, оказывается, не видел.

— А взводный? Ну, тот новенький. Я же распорядился, чтоб он лично мне доложил. Так сам он где находится теперь? — Гуща вновь обращался не к Волченогову, стоявшему в довольно свободной позе, а к начальнику штаба, не сомневаясь, что тот уже успел выспросить у сержанта все, что только можно было.

— Вчерашний день искать он отправился. И оправдание изобрел: поставил крестик, а рядом — вопрос. А нам эту вот схему прислал. — Двумя пальцами, брезгливо держал Лобаш помятый, с масляными пятнами листок.

— А ну, дай сюда, — Гуща взял у Лобаша чертёжик и внимательно вгляделся. — Схемка, конечно, не блеск, но все ж разобраться что и к чему возможно вполне. А про дороги, главное — про мост, надо командованию доложить.

— Каракули эти детские я в дивизию отправлю или как? — служебное негодование зазвенело в голосе Лобаша. — Да полковник Чхиквадзе меня на смех перед всем своим штабом поднимет. Еще и выше отправит это. Нарочно. В корпус, в армию, чтоб и там полюбовались.

— Так пустяки ж — перерисовать. Топограф твой за пять минут в лучшем виде представит.

— А подпись? Подпись ответственного офицера на оперативном документе? Я, что ли, на свою шею ответственность возьму за все? Где гарантия, что здесь ничего не напутано. — Тут Лобаш вспомнил младшего и добавил: — Не нафантазировано? И такое бывает. Кстати, сержант, вы сами тот мост видели?

— Издалека, товарищ майор. («Хоть про Желудяка не спрашивали бы»).

— То-то, — заключил Лобаш. — Надо, чтоб толковый офицер все подтвердил, а уж потом можно и командование радовать.

— Значится, вот оно и решение. — Гуща рассек ладонью воздух. — Полк уходим для начала в укрытие. Матчасть там разместится, а, Степан? Ручаешься?

— Как пить дать, товарищ майор.

— И сразу отправляем вперед ГПЗ с Третьяковым. Пускай пройдут по этим вот «крокам» и доложат по рации: есть возможность полку перейти на тот берег или нет? — Вновь возникло сомнение: — Может, хоть начальнику дивизионной разведки про мост доложить все же следует?

— Сами справимся — больше нам чести. А если что не так — от позора уберемся.

— Ладно, действуй, начальник. Только чтоб побыстрей.

Где уж, казалось бы, где, а на войне попросту нелепо медлить из-за дурных предчувствий, но все же именно поэтому, словно нехотя, совершал все привычные действия майор Лобаш, поднимая по приказу Гущи полк. Все казалось ему, что громадина — артиллерийская часть — двинется куда-то по этому, наспех изображенному, маршруту едва ли не наобум. (Что-то из обихода летних пионерских игр напоминала Лобашу присланная младшим лейтенантом схемка.)

Небо копило серость, прыскало надоедливим дождем. Полк пошел ко всему задом наперед, отнюдь не по уставу. Впереди шли тылы: на узком шоссе и перестроиться, как полагалось, невозможно было никак. Этот беспорядок тоже нервировал Лобаша немало.

Путь к замку указывал сержант Волченогов. Мотор рокотал ровней (надолго ли?), и это успокаивало. Сержант был уверен, что взводный — младшой — давно уже обретается где-то у замка. Вот пускай он и объясняет начальству про дороги, про мост, про церковь, а его, Волченогова, оставили бы в покое. Благо, хоть Корявин про взводного даже и не спрашивает. На комбата это похоже: может и вовсе не вспомнить. Будто и не было никогда этого младшого в батарее.

Не понаслышке известна была Волченогову убийственная способность командира батареи — вычеркнуть напрочь человека из числа тех, кто достоин воевать с ним, Корявиным, рядом. Хмур был Корявин постоянно. Даже если выпьет изрядно и запоем вместе со всеми, то все равно с выражением недовольства и боли. Возможно, все было связано с прошлым. Толком никто в полку об этом не знал, не было, однако, сомнений, что во время всеобщего отступления на восток Корявин лишен был командирского звания и опущен до рядового артиллериста, а уж потом начал расти сызнова. Вот и дорос к окончанию войны до старшего лейтенанта.

После Пилицы Корявин сразу же перевел младшего на прямую наводку. «Здесь тебе проще будет — связи не требуется». Упорно не замечал даже скромных удач. Как-то при Волченогове майор Гуца молвил:

— Это же, кажется, твой взводный вчера, не дождавшись пехоты, немцев с перекрестка выбил. Всего двумя пушками, а комдив уже и танки туда посылать собирался.

— Тех немцев дохлых и гнать не требовалось, — откликнулся, смяв тонкие губы, Корявин, — они и сами спешили скорей ноги унести.

Явная пристрастность (причина лишь улавливалась) царапнула даже сержанта тогда.

Теперь, уже около замка, где колонна замерла в походном порядке, подошел он к тягачу, в кабине которого рядом с водителем сидел Корявин. Комбат был, ко всему, раздосадован недавним происшествием: мало что Курмаев спиртное изъял, так еще и неприятности из-за этого предвиделись немалые. Он угрюмо застыл, а Волченогова будто не слышал. Тот доложил, как полагалось, что выполнил, мол, задание, привел полк к назначенному месту. И не уходил. Стоял, переминаясь с ноги на ногу. Времени, с той поры как расстались они с младшим не по-доброму, прошло немало. Будь все в порядке, младшой давно был бы здесь, у замка. Волченогов все не решался напомнить о нем комбату, но тот вдруг сам указал подбородком на кузов впереди стоящей машины. Там спал человек, укрытый шинелью.

— А что ж ты взводного своего обходишь? Это не он ли, друг наш боевой, так сладко дрыхнет там?

Значит, помнил все-таки и Корявин о младшом! Легко же было бы ему сообразить, что при всем желании младший лейтенант в такой вот маленький калачик не мог свернуться никак.

— Там Желудяк, товарищ старший лейтенант, — вынужден был пояснить Волченогов, — брюхом он мается. В общем, неможется Желудяку. А младший лейтенант, я же говорил вам, а вы, наверно, запомняли, ушел разведать, что там возле церкви.

— Разведать... — Корявин хмыкнул. — В тылу можно и до самой победы разведывать. Для здоровья там надежней, как бы оно ни повернулось.

— Так, может, я на мотоцикле за ним сбегаю, товарищ старший лейтенант? Время же еще есть, а тут майор Лобаш Третьякова со взводом как раз вперед отправляет. Я бы с ними до развилки, а потом они все — к мосту, а я, значит, направо. Наверно, отудова до той церкви — рукой подать.

— Эх, Рассея-матушка, добрая душа твоя. Езжай. А вернетесь, пусть сразу ко мне явятся. Давно объяснить ему пора, где на фронте находится положено.

— Майор Гуца приказывали, чтоб младший лейтенант им лично доложил, как там и что. Возле церкви, значит.

— Ну тогда и ляд с ним! — Корявин махнул рукой. — Пускай хоть негусу абиссинскому докладывает и убирается ко всем негусам тоже. Без таких довоюем. — Выходит, мне идти можно? — с облегчением произнес Волченогов.

Корявин не придал его тону никакого значения, а между тем у сержанта отлегло от сердца.

На развилке он остался один. Третьяков с разведчиками, с минерами, даже с начником (Гуца настоял, чтоб и этот отправился вперед на случай, если придется наступать над переправой дымовую завесу) укатили на «додже» к мосту. Какую-то минуту сержант еще колебался: не догнать ли ему Третьякова. Но что-то напоминавшее вину и точить продолжало, и злило.

Волченогов гнал мотоцикл по просеку, по которому прошел не так давно младшой (впрочем, минуло уже часа три), но все еще бормотал под прерывистый рокот мотора:

— Понесло ж его сдуру к той церкви, а ты теперь вот ищи... Брылан губастый...

## Глава четвертая

И не знал, не ведал Степан Волченогов, что совсем еще недавно в тесно застроенном, засаженном деревьями и кустарником ташкентском дворе было у лейтенанта иное прозвище — Лайлак. По-местному — аист.

В том, что к будущему офицеру-артиллеристу прилипла столь обидная кличка, была немало повинна его мама Раиса Григорьевна, женщина темперамента вулканического. Бодрый голос Раисы Григорьевны уже с утра слышался во всех концах двора, уставленного по четырем сторонам глиняными строениями; стены от ветхости осыпались желтоватой трухой. Раиса Григорьевна царствовала в двух комнатах (задняя была без окошка) и в небольшом, всего шага в четыре, палисаднике, где дымил мангал. Едва сын показывался у ворот и, вскидывая острые коленки, как-то важно очень выстулая, направлялся через двор к своему палисаднику, Раиса Григорьевна восклицала, умудряясь одновременно и ликовать, и возмущаться:

— Лелик! Наконец-то! Я уже была уверена, что ты там и заночуешь, в своей библиотеке.

По какому-то лишь ей одной ведомому созвучию произвела Раиса Григорьевна этого «Лелика» от полного имени своего сына. По-южному шумливые и в то же время все слышащие ребяташки мгновенно переименовали этого Лелика в Лайлака, тем паче что и сходство с аистом побуждало к тому.

— Ты же с самого утра ничего не кушал. Ты пропадешь там в конце концов со своими книгами, — сокрушалась что ни день Раиса Григорьевна, призывая всех вокруг в свидетели своих материнских страданий. — Ты вот дождешься, — переходила она к угрозам, — я сама соберусь и пойду к твоему, к этому, Михаилу Нафтулловичу. Я потребую, чтоб сидения после уроков были прекращены раз и навсегда! Так ты понял меня или нет?

Михаил Нафтуллович, кругленький, крепенький, переполненный жизненными соками, работал в школе библиотекарем. То была одна из дополнительных служб, посещаемых им втайне от жен, взыскующих алименты. При всем при том был он человеком, непритворно влюбленным в литературу и весьма сведущим в ней. Пока Лелик и еще несколько восьмиклассников занимались по его поручению в общем-то нудной, но необходимой технической работой — заносили в лежавшие стопкой формуляры названия книг, взятых школьниками на дом, — Михаил Нафтуллович, отдуваясь и напевая приятным баритончиком нечто оперное, сообщал в паузах между «Я хотел бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть плечах» и «Я за сестру свою молю...» столько о самых разных книгах, и такое о будоражащей любопытство писательской жизни, что трепет возникал в неокрепших душах.

— Лопе де Вега сочинил две тысячи пьес! Вы только представьте это, парни! Но я вам еще и о другом скажу: что случилось бы, если бы каждая пьеса утверждалась, как сейчас, на бесчисленных советах и коллегиях? Гениальному испанцу пришлось бы прожить три тысячи лет, никак не меньше! — И Михаил Нафтуллович сочно хохотал, радуясь своему открытию.

Ради счастья общения с книгами, ради речей Михаила Нафтулловича готов был Лелик до ряби в глазах заполнять каталожные карточки, составлять описи журнальных публикаций, стирать едкую пыль со стеллажей. Праздничными были часы, когда Михаил Нафтуллович и ребята вносили в тесноватое помещение библиотеки связки только что полученных новых книг. Право первооткрывателя принадлежало, безусловно, самому библиотекарю. Масляно поблескивая глазами, так же, как при виде красивых учительниц или хороших старшекласниц, Михаил Нафтуллович брал в короткопалые ладони восхитительно пахнущую ледерином и краской книгу, бережно отворачивал обложку (при этом раздавалось дивное потрескивание; никогда потом оно не повторялось). Прежде всего заглядывал он в выходные сведения, где был указан объем книги и тираж. При этом он бормотал про себя нечто неумолимое, то выпячивая губу, то скептически усмехаясь. Затем перелистывал страницы, бережно, но с такой быстротой, что иллюстрации невозможно было разглядеть к досаде ребят, почтительно сгрудившихся за покатою спиной библиотекаря. Неожиданно Михаил Нафтуллович замирал, впившись взглядом в текст; с огромным нежеланием переворачивал страницу, однако вскоре возвращался к ней снова и тогда читал вслух с блаженными придыханиями, восторгаясь. И Лелик, в близком будущем — младшой, еще не в силах проникнуть во все очарование слов, был убежден, что скоро, очень скоро и он не уступит в этом даже Михаилу Нафтулловичу.

Сложней было с любовью.

Любовь называлась Галочка Гилязова. Оставаясь иногда в библиотеке один, трепеща, доставал Лелик из раздела 10-го класса «Б» такую же, как все другие, и все-таки совершенно особенную читательскую карточку и в сотый раз перечиты-

вал графы, заполненные ее собственной рукой: «Гилязова Галия Галимовна; год рождения 1923; домашний адрес — Улица Лугина, 18, квартира 3; место работы родителей — база «Заготскот».

Все здесь бело, и даже «Заготскот» поэзии не разрушал.

Галочка была старше на три года и на два школьных класса. В библиотеку заглядывала она нечасто, лишь по необходимости, если задавали что-то прочесть. Едва завидев ее в дверях, тонкую, с трепещущей округлой грудью, с распущенными по плечам легкими волосами, всю как на пружинках, Лелик с каждой минутой начинал все безудержней рдеть и, пробормотав нечто невразумительное, укрывался за стеллажами. Стоя за барьером из книг, прислушивался он к вкрадчивому мурлыканью Михаила Нафтулловича и бубенчикам смеха в ответ.

Впрочем, несмотря на обаяние Михаила Нафтулловича, Галочка оставалась в скромном книжном храме недолго. Ей нетерпелось попасть туда, где было интересней: в гимнастический зал, на озеро; там — Лелик с болью слышал, как судачили об этом старшеклассницы, — была у нее совсем уже взрослая компания.

Его властно тянуло навстречу страданию. Однажды он решился и встал в сумерках у заветного дома на улице Лугина. То было обычное в довоенном Ташкенте одноэтажное зданье с двумя крыльчками по фасаду, окрашенному в выцветшее белое с голубым. Квартира номер три находилась справа. Уже давно, проходя надо не надо мимо, заприметил он эту цифру на двустворчатой коричневой двери. Он догадывался, за которым из трех окон ее комната. В тот вечер окно сперва было темным, а потом на тюлевой занавеси возник Галочкин колеблющийся силуэт, сильно увеличенный и искаженный светом, падавшим сбоку. Мерно и плавно двигалась ее рука с расческой. Лелик почувствовал себя воришкой, ему захотелось бежать, но подожвы не отделялись от вытертого кирпичного тротуара. Он стоял долго, пока Галочкина тень не взметнулась и не исчезла, и тут же разглядел Лелик на крыльце, неярко освещенном лампочкой, летчика в роскошной коверкотовой форме и с кубиками в петлицах.

Он увидел, как приоткрылась створка, как высунулась тонкая Галочкина рука и потянула летчика за собой в квартиру. Мелькнула белая коробка с тортиком.

Ему захотелось умереть. Но всего лишь два года минуло, отдалилась Галочка едва ли не на иную планету. Облик ее представлялся вовсе уж неувеличим, когда тянул он курсантскую лямку в училище на Волге. Не все ли равно ему — учиться она в институте, работает в тыловом госпитале или попросту нянчит ребенка от того летчика? Но по пути на фронт охватило его неодолимое желание — написать Галочке. Хотя бы для того, чтоб знала: и он не лыком шит. И он теперь офицер. Может, даже получше, чем ее ташкентский ухажер. Он и предлог сыскал убедительный: Галочка была в школе активисткой, он и просил сообщить о судьбе двух парней из комитета комсомола, ну и о Михаиле Нафтулловиче: вдруг она и о библиотекаре что-нибудь знает. Вот — фронтовой адрес. Не без гордости: полевая почта... Едва ли не деловое письмо, и все-таки надежда теплилась. И он не сдержался, написал в конце: «Дни, когда ты приходила в библиотеку, хранятся в моей памяти, как самое, самое светлое воспоминание о мирной жизни. Понимай, как хочешь».

Полгода уже минуло, и не чаял младшой, что сердитый сейчас на всех и вся сержант Волченогов все-таки захватил, отправившись на поиски, два письма, только что доставленных полковым почтальоном. Одно от Раисы Григорьевны — посылала она их каждую неделю, второе — тоже из Ташкента, с улицы Лугина, 18.

Даже Третьяков, начальник полковой разведки, а уж он-то на фронте повидал немало, был удивлен крайне: превосходнейший мост оказался совершенно целехоньким. И никаких признаков, что под опорами или в предместье уложены мины. Так утверждал, тоже не скрывая своего удивления, минер, а был он в своем деле опытен. Чудеса да и только. Словно подарок немцы оставили! Трудно было поверить в это: ведь всего в каких-то трех десятках километров южнее те же немцы неистовствовали (четыре рухнувших «юнкерса» тому подтверждение), чтоб не пропустить корпусную колонну через вот эту же самую речушку на тот же противоположный берег, где сейчас совершенно спокойно стояли Третьяков и его разведчики.

Конечно же, и Гущей, когда выслушал он доклад своего начальника разведки, овладело смешанное чувство: с надеждой на скорый успех соединялась тревога, и крепла она от минуты к минуте. Война научила майора опасаться легких удач. Очень дорого платить за них приходилось зачастую. Но он и рисковать привык. Без этого ни большая, ни малая победа немислимы. К тому же попросту нелепо оставаться вот здесь, в лесу, у этого мрачного каменного сооружения, словно в яме; терпеливо дожидаться, когда там, где-то напротив Шпремберга, восстановят, на-

конец, понтонную переправу, когда совсем неподалеку — целехонький и, если верить (а иначе нельзя) уже Третьякову, надежнейший мост.

Полк был поднят опять и вскоре быстро — впрямь, будто в сказке — перешел по мосту на противоположный берег. Предусмотрительно решил Гуца продвинуться еще вперед, выйти на более возвышенное место, чтоб оказаться подалее от речной поймы, от топи, раскинувшейся по обоим берегам едва ли не на версту. (Потому-то и мост был таким длинным.)

Колонна шла по-прежнему задом наперед: впереди всех полковые тылы.

— От мы уже и на западный берег перебрались, а в дивизии, в корпусе про это знают? — Гуца не скрывал недовольства. Он сидел рядом с водителем, и Лобашу (он сидел позади) невольно пришлось принять почтительную позу — наклониться к спине командира полка.

— По рации, даже шифровкой, в подобных случаях доносить не положено. Никак! — Лобаш вроде бы о простой истине напоминал, но смущения скрыть не мог.

— Так нарочного пошлите.

— Офицера связи?

— Хоть чертом назовите его, но только ж действовать надо!

Вот-те и упрек заработал. Но словно заклинило. Держа планшет на колене, плотнее усевшись, Лобаш, тот самый Лобаш, который всегда, будто играючи, что вызывало у кого восхищение, у кого зависть, расправлялся с текстом любого документа, теперь донесение составить не мог. По несколько раз зачеркивал он и писал заново каждую фразу, но все равно оставались невнятицы. Нет же сомнений, что как раз сразу на них-то и споткнется начальник штаба дивизии, полковник Чхиквадзе. Лобаш живо представил слоновой кости лик, надменно вскинутую голову:

«Это не военное донесение, а мальчишеское бзкание и мзкание! Прежде всего, откуда и куда ведут твои не обозначенные на картах дороги, скажи? Почему на пустом месте ни с того ни с сего мост появился, скажи? Это же — не пустяк какой-нибудь! А вдруг все это — ловушка? Почему такое в твою мудрую голову не приходит?»

Насчет ловушки — глупости. Это и сам Чхиквадзе понимает. И все-таки пристыдит он, высмеет при случае. И пострадает репутация самого толкового в дивизии штабника, первого кандидата на повышение, ведь еще на Смоленщине тот же Чхиквадзе на дивизионном совещании ставил Лобаша в пример другим штабным.

Дорога, между тем, свернула на север, и в редком сосновом подлеске Гуца колонну остановил.

— Дальше двигаться наобум рискованно, — объяснил он, вылезая из «виллиса». — Вон там, на склоне слева, и развернемся. На всякий случай — боевым порядком. Окопаемся и ждать будем, что нам начальство дальше делать прикажет.

— А то до сих пор мы четко следовали всем предписаниям! — Лобаш усмехнулся. Гуца взглянул на него, явно не поняв, к чему это он клонит, и Лобаш опять растолковал: — Нам же, кажется, не приказывали категорически — ни шоссе покидать, ни, тем более, самостоятельно переправляться?

— Так что ж выходит: плохо мы сделали, что инициативу проявили?

Теперь уже Лобаш не смог скрыть раздражения. Он зло хлопнул ладонью по своему планшету:

— Как докладывать? Прошли дорогой, которая ведет неизвестно откуда и куда? Полковник Чхиквадзе неопределенностей не терпит. Нужны разведанные. Достоверные и точные.

Становилось похоже на перебранку, потому и Гуца не выдержал:

— Ну и хрен с ним, что он там терпит не терпит ваш Чхиквадзе<sup>1</sup>. Не то что в дивизии — в самом корпусе давным-давно должны были узнать про все. Я еще утром, как только мы те кроки маршрута от корявинского комвзвода получили, сразу распорядился: до-ло-жить! Несолудная схема, — он словно передразнил Лобаша. — Вот война кончится, будем красивые бумажки составлять на каких-нибудь там армейских учениях, чтоб командованию потрафить. А сейчас суть важна. Вздрючку дадут — мы стершим. Не привыкать. Зато дело выиграет, а потому сообщите немедля шифровкой или как угодно, но чтоб в корпусе, про дивизию уже не говоря, знали: есть дороги, есть мост. Вот они перед вами!

Но как назло еще и шифровальщик запропастился куда-то, да и рация, как обычно, барахла. Что ж до офицера связи (роль эту, по чести говоря, исполнял всего лишь сержант, впрочем, весьма сноровистый), то ему предстояло добираться

<sup>1</sup> Можно сравнить, пренебрегая колоссальным различием в чинах и положении: «Идти на доклад в Ставку с картами, на которых были хоть какие-то «белые пятна» ... было невозможно. И. В. Сталин не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности». Г. К. Жуков. «Воспоминания и размышления». М., «АПН», 1972 г.



до штаба корпуса верхом по запруженному шоссе. Тем не менее, и он уехал, шифровка была по эфиру передана. (На сколке с карты, который был увезен в дивизию, Лобаш — стыд и срам! — изобразил в тылу полка крестик, а рядом — неуставной вопросительный знак. Ну, ей-ей, чем не под стать тому мальчишке-взводному. Кстати, где он до сих пор? Надо бы разыскать его все-таки).

Гуца, между тем, отдавал офицерам приказ на боевое развертывание. Все следили за его рукой, указывавшей, где разместить огневые позиции. Только несколько ординарцев стояли кучкой в стороне, и вот кто-то из них чрезмерно возбужденно, как повелось еще со страшного июня сорок первого года, выкрикнул:

— Танки справа!

Тут же десятки голосов тревожно повторили этот возглас.

«...Влезли-таки черту в зубы. Сами! Так я и знал! Вот тебе и инициатива...» Еще не веря, Лобаш вслед за командиром полка вскочил на подножку «виллиса». Пасмурность сгущалась, но кресты на скошенных боках у танков и самоходок были различимы четко. Машин было очень много, а из сосняка выползали все новые и новые, и все они, переваливаясь на пологом склоне, двигались к бетонке, где застыла, на миг оцепенев, полковая колонна. Натужно рыча, танки с каждым мгновением приближались. Забыв, что первое слово принадлежит не ему, Лобаш выкрикнул какие-то, все равно никем не услышанные, распоряжения; весь ужас того, что вот-вот должно было свершиться, вмиг представился ему. Никогда еще не приходилось Лобашу видеть подобную массу брони, прущую прямо на полковую колонну, а значит — и на него! Будь в распоряжении полка даже вдвое больше орудий, будь они не на дороге, прицепленные к передкам, как теперь, а на оборудованных огневых позициях, готовые к бою, имели бы пристрелянные ориентиры, полный комплект противотанковых снарядов, и то дело было бы — труба. Не сразу понял он, что это же ему в самое ухо орет Гуца:

— Лобаш! Гони в первый дивизион! Отведи гаубицы подальше, рассредоточьтесь, развернитесь и бейте им в зад! Курмаев! Во второй дивизион! Какого они там поразбежались? Ждут, чтобы раздавили сперва пушки, а потом — их самих? Нехай огонь открывают! Я сам разверну третий дивизион перед мостом. Все! — И легким гимнастическим шагом побежал он по обочине к батареям.

Один лишь Корявин, не дожидаясь распоряжений начальства, следуя своей незабываемой установке, делал, пусть правильно-неправильно, но то единственное, что и полагается делать на войне: увидел противника — бей! Он уже развернул свои пушки к бою прямо на шоссе, перебирался теперь на корточках от расчета к расчету, успевая за секунды подсказать самое необходимое: чтоб пристрелочные выстрелы делали фугасными, потому что бронебойных, как всегда, кот наплакат; сошники вставить в щели между бетонными плитами, тогда при первых же откатах стальные пластины-лемеха сами влезут в щели и закрепят орудие. Уже подтаскивали снаряды, уже опускались стволы, следя за головными танками.

— Молодчик, Корявин! — прокричал еще издали Гуца. Лишний раз подтверждал этот очень неудобный и для начальства, и для своих подчиненных комбат, что умеет он делать на фронте главное — воевать. За это все простить можно было: и хамство, порой неприкрытое, и пьянку жестокую, едва полк отводили в тыл, и многое другое, что вызывало особое возмущение со стороны замполита Курмаева и именовалось им не иначе, как политическая незрелость. Странно, казалось бы, когда речь — о самом старшем по возрасту из строевых офицеров, но, увы, — так...

А танки вели себя крайне непонятно. Они надвигались без единого выстрела, будто решили задавить артиллеристов только лишь гусеницами одними. И автоматчиков не было видно ни на броне, ни позади взрывающих на подъемах машин. Не мог же в самом деле не видеть какой-то там фашистский командир, что вот уже и стволы направлены на его танки? И все-таки он будто давал фору: выстройте, мол, оборону, а уж потом сразимся.

Все это Гуца успел заметить и осознать в те короткие мгновения, пока бежал вдоль колонны.

Корявинские пушки открыли огонь, и вот тут-то противник впервые огрызнулся. Будто нехотя, выбросили две-три самоходки по сгустку из своих стволов. Сноп грязи взлетел у обочины. Другой снаряд срикошетировал от бетонки, не разорвавшись, и с резким противным звуком пропорол воздух. Вспыхнул «студебеккер». Тонкие обрешетины бортов ярко запылали. Немолодой офицер, ведавший продовольствием, выскочил откуда-то навстречу Гуце. Обеими руками зажимал он живот. Округлившись несчастные глаза обратились к командиру, ища спасения.

— Перевяжите его! — крикнул Гуца непонятно кому и для чего. Он не замедлял бег и вскоре оказался в хвосте колонны. Ощувив рядом с собой командира полка, услышав его голос, люди воспрянули, и, хотя еще несколько снарядов разорвалось поблизости, началась и здесь воинская работа — единственное, что позволяет преодолеть страх и обрести себя. Надрываясь, перетащили солдаты орудия

на относительно сухие проплешины, и вскоре и отсюда ударили по танкам. Едва ли не сразу же раздался возглас, что бронебойные — все! Гуща приказал вывинчивать взрыватели и бить «болванками». Он сам схватил ключ и показал какому-то растерявшемуся солдатику, как обезглавить снаряд. Прошибить броню «болванки», понятно, не могли, однако они со страшной силой сотрясали металлический короб, оглушая танкистов; гусеницы же при прямом попадании попросту раздирало вдрызг.

А немцы, отвечая, как ни странно, все реже и реже, продолжали между тем все так же целеустремленно двигаться к дороге. Они даже ушли влево, оставляя артиллеристов позади. Будто пренебрегали такой вот мелкой сошкой, как артполк, в преддверии какого-то достойного их мощи воинского дела. И все же нет-нет, словно отплеываясь, выбрасывали снаряд-другой. И весьма точно. Пылали на шоссе тягачи, а ординарец, он только что подбежал к командиру полка, прокричал, что у Корявина только одна пушка и осталась. Но ведет огонь! И еще — Рымар, пятидесятилетний дядька из хоззвода — зажег «тигра» немецким же фауст-патроном. Залег старина за кочкой и бабахнул громадине в зад. Пламя так и взметнулось...

Вот-те и обозник, тыловик!

— Гони к Корявину обратно. Он свое дело уже сделал. Нехай сматывается, а то вон танки уже и на шоссе выбираются. Пускай все, все с дороги убираются ко всем матерям! Какого они рты пораззявили!

Вновь рвануло, теперь совсем уж близко.

— Быстреей! — закричал Гуща и повторил еще громче, потому что перестал слышать себя: — Не валандайтесь зазря! С дороги! Всем!

В прыгающих отсветах пламени силуэты вражеских машин казались гигантскими. Они ревели, упорно взбираясь на бетонку, а потом сразу на предельной скорости устремлялись к реке. В спины им ударили болванками гаубицы. («Наконец-то!») Прямо на шоссе завертелся на разорванной гусенице «фердинанд». Какой-то миг Гуща со злым удовлетворением наблюдал, как машины, напиравшие сзади, безжалостно сталкивали эту самоходку вниз под насыпь, не иначе как вместе с экипажем, а бронированная колонна уже приблизилась к мосту и пошла, пошла на другой берег, в тыл к нашим наступавшим войскам.

Какой-то тряпкой бережно оттирал ординарец заляпанное болотной жижей лицо своего командира. Смутно припоминал Гуща, как совсем недавно сбила его с ног теплая, удушающе пахнущая тротиллом волна. Только сейчас ощутил он гудящую тяжесть в голове, но сквозь боль и туман пробивалась все та же, не дававшая покоя с самого начала мысль: почему же немецкая танковая бригада, никак не меньше, по числу машин судя, вела себя в бою так, будто единственной целью ее было — прорваться к нам в тыл? Больше того: танки двинулись вовсе не на юг, мимо лесного замка, к корпусной колонне, застрявшей на шоссе, а, вопреки всем предположениям и даже логике, куда-то в лес, в направлении той самой, не обозначенной на картах церкви. Об этом доложил Гуще начальник разведки Третьяков.

«Так якогo ж биса йим треба?» — подумал Гуща уже на родном языке, будто это могло помочь уразуметь, почему противник повел себя столь непонятно. Однако соображай, отметай одну за другой догадки, а сам действуй. Полк по приказу Гущи отошел обратно, — через мост все к той же развилке, и вот там было решено занять противотанковую оборону. Сам командир полка, хотя удавалось это ему сейчас хуже, чем обычно, указывал рубежи, снова полез в грязь, проваливаясь по колена, чтоб остановить батарею, которая стала пробираться явно не туда. Гуща мотал головой, стараясь развеять туман и боль так, как разгоняют дым. Ему было худо, но он не терял пока ни командирской хватки, ни властности. Заряд решимости передавался от него подчиненным, и мрачные сомнения («Хрен с два сдержать нам натиск, чертова же уйма этих танков гадских!») рассеивались, рождалось у мужчин суровое намерение: если отдать свою жизнь, то подороже! Батареи готовились дать немцам бой. Перед фронтом засели в мокрых, наспех вырытых ямах самые отважные — истребители со связками противотанковых гранат. Герой дня, сивый обозник Рымар был среди них с тремя неистраченными фауст-патронами (подобрал где-то на фронтовой дороге запасливый мужичок). Как велел опыт, истребители должны были пропустить танки, а уж затем постараться угодить гранатами по моторной части или по гусеницам. Возглавил группу сам подполковник Курмаев, хотя Гуща возражал.

— В таких случаях личным примером действовать надо, — сказал ему в ответ замполит, и желваки на его скулах застыли.

Однако уже совсем стемнело, а гул танковых моторов как стих, удаляясь, так и не возобновлялся. К тому же дождь усилился, и это было тоже на руку артиллеристам: вся местность перед их позициями все больше превращалась в топь. Зна-

чит, развернувшись, танковая лава пройти тут не сможет никак. Неизбежно вытянется в цепочку, а вот тогда и справляться с танками гораздо легче. Стало ясно и другое: по вязкому грунту да еще в темноте немцы вряд ли предпримут атаку. Значит, выдалась передышка до рассвета. Пришел час похоронить убитых, обсушиться живым и целым.

Подходили на короткий совет офицеры. Справа от Гущи уселся на поваленной сосне майор Лобаш.

— Как же теперь докладывать в дивизию? Мы не на западном берегу? Мы назад вернулись? Или как?

Конечно же, и упрек тут ясно читался: это же по твоему приказу полк через мост перешел. А теперь вот мы опять пришли к тому, с чего начинать следовало: здесь вот, на этой развилке, и будем мы ложиться костями, чтоб не пустить танки ни обратно на мост, ни к шоссе, где корпусная колонна мается.

— Доложить все, как есть, — сухо откликнулся Гуща. — И не тянуть.

Тихо переговаривались подошедшие на совет офицеры:

— Танки роммелевские, точно. Камуфляж африканский видали?

— Но куда они поперли в тыл? И зачем?

— Про наши танковые рейды по тылам ты забыл? А фриц не дура: запер наш корпус возле той раздолбанной переправы, а сейчас вот норовит в бок колонне ударить и в болота весь корпус скинуть.

Кто-то не выдержал, посетовал потихоньку (Гуща и впрямь не расслышал — кто):

— Сидели бы мы себе на шоссе вместе со всеми и не рыпались. А то столкнулись нос к носу.

— И ударили бы тогда танки с ходу по всей колонне. А тебя тоже достали бы, как миленького. Умник...

Вступил Гуща. Речь его звучала сейчас трудно; слова будто сквозь кляп прорывались. Он то и дело касался пальцами горла, тер виски:

— Полагаю, все, кто остался в строю, уже находятся здесь. Мне доложили, что из офицеров ранен командир второго дивизиона Сорокин. Ранен Корявин, но, говорят, легко. Убит Левицкий. Мы его недавно из взводных на батарею поставили, теперь его заменил старшина Журин. Здесь ты, старшина? Лады. Начальнику продснабжения живот пропороло. Я видел. Плохие дела у него. Кто еще из штабных?

— Начхим отсутствует, — сообщил Лобаш, — но, возможно, связные не смогли разыскать его.

— Не там, где надо искали, — заметил кто-то под смехом. — Под бочком у Любки не смотрели?

— Без начхима как-нибудь обойдемся. — Гуща продолжал сухо, почти сердито. То был и ответ Лобашу тоже: — Да, полк наш пострадал, и сильно. Мы столкнулись внезапно с крупным танковым соединением. Потери понесли немалые. Но только же, товарищи офицеры, и для немцев наше появление было неожиданным! Они ж не сомневались, что в районе тщательно скрываемого ими моста наших войск нету, а тут — на тебе! И, как бы там оно ни было, к основной колонне нашей мы танки не пропустили. Факт. В дивизии, да и повыше тоже, уже знают про наше столкновение с большим танковым соединением. Решения, конечно, командование принимает. Не исключено, ИПТАП сюда подойдет, танковый полк тоже дремать не станет, но только надеяться, товарищи офицеры, будем пока только на самих себя. А потому: огневые дооборудовать. Хорошенько укрыть матчасть, боеприпасы. Только после того обсушиться и все прочее.

Как-то неожиданно Гуща умолк и присел рядом с Лобашем.

— Разведку, конечно, до рассвету как следует не провести, — произнес он вовсе уж изменившимся голосом, — но только, сдается мне, не зазря ушли танки в тыл. Не зазря... Все тутошные загадки — одно к одному. А выяснить надо. Во что бы то ни стало.

Гуща обхватил рукой горло, и полковой врач, давно собиравшийся подойти к нему, теперь наконец решился:

— У вас контузия, товарищ майор, — сказал он, наклоняясь. — Покой вам нужен, и немедленно.

Гуща вяло отмахнулся, но в тот же миг его словно переломило пополам. Врач подхватил его. Офицеры сгрудились вокруг командира, заговорили озабоченно все сразу. Вместе с ординарцем врач приподнял Гущу и увел к фургону санчасти — благо, оставшемуся целым после недавнего столкновения. Гуща лег и отстранил руку врача, уже набравшего в шприц лекарство.

— Никаких там успокоительных не требуется. Обойдуся, — он отвернулся к борту и затих.

А Лобаш уже докладывал по радию и о том, что Гуща выбыл из строя. И по логике, и по чину место командира полка занял он, начальник штаба.

Тот капитан, который ведал в полку химической службой, был один из очень немногих, кому удалось целым и невредимым пройти в составе дивизии от Москвы, где была дивизия сформирована еще в сорок втором, и почти что до самого Берлина. Он был ветераном части, однако офицеры, особенно строевые, начхима недолюбливали. Вряд ли можно было объяснить это одной лишь завистью, хотя, едва заходила о начхиме речь, кто-нибудь неизменно замечал: «На груди иконостас, а в фрица так ни разу и не выстрелил». Начхим и вправду умудрялся получать награды после каждой удачно проведенной полком операции. По службе был он занят мало, и, когда шло массовое награждение — ему поручалось писать представления к орденам и медалям. Он понаторел в этом деле, в общем-то несложном; тексты зачастую были стандартны, тем более, если дело шло о скромных наградах, находившихся в ведении командира дивизии. Ну и о себе не забывал, не претендуя на высокие отличия. К примеру: «Заменял выбывшего из строя начальника боепитания и под яростным огнем противника обеспечил доставку снарядов на огневые позиции...» Все тут было правда, кроме «яростного огня», но очередную медаль, а то и, если начальство находилось в добром расположении, орденоч начхим к уже имеющимся добавлял. Тем паче, что и с начальством он ладить умел. Возникал кстати и неизменно с приятной вестью, анекдотцем, а то и с коробкой трофейных сигар. Мудрено ли, что на коротком отдыхе или на переформировке начхим в отлично сшитом кителе, украшенном рядом медалей и парочкой орденов, выглядел весьма импозантно. Но не только поэтому полковые девушки могли даже повздорить между собой из-за начхима. Немало значил и взгляд неожиданно светлых на смуглом лице глаз, да еще — из-под изогнутых тонких бровей. Впрочем, начхим заботился, чтоб обойденных его вниманием не оставалось, и не только в родимом полку.

— Тебе бы еще и медаль «За половую доблесть», — пошучивал Лобаш все же снисходительно. Помнилось, что у начхима имеется родич «аж там», да и не осуждал начальник штаба шашни на досуге, а у начхима свободного времени, как уже говорилось, было куда больше, чем у всех. При всем при том, сам красавец-майор золотое правило «со своими, тем паче с подчиненными — никаких амуров» соблюдал свято. (Нет же громкогласней компрометажа, чем связь с подчиненной.)

Но вот назначен был командиром полка майор Гуца, и начхим сразу почувствовал, что завершение фронтового пути будет для него куда более трудным.

Будучи еще на более низких должностях, командуя батареей, а потом и дивизионом, Гуца словно не замечал ни начхима, ни его украшенную грудь. Однако, встав во главе полка, он вскоре проверил на выборку противогазы, сваленные, как водилось, в кучу. Пять из семи оказались с дефектами. Гуца объявил начхиму вполне справедливое замечание в приказе и заодно распорядился, чтоб он не забывал о своих многочисленных обязанностях, в том числе — прикрывал огневые позиции в случае необходимости дымовой завесой. Тогда и людей, и техники полк терял бы меньше.

Забот сразу прибавилось, а в штабном блиндаже или фургоне начхим в присутствии Гуци чувствовал себя далеко не так уютно, как прежде. Он оставил обжитое место и перенес свой внушительный чемодан в полуторку. В ней передвигался его взвод, минеры и несколько хозяйственников. Потому и случилось так, что, поскольку полк шел тылами вперед, именно эта расшатанная полуторка съехала с моста одной из первых.

Стрелять из пушки по столь неказистой машине немцы не стали. Полоснули из пулемета зажигательными, и «газик» сразу вспыхнул. Кто мог, прыгнул. Их пристрелили почти всех. Постигла бы такая участь и начхима, но, выбросившись через борт, он потерял шинель, которую носил внакидку. Медали блеснули в ответе пламени, и случилось так, что сам командующий бронетанковой группой генерал Вернер фон Принцау заметил это издали и распорядился по рации:

— Того, с отличиями, взять живым. Он нам пригодится.

Произошло все это в первые мгновения, когда все были еще слишком ошеломлены внезапным появлением вражеских танков. Никто не заметил, как немцы уволокли начхима к себе.

Вот, пятилетний, сгребает он со скатерти сервизные чашки и с наслаждением грохает о паркет. Одну за другой, следя, как разлетаются осколки. При каждом ударе полные мамыны плечи вздрагивают. Мама отводит небесные глаза и жалко улыбается.

— Пускай! — жестко произносит усатая бабушка и добавляет наставительно: — Всякие вещи купить можно, а вот радость ребенка ни за какие деньги не

купишь. Пускай, пока маленький. — На бабушкином пергаментном лице не видно поощрения, однако и осуждения не заметно, и потому он с упоением разбивает еще и блюда. — У нас в роду всякую чепуху, вроде посуды, не жалеют, — сказано опять же для мамы, иноплеменницы, — у нас только хотят, чтоб ребенку хорошо было. И все!

Потом, в московском дворе, стиснутом высокими домами со множеством выступов и пристроек, катается он на новеньком велосипеде с розовыми шинами. Ему, конечно, завидуют, и это умножает счастье.

— А без рук тебе слабо! — подзуживают бегающие следом мальчишки.

Не сразу решившись, он все-таки отпускает руль. Переднее колесо тут же виляет куда-то в сторону и ударяется о каменную тумбу у ворот.

— Не плачь! — кричит из окна папа. — Вилисапэт новый купим. Только дураков не слушайся никогда, ты понял?

Он уже бреется; тут он обогнал всех одноклассников. Высок, гибок. Весь в отца, гордится бабушка. Только глаза от матери. Лучше всех танцует на школьных вечерах. Сразу несколько девочек влюблены в него. Тихая Валя из девятого «в» согласна на все, был бы только он рядом. Но Валя быстро надоедает, тем паче что неожиданно возникает невероятное счастье: совсем взрослая женщина. Она белолица, праздна. Говорит всем, что муж ее — военный и отправлен на длительное задание. По утрам он все-таки собирает тетради, но сразу вбегает в соседний подъезд. Всю весну длится упоение, а в школе переэкзаменовка. Уломать сухаря-математика даже бабушке не удалось. Но она же и выход предлагает.

Два блаженных года проводит он на юге, в обширной усадьбе у бабушкиных родичей. У него уже не только школьный аттестат — он студент-заочник в институте потребкооперации. «Там, где учат, как гребешки плешивым подороже продавать...» — по-доброму шутят приятели. Где-то в каких-то ректоратах и деканатах все идет путем, у него же что ни день — праздник. Компания, сугубо мужская, разумеется; на ресторанным столике крестом (чтоб все вокруг видели!) дюжина коньяка и полдюжины шампанского. После обеда — бильярд, катание на открытой машине с блондинками, с такими девочками, чтоб у тех, кто только лишь провожает угрюмыми взглядами с тротуаров, мыло на губах от зависти выступало! Если охота — модная игра, покер до рассвета.

Изредка присылала открытку мама, спрашивала не у него — у бабушкиных родичей, как там сын? Родичи — именно бубушкино племя! — отвечали: не беспокойся, живет, как полагается молодому человеку — в свое удовольствие. Забот ему еще в жизни, к сожалению, хватит.

Заботы пришли вместе с войной, но и тогда кто-то из горячо любящих устроил в училище химзащиты. Еще и сострил, как принято:

— Ты даже на фронте будешь не истребитель, не штурмовик, не бронебойщик, а защит-ник! Даже на войне гуманное дело будешь делать. Понял?

Полагал доброхот (и не ошибся), что газы фашистами применяться не будут, ну а химические подразделения все-таки всегда в тылу.

Так оно и было почти все три года. Но кто мог предполагать, что на том треклятом мосту химзвод окажется ближе всех к врагам! И ведь еще обидней, что уже к самому концу войны...

Был он скорее ошарашен, чем испуган. Все не верилось, что это же его, избранника и баловня судьбы, не кого другого, чужие, безжалостные и сильные руки волокут по грязи, потом вбрасывают в смердящее керосином, пороховой гарью, спиртовым перегаром и едким немецким гуталином нутро бронетранспортера, под ноги гогочущим солдатам (а те еще и покатали его, потешаясь, от одного борта к другому и, увлекшись забавой, забили бы до смерти, когда б не начальственный голос, приказавший оставить Ивана в покое, поскольку он самому генералу для чего-то понадобился).

Солдаты затихли, вскоре же их голоса зазвучали тревожно, причем чаще всего повторялось понятное и начиму, замершему на трясущемся холодном полу вездеходки:

— Scheisse! Kein Ligroin mehr...<sup>1</sup>

Вскоре машина встала. И стихал постепенно грохот и гул вокруг: моторы глохли один за другим. Сильная, казалось, все одна и та же, рука смяла китель на загорбке и выволокла начхима наружу.

В сизом полумраке, пронизанном частыми, паутинной тонкости струями дождя, глыбились силуэты боевых машин. Они застыли в беспорядке, там, где у каждой кончилось горючее.

— Хальт! — рывкнул в ухо жизнерадостный, а скорее попросту перебравший спиртного гауптман. На нем были кожаные, облепляющие крутой зад штаны. Он

<sup>1</sup> Дрянь! Лигроина больше нет... (нем.)

гмыкнул, довольный, потому что начхим поспешно по-черепашьи втянул голову в плечи. Пренебрежительно черкнул гауптман пальцем по наградам на кителе, будто только что увидел их. — Tausende deutsche Soldaten mashen du 'pif-paf' <sup>1</sup>, — заключил он, оскалив зубастый рот. — Du bist eshte russische Held! <sup>2</sup> — Он щелкнул начхима по носу снизу вверх, хохотнул снова и, заметив, что генерал вылез из машины, ухватил, словно клешней, за плечо и поволок начхима, хотя тот упираться и не помышлял.

В ложбинке у генеральского бронетранспортера уже стоял пожилой человек со сваявшимися старшинскими погонами на телогрейке. Он беспрерывно мотал маленькой головой, будто старался вытрясти из ушей воду. То был еще один захваченный наспех пленный — завскладом полковой продчасти, конечно же, хорошо знакомый начхиму. Обращаясь к переводчику унтер-офицеру, генерал спросил у старшины:

— Вслед за артиллерией шли к мосту еще какие-то другие войска?

Старшина вместо ответа еще старательней затряс головой, замычал, беспрерывно указывая на свой рот и уши.

— Genug! <sup>3</sup> — брезгливо произнес генерал, отвернулся и хлопнул снятой перчаткой по руке. Ему надоел дешевый прием, к которому с самого начала войны прибегал едва ли не каждый из пленных, не желавший давать ответы на допросе. Все были контужены, все не слышат или не могут говорить. Да и вовсе не «язык» нужен был сейчас генералу Вернеру фон Принцлау. Он и без того прекрасно был осведомлен об обстановке. Немецкие летчики недавно передали по радию, что вся русская колонна по-прежнему задерживается у понтонной переправы. Вот только какая-то артиллерийская часть (десятка три орудий, никак не больше, да и от тех после короткого боя осталось не так уж много) возникла совершенно неожиданно у моста, о котором — немецкое командование уверено было — русские до поры ни знать, ни догадываться не должны были. Это-то и вызывало главную тревогу у генерала, потому что, коли русские уже прошли по этой дороге к мосту, то не исключено, что известно им, откуда выходит эта дорога. А именно туда, в зону «Эддазекс», и торопился сейчас со своими танкистами генерал Вернер фон Принцлау. Ради этого прорвали они, потеряв при этом десяток машин, фронт у Котбуса, а затем оттеснили, правда быстро и без особого ущерба для себя, еще и этих артиллеристов у моста. Так кто и что сейчас в зоне? Вот об этом и нужно было разузнать прежде всего генералу, чтоб не нарваться опять на каких-то русских артиллеристов или, того хуже, танкистов. Без горючего, без снарядов бригада была почти бесполезна. Какая-то русская танковая рота и та расправилась бы с нею шутя. Медлить нельзя было, затем-то и понадобился генералу этот увешанный медалями офицер, которого почти подтащил за шиворот гауптман.

— До зоны километр, не больше, — сказал генерал, — отправляйтесь туда, гауптман. С собою возьмите необходимое охранение, русского офицера пустите вперед. Одного, разумеется. Выдайте ему аусвайс для наших, а к своим он и сам без документов не сунется. Это по нему видно.

Генерал опять оглядел обоих. Сутулый, в испачканном ватнике старшина снова похлопал себя по ушам и пожал плечами. Расчет обычный: что, мол, возьмешь с такого?

— Den Dummkopf must man sofort likwidieren! <sup>4</sup> — произнес генерал и поморщился.

Старшина догадался. Еще отчаянней замотал он головой. Мольба и ужас застыли в его глазах, обращенных к генералу.

Вернер фон Принцлау отвернулся.

— Я разрешаю офицеру попрощаться со своим соратником, — сказал он. — Полагаю, сам офицер будет благодарней? — И выкрикнул: — В вашей башке, надеюсь, порядка побольше? Отвечать!

— Нормально... — выдавил из пересохшей гортани начхим. Переводчик ухватил его за подбородок и резко повернул вправо:

— Генералу отведай, а не мне!

Веселый гауптман толкнул начхима к старшине. Тот, сникнув, держался пальцами за кадык.

— Küß ihn! <sup>5</sup> — Гауптман обдавал начхима густым дыханием. Вся эта процедура, продиктованная аристократическими причудами генерала, доставляла гауптману несомненное удовольствие.

<sup>1</sup> Тысячи немецких солдат ты «пиф-пафф».

<sup>2</sup> Ты подлинный русский герой!

<sup>3</sup> Довольно!

<sup>4</sup> Дурня поскорей ликвидировать.

<sup>5</sup> Целуй его.

Начхим и впрямь прижался на миг к телогрейке.

— Скоро и я за тобою, — произнес он, преодолевая спазм.

Как-то тоненько пробормотал старшина в самое ухо ему:

— Разве ж они пощадят, гады... Так или иначе...

— Das ist keine Hure, welshe du Kwetshen muss!<sup>1</sup>

Начхим не успел отпрянуть, как гауптман, приткнув парабеллум к боку старшины, нажал дважды подряд на спуск. Старшина рухнул, задев отскочившего начхима рукой.

Генерал произнес через плечо — смотреть на казнь и на труп ему не хотелось:

— Сейчас вы подпишете обязательство. Это небольшая формальность, а затем гауптман объяснит вам задание. Выполните четко — гарантирую жизнь. Лично я гарантирую, вы поняли?

Теперь начхим воспринимал себя вовсе уж словно сторонний наблюдатель. В вибрирующем тревожном сознании отразилось, как тот, другой, на чьи поступки влиять был он не в силах, черкнул свою подпись на плотном бланке со стандартным текстом, напечатанным по-русски и по-немецки. Гауптман спрятал бланк к себе в нагрудный карман, а переводчик, цокая, начал переводить то, о чем уже совсем иным, не дурашливым тоном, трезво и строго, говорил гауптман.

— Ваша задача проста: узнать, есть ли в селении русские, какие именно части, численность солдат и вооружения, есть ли охрана у складов. И тут же вернуться и доложить обо всем мне. Если сбегите, ваша расписка непременно окажется у русских. Это я гарантирую. Tort mit aush!<sup>2</sup> — Гауптман круто развернул начхима за плечи в сторону кирхи и легонько поддал ему ладонью под задок. Так поощряют шлюху на пороге ее комнаты.

Сам гауптман и несколько автоматчиков двигались следом, держась позади начхима шагах в двадцати.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Ханна

#### Глава первая

Сперва младшой шагал напролом через мокрые кустарники и молодую поросль. Упругие побеги больно кололи, обдавали холодными каплями лицо. То и дело попадались ямки, вымытые дождями и талой водой, занесенные прелой листвой.. Он начал быстро уставать и решил пренебречь осторожностью. Да и в самом-то деле: километрах в двадцати, никак уж не меньше, от передовой, да еще по лесу, можно и открыто, никого не опасаясь, идти. И с тем вышел смело на просеку.

Вела она как раз на северо-восток — значит, скорей всего туда, куда ему и нужно было. Заворчал на западе, будто проснувшись, фронт, но здесь было безлюдно и тихо. Уже не впервые стало младшому неловко: вдруг решил сержант Волченогов, что он, младшой, вовсе не местность обследовать отправился, а от греха подалее скрылся, чтоб все шишки за Желудяка пьяного на сержанта свалились? Вспомнив о пьяном ефрейторе, младшой даже зубами скрипнул. Ну, допустим, Волченогова еще как-то понять можно было: чуть ли не старик, но откуда у девятнадцатилетнего вот такое пагубное пристрастие? Ну, спрятано у них где-то там было вино, так неужто потерпеть Желудяк не мог? Налакаться в разведке. Гнусней не придумаешь. Вот и войю, имея таких подчиненных...

Где было знать младшому, что и сам-то Желудяк даже положенные ему изредка, как всем, сто граммов менял до последней поры то на портянки байковые, то на сахар, а иногда просто так отдавал, тому же Волченогову в знак уважения. Тем паче, не стал бы он пить в разведке. Баклажка дырявая подвела.

Когда подъезжали к приметной сосне, он проговорил в самое ухо сержанту:

— От здесь я как раз тую фляжку и скинул.

— Помню сам, — хмуро откликнулся Волченогов и покосился на младшого. Рисковать ему не хотелось, но жаль было, что греха таить, и красного (а был-то, несомненно, коньяк, да еще — отлично выдержанный), которого даже отведать не довелось.

<sup>1</sup> Это тебе не шлюха, которую ты тискать должен!

<sup>2</sup> Пошел вон!

— Баклажка есть у тебя? — спросил он. — Тогда скажи, что тебе до ветру надо.

Отыскал Желудяк тот графин не сразу, а потом, желая угодить сержанту, наполнил баклажку до самого верху, завернул крышечку, но, когда уже спешил обратно, понимая, что младшой нервничает всюю, ощутил резкий спиртовый запах. «На самом деле, как клопами несет...» Ладонь была мокрая. Как раз в том месте, где он сжимал баклажку, в алюминии оказалась вмятина с дырой.

Можно было, конечно, позволить коньяку и вылиться. Две трети, пожалуй не меньше, еще сохранилось бы все равно, но душа воспротивилась: чтоб добро пропало! Тухловатая жидкость обжигала, да и выпил он, казалось ему, не так уж много. Решил, никто ничего не заметит, но едва ли не сразу почувствовал, будто уносит его из собственного тела куда-то вон. Еще хотел покаяться перед взводным, но уже рвались из груди залихватские речи и петь хотелось.

Не дано было младшому узнать про это. Маленький ефрейтор оставался в душе непрощенным. Зло на него не отпускало, тем более что вот как раз сейчас возникла мысль, неизбежно страшаящая человека в лесной чаще, — не сбился ли с пути? Желудяк с его кошачьей ловкостью пригнулся бы тут, как никто другой.

Ладно. И один доберется он до той кирхи, где, может, и вправду никого и ничего, кроме местных жителей, и вот тогда уж с чистой совестью доложит, что и путь определен, и ценный мост обнаружен, и в тылу тишь да гладь.

Тут-то и заметил младшой дымок над деревьями. Тоненькая струйка дрожала, пульсируя.

Вспомнить об осторожности было не грех. Перемещаясь от дерева к дереву, подбирался он все ближе. Дождь усилился, и, поколебавшись, накинул он на плечи негнувшийся длинный (и ему-то ниже колен) плащ. Сразу стало уютней, а нащупав сквозь прорезь в плаще заветную гранату, согретую его теплом, младшой почувствовал себя гораздо уверенней. К тому же не думалось, чтоб там, у костра, грелись враги: вряд ли немецкие солдаты вели бы себя так открыто, находясь в нашем тылу. Но чем черт не шутит? И он снова сжал гранату покрепче.

У огня сидели двое. На мужчине была куценькая круглая шапка с суконными, торчащими в стороны наушниками, на удлиннном лице резко выделялся небольшой саблевидный носик. Укутанная в толстую шаль женщина что-то выговаривала сердито ему, а он то оправдывался, то возражал раздраженно. Люди были явно невоенные, а вот речь, долетавшая до младшого (он притаился за толстой сосной), не походила на немецкую. Младшой уже слышал ее и прежде.

Когда наполнили Ташкент беженцы с Запада (называть их было велено «эвакуированные»), в их двор тоже поселили семью.

— Мы выдалюка, — рассказывал старик Богумил, не расстававшийся с рыжей бараньей шапкой, — з самой Полонины мы.

Был он не то чех, не то серб, а вот старуха у него была еврейка, баба Ципора. Из-за нее-то и вынуждены были все бежать. Сперва в Польшу, а вскоре аж в Среднюю Азию. Со стариками приехала самая младшая дочь — Гася, верглявая, веселая, будто и не лихолетье вокруг. На удивленье и на зависть иным, Гася эта быстро нашла себе такое местечко, о котором многие местные лишь мечтали: устроилась подавальщицей в санатории для выздоравливающих командиров. Располагался санаторий прямо в городе, в обширном бывшем байском саду. Пропадала там Гася неделями, а появлялась во дворе зачастую не одна и когда стариков дома не было. В синюю рань уходили они к Боткинскому кладбищу. Там в гробовой мастерской старик плотничал, а баба Ципора у входа продавала на редкость искусно сделанные бумажные цветы. Возвращались лишь к вечеру, Гася к той поре исчезала, старики же, поужинав, начинали обычный разговор, напоминающий ленивую перебранку. Склонный от рождения к языкам, младшой (в ту пору, разумеется, еще — Лелик) для себя незаметно начал улавливать смысл из незатейливых речей, благо, одну и ту же фразу старики могли повторять бесконечно, лишь интонацию меняя:

— Цож сыплъош, то мелшош...<sup>1</sup>

И даже чуть более сложное:

— Гярдощъ мам дармо, а покшиту клеба мусим соб купись.<sup>2</sup>

Не только одни лишь лингвистические догадки будили интерес Лелика. Старики почти всегда говорили о Гасе: баба Ципора осуждала, а Богумил, похоже, оправдывал дочь, хотя и ему не по душе были быстротечные Гасины романы с прихрамывающими летчиками и увечными артиллеристами. Видели они этих ухажеров нечасто, только, если оставались вдруг дома, однако и в этих случаях Гася своего кавалера не огорчала: она запиралась с ним в ветхом глиняном сарайчике, пусть

<sup>1</sup> Что сыплешь, то и мелешь (серб., луж.).

<sup>2</sup> Гордость получили даром, а краюху хлеба покупать должны.



там полно было всякого древнего хлама, а в потрескавшихся стенах гнездились скорпионы. Бог хранит влюбленных: ни разу не выскакивала оттуда Гася, как ужаленная. Наоборот, появлялась вялая, умиротворенная, с беспечными воспоминаниями в карих глазах.

Конечно же, Галочка Гилязова не была забыта, но юношеское томление толкало настойчиво и властно к тому, что доступней.

Как-то, отправившись за углем для мангала, увидел Лелик, что дверь в сарайчик приоткрыта. Он подумал, что кто-то, скорее все-таки мужчина, был, очевидно, слишком нетерпелив и потому плотно не притянул створку. И прежде задерживался Лелик у этого ветхого строеньица, жадно прислушивался к горячему сдвоенному шепоту, который порой доносился изнутри, ловил напряженным слухом дурашливый сдавленный смех, еще какие-то непонятные, а потому особенно будоражащие воображение звуки и шорохи.

Теперь он решил заглянуть в приоткрытую дверь. Сердце гулко стучало, и не сразу расслышал он храпение. Гася оставалась одна. Судьба благоволила! Минуту Лелик колебался, но тут же шагнул внутрь. На худой конец, повод был вполне пристойный: надо набрать угля. Увидел полные Гасины ноги и застыл. Согнутые в коленях, они дразняще белели. Трепеща, но не в силах совладать с собой, сделал он еще один шаг. Теперь он мог даже коснуться Гаси рукой. Вдруг она повернулась на спину. Левая голая нога свисла с лежанки, и раздался храп вовсе уж могучий, будто засопела лошадь, сморенная тяжким трудом.

Только сейчас ощутил он спертый запах не только ветоши, трухлявых досок и керосина, но и лука, смешанный с густым сивушным духом. На табуретке у лежанки поблескивала бутылка, стояла тарелка с размазанным свекольным винегретом.

Неожиданно Гася перестала храпеть и забормотала скороговоркой:

— Винди! За порог винди! Досе. Моцы ниц.<sup>1</sup>

Относилось явно не к нему, но он отскочил подальше, будто и впрямь его скорпион ужалил, и забормотал что-то об угле.

— Холера ясна! То ж ты, Лелику! — большим голосом, но облегченно произнесла Гася, открыв на миг глаза. — А я ж гадала, знов той лейтенант пришкутывать. — И отвернулась к стене. Она даже не одернула сорочку на открывшихся высоких бедрах!

Шаря пальцами, как слепой, набрал он в ведро угля и испачкал руки. Теперь то оставалось одно — уйти, а Гася со сна выругалась смачно, по-мужски и вновь засопела, но уже потихоньку, умиротворенно.

Собираясь на рассвете по своим невеселым, но, увы, тоже необходимым людям делам, дед Богумил привычно возражал пространным бабкиным советаниям все на ту же Гасину неустроенность. Лелик понимал: это бабе старой и без мужика живетса недурно, а Гася ж молодая, ладная... Тут бабка вновь помянула Арношта, Гасиногo мужа. Тот, как было известно, подался еще в 39-м вслед за польскими солдатами куда-то чуть не в Африку. В подметки Арношту, статному, чернявому, не годятся все эти нынешние Гасины ухажеры. На что сдались они ей?

Дед возражал, возражал, а потом словно кнутом хлестнул, ставя точку в споре:

— Войца!<sup>2</sup>

Сейчас, в мокром германском лесу, младшой невольнo поежился, словно наваждение отгоняя. В сыром воздухе отчетливо прозвучало то же слово.

Младшой поежился: уж больно похож был говор на дедовский, разве что погнусавей. Ворочая туда-сюда маленькой головкой, человек у костра что-то внушал настойчиво женщине, и она не соглашалась, роняя в ответ одну и ту же фразу:

— Куней ты забрал, а от краву кинул.<sup>3</sup>

— Войца! — снова вскричал в полном уж негодовании мужчина.

Вид этих сугубо гражданских людей, сидевших у веселого костерка, пылавшего под вязами, опасений не вызывал. Младшой шагнул на поляну. Завидев его, мужчина испуганно вскочил. Кургузая шапчонка сползла на ухо. Грубоватое, но еще довольно молодое лицо женщины тоже дрогнуло.

— Wer sind Sie?<sup>4</sup> — чрезмерно строго спросил младшой. Разговорник он затвердил еще по дороге на фронт, и самые необходимые фразы сидели в памяти крепко. Но из быстрой невнятной речи, прозвучавшей в ответ, только и уловил, что часто повторяемое подобострастное «гeрр официр». Тираде, казалось, конца не

<sup>1</sup> Выйди! За порог выйди! Хватит. Сил нет.

<sup>2</sup> Овца!

<sup>3</sup> Коней ты забрал, а корову оставил.

<sup>4</sup> Кто вы такие?

предвидится. Мужчина словно в чем-то оправдывался, укоризненно поглядывая на нахмурившуюся женщину и даже погрозив ей раз-другой пальцем.

Младшой откинул капюшон плаща, и тут мужчина поперхнулся очередной фразой и замер, пораженный.

— Русин, русин! — воскликнул он, обретя снова дар речи. Палец робко указывал на звездочку на шапке младшого. Тут же, шмыгнув приметным носом, человек постучал рукой по своей узкой груди.

— Я сим словен — серб, Гандрий, — он произнес это так, будто возвещал о несомненном родстве своем с «русинном». Ткнул пальцем в плечо женщины и сообщил: — Съотша, Ханна, — поболтал дымящейся жидкостью в кружке: — Кафа, герр офицер. Прием, — поднял над головой ладонь и молвил по-светски почтительно: — Дешщ, герр офицер...<sup>1</sup>

Теперь и женщина взглянула карими, похожими на Гасины глазами. Произнесла что-то, и речь ее тоже напоминала Гасину.

То были, несомненно, славяне, и младшой решил, что бредут они, как многие сейчас, то ли из лагеря, то ли с принудительных работ. Нахватавшись не по возрасту многих сведений, нужных и ненужных, не знал он все же, что живут в Германии и сербы, как раз вот в этом, примыкающем к Польше краю.

Между тем изогнутый тонкий носик человека, назвавшего себя Гандрием, описывал замысловатые кривые, пока на жуткой смеси из славянских и немецких слов объяснил он все же младшому, что они с сестрой из этих вот мест. Рядом совсем, внизу их «вяс» — хутор, где они «рождены». Там и «вежа» и «земя».

Неясным оставалось, почему же они покинули свой «вяс» и сидят теперь, как бродяги, вот здесь, в сыром лесу? Если сбежали, опасаясь русских, то почему нет с ними обычного беженского скарба — всех этих узлов и чемоданов, сваленных в ручные повозочки, а то и в детские коляски? Только торба на лямках. Гандрий как раз извлек из нее ломоть хлеба с ветчиной и почтительно поднес младшому.

Как ни торопился он, а перед соблазном не устоял. Вкусен был домашний хлеб с мягким копченым мясом и даже «кафа» — сладковатая горячая жидкость, пахивающая желудями. А Гандрий и Ханна быстро перебрасывались уже не понятными ему фразами. Потом умолкли, и Гандрий как-то незаметно отодвинулся от костра поближе к зарослям. И вдруг исчез. Как растаял! Ханна же находилась, застыла, опустив голову в страхе и обиде. И вздрогнула, когда из чащи донеслось тоненькое ржание.

«Да у них же кони где-то поблизости стоят!» Вот чего как раз и недоставало сейчас младшому.

Он поднялся и, провожаемый напряженным встревоженным взглядом женщины, стал пробираться туда, откуда слышалось ржание. Не сомневался, для того лишь отлучился серб, чтоб задать коням корм. Тем больше поразил его внезапный топот. Впереди, в прогалине между соснами, мелькнула спина Гандрия. Он низко пригнулся, почти касаясь луки. В поводу серб держал другого коня. Тот скакал, чуть отставая, высоко вскинув взнузданную морду.

Младшой замер, пораженный. Вот-те и «братушка»! Не потому ли был так угодлив этот Гандрий, хотя бросилось: глазки-то бегали, как у нашкодившего школяра? Ясно же, опасался, не позарится ли военный на главное селянское достояние — на коней. А «съотшу» свою он у костра бросил.

На прежнем месте валялась лишь кучка обуглившихся веток. Они уже не дымили, а только пухали сероватым парком. Женщина залила костер и исчезла тоже.

В конце концов, происшествием можно было и пренебречь. Главное — добрать-ся до кирхи и скорей обратно в полк или на развилку. Младшой уже сожалел, зачем отправился он напрямик через лес. Шел бы по тому шоссе, и несомненно привело бы оно его к кирхе: не могли же немцы возвести ее в чащобе. Где поп, там, как говорится, и приход.

Рассуждение было разумным, но запоздалым. А возвращаться назад к шоссе очень не хотелось, и младшой по тропинкам, залитым дождями, продолжал пробираться на северо-восток. Протогпанные людьми и животными, дорожки эти изгибались, петляли. С возрастающей тревогой младшой уже подумывал, не сбился ли он с пути? Дернуло же подойти к костру! Благо, хоть закусил, что было вовсе не лишне.

А тут и лес встал перед ним стеной. И потому надо было вновь увидеть шпиль, не то забредешь черт знает в какие дебри. Выход был один — взобраться на дерево повыше. Для него дело, увы, не из простых.

Поколебавшись, выбрал он старый граб, покрытый осклизлой темной корой, но

<sup>1</sup> Сестра, Ханна... Кофе пьем... Дождь...

зато с низко расположенными ветвями. Скинул дождевик, шинель и взобрался — таки довольно легко до середины. Однако даль не просматривалась и отсюда. Слишком плотно сгрудились вокруг сосны. Зато толстая скрученная едва ли не штопором сосновая ветвь оказалась совсем рядом. Только ухватиться бы понадежней, раз ступить, и ты — на сосне. Решившись, он проделал это и облегченно вздохнул. Даже оценил ловкость, которой и от себя-то не ждал. Смело залез потом повыше и увидел над лесным шатром знакомый четырехгранный шпиль. Казалось, церковь — вот она, рядом, хотя и ушел он от нее чуть на север.

До самой нижней сосновой ветви спустился он легко, встал на ней, глянул вниз и вот тут ощутил неприятный холодок в груди: метра три оставалось до земли, никак не меньше, спуститься же по голому стволу можно было единственным способом, знакомым ему, увы, лишь со стороны: в ташкентском дворе иные мальчишки даже с самых высоких тополей спускались, ловко обхватывая ствол попеременно руками и ногами.

Но он решился, и совсем уж немного оставалось до низу, когда бес дернул спрыгнуть. Разжал он руки еще и потому, что ладони, ободранные о жесткую кору, саднили. Рухнул, и все обошлось бы, не окажись как на зло муравьиной кучи. Левая нога (раненая) провалилась в яму. Горячая боль вмиг разлилась по ступне, отдалась в еще не зажившей ране.

Весь в испарине, держался он за сосну, не решаясь опереться на левую ногу. Мотал головой в тоске и досаде на невезучесть свою. Как же глупо опять! Не в бою и вот — покалечился. И положение отчаянное — хоть на карачках ползи.

А дождь не прекращался. Гимнастерка промокла, и надо было двигаться: не пропадать же, в самом деле, в этом лесу.

Стыд, срам! Он полз, волоча левую ногу. Достаточно было задеть о бугорок или пенек, как тут же опять вспыхивала боль. Все же он добрался до вещей своих, уселся на мокрой хвое, надел шинель и укрылся плащом. Нет, не зря запрещает не только устав, но и здравый смысл уходить на задание в одиночку. Но что теперь толку от советов?

Вскоре ковылял он все в том же направлении, к кирхе, будто чувствовал, что только там все разрешится. Он опирался на палку, вскрикивал, бранился, но все-таки перемещался вперед. Мощные сосновые корни выпирали из земли. Под толстым слоем старой листвы были они совсем незаметны. Он споткнулся и свалился с проклятиями и стоном. Полежал, охваченный отчаянием, пока боль не отступила немного. Заставил себя подняться, продвинулся шагов на десять и вновь вынужден был остановиться.

Так и двигался он еле-еле, преодолевая безысходность, облегчая душу вскриками, бранью, пока кто-то не приблизился сзади и не подставил плечо.

— Разем подем, — произнес низкий женский голос.

Спроси потом кто у Ханны, как же это посмела она от самой себя отступить, ей-ей, не нашла бы дзювка что и ответить. Баловство, подобное тому, что городские позволяли себе, было ей и в помине чуждо. С детства ведома была ей только работа. Труд заполнял все ее существование на хуторе. Грех принят был на душу единожды и не по собственной воле.

Ей было около шестнадцати, когда граф Курцгофф, владелец окрестных полей и лесов, возвращаясь из Котбуса на автомобиле, заметил в своих уже скошенных клеверах чужого бычка. Он приказал управляющему изъять этот крестьянский скот за потраву. Хватившись бычка, Ханна упала управляющему в ноги. От сапог густо несло гуталином и навозом. Управляющий не поднимал девушку. Он смотрел на ее руки, округло и розово вытекающие из коротких рукавов кофты, расшитой, по лужицкому обычаю, крестиками и цветами. Выкуп, которого он потребовал, показался Ханне едва ли не счастливым избавлением от беды. Она на первом суку повеситься уже была готова, только бы перед глазами своего «отчима» — «нана», и в добрую-то пору недовольного, с ответом не предстать. За пять лет свел «нан» в могилу вслед за первой своей женой еще и мать Ханны.

Покорно побрела Ханна за стариком управляющим.

Только загнав освобожденного бычка в хлев, вспомнила в тупом унынии о том, что же происходило в комнате управляющего после того, как запер он дверь на щеколду и нетерпеливым рывком расстегнул ремень на своем поджаром животе. Все так же нехотя подумалось: ну на что понадобилось это такому вот старику? Существо здоровое и по-здоровому мыслящее, не испорченное ни школой, ни книгами, ни окружением просвещенных до поры ровесниц, нашла бы она смысл в происшедшем лишь тогда, когда управляющему хотелось бы иметь от нее ребенка. Но ведь у него в усадьбе полно — и сыновей, и дочерей, и даже внуков.

Стойкое отвращение к мужчинам запало в душу надоло, и, хотя все чаще

с годами и в ней пробуждалось желание, тут же возникало потное, едва ли не безумное лицо старика, дышащего часто и смрадно. Впрочем, и житье само на хуторе, под неусыпным оком отчима (пекся же он об одном: не потерять здоровую, неутомимую, едва ли не дармовую работницу), способствовало тому, что и к двадцати пяти годам Ханна все еще оставалась в «дзювках».

Названный брат Гандрий был тоже одинок. Был он старше Ханны едва ли не на пятнадцать лет. Трудно сказать, какими уж там побуждениями руководствовался «нан» (для Ханны — отчим), когда отправил сына куда-то в Тюрингию, в городок Клингенталь, где испокон веку делали гармоники, а в последнее время — аккордеоны. Там проживал какой-то дальний родич и, по слухам, зарабатывал этим делом немало. С Гандрием, однако, все вышло иначе. Ханна толком так и не узнала никогда: то ли прогулял Гандрий все, что заработал в Клингентале, то ли ограбили его и избili заодно, когда возвращался, уже спустя несколько лет, на хутор. То ли застудил он где-то голову, а деньги потерял. Так ли, иначе ли «нан» рассвирепел. С неделю бродил Гандрий по усадьбе, по-младенчески улыбаясь, шмыгая розовым носиком. Спал на чердаке, благо, хоть не на «гнойнице» — навозной куче, где назначено было теперь ему место, а потом исчез. Вернулся лишь за три года до войны. «Нан» уже не поднимался с лежанки. Он сделал все предсмертные распоряжения, но не учел, что привыкший к иным занятиям, да и слабоватый здоровьем Гандрий главой в усадьбе, как хотелось теперь отцу, не станет.

Гандрий и жениться не желал, хоть перевалило ему за сорок. В усадьбе верховодить стала Ханна. Дебелая, сильная, она сама справлялась с коровником, свиарником, с птицей. Сама могла и дверь навесить, и косилку починить. Страстью Гандрия были кони. Он ходил за ними без устали, сам свозил в усадьбу сено, сам ездил, запрягая красавца-битюга в высокую телегу на мягких шинах, к замку графа Курццофа. Отвозил туда шпик, яйца, гусей. Деньги аккуратно отдавал Ханне, оставляя себе лишь на табак для коротенькой тонкой трубочки, которой попыхивал беспрерывно. В благую минуту по вечерам наигрывал Гандрий на вывезенном из Тюрингии аккордеоне полечки и вальсы. То были немногие отрадные минуты для Ханны. Мир ее был изначально сужен до этого вот хуторка, окруженного лесистыми пологими холмами. Казалось, так и будет до скончания века. Однако лет пять назад вдруг появилось и в этом глухом углу Сербской Лужицы множество народу: и военные, и гражданские, и толпы пленных, охраняемых эссовцами и собаками. В окрестных лесах и внизу, под бугром, на котором стоял хутор, стала вершиться таинственная работа.

В усадьбу явился важный чин (сопровождающие именовали его «герр оберст»). Окинул беглым взглядом дом и постройки во дворе и велел составить подробную опись. Но Ханна — сама от себя и то не ожидала такого — взметнулась: это еще зачем? Никуда они отсюда не двинутся. Это их земля, а они — независимые бауэры. Пусть внизу по кругу делает оберст, что пожелает, но здесь, на этом вот бугре, хозяйева они с братом.

Оберст слушал сперва, нахмурившись, а потом неожиданно усмехнулся: смелость сербской девки его умилила. Ладно, пусть остается хутор. Так даже лучше. Вот только если сунут сербы свои носы куда не следует, тогда разговаривать с ними станут уже далеко не так, как с независимыми бауэрами. Да и передвигаться им можно будет не дальше замка графа Курццофа. И ни шагу в сторону! Устраивает? Ну и живите...

А в зоне год-полтора спустя все будто повымерло. Лишь простучат по рельсам поезда, да и то в ночную пору и негромко. И снова тишина. Случается, среди ночи слышатся частые удары, будто палками по железным бочкам колотят часто-часто. «Что это, Гандрию?» — вскинется Ханна. Гандрий скорчился на своей лежанке: спи, не нам о том гадать. Приказано: нам с тобой до того, что происходит в зоне, никакого дела нет. Иначе худо будет.

Так и жили. Пусть в зоне даже кирху выстроили, и сутана пасторская там мелькала, а Гандрий с Ханной по праздникам ходили к обедне по-прежнему в часовню при графском замке. Привыкли и к тому, что причетник отмечает в их аусвайсах, когда пришли, когда ушли, а на обратном пути то же самое проделывает эссовский патруль, от себя напомнить лишний раз не забывая: никуда, помимо хутора и замка, не ходить, ни с кем из знакомых, — вдруг, паче чаяния, встретятся таковые, — не болтать, а только доложить о встрече незамедлительно. Иначе — головы с плеч!

И год минул, и другой, и еще два года, и вот недели две назад возник и начал едва ли не с каждым часом приближаться грозный гул. «То русины подходят...» В зоне давно уже вершилось нервное движение, теперь же начался едва ли не переполох. Поезда уходили один за другим и ночью, и днем. Вагоны с охранниками на тормозных площадках, платформы с грузами, укрытыми брезентом. По шоссе катили на запад грузовики с солдатами и гражданскими.

День ото дня это все больше становилось похожим на панику, а Ханну еще тревожило, что, чуяла, граф Курцгофф и вся челядь вот-вот тоже бросят свой замок и на запад убегут от русских, а ведь за графской экономкой должок немалый числился — целых сто шестьдесят марок: за продукты, а помимо того Ханна, почитай всю зиму, сучила пряжу для графа. Иных свитеров и вязаных шапок, кроме как из домашней шерсти, он не признавал.

Каждый час мог стать решающим, потому и вышла Ханна с хутора еще темно, а пришла к замку — будто на пожарище попала: в залах, в комнатах, даже на кухне и в подвалах — ни души. Только ветер из конца в конец по всем этажам гуляет. Плакали ее денежки, однако впереди ждали беды, куда более тяжкие.

Едва, уже возвращаясь, подошла к полянке (прежде там патруль эсэсовский на мотоциклах дежурил и аусвайсы проверял, хотя солдаты уже знали всех, очень немногих местных жителей, как облупленных, а у Ханни и молочком пользовались и даже куры строить ей пытались; напрасно, конечно), глядь — Гандрий сидит под дубком! Трубочкой своей пыхает сердито. Как накинудся на Ханну — куда только робость его обычная подевалась: бродишь где-то, телка глупая, а на хутор теперь уже и ногою ступить страшно.

Ханна еще убедить пыталась сводного брата своего: это пускай военные и граф Курцгофф убегают. Им, может, есть чего опасаться. А вот она и Гандрий — рабочие люди, бауэры. Им-то зачем с хутора бежать? Зачем добро, годами нажитое, бросать? Там же и живность вся осталась. Так там же и кони, и корова...

Тут-то и выяснилось (сознался, потупившись, Гандрий), что коней своих дорогих он в лесу укрыл, а вот корову в усадьбе оставил. Да как же так! В ту же минуту готова была кинуться Ханна на хутор, но Гандрий — можно ли было ждать от него? — даже кнутом по спине хлестнул. Легонько, неумело как-то, но Ханна на время сдалась.

Привел ее в укромное лесное местечко (там и кони неподалеку спрятаны были). Перебудем пока здесь. Шалашик соорудим. Там видно будет. А Ханна еще пуще донимать начала: ну что тут страшного, коли сбегает она домой? Помимо всего, чудилось ей, что даже сюда доносится тоскливое мычание комолой коровы. Не выдержал Гандрий, сознался, что знакомый эсэсовец, большой любитель домашней седи и выпивки, по-дружески и под большим секретом посоветовал ему убираться вместе с сестрой с хутора подобру-поздорову. Сказал шепотом тот охранник, что не сегодня-завтра вся зона на воздух взлетит, а тогда и от хутора тоже одни лишь щепки останутся.

— Врет он, — не поверила Ханна, — стыдно было ему признать, что убегают они, потому что русских пуще огня боятся.

— Войца! — вскричал Гандрий. — Неужто забыла, что ведь и сам оберст уже предупреждал нас, чтоб убирались мы в Котбус, если жизнь нам дорога?

— Пусть бы прежде компенсацию выплатил, — упрямо возразила Ханна.

— Войца! — вскричал опять Гандрий. — Какая тебе компенсация, если самого оберста уже, наверное, след простыл?

— Как же корова бедная там? Хоть бы за ограду ты выпустил ее, злыдень. Только коней своих холишь. Пойду. Сам же говорил: никого там нету теперь.

— Войца! А русские?

Так и тянулась бесконечная перебранка, пока из кустарника не появился вдруг тот, в плаще черном. Гандрий от страха (за своих коней прежде всего) подобострастно именовал его «герр офицер». Какой там офицер? Да и вообще, вовсе не такими она, пусть далекая и от политики, и от большого мира, представляла себе русских и большевиков: нескладный, тонкорукий, губастенький, с задумчивыми темными глазами. Пил, по-детски остужая губы, даже пальцами по ним похлопывал.

А Гандрий вовсе как дурной стал. Забыл обо всем, даже о Ханне, сестре своей, пускай — сводной. Бросил ее одну с чужим военным, а сам коней своих спасать кинулся.

Обида не оставляла Ханну, пока она поспешно удалялась от костра. Благо, теперь можно было хоть пренебречь предостережениями и вернуться на хутор. Не верит она, подобно Гандрию, во все эти рассказы, а дома ведь и вправду стены помогают. Да и добра жаль.

Кто же бросает вот так все, что тяжким трудом годами нажито было?

Вдруг спохватилась, что не туда же понесло ее. Тоже переполошилась, вот и забрела к оврагу. Отсюда надо направо повернуть и выйти на просеку, она и приведет к хутору.

Пошла напрямик через заросли, и вот где-то совсем рядом раздался глухой удар о землю, и тут же вскрикнул от боли человек. Притаилась в кустах, следила за тем, как, путаясь в длинном плаще, еще пытался тот идти, а затем пополз со стенами. И не выдержала.

Младшой сидел в старом продавленном кресле. Вытянутая больная нога лежала на табуретке. Благо, хоть сапог (широкий, кирзовый) легко снялся. Из-за сапога этого — ступня внутри свободно ходила влево-вправо — и случилось растяжение у самой щиколотки.

В кафельной плите, занимавшей треть обширной кухни, трещали дрова. Ловко и легко двигаясь обширным телом, Ханна наполнила водой большой эмалированный таз. Бросила несколько щепоток сухих трав. (Младшой уловил горьковатый и мятный запах). Помогая жестами своей, все-таки не очень понятной ему речи, велела она, чтоб он снял брюки. В выразительных глазах младшого мелькнуло смущение... Ханна бросила ему клетчатое покрывало, отошла в сторону и отвернулась. К счастью, репсовые галифе тоже свободно болтались на его икрах. Стесняясь стонать при женщине, он стиснул зубы и, все же мыча от боли, стащил с себя брюки, а кальсоны закатал выше колен. Укрывшись по грудь, он выставил левую ногу. Гольми полными руками Ханна обхватила таз и поставила его на табурет. Тут взгляд ее упал на отворот кальсонов над коленом. Младшой тоже посмотрел туда и густо залился краской: по серому насвежем полотну неторопливо ползла вошь. Он ждал, что женщина вскрикнет, отпрянет с гадливостью прочь, однако Ханна, так же, как делала она все прочее, по-деловому, щелкнув ногтями, убила мерзкое насекомое и решительно распорядилась:

— Все скинь!

Указала пальцем в угол у самого порога и вышла, распрямив широкую спину. Чувствуя себя почему-то едва ли не виноватым, охваченный стыдом, он поспешно разделся и сбросил все в кучу. Закутался в одеяло, утонул в кресле, а ногу положил в таз, в бурюю воду.

Все, что хранилось у него в карманах, сложил младшой за своей спиной на стол, вместе с брезентовой полевой сумкой и кобурой, а наган спрятал за спину. В ином случае он оценил бы комичность ситуации: что, когда бы и впрямь пришлось в таком вот виде — голому! — да еще и стрелять! Однако все вокруг: дрова, потрескивающие в топке, пар над котлами, куда Ханна кинула его белье, сама эта женщина, спокойная в каждом своем движении, домашность, витавшая вокруг нее, — исключало тревогу напрочь. К тому же и мысль едва ли не горделивая мелькнула; созреть ей он, впрочем, не позволил: он — воин-победитель и имеет законное право на то, чтоб женщина из поверженного стана служила вот так ему.

Между тем Ханна приподняла его голенастую ногу и туго, почти до колена обмотала плотной суровой лентой, начав со стопы. Сделала она и это все так же умело: не единожды приходилось вправлять суставы, лечить от растяжений и лошадей, и баранов. Все же твари божьи созданы на один образец. Тут же застелила женщина пол клеенкой, поставила посредине деревянную бадью, наполнила ее горячей водой, положила рядом кубик зеленого мыла и губку, повесила на спинку стула полотенце и жестом объяснила: «Мойся!»

Он дождался, пока она уйдет, уселся на табурет, поставленный Ханной прямо в бадью, и начал мыться, радуясь блаженству, которым одаривала горячая вода отвыкшее от ухода тело.

Белье, несомненно с плеча того мужика, что скрылся вместе с конями, сидело на младшом несуразно: широкая рубаха едва закрывала живот, подштанники же чуть достигали колен. Но уже подсушивалось над плитой выстиранное Ханной армейское белье и даже портянки. Младшой мог бы чувствовать себя даже счастливым, утопая в мягких перинах. Надо же! Это после фронтового-то бивачного сна, где уж там и как там придется: в окопе, притулившись к стенке (а комья земли — за воротник), в лесу — на куче сырых, спиртово дышащих листьев. Все это — еще самое лучшее.

Однако не лежалось ему и не спалось, хоть он и самооправдание находил: он же выполнил задание командира полка. Еще как! Ко всему — переправу обнаружил, мост. Отличный, надежный. Ну, допустим, не обозначенный на картах. Но как раз это и является главной заслугой! Скажут — неизвестность, опасность. Но они всегда сопряжены с военной удачей. Зато сможет теперь полк перейти на западный берег, пока вся колонна будет по-прежнему на шоссе топтаться. Вот только как бы не застрянуть надолго здесь, в этой огромной хате, а то уйдет полк на запад, а о нем даже не вспомнят. Волченок уехал злой, как черт. Он еще и начальству может преподнести все так, что получится, будто младшой лишь по глупости да упрямству своему куда-то в тыл поперся.

Нет, должен быть выход! Конь ему нужен, вот что! Не зря кинулся он по наитию какому-то вслед за тем красноносеньким сербом, жаль, упустил... И тут обожг-

ло: а если ворвется сейчас тот серб сюда? Да еще — не один. Мало ли затаилось всяких недобитых здесь, на их собственной земле? А баба же эта, ко всему, еще и раздела его. Может, тоже не без умысла?

Стукнула наружная дверь. Младшой вскинулся и нашарил под подушкой наган. Но вошла Ханна с большим, сыплющим искрами утюгом. Налегая на утюг всем своим немалым весом, начала она разглаживать гимнастерку. Сухой парок взлетал от непросохшей ткани. Пусть кончает возню! Он попытался объяснить ей это, пользуясь мешаниной из немногих немецких и польских слов. Женщина согласо кивала головой и продолжала все так же сосредоточенно трудиться. Время от времени, но все чаще поднимала она глаза и взглядывала с затаенным любопытством и непонятной улыбкой.

— Гольц,— произнесла она несколько раз, будто мыслям собственным отвечая.— Гольц су... Ох, настрожал ме!— вновь скользила мягким взглядом карих глаз и заключала:—Гольц...<sup>1</sup>

Его осенило: бывало и Гася говаривала, когда оглядывала его снисходительно, но будто сожалея о чем-то: «Гольц...» «Мальчик». Да и по-русски (по-блатному все же): «Оголец!»

Скромное торжество трепыхалось в груди, как всегда, когда самому, собственными силами удавалось приоткрыть краешек великой тайны — родства всех языков на свете. Но и обида мелькнула: неужто и эта вот считает его, офицера, мальчишкой?

Женщина между тем продолжала говорить, будто сама с собой. Сострадание смягчило грубоватый голос. То и дело похлопывала она себя по запястьям и повторяла, поднимая глаза на него: «Вотрочство?..»

Отрочество, что ли? Да нет же! Решила, наверное, глупая, что он пленный, сбежал и вот по лесам поэтому бродит. Не сообразит, что не было бы у пленного ни поганов, ни оружия тем паче.

— Мьено?— спросила уже по-другому, с любопытством, Ханна.

Этого он не понял, хотя, казалось бы, куда уж ближе к слову: «имя»!

Тогда она приложила пальцы к груди и назвалась:

— Ханна.

Незачем знать ей, как его зовут. Но отвечать что-то нужно было, и младшой назвался почему-то нерусским и салонным:

— Жорж.

Широкие губы женщины растянулись в улыбке.

— О, Шорш,— с удовольствием повторила она.— Шорш..

Младшой взял у нее из рук свою рубашку, выстиранную и проглаженную. Мелькнула под рукавом прореха, и решительно, так же, как делала она все остальное, женщина отобрала рубашку.

Усевшись на краю кровати, пришивала она рукав. Наклонилась, чтоб откусить в очередной раз нитку, и опять показались в вырезе кофты округлые плечи, тяжелые груди. Он и не заметил, как начал гладить ее волосы, шею...

Еще в Ташкенте (и сам чудный город этот, и пора, когда все происходило, представлялись отсюда и сейчас далеким до неправдоподобия), переживая вновь и вновь стыдную неудачу с Гасей в темном, пропахшем керосином чулане, больше всего корил он себя за проявленную тогда робость. Ведь просвещали сверстники, уже порядком, как утверждали они, искушенные в амурных делах: женщину надо ошеломить напором, наскоком. Теперь вот, в этой лужицкой хате, когда меньше всего ожидал он любви, неожиданно открылось ему истинное, и он не накинусь жадно на эту большую, совсем взрослую в его глазах женщину. Он ласкал ее бережно, благодарно и нежно, как ребенка. Ханна не отстранялась. Он ощутил громкие и частые удары сердца уже в гортани, и тогда стал дерзок, а она все глядела на него, и радуясь, и сострада.

— На збожо рождены. Такой стыск, коли сгинешь...<sup>2</sup>

Печаль в ее влажных глазах не истаяла, когда поднялась она и набросила на петли оба дверных крюка.

— Гольц,— повторяла она и во все то время, пока утопал он в огромном, как вселенная, и ему-то наконец приоткрывшемся блаженстве.— Гольц...

Всего лишь ненадолго забылся он и тут же вскинулся в страхе: где он, что с ним?

За окнами было по-прежнему серо, и полумрак царил в просторной опрятной комнате. Стрелки на закопченном циферблате шестигранных стальных часов показывали полдень. Впрочем, скорее всего, часы попросту не были подзаведены.

<sup>1</sup> Мальчишка... Напугал меня...

<sup>2</sup> На счастье рожденный. Такая печаль, коли погибнешь...

Собственными часами, в отличие от своих разведчиков, младшой пока не обзавелся. Это Волченогов тот же, бывало, «махался», не глядя, и в результате такого обмена получал иногда вместо отличной «Омеги» какую-нибудь дрянную германскую штамповку. Слышно было, как на кухне, легко ступая, возится у плиты Ханна. Грохочет крышками, стучит дверцами шкафов. Похоже, нарочно шумит, чтоб поднять его. На высокой спинке старого кресла висело аккуратно сложенное белье, гимнастерка и шаровары.

Поспешно, как по курсантской тревоге, он оделся и осторожно, стараясь не опираться на туго забинтованную ступню, добрался до стола. За окнами увидел он комолую корову с остро выступающей хребтиной и широко раздутыми боками. Несомненно стельную, что, очевидно, и усугубляло беспокойство Ханны об этом брошенном в усадьбе животном. В приоткрытую кухонную дверь видна была Ханна. Дородный торс грузно оседал на короткие с полными икрами ноги. Странная неловкость охватила младшого, еще грезившего в иные, пусть все менее частые минуты, тоненькой и востроглазой Галочкой Гилязовой. Не знал еще он, что таким вот перед самым собою стыдом платят за обладание без любви. Наверное, и женщина чувствовала нечто подобное, когда вошла она с кухни, отводя глаза. Перед собой Ханна несла миску с горячим картофелем. Был он обильно полит соусом, обложен соленьями и маринадами, и все это вместе рождало такой дивный запах, что у младшого голова закружилась, а Ханна же и бутылку на стол поставила тоже. В лицо младшому она по-прежнему не смотрела, будто предлагая забыть то, что было у них совсем недавно. Похоже, едва ли не виноватой себя ощущала, и вот словно искупить эту вину стремилась, служа ему — мужчине.

— Ииж, доке горонце, <sup>1</sup> — она указала глазами на стол.

— А ты?

Ханна покорно опустилась на дубовый стул, ловко положила на тарелку сперва ему, а уж затем себе и повела взглядом к бутылке.

Покоряющая сила, исходившая от всего этого — от чистой с запахом утюга одежды, вкусной, давно не виданной еды, тепла, которое лилось из кухни, от этой большой разгоряченной у плиты женщины, — заставила младшого забыть на время о войне. К тому же засели в его впечатлительной душе и принятые за чистую монету побасенки, слышанные от бывалых фронтовиков, об амурных похождениях, где равно ценились закуска и любовь, — с белорусскими колхозницами, а то и с польскими паненками. То было как награда солдату за фронтовую маету.

И младшой кивнул повелительно:

— Наливай!

## Глава вторая

И вновь подвел сержанта Волченогова его трофейный мотоцикл. «Зверь — не машина! А вот душа — вражья». Опять забрызгало прерыватель, и мотор заглох, когда до церкви той — время от времени сержант видел сквозь дождевую завесу шпиль — всего ничего оставалось.

В сердцах двинул Волченогов кулаком по сиденью, вкатил сдохшую машину в кусты и, сплунув с досады, двинулся пешком. Пошел напрямик через заросли. «Так-то оно ближе будет...» Уж ему, пусть не таежнику, но тоже побродившему по лесам и болотам немало, незачем было сомневаться, правильно ли он идет. А вскоре и тропа сыскалась, и вела она без сомнения к церкви. «Втемяшилась же эта церква в калган дулпесу тому! Теперь вот и броди за ним, а тут еще и смуреет с каждой минутой. Косохлест в рожу так и брызжет. Так, может, возвратиться? Ляд с ним, с недотепистым взводным этим. Рано-поздно — объявится сам».

Так рассуждал сержант Волченогов, а сам, укрывшись с головой плащ-палаткой, шагал все-таки в том же направлении по скользкой лесной тропе. Брезентовая накидка скоро отяжелела. Тот плащ, немецкий трофейный, был куда лучше, однако сожалеть о содеянном добре Волченогов не привык. И вдруг чуть левее, на вырубке, мелькнула фигура в черном блестящем плаще с островерхим блестящим кашпоном. Да не он ли это, его растяпа-взводный? Кому же еще быть? Где-то в этих местах и должен он обретаться.

Поспешно пересек Волченогов вырубку, но фигура уже скрылась в зарослях. Крикнуть, что ли? Позвать? Но он же и фамилии не знает толком. Тьфу ты! Все едино кричать не годится. Да, может, это и не тот вовсе. А кто ж тогда? И потому вести себя следует, как всегда — осторожно.

Ага, вот здесь верховой и проломился через кустарник, а вот и стежка.

<sup>1</sup> Ешь, пока горячее.



Тропа ныряла круто вниз, на дно обширного оврага. Оттуда донеслись сдавленные голоса. Двое людей, похоже было, препирались между собой, роняя торопливые короткие фразы. Один голос на женский похож. Неужто он уже и бабу здесь надобал? Вот-те и зеворотый!

Сержант спускался вниз, а перебранка становилась все слышней. Он взял на руку автомат, и тут неожиданно, будто птица из-под ног вспорхнула, раздался шум, и по противоположному пологому склону оврага вымахнул наверх всадник в блестящем дождевике.

Перехватить! Он не он, конь в любом случае сержанту был сейчас просто необходим. Тут уж сметка вела: справа сплошной стеною лес, тропа же огибает овраг по ближнему высокому краю. Пригнувшись, Волченогов добежал через заросли до тропы, но чуть-чуть опоздал: подбрасывая широкий гнедой круп, конь уже удалялся. Всадник, неловко сидя, сползал то вправо, то влево. То ли седла под ним нет, то ли неумелый какой-то. Вот только все же куда шире и грузней, чем младшой. Но, может, лишь кажется? А поехал ведь туда же, к церкви. И, чертыхнувшись снова, сержант поспешил следом.

В совсем еще недавнюю курсантскую пору жизни приходилось ему вот так же бороться с упорно одолевающим сном.

Было в училище два так называемых внутренних поста: один в овощехранилище, где можно было за ночь от гнилостного духа одуреть, другой — в пожарном сарае. Там стояла старинная карета с наверху на барабан шлангом и топтались в темноте двое коней. Они хрупали сеном, а дежурному полагалось сидеть спиной к ним, у телефона на табурете, не смыкая, разумеется, глаз всю ночь, и было это самым мучительным. Запирать наружную дверь на щеколду запрещалось. В любое мгновение мог предстать на пороге начальник караула, а то и кто-то из наиболее ретивых или мучимых бессонницей офицеров. Беда тому, кого застанут спящим. В училище ходили легенды о беднягах, отданных под трибунал, отправленных в штрафные роты. К чему только не прибегал младшой, тогда еще — курсант, только бы не задремать ненароком: шагал туда-сюда от стола к стене, смачивал голову холоднющей водой. Все-таки уже незадолго до выпуска он уснул, будучи в очередной раз назначенным на этот внутренний пост. С заледенелым сердцем он вскинулся, когда дежурный офицер уже тянул дверь на себя. Офицер скользнул подозрительным взглядом по его обалделому лицу и вышел вместе с сопровождающими, но еще долго чудились шаги вокруг пожарки. Остаток ночи он провел стоя.

Вот так и теперь, провалившись в мягкую подстилку, не позволял себе младшой сомкнуть глаза, и все-таки то задремывал, то пробуждался. Встрепенувшись, вновь прислушивался напряженно, не донесется ли, наконец, топот лошадиных копыт. Коня обещала привести Ханна. Он все-таки уломал ее, заставил пренебречь и страхом, и тоскливым предчувствием (попробуй заведи коня, да не у кого-нибудь — у Гандрия!), и, что скрывать, понятной хозяйской прижимистостью. К чему только не пришлось ему прибегнуть! И по-доброму просил, и, отчаявшись, наганом пугал (не в Ханну, конечно, а в корову, понуро замершую за окнами под навесом, прицеливался: выбирай — кормилица эта твоя или конь?), но сломило Ханну иное. Понимала, он же и впрямь уйти сам не сможет, значит, останется на ночь в хате. С нею вдвоем! А Ханна себе еще и недавнего невольного греха простить не успела. Как только смогла? Жалость, жалость к мальчишке этому толкнула, конечно, а теперь вот стыд гложет. Будто украла что-то. Но лишь поведет он своими задумчивыми глазами из-под черных бровей, и опять обрывается что-то в душе, и опять тянет невыносимо — обнять, пожалеть... Нет, пусть лучше уезжает. Навеки.

Стояла, уже чеботы натянув, на пороге. Ему-то все едино, наверное: пусть уходит она, хоть в дождь. Он понял. Дотянулся до своего дождевика, подал ей. Она накинута плащ, вмиг преобразилась, не поймешь кто: мужчина — женщина, цивильный — военный.

Сомнение его кольнуло: а если Ханна не вернется? Застрянет он тогда здесь, пока то ли свои, то ли чужие не появятся?

— Ханна! — он вновь указал за окна вниз, на кирху. — Так там точно военных нет? — И повел пальцем: не обманывай, мол.

И она ответила по-немецки:

— Keine Militere, keine Zeute, keine soldaten. Alles sind fort<sup>1</sup>, — приложила руку к сердцу и решительно шагнула за порог.

«По крайности — хватит».

<sup>1</sup> Никаких военных, никаких людей, никаких солдат. Все ушли.

Так говаривала к случаю мама Раиса Григорьевна. «По крайности — хватит нам картошки и хлопкового масла, ну и рису еще немножко осталось. До полочки как-нибудь дотянем...»

По крайности достаточно было и тех сведений, которые он уже собрал: в неизвестном поселке пусто; не только солдат — жителей там не осталось. Значит, в тылу все спокойно. Конечно, лучше было бы собственными глазами убедиться в этом, но если Ханна приведет коня, он успеет: до кирхи-то рукой подать!

А сон, между тем, боролся неодолимо. И не в рюмке, выпитой за едой, причина была. Домашняя та настойка вовсе не понравилась младшему, да и осторожность останавливала его, как всегда. Тут иное: за два последних года только по пути на фронт, на жестких нарах в теплушке и удалось ему поспать вволю. Сейчас же тут было все так мирно, уютно, тепло. И даже нога нить переставала.

Привязав коня, Ханна прижалась к окну и увидела, как спит он, утонув в подушке головой, приоткрыв по-детски губы. Пускай спит. Впервые довелось ей расхотеть на человека ту потребность в заботе, что изначально заложена в женскую душу. Будто уже и не чужой он вовсе. И не хотелось в дом входить, чтоб его не тревожить, к тому же и на подворье забот хватало.

Хлопоты, как обычно, захватили с головой. Все отошло, даже мысли — и стыдные, и тревожные. Вот и окорока подкоптить не мешало бы: по настоянию Гандрия, они закоלותи недавно поросят, чего никогда прежде весною не делали. А всех кур Ханна пустила на консервы. Сейчас она осматривала банку за банкой, тщательно проверяла, плотно ли прилегли крышки, а затем переносила консервы из кладовки в погреб. Если и впрямь придется все-таки покинуть усадьбу, в погребе банки надежней укрыты будут.

В очередной раз стала выбираться из погреба и тут же юркнула обратно, как мышь в нору. Но сразу же выглянула осторожно.

Другой русин, здоровый, широкий мужик, немолодой, чем-то рассерженный, подошел к коновози, осмотрел лошадь, похлопал ее удовлетворенно по шее. Затем, ступая с опаской, приблизился к окну. Долго всматривался и вдруг, пробормотав что-то, сплунув себе под ноги, решительно шагнул к двери и рванул ее на себя.

— Зюзя! — вовсе уж в сердцах вскричал Волченогов. Теперь он начисто отбросил и субординацию, и все прочее, что требовало уважения к старшему по чину. — Весь полк через него, почитай, на ноги подняли, а он нате вам — вот тут! На храпачок прилег. Тоже воюет, называется.

Младшего подкинуло. Он вскочил, еще не сообразив, где он и что происходит, и застонал от боли. Ухватился за спинку стула, потом оперся о стол.

— Бредет, что твой слепец по пряслу! — не унимался охваченный возмущением сержант. И вдруг умолк и так же, как младшой, напряг слух. Он первый понял, что это за гул и грохот возник вблизи. Он слышал его еще на подходе к усадьбе, но лишь теперь осознал весь ужас происходящего.

— Это же наш полк на немцев нарвался. Не иначе. Где-то возле того моста гремит. Точно. И это же мы, мы их туда направили. Ты! — он яростно ткнул пальцем в грудь младшому: — Разведал, называется: дороги, мост. А за ними — что? Опять своим устроил, гнус!

— Потихе, потихе, сержант, — младшой еще пытался (безнадежно) вернуть главенство себе, однако губы дрожали. — Во-первых, на ту сторону ходил не я, а Желудяк.

Жалкой была попытка оправдаться рядом с тем страшным, о чем свидетельствовал грохот близкого яростного боя. Нарваться на вражеский заслон, да еще — колонной! Что может быть на войне хуже?

Волченогов вспыхнул:

— Во-первых, во-вторых... За Желудяка не прячься. Не он все те дорожки и мостики малевал. Нашел опять виноватого. Привыкли: всю жизнь как что — так за спину широкую. Пропадут же, все пропадут там, а мы вот с тобой живые остались. Радуйся!

Вовсе уж беспощадно стукнул себя Волченогов кулаком по лбу.

— Почто сам я за мост подале не прошел? У фрицев там укрепрайон, не иначе. Уж я бы не проглядел! А теперь чего делать будем? Чего, говори?

— Волченогов... — младшой отрешенно уставился в стену, — если все так, если по моей вине, я дожидаться не стану.

Уже пренебрегая болью, доковылял он до постели и вытащил из-под подушки наган.

— Стой! Не чуди! Кому твои фокусы-покусы нужны? Ты перед кем положено встанешь и как положено. Товарищам, если кто живой останется, в глаза посмот-

ришь. Вот так! А баловать нечего!— Одним небрежным движением выхватил Волченогов из руки младшего наган.

— Как вы смеете, сержант? Это вы, вы под трибунал пойдете за такие шутки. А я ни в чем не виноват! Отдайте сейчас же оружие! Слышите!

— И опять он — чистенький!— вел Волченогов свое.

— Да, опять. Еще не известно, что происходит там, а он сразу же на меня всех собак вешать.— И младшой сорвался почти на визг:— Пиллицу тебе напомнить снова? Благодаря кому там успех был, а? Вы же все кричали, что из-за меня свои гибнут, а что оказалось? Молчишь? Это же я, я накрыл фрицев огнем. Но орден ты все-таки себе прицепить не постеснялся. А про меня даже не вспомнили. В своем глазу бревна не замечаете, а как я — так любую соринку. За что, скажи? За что? Вот нога у меня, слепому видно, какие кровоподтеки.

Волченогов даже не взглянул. Покоробленный, как обычно, упоминанием о том бое под Варшавой, упреком в награде,— хотя, положив руку на сердце, заслужил Волченогов свой орден честно, иное дело, что младшой и вправду был обойден,— он уступать не хотел.

— И до тебя еще один такой же в батарею к нам явился. Погончики новенькие, командует... А как в наступление идти, он вроде бы ненароком кипятком ошпарился в землянке. Даже плакал, когда не верили, что это в темноте, не нарочно.

— Вот, смотри! В рожу тебе сунуть ногу, что ли? У меня и рана на этой же ноге еще не зажила, ко всему. Другой бы на моем месте до сих пор в госпитале кантовался где-то...— Младшой с трудом обматывал распухшую ступню портянкой. Благо, все те же кирзачи! Простору в них хватило бы на две таких ступни, как у младшого.— Раскаркался,— не мог он никак успокоиться,— нарвались, погибли... Вон уже и стихло все. Скорей всего, бомбежка была. Но тебя и таких как ты послушать, так это я и «юнkersы» на полк наш навел. С вас хватит... Отдайте мне немедленно боевое оружие, сержант!

— Погодь ты...

Сержант толкнул ногой дверь и быстро вышел на подворье. Грохота разрывов уже не было слышно, но чуткое ухо уловило зато гудение многих моторов. Прерывистый гул доносился с той же стороны, где находился мост. По приставной лестнице сержант взобрался на крышу высокого амбара. Бинобль ему не понадобился. Зоркие глаза сразу разглядели танки. Они перебирались из одного дальнего леса в другой. Без сомнения, танки были немецкие. Их было очень много, однако вели они себя странно: то одна, то другая машина вдруг замирала в непонятном положении, не в силах выбраться из ложбины или не в состоянии одолеть какой-то бугорок. Не понять было, что и зачем делают немцы, ну да лад с ними! Полк! Неужто так и смяли они у моста все — и орудия, и людей? Зыбкие багровые видения замелькали в возбужденном воображении сержанта.

— Что там такое?— хрипло спросил младшой. Он уже добрался до лестницы и стоял внизу на одной ноге, держась за перекладину.

Волченогов выругался горько и зло.

— Что там, сержант, я спрашиваю?

— Что, что... Танки там, тудыть твою, вот что! Танки!

— Не может быть.

— Блазнит мне, что ли! Вон залезай сам и погляди.

— Чьи?— спросил все же младшой и по узким глазам, яростно блеснувшим сверху, понял, что ответа тут не требуется.— Много?— решил он все же произнести осевшим голосом.

— На нас с тобой хватит, вот так!— Волченогов прыгнул с лестницы и полоснул себя по шее ребром ладони.— Полк, весь полк наш накрылся! Наверняка. Понимаешь ты это, зюзя, или нет?— Не в силах сдержаться, он ухватил младшого за отвороты шинели.— Будь ты проклят, слюнявый! Тебя бы без суда. За все, за все. За товарищей погибших. Перепрывались бы погода, как все, по-понтонному, так нет. Расписал: дороги там, мост надежный... Вот тебе и мост твой: там танки только и дожидались, чтоб кто-то сунулся на них!

Плоское лицо Волченогова расплывалось перед глазами младшого, казалось колеблющимся глумом бешенства.

— Отдай мне наган, Волченогов. Я уже не приказываю — прошу, как человека, отдай! Слышишь?

— Хрен в зубы тебе! Недостойный ты оружие носить. Оставайся уже здесь, раны свои долечивать. Тут же, кажись, и баба где-то неподалеку вертится. Ужо она пропасть тебе не даст. И коровка имеется. Так что живи, зюзя.

— Танки сюда идут?

— Ну и что? Бой им задашь. Ты ж у нас отважный...

Волченогов возбужденно бросал эти фразы, одну презрительней и обидней другой, а сам рыскал глазами по обширному подворью, вдруг обнаружив, что

исчез же, исчез конь! Не было нигде видно того гнедого битюга, а ведь Волченогов совсем недавно гриву ему потрепал. Не мог конь уйти сам. Никак не мог. И повод был крепкий, и узел затянут туго. Но время ли было гадать, кто увел, куда? Перекинув автомат дулом вниз, сержант заторопился прочь.

— Сержант! — все-таки решился крикнуть вдогонку младшой. Голос его звенел возмущением и обидой: — Требую: доложите командованию все как есть, по правде: вы бросили меня! Офицера... На произвол судьбы...

Волченогов оглянулся, хотя это стоило труда.

— Не на поле боя бросил тебя — в постели мягкой. Я вот в пекло иду опять, а ты перебудешь как-нибудь лихую пору с молочной. Сачок! И не бойся: не нужен ты ни своим, ни чужим. Живой останешься.

Какое-то время младшой, хотя и без надежды, следил за плотной фигурой. Переваливаясь, она поспешно удалялась на юг. Рыдания душили младшого. Скотина, сволочь... За что? Почему не верит правде? Но еще громче, чем ущемленное самолюбие (как посмел он боевое оружие у офицера отнять?), сильнее обиды («Один ошпарился, у другого нога подвернулась, и как раз же, когда воевать надо!»), до изнеможения мучило желание доказать им, пристыдить, отомстить стыдом их собственным! За все.

Он сунул руку в карман шинели, хотел извлечь полотняную тряпицу, заменяющую платок; неожиданно пальцы нащупали холодную сталь. Наган! Как-то испугавшись Волченогов опустил его незаметно в карман. Открыто отдать не смог. И еще бумаги какие-то. Письма! Сразу два. Все-таки не унес и письма с собой этот жлоб. И тут, слава богу, не посмел, а открыто обрадовать не пожелал. Хоть напоследок.

Группка немцев во главе с гауптманом осталась на опушке, укрылась в ольшанике, среди высоких голых прутьев. На склон, откуда открывался поселок с хуторком перед ним, с нелепо громоздкой кирхой посередине, начхим вышел уже один. Он знал, что гауптман, держа бинокль у глаз, и, возможно, тот из солдат, у которого карабин с оптическим прицелом, до поры еще могут держать его в поле зрения: не попробует ли бежать или отклониться в сторону, но куда надежней прикован он был к врагам тем небольшим, всего с открытку размером, плотным бланком, на котором были напечатаны стандартные слова о сотрудничестве с германским вермахтом, а ниже стояла его собственноручная торопливая подпись и сведения о воинской части и звании.

Как все завербованные, начхим еще полагал наивно, что вот выполнит он это, одно-единственное, задание — расскажет немцам, что там и как в поселке (грех, в конце концов, невелик), и оставят они его в покое, а может, и отпустят, уничтожив расписку. И он спешил, чтоб поскорее сбросить с плеч тягостное бремя измены. Дано было ему всего сорок минут, и потому он почти бежал, задыхаясь. К тому же без шинели он еще и продрог основательно.

Перед хуторком тропа нырнула вниз. Теперь он на какое-то время исчез из виду у немцев. Он позволил себе оглянуться, но тут же вздрогнул и сиганул за ствол одинокого старого вяза. Всего лишь немного левее перемещался рывками человек, которого он узнал сразу. Не кто иной, как сержант Волченогов, пригибаясь, втянув голову в плечи, короткими перебежками (обычная предосторожность опытного разведчика, который знает, что где-то вблизи — могут быть враги) добирался к зарослям. От мокрого стога, за которым он притаился в очередной раз, сержант мог пробраться либо налево и через взгорок к роще, либо принять правее, выйти как раз на ольшаник и вот там неизбежно напороться на гауптмана с его солдатами.

Сердце у начхима колотилось так громко, что он опасался, не слышит ли Волченогов. А сержант, повернув вправо широкое лицо, пристально вглядывался запявшими глазами в ближний ольшаник.

«Дурень!» — начхим едва сдержался. Достаточно было присвистнуть и указать безопасный путь, но с ужасом представлял начхим и иное: Волченогов побежит тогда левее, через взгорок и рощу, а где-то там, наверное, полк, хоть пострадавший изрядно, но ведь кто-то из начальства жив остался неизбежно. Вот и узнают, что, бродит неподалеку начхим, — без шинели, без фуражки, а зачем — неизвестно.

Начхим все передвигался вокруг корявого толстого ствола, стараясь, чтоб Волченогов его не увидел, а сержант после очередной перебежки единым махом кинулся как раз в ольшаник.

Как же часто, едва выдастся минута и унесешься мечтами подальше, представлял он плотный, еще довоенный конверт с обратным адресом: «Ташкент, улица Лугина...»

Все так и было, вот только миг выбрала судьба — то ли насмешливая, то ли злая — самый неподходящий. Обида без вины виноватого, тоска смертельная захлестнули юную душу младшого. Конечно же, вражеские танки химерой не представлялись, однако не ради же того, чтобы ринуться на этот хуторок, прорвались они в тыл. Вот только не добираются ли они до того загадочного поселка с кирхой, до которого ему дойти не удастся никак? Выходит, не зря так стремился младшой узнать, что же там такое? Волченогову бы хоть сейчас сделать это, а уж потом возвратиться к своим. Так нет: возмущился, облил презрением и — прочь. А что он, младшой, может теперь сам-один? Едва ковыляет, на палку опираясь («Кий», — сказала Ханна, когда еще утром разыскала для него где-то в сенях этот посох, отшлифованный стариковскими руками).

Как же быть теперь, как? Неужто, подтверждая насмешки Волченогова, зайти в хате или, того хуже, где-то в коровнике? Мысли и вопросы, не находя ответов, вихрились, а пальцы вопреки всему уже вскрыли конверт, и заскользил взгляд по долгожданному строкам.

Оказались они и краткими, и сухими. Да и могло ли иначе быть?

«Здравствуй, товарищ фронтовик!

С комсомольским приветом к тебе Гилязова Галя.

О своей жизни, а также о спрашиваемых тобою товарищах могу сообщить очень мало. В школу, в комитет комсомола, значит, почти никто не пишет, а мне самой ходить по домам просто некогда сейчас. Весь дом на мне, потому что мама очень сильно заболела после того, как папу забрали. Совершенно ни за что, конечно. Сколько лет работал на откормочном пункте только одни благодарности, а тут появился эвакуированный одессит и подвел папу под статью, сволочь такая!

Ну, тебе это, должно быть, неинтересно. Написала, чтоб объяснить, почему у меня времени нету. Кручусь, как только могу. Паек мы больше не получаем. Совсем трудно было. Хорошо, появился у нас друг. Он, конечно, много старше меня будет. Семья у него в оккупации вся погибла. Очень он помогает нам с мамой во всем. Скорей всего, свяжу я с ним свою судьбу.

Теперь о товарищах. Сенька Фурсов, Шамсутдин Дадаев, а еще и один из братьев Клеблеевых — Хабишка, если ты помнишь его, только не по комитету, а по самостоятельности (ну, тот, что на баяне хорошо играл), уже погибли, а о библиотекаре известно только, что забрали его в трудармию.

Пока все. Очень надеемся на скорую победу над проклятыми врагами. Между прочим, адвокат сказал, что после победы ожидается большая амнистия!

С пожеланием боевых успехов к тебе

Гилязова Г. Г.»

Ощувив сосущую пустоту в груди (пусть там, где обретения не было, и потеря, казалось бы, не столь ощутима), безотчетно развернул он и свернутое треугольником письмо от матери. Все те же сетования и причитания, наставляющие своей наивностью. И все же — тепло и утешение, потому что, как никогда, хотелось сейчас, хотя в этом он признаться себе стеснялся, припасть к материнскому плечу.

Все фразы были те же, что и в предыдущих письмах. Лишь в самом конце, перед обычным: «Целую тебя мысленно и молю бога, чтоб поцеловать живого...» — вдруг неожиданное: «Закрываю глаза, хочу представить тебя военным, боевым командиром, и не могу. Ты извини, Лелик, дорогой. Не получается никак. Вижу, только ты не обижайся, не тебя, а дедушку как раз в те годы, когда он воевал с басмачами. Он был тогда чуть ли не в два раза старше, чем ты теперь. Но все равно...»

Над маминой постелью у дальней глухой стены висела фотография в деревянной раме, увеличенная с паспортной: длиннолицый, совсем еще молодой отец Лелика. Губы у него были выпячены, будто надуты обиженно. Зачем, мол, заставили сниматься?

Отец работал печатником в том же издательстве, где служил после увольнения из военкомата дед. Однако епархией дед являлся двухэтажный старый корпус. Там размещались редакции — именно их охранял он от огня. Отец же Лелика трудился в соседнем квартале, в типографии, и там начальником противопожарной охраны был совсем другой человек, новый, не успевший даже разобраться, что и как ему делать надлежит. «Выдвиженец», — называли его рабочие. Был он родственник какого-то начальника, взятый в город, чтоб сделать там карьеру, и поставлен сразу на какую-никакую начальственную должность. Не очень высокая, но все же — исходная ступень. И погорел в самом начале так и не состоявшейся карьеры. Погорел почти буквально, едва прослужив недели три.

В ночную смену занялась от замкнувшихся проводов окраска на стене печатного цеха. Огонь медленно, но упрямо полз к огромным бумажным рулонам. Женщины-упаковщицы с визгом кинулись во двор. Мужчины, их было немного, — топорливо, но неумело разматывали брезентовый шланг; кто-то дико кричал: «Крыш-

ку, крышку снять помогите!» (Крышка закрывала водопроводный люк с вентилями, и ее успели изрядно затоптать; пазы были забиты намертво слежавшейся землей и галькой). Какой-то растерявшийся рабочий вертел в руках огнетушитель, не зная, с какого боку приступить к делу.

В иные минуты отца посещала решительность. «Дай сюда!» — велел он. Взболтал (научил когда-то его на свою голову тесть) содержимое, стукнул соском о бетонный пол. Однако смесь прорвалась в самом слабом месте — выбила проржавевшее дно и ударила отца в живот.

Он умер три дня спустя. На могилу печатники положили чугунную плиту с рельефной строкой: «Всегда ты будешь живым призывом...» То была искаженная строка из горьковской «Песни о Соколе», и Лелику становилось неловко, когда он видел эту эпитафию.

— Зачем, скажите мне, зачем полез он с этим проклятым огнетушителем? — причитала всю жизнь к слову или к случаю Раиса Григорьевна. — Почему это ему нужно было больше, чем всем?

— Но кто-то же должен тушить пожар? — не выдерживал дед.

— А где начальник охраны был? Почему никакой дружинник не схватил тот дырявый огнетушитель?

— Это совсем другой вопрос, потому что, когда горит, то не разбираются, чья это обязанность — тушить. Первым в огонь кидается тот, у кого совести больше. Дед остро переживал и смерть зятя, и горе дочери, и боль — уже только собственную: пожар случился в том же издательстве, где служил он.

Его тоже привлекли вскоре, но лишь в качестве эксперта.

— Допускаете ли вы, товарищ эксперт, что огнетушитель был выведен из строя умышленно?

— На что оно нужно было?

Но от него ждали иного ответа, и он сказал:

— Все остальные огнетушители, а их шесть штук, исправными оказались. Потому и пламя удалось быстро сбить. А тот огнетушитель, он чуть-чуть пола не касался — так его повесили халатно. А уборщица же моет полы каждый день. Так она, наверно, и задевала днище мокрой тряпкой. Потому оно и проржавело. А может, и кислоту когда разлили по полу — от этого в сто раз хуже еще могло стать.

— А как вы смотрите на тот факт, что именно в ночь пожара печатался текст новой Конституции СССР, и, если бы сгорела бумага, чего, к счастью, не произошло, граждане республики получили бы важнейший текст с огромным опозданием?

— Извините, но я про такое знать не могу.

— А партийное чутье вам не подсказывает, что это могли быть происки врагов?

Лелику — он сидел рядом с мамой, прижатый к стене, — врезалось в память, как дед долго отирал лицо платком и кадык на его покрасневшей шее бегал отчаянно.

— Враги народа на все способные, — произнес он тихо.

Нечто, напоминающее жалкую гордость и дарящее слабое утешение, шевельнулось в душе, когда Лелик подумал: выходит, отец его стал жертвой вражеских козней? А ведь о них даже «Пионерская правда» сообщала неустанно. (Газету Лелик выписал еще будучи в третьем классе и читал каждый номер от строки до строки, преклоняясь перед силой печатного слова.)

Вскоре из тех же приглушенных бесед деда и матери узнал он, что незадачливого начальника пожарной охраны осудили на десять лет. Ему, как считал дед, еще очень повезло: не попал под особое совещание. Что ж до технорука и до человека, ведавшего недавним ремонтом (краска на стенах оказалась горючей), то их наутро после пожара сразу же арестовали органы. У о р г а н о в сомнений не оставалось: лишь отъявленные враги народа могли попытаться сорвать публикацию текста Сталинской конституции.

Отца Лелику заменил дед. С дедом вместе (тому билеты в кино полагалось брать вне очереди) смотрели они и потрясающую комедию «Волга-Волга». Перед фильмом показывали киножурнал «Новости дня». Счастливого волнение невольно охватывало Лелика и, он чувствовал, сидевшего рядом деда — тоже, когда торжественно восходила на экране пятиконечная лучистая звезда, сюжет сменялся сюжетом, и голос диктора, то державный, то ликующий, то сдержанно суровый, вещал о публикации новых замечательных глав «Краткого курса истории ВКП(б)», о стахановских школах, о разгроме Красной Армией японских провокаторов у озера Хасан, о декаде киргизского искусства в Москве.

Лелик возвращался, переполненный впечатлениями. Передразнивал японцев, повторяя невесть кем сочиненный куплет: «генерал лихой Кусаки очень хочет с нами драки. Если надо, Коккинаки полетит на Нагасаки, и покажет он Кусаки, где и как зимуют раки!» Разыгрывал перед матерью и дедом сценки из «Волги-Волги». В крохотном палисаднике пили они чай с айвовым свежим вареньем, а во дворе

подростки танцевали под патефон модный фокстрот «Рио-Рита», и Лелик наблюдал за ними не без зависти.

Танцевать он так и не научился, а выделиться хотелось. Он переметнулся из драмкружка, где ему, увы, давали незаметные роли, в хор. Солистом и там не стал, но старался. Особенно когда, наподобие бойкой переключки, исполнялись бодрые: «Эх, хорошо в стране Советской жить». Или — «Каждый молод у нас».

«Как же так: резеда и героем труда?»

Почему? Растолкуйте вы мне», — задиристо спрашивали девические голоса, а Лелик вместе с мальчишками отвечал убежденно и радостно:

«Потому, что у нас каждый молод сейчас

В нашей юной прекрасной стране...»

Страна была самой лучшей в мире, в истории. Пусть мама ликующе и подробно рассказывала, как повезло ей вчера: надо же оказаться в обувном в тот момент, когда выбросили мальчиковую обувь! И как раз же — размер для Лелика. Вот они: пусть брезентовый верх, пускай резиновая подошва. Но до самого Нового года хватит, если осень будет не очень дождливая, конечно. Пусть складка на лбу у деда становилась еще глубже, когда рассказывал он потихоньку маме, что вот еще и Рябчинского взяли вслед за другими. Пусть за завтраком мама намазывала тонкий слой масла на хлеб только ему, Лелику. Ей-ей, ни то, ни другое, ни третье не в силах было поколебать святой убежденности: живет Лелик в самом лучшем из миров. Ну не зря же, скажите, так завидовал ему, а заодно, разумеется, всем советским пионерам, немецкий мальчик, по счастливой случайности оказавшийся в СССР? Об этом мальчике рассказывала читаная-перечитаная книга «Губерт в стране чудес». Что ж, пусть устанавливают немецкие геноссе социализм и у себя. Тогда исчезнут и у них безработные, нищие, бродяги, не станет ни богатых, ни бедных, а дети тоже будут носить красные галстуки и бодро шагать под звуки горна и барабана в пионерских лагерях.

Он так и не успел разобраться, почему немецкие геноссе не успели заразиться тем же чувством восторженной зависти, которое охватило и потрясло юного Губерта. Почему они, товарищи по классу, подчинились бесноватому фюреру? Рассуждения, явившиеся в более зрелом виде и в пору взросления, были вмиг смяты жестокой реальностью: немцы свирепо топтали и жгли страну чудес.

Но стала она от этого только еще более любимой.

В колонне новобранцев, одетых кто во что, с тощими котомками на плече, с остриженными шишковатыми головами, шагал он к вокзалу.

«А-ну, песню, молодцы!» — велел пожилой капитан, шагавший сбоку колонны. Новобранцы ступевались. Кто-то решился запеть «Дальневосточную», потом «Три танкиста», но подхватить дружно по-солдатски припев так и не сумели. Песни сминались одна за другой, и капитан махнул безнадежно рукой: «Отставить, орлы!» Но уже на бульварной привокзальной площади взлетел над рядами несильный, однако уверенный голос кого-то из старослужащих. То была песня, пожалуй, еще двадцатых годов. Старая, но вдруг с началом войны воскресшая сама собой в красноармейском строю. Лелик перенял ее у деда, как многие стихи и песни той романтической поры, когда дед и его боевые друзья, еще красивые и brave, скакали на разгоряченных конях вслед за знаменем, под которым ехал сам товарищ комдив с бесподобной фамилией Веревкин-Рохальский.

Джим, подшкипер с английской шхуны,  
Плавал семнадцать лет.  
Знал моря, заливы, лагуны,  
Старый и Новый свет.  
Но однажды порой вечерней  
В хмурый осенний час,  
Джим услышал в старой таверне  
Станный морской рассказ.

И вот этой-то песни припев, взволнованный и гордый, жил, оказывается, в каждом. И, к счастливому удивлению капитана, строй грянул совсем по-армейски:

Есть Союз, Советская страна,  
Всем примером служит она,  
Там, в долине, где море сине,  
Где голубая да-ль...  
Есть Союз, Советская страна...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Враги

#### Глава первая

Истово, как никогда прежде, молил пастор Алоиз Кюн всевышнего: да укрепит господь дух смятенной Германии в час роковых испытаний. Произносил «Амен», а затем застенчивой скороговоркой упоминал и о своей беде. Наваждение, неотступное и кощунственное, преследовало пастора. Бред, казалось бы. Святотатственный бред. В пронумерованном пленнике «11110ST» (цифра из одних только кольшиков тоже представлялась едва ли не знамением небесным) обнаружил он пугающее сходство,— себе самому признаться страшно,— со спасителем.

Блажь, о ереси уже не говоря, но здравомыслие, с младых ногтей присущее Алоизу Кюну, изменяло ему с каждым часом. То здравомыслие, благодаря которому несколько лет назад без колебаний принял он предложение военных и возглавил новый приход в закрытой зоне вблизи Котбуса. Твердо взошел тогда Алоиз Кюн на кафедру кирхи, сооруженной очень быстро и по традиционным образцам, однако внутри начиненной множеством труб и вытяжных устройств. Скрыты были они в нефах, и нетрудно было сообразить, что отнюдь не во славу божию был так поспешно выстроен этот новый храм здесь, в заброшенном углу Сербской Лужицы.

Пастор предпочел неведение. Во имя промысла божиего и во имя возрождающейся великой Германии. Не зря рельефные буквы на пряжке у каждого солдата гласят: «Zot mit uns!»<sup>1</sup> Господь пребывал с немецкими солдатами неизменно. Тем паче обязан был быть вместе со своим народом он, пастор Алоиз Кюн.

Хотя бы поэтому напрочь выбросил пастор из головы, что новоявленный вождь германцев представлялся ему малосимпатичным, особенно на заре своего мюнхенского восхождения. Но все-таки сыскал Алоиз Кюн, в ту пору финансист ганноверской консистории, и то, что начисто затмевало внешние, явно принижающие фюрера моменты: Гитлер (как-никак, воспитанный все-таки иезуитами!) явился тем долгожданным главой нации, кто и намерен был, и устанавливал твердой рукой железный порядок в обществе. При строжайшем подчинении низших высшим, а никак не наоборот! Неуклонно вбивал фюрер прочные сваи германской государственности; все прочее, наносное, этим искупалось. Ну разве не зыбкость власти, не интеллигентская расхлябанность и самого Пауля Гинденбурга, и его окружения едва не привели Германию к гибели — к коммунистическому перевороту! И по сему, что бы там ни было — «Хайль Гитлер!»

Все пять лет своей службы в приходе (даже в церковной иерархии не учтенном, что, впрочем, большим упущением не являлось: лютеранская церковь к формальной стороне не придиричива) стоял на том Алоиз Кюн. Он хранил непоколебимость даже тогда, когда фронт рокотал уже не где-то на русских равнинах, а надвинулся вплотную, устрашающе гудел совсем рядом и оптимизм в радиосводках сменился заклинаниями: «Стоять насмерть!». Но пастор Кюн, восходя на кафедру, являл до поры твердость и силу духа, тем паче что начальник гарнизона строжайше приказал всем офицерам и солдатам, свободным от нарядов, присутствовать на его проповедях.

Паства, правда, была и теперь невелика: семей в зоне не было; офицеры ездили к женщинам в Котбус, бордель для солдат находился в лесочке по дороге в Форст. Там отлично вышколенные и принявшие присягу девки были одинаково равнодушны и к мужским достоинствам своих партнеров на час, и к их службе в зоне секретной, несекретной — какая разница? Но вот уже давненько радостные для солдатни поездки были запрещены. Докатались слухи, что все тыловые службы, следовательно и бордель, спешно вывезены, а дня три спустя русские переправились через Нейсе и заняли Форст.

Начальство (в зоне было оно, как впрочем и вся охрана, эсэсовским) даже от пастора скрывало многое, однако не мог он не чувствовать, как сгущается час от часу тревожность. Все, все указывало на эвакуацию. С поспешностью, говорившей о многом, удалили из зоны всех штатских специалистов и рабочих-немцев, а вскоре по колее, ведущей через секретный мост к Котбусу, начал уходить на запад эшелон за эшелон. Увезли почти всю охрану, затем, не иначе — после паузы, ушедшей

<sup>1</sup> С нами бог!



на горячечные споры о том, как же с этой массой поступить сейчас, впервые вывели из-под земли всех пленных.

Пленные не сомневались, что ведут их на казнь: до сих пор наверх выводили только провинившихся или окончательно обессиленных; под землю не возвращался никто. Теперь же подняли вдруг всех без исключения, но и это не сулило добра.

Стоя на паперти, следил пастор за жутким потоком, направлявшимся к оврагам. Слепшие от давно не виданного дневного света и свежего воздуха, шатающиеся, изнуренные, серые. Словно с креста снятые (вот тогда-то впервые и мелькнуло это сходство). Невольно пастор вздрогнул. Разумеется, знал он, что в убийственно вредных подземных цехах трудятся пленные, по приему — выходцы из России и Польши; и его по ночам будили пулеметные очереди, доносившиеся из дальних оврагов; догадывался он, почему короткая стрельба вскоре сменяется урчанием бульдозеров: это останки убитых погребали под толстым слоем грунта, а сверху еще и молоденькие деревца высаживались в живописном беспорядке, чтоб напоминало естественный подлесок. Выходит, грешили, и все-таки опасались: как бы не пришлось нести ответ перед людьми! А перед богом?

Впервые так остро пронзила пастора эта, казалось бы, изначально живущая в каждом священнослужителе мысль, когда предстало перед ним, воплощенное в жалких, покорно бредущих к неизбежному концу фигурах у него же и не человека, созданного господом по образу и подобию своему.

Потупясь, отвернулся пастор к церковным вратам. Сам оберст резко окликнул его:

— Ваше преподобие, почему вы еще здесь? Идите наверх и садитесь в мой «оппель». Немедля!

Пастор встал к печальной колонне обреченных вполоборота.

— Что могу захватить я с собой из храмового имущества? — спросил он, сохраняя прежнюю позу. Прозвучало неуместно и уже потому глупо, однако отрешиться от только что увиденного, от того, о чем знал он все эти годы, прячась за внушенными себе неведением, пастор не смог.

Как и ожидалось, оберст гоготнул:

— Библию! Разумеется, в божественном переводе Мартина Лютера. И да помогут силы небесные всем нам!

— Силы небесные ведомы не нам с вами, а тем, кто поливал свой жалкий хлеб слезами, не отличая скорбной ночи от печального дня...<sup>1</sup>

— Не расслышал! И вообще, оставим мудрствования, ваше преподобие. Теперь не до них. Неужто вы не понимаете...

Оберст прервал себя на полуслове и, пренебрегая тем, что рядом с ним духовное лицо, грязно выругался.

Пастор стянул голову в плечи. Сдавленные вопли, хрипы, злые команды конвойных, брань, короткая автоматная очередь и стук тела о бетон...

— Scheiße!<sup>2</sup> — оберст брезгливо поморщился. — Так я напоминаю: у вас, герр Кюн, осталось всего полчаса, если вы только не желаете странствовать пешком.

Надо было понимать: убирайтесь отсюда сейчас же ко всем таким-то матерям. Однако и теперь пастор не в силах был сдвинуться с места. Спиной ощущал он чей-то взгляд, прожигавший сутану. Медленно, словно подчиняясь непонятному, но властному повелению, пастор обернулся.

Толпа пленных уже удалялась, а два серых трупа остались на дороге. Один из убитых лежал ничком, раскинув руки со скрюченными пальцами. Другой поджал ноги, как ребенок во сне. Над ними высился (So!<sup>3</sup>), при том, что был не так уж и велик он ростом, скелет с высохшим лицом. Но глубоко запавшие глаза жили, и взгляд их заставил пастора Алоиза Кюна вздрогнуть. В глазах царил неземной, недоступный людскому пониманию покой. Словно только ему, одному-единственному, была ведома истина, перед которой все, что творилось теперь в истерзанном и искореженном мире, выглядело суетным, пустым. Два эсэсовца — несомненно, это они только что застрелили двух пленных — топтались чуть поодаль. Оба вытянулись, когда к ним приблизился оберст. Рядом с ним, не отставая, чтоб не выглядеть, не дай бог, сопровождающим начальство, вышагивал сухими ногами эсэсовский майор-оберштурмфюрер.

— Какого черта вы палили? — спросил недовольно оберст.

— Крайне непредвиденный случай, господин оберст, — ответил, по нашивкам

<sup>1</sup> Пастор цитирует по памяти гётевского «Вильгельма Мейстера»: «Кто никогда не ел хлеба своего со слезами, кто не просиживал скорбные ночи на своей постели, плача, — тот не знает вас, силы небесные!» (авт.)

<sup>2</sup> Дерьмо!

<sup>3</sup> Так!

судя, старший из конвоиров.— Оба пленных как взбесились. Один вцепился в горло мне, другой — штурману Гесхаймеру. Ну и пришлось...

Конвойр будто отвечал оберсту, как старшему по званию и к тому же — начальнику гарнизона, однако глазами ел свое родное начальство — оберштурмфюрера Зеевальда. Сложная ситуация, в которой эсэсовцы оказывались неизбежно, если приходилось общаться одновременно с армейским и собственным офицером.

— Так, так... А третий зачем?— Даже оберста поразил взгляд, отрешенный от всего здешнего — земного.

— Оставили потому, что кто-то же должен эту пададь зарыть.

— А затем — себя самого? Так? А вы будете только наблюдать за этой милой сценой...— И оберст вскричал:— Неужто вы не понимаете, что каждая минута у нас на счету? Через полчаса в зоне не должно остаться никого. Вы слышите: никого! Фамилии?

— Шарфюрер Грандке! С вашего позволения, герр оберст.

— Штурманн Гесхаймер!— прокричал и второй конвойр.— Мы же не виноваты, герр оберст, что эти почему-то набросились именно на нас,— решил он добавить потише.

— Они безошибочно выбрали двух идиотов, у которых нервы сдают, как у бабы при виде мышонка.— Оберст чуть повернул голову в сторону эсэсовского офицера. Тот явно переживал за своих, попавших впросак, но молчал.— Оставлять трупы на виду запрещено категорически. Значит — зарыть! И одного, и второго, а потом — и третьего!— Взглянуть на того, живого, он не смог.— Разберитесь со своими, оберштурмфюрер, и кончайте с дурацким эксцессом. Я жду вас у комендатуры.

Оберст удалился быстрым шагом. У кирхи к нему присоединились терпеливо ожидающиеся двое офицеров...

Пастор все еще не уходил. Чтоб не попадаться на глаза оберсту, он стоял за церковной дверью, чуть приоткрыв створку. Он видел, как оберштурмфюрер Зеевальд с выражением, не сулившим его подчиненным ничего хорошего, подманил их пальцем к себе поближе.

— Что с вами?— спросил Зеевальд.— Ну, Гесхаймер у нас отвагой не блистал никогда, но вы, шарфюрер? Не узнаю вас, Грандке. Неужто не смогли попросту отшвырнуть от себя двух этих полудохлых?

— Но они словно осатанели, господин оберштурмфюрер. Откуда только силы у них взялись? Гесхаймер первый не выдержал,— тут Грандке зло покосился на напарника,— а я как-то непроизвольно, вслед за ним...

— А мочеиспускания непроизвольного у вас не бывает? Вам обоим покой нужен, наверное. Так вот, я его вам устрою: смените на подземном спецпосту — в арсенале — тех дежурных, что были назначены ранее. Инструктаж, Грандке, получите от старшего на посту. Отправляйтесь туда. Живо! А вы, Гесхаймер, укройте трупы так, чтобы их ни один пес не обнаружил, и сразу займете место на посту рядом с Грандке. На все вам дается двадцать минут. Ясно? Что вылупились на меня? Действуйте!

Рассерженный Зеевальд повернулся и двинулся было к кирхе, но, спохватившись, что идет не туда, тут же круто изменил направление и зашагал к комендатуре.

Пастор поспешно прикрыл дверь, поднялся в свою опочивальню, быстро побросал в баул все самое необходимое. Из окна он увидел, что на пригорке у здания комендатуры вытянулась готовая к движению небольшая колонна — несколько крытых фургонов для солдат, а впереди — легкие автомобили, в которых уже сидели офицеры. Надо было торопиться, однако пастора властно тянуло взглянуть еще хотя бы раз на того. Зов был непреодолимо силен, и пастор подчинился.

Он увидел, что неглубокий ровик уже готов. Проявив известную сноровку, подстегнутый своей виной и страхом перед начальством, Гесхаймер, заставив, разумеется, и пленного копать, углубил и расширил придорожную канаву. Трупы уже лежали у края этого подобия могилы, и, по всему судя, Гесхаймер намерен был скатить их в яму пинками. Однако тот вдруг встал на пути у эсэсовца, властно раскинув руки.

Объятый ужасом, пастор не мог оторвать глаз и от страшной картины и от него. Теперь он знал даже то, с какого креста сошел этот. Конечно же, Брауншвейгское деревянное распятие. Еще в юности преклонял перед ним колени Алоиз Кюн. Даже полосы на жалкой одежде напоминали рельефные рубцы на той деревянной фигуре Спасителя. И тот же удлинённый лик. И та же безмятежность в глазах — свидетельство сверхчеловеческого постижения жизни. Не той, одна из жутких сцен которой творилась вот сейчас на глазах у потрясенного пастора Кюна, а бытия высокого и вечного. Божественного.

Заходясь кашлем, тот все же как-то бережно и легко поднял трупы один за другим, уложил их на земляное дно и благоговейно прикрыл лица арестантскими шапками.

— Кончай возню! — эсэсовец поставил и его на край ровика, но тут же с досадой сообразил, что места для троих в яме будет явно недостаточно. А тот все стоял с прежним, исполненным возвышенного покоя лицом. Он встречал жуткую участь как нечто незначашее.

Гесхаймер бесился, а тут еще из подземелья по аппарели вверх пробежали двое обрадованных, те, что были теперь освобождены от караула в арсенале. На физиономиях читалось неверие во внезапно обретенное избавление. От Гесхаймера они лишь отмахнулись и побежали еще быстрее.

Зло начал забрасывать Гесхаймер оба трупа землей. Тот, повиновавшись, делал то же самое, медленней, но аккуратней и осторожней, чем нервничавший эсэсовец.

Гесхаймер уже утаптывал холмик, чтоб скрыть захоронение. Словно плясал на могиле. Скрываясь за полосатой будкой, пастор постанывал, страдая от кошмарной картины. А Гесхаймер приволок две изношенные шины от грузовика. Он бросил их одна на другую, и, похолодев, пастор догадался: эсэсовец готовит жуткое аутодафе, не иначе, намерен сжечь третьего несчастного на костре из этих вот шин.

Чего-то еще доставало эсэсовцу. Скорее всего — горючего. Он метался с жестяной посудиною в руке, то и дело оглядываясь на обреченного, но тот все так же невозмутимо стоял около шин, по-прежнему безразличный к своей участи.

Какие-то секунды пастор еще топтался на месте в бессилии помочь. Неужто небо будет лишь взирать равнодушно? Он уже готов был рвануться из укрытия, и тут, впрямь, словно из небытия, возникли и пронеслись над землей два самолета. Так низко, что даже головы пилотов в округлых шлемах, не говоря уже о красных звездах на крыльях, были видны отчетливо.

Не исключено, что и летчики заметили странность: местность, которую они наблюдали сейчас с высоты, как-то не вязалась с тем, что было изображено на картах, хотя особых подозрений она не вызывала: ну, церковь, небольшой поселок. Вот разве что цистерна, брошенная на путях? Летчики выпустили по ней несколько пулеметных очередей, и цистерна — в ней оставалось немного неслитого мазута — сразу задымила. Густые жирные клубы покатались от нее, подгоняемые ветром, и скрыли от пастора и Гесхаймера, и узника, из-за которого Алоиз Кюн потерял душевное равновесие. Ко всему кто-то бесцеремонно потянул пастора за рукав: То был посыльный от коменданта. Он едва ли не поволок Алоиза Кюна за собой на горку.

Пастор словно не слышал, что орал, пренебрегая его возрастом и духовным саном, Зеевальд.

— Двигайтесь же поскорей! — Obersturmführer был не только раъярен задержкой, но и напуган появлением советских самолетов, несомненно обнаруживших зону. Подстегнутая ими последняя колонна обратилась в неприкрытое бегство. Легковые автомобили, грузовики, фургоны понеслись, только что не обгоняя друг друга, к шоссе, врезавшемуся в лесную чащу.

«Где же О Н?» Мысль эта по-прежнему точила душу пастора, все оглядывавшегося назад. Черное густое облако закрывало погрузочную площадку. Жирные волны дыма подбирались даже к церковной паперти.

Колонна взобралась на холм. Весь поселок открывался отсюда. Пастор кинул еще раз взгляд на кирху. Маскировка, декорация. Надо наконец признаться себе, что и его, пастора Кюна, сделали соучастником святотатства. Впрочем, лишь до поры все крайние меры скрытности представлялись пастору причудой помешанных на секретности военных. До той поры, пока война вершилась где-то в безвестных украинских и приволжских степях. Но, когда русские самолеты начали, едва выдастся погожий час, проноситься над головами, маскировка была ничуть не лишней. Русские и не подозревали, что же скрывается под насыпями, напоминающими бурты с картофелем? Не знали, какое множество людей — и немецких специалистов, и пленных, за которыми присматривают эсэсовцы, копошится день и ночь у станков и химических установок. Самолеты уходили дальше на запад, к станции, и сбрасывали бомбы там. Зарево пожаров реяло над станцией беспрерывно, однако она еще была жива и к ней направлялась теперь из зоны эта колонна. Самые старшие уходили последними. Так распорядился оберст. Мрачней с каждой минутой, слушал он, что говорит ему адъютант.

— Кто распорядился о замене? Зеевальд? — переспросил оберст и тут же велел водителю остановить «оппель».

Оберст встал на шоссе, нервно теребя перчатки и поглядывая на небо. Место, где след за ним остановилась сейчас вся колонна, было совершенно открытым, но, рассердившись, оберст пренебрег осторожностью.

Обочиной подкатила машина Зеевальда.

— Чем думали вы, оберштурмфюрер? — донеслось и до пастора. — Мой

адъютант доложил сейчас, что вы, оказывается, оставили на складах двух каких-то олухов вместо специалистов, назначенных мною ранее. Ни один же из этих ваших болванов наверняка даже представления не имеет ни о химических процессах, ни о законах детонации... — Оберст постукивал стеком по бутылочному голенищу.

Пытаясь сохранить достоинство, Зеевальд что-то говорил в оправдание, но оберст прервал его сердито:

— Не медля разыщите Рединга.

— Его не надо разыскивать. Он вот здесь, в моем автомобиле.

— Прекрасно. Тогда отправьте его в вашем же автомобиле в зону, а сперва пусть подойдет ко мне.

— Осмелюсь все-таки заметить, господин оберст: Рединг в своей области знаний — один из крупнейших специалистов во всей Германии. В случае же чего...

— В случае чего, — вовсе уж раздраженно остановил Зеевальда оберст, — Рединг, как и все мы, находится на войне. Для солдата гибель — рутинное дело.

Спустя минуту перед офицерами навтыжку встал узкоплечий ефрейтор. Пастор заметил, как подрагивает его щека в лиловых прожилках. Ефрейтор Рединг покорно выслушал короткое наставление, наклонив голову в знак понимания, однако позволил себе спросить:

— Могу ли я демонтировать взрывную систему, если танки не подойдут в назначенный час? — И пояснил: — После истечения установленного мною времени риск спонтанного взрыва будет возрастать с каждой минутой.

Оберст приблизился к Редингу и оттянул пальцами отвороты его мундира:

— Танки подойдут, запомните это! Но и потом — никаких демонтажей. Кому как не вам знать: там не только готовая продукция. Там схемы, чертежи, новейшие образцы. Если хоть что-то попадет к красным...

Вот тут уже не только небо вмещалось опять, но и будто предсказания апокалипсиса сбываться начали. Вмиг возник и устрашающе вырос, приближаясь, грозный рев с небес, и сразу ударило свирепо о землю, раскалывая ее на куски. Опять и опять. Злее и злее...

Когда пастор очнулся, самолеты уже удалились. Тишина оглушала. Он попытался встать, но рухнул и застыл в постыдной позе, на четвереньках.

Кто-то помог ему подняться. Пастор различил щеку в лиловых прожилках.

— Погодите, — попросил пастор. Он все-таки посмотрел вверх, на дорогу.

Пламя рвалось из смятого «опшеля». Опрокинутые грузовики раскидало по всему шоссе. Трупы и подобия человеческих тел, скрюченные, обуглившиеся, валялись там и тут. Ближе всех лежал оберст с зажатыми в окоченевшей ладони перчатками, а рядом — белесый Зеевальд.

— Кара господня. Кара за грехи наши...

— Всего-навсего бомбежка, — возразил человек, который по-прежнему подерживал пастора. То был сутулящийся ефрейтор. Рединг, кажется, зовут его.

— Богу угодно было оставить нас в живых.

— Сработал закон вероятности. Впрочем, и мне и вам, ваше преподобие, лучше убраться отсюда подальше. Не говоря уже о том, чтобы привести себя в божеский вид.

Пастор впервые осмотрел себя. Измазанный грязью, в растерзанной одежде. У Рединга вид был не лучше.

— Простите, — сказал Рединг, — мне пришлось довольно сильно дернуть вас вниз. Вот сутана и порвалась.

— Так это вас должен благодарить я за спасение?

— Вы уже имели честь заметить: господь был милостив к нам обоим. — Рединг тоже говорил с трудом. — Пойдемте, ваше преподобие. И положимся на судьбу.

## Глава вторая

— Хвост поросячий в дерьме зеленом...

— Вшивая шкура обезьяны...

Следующие пятнадцать минут эсэсовцы лениво перекидывались картами, потом Грандке указал на часы, требовательно взглянув на Гесхаймера:

— Твой черед.

— Червяк лупоглазый...

Находка была не лучшей, хотя и Грандке парировал, не ощущая превосходства:

— Трухлявый пень в серой плесени...

В предыдущие сутки оба дежурных отсыпались поочередно, а теперь, вот уже пятый час кряду, после того как пообедали всухомятку, резались в карты. «Выбор дамы» — игра, вошедшая в моду с началом войны. Вместе с тем каждые четверть

часа они по уговору произносили ругательства в адрес белесого оберштурмфюрера, по милости которого оказались здесь, под землей, в положении едва ли не обреченных.

Страх сгушался с каждым уходящим часом. С каждой секундой, отмеренной стрелкой, прыгающей на круглом циферблате настенных часов. Под ними на длинных, казалось бесконечных, стеллажах тесно и аккуратно, как солдаты в строю, стояли снаряды с черными и малиновыми полосками у самого устья медных гильз. Ряды казались прозрачными и потому еще более зловещими: их едва освещал плафон, забранный густой металлической сеткой.

Все, все было предусмотрено для того, чтоб не произошло спонтанного взрыва. Об этом было написано и в инструкции для дежурных. Отпечатанная на машинке, она лежала под стеклом, и оба эсэсовца уже затвердили ее почти наизусть, хотя тщетно пытались проникнуть в суть иных, так и не понятых слов и терминов. Впрочем, о том, что такое спонтанный взрыв, Гесхаймер, более просвещенный, рассказывал довольно толково:

— Вот ты сейчас хотел грохнуть кулаком по столу, но сдержался, — говорил он своему напарнику Грандке. — Ты правильно поступил, геноссе: если ты даже попросту зорешь, как ты умеешь, это станет последним звуком, который мы с тобой еще услышим.

Грандке скрипел зубами. Как и Гесхаймер, он невольно посмотрел туда, где находилась дверь. То было массивное сооружение: железные полутонные створы закрывали проем шириною в десяток шагов. Но достаточно было повернуть над головой рычаг, и тяжеленные полотна разошлись бы.

Сейчас створы были сведены. Даже миллиметрового зазора не оставалось. Казалось, сплошная металлическая стена отделяла подземный завод и арсенал от остального мира.

Грандке отвел взгляд от двери, — она и его гипнотизировала, — и уставился в стену.

— Зачем же все было? — немо вопрошал Грандке не сидевшего напротив Гесхаймера, а кого-то другого, кто обязан был ответить ему. Не только от случайного напарника — от себя самого таясь, подумывал и Грандке: а не пришла ли пора бросить ко всем чертям все — и этот пост в подземелье, который может оказаться последним, и все прошлое, начиная с того водного праздника на Боденском озере, где двенадцать лет назад он, юный победитель в плавании брассом, был удостоен чести сфотографироваться вместе с Гиммлером, впрочем, в ту пору — просто с партайгеноссе Генрихом. Грандке хранил этот снимок в кармане вместе с фотографией некоей Ульрики, танцовщицы из варьете «Паласт» в Розенхайме. Что и говорить, он и впрямь провел с Ульрикой едва ли часа полтора в тот единственный вечер, когда ее, хохочущую беспрепятственно, увел наверх, увы, не он, не Грандке, а куда более старший по чину эсэсовец. Однако, даже уходя, послала она ему, Хуберту Грандке, поцелуй, а фотографию подарила еще раньше. И обещала слать письма, хотя где ей, с ее заботами.

Впрочем, хрен с ней, с той Ульрикой. Остаться бы только в живых — за бабьем делом не станет.

Грандке опять взглянул на сходящиеся в полутьме своды, туда, где был в ы х о д. Он лег и даже задремал. И вскинулся, потому что впервые за время их дежурства настойчиво загудел зуммер. Телефонная трубка подрагивала в его руке. Он тупо молчал, даже не отозвавшись, как требовала инструкция: «Пост первый. Грандке». Неужто подошли танки? Вздохнуть облегченно он не успел.

— Это Рединг, — донесся искаженный мембраной голос знакомого ефрейтора из ученых. Он надоел эсэсовцам своими лекциями по технике безопасности. — Сообщаю, чтоб у вас не оставалось сомнений, кодовые цифры и пароль. Я продолжаю... — И Рединг заговорил обычным человеческим тоном: — Все катится в тартарары, Грандке. Комендантскую колонну, из которой вас с напарником, на ваше счастье, отправили сюда, только что разнесли вдребезги советские штурмовики. Я и пастор Кюн остались в живых. Мы сейчас находимся рядом с вами, у входа, откуда я и вызываю вас.

— А танки где? Танки где? — вскричал Грандке. — Какого черта они не подходят? Они прорвались?

— Понятия не имею, — как-то очень уж равнодушно откликнулся Рединг. — Но в любом случае я обязан войти внутрь. С тем меня и направили сюда комендант и оберштурмфюрер Зеевальд. Бедняги... Они успели сделать это за минуту до того, как умолкли навеки.

— В инструкции сказано, что нельзя впускать кого бы то ни было до подхода танкового соединения.

— Не будьте идиотом, Грандке. Помимо всего, я сообщил вам и код, и пароль. Вы теряете время, а между тем я должен проверить, как совершается процесс в

ионном проводнике. Вы понимаете или нет? Я обязан убедиться, нормально ли взаимодействуют вещества с растворителем. Если распад молекул по каким-то причинам совершается быстрее...

— Что вы там бормочете на своем тарабарском наречии?

— Ладно. Скажу так, чтоб даже до вас дошло: теперь взрыв может произойти в каждую секунду. Я, возможно, не успею даже договорить этой фразы! Так не тяните, черт вас побери!

— Ты сказал, что это — Рединг. О чем он, о чем? — это уже Гесхаймер рвал трубку из рук напарника.

Вот тут-то шарфюрер Грандке дал маху.

— Этот доходяга требует, чтоб мы пустили его сюда. Что-то поправить хочет, иначе, говорит, мы можем в любую секунду взлететь...

Не дослушав, Гесхаймер кинулся к выходу, вопя:

— Открывай двери! Слышишь? Скорей!

Паника — штука заразительная, особенно перед лицом смерти. Грандке и сам не заметил, как рука повернула рычаг пневматического запора, а сам он тоже побежал вслед за Гесхаймером к слабо засиневшемуся проему.

По чести говоря, Мерзебург был не самым лучшим городом на реке Заале в Саксонии, однако именно там, где небо было всегда желто-серым («лисьи хвосты» висели над гигантскими трубами химических заводов постоянно), находился, по нынешнему глубокому убеждению Карла Рединга, рай земной. Когда-то давным-давно («давным-давно» относилось ко всему, что происходило до войны) в том городе, выросшем и жившем за счет колоссальных химических предприятий, принесших славу Германии, теперешний, облаченный в задрипанную шинелишку ефрейтор выступал как лицо, уважаемое едва ли не более, чем сам бургомистр. «Господин главный советник...» Только так! И была вилла, удаленная на почтительное расстояние от загазованных кварталов, застроенных серыми домами и заполненных серолицыми людьми, и супруга Бруни, раздавшаяся после рождения третьего сына, но еще вполне привлекательная, домоправительница же и вовсе превосходная. И был клуб, куда входили очень немногие, самые избранные, в старинном замке над рекой Унструт — с зелеными ломберными столами, тихим и благородным ресторанным залом, где подавала по воскресеньям суп из бычьих хвостов, а все коллеги по клубу казались исключительно добрыми мальыми и за картами, и в особо интимные вечера в лучшем заведении на берегу лесного озера, где девицы, неизменно свежие, со вкусом подобранные неувядающей фрау Терезой, плескались, изображая наяд на виду у гостей, развалившихся в плетеных креслах.

Подобие этой жизни вершилось для Карла Рединга еще вплоть до начала сорок второго. С удвоенной силой выбрасывала мерзебургская химия ядовитый дым в небо, казавшееся теперь печальным вдвойне. Она работала на рейхсвер, и казалось, без главного специалиста ей не обойтись никак. К тому же Рединг был занесен в списки людей, особо ценных для Германии. Однако местный фашистский деятель, звали его Отто Зеевальд, сумел пренебречь даже этим обстоятельством, когда фюрер, после ощутимых потерь под Москвой, распорядился сформировать еще несколько дивизий из запасников. Кой-кого Зеевальд все-таки оставил по-прежнему в тылу, а вот доктор Рединг вмиг оказался в строю, да еще под началом фельдфебеля Шютте, того самого Шютте, который, бывало, едва ли не языком вылизывал темно-вишневый автомобиль Рединга. Теперь Шютте гонял до седьмого пота и Рединга, и прочих запасников на плацу мерзебургской казармы.

Вскоре Редингу дано было испытать многие превратности фронтовой судьбы, пока, после первых боев и первого ранения, командование не вспомнило, что он как-никак химик. Тогда Редингу поручили ставить дымовые завесы и наполнять адской смесью огнеметы, из которых сжигались украинские деревни и донские хутора.

Он исполнял солдатский долг без воодушевления, но с тем же старанием, с которым определял в родном Мерзебурге технологию производства пластмасс.

Война складывалась в общем-то победно, к неудачам же, к примеру — под Москвой, Рединг относился философски: сражаясь даже с самым неумелым игроком, нельзя выиграть партию, не потеряв ни единой пешки, а русских солдат, — Рединг понял это с первых дней на фронте, — неумелыми не назывешь никак. К тому же среди своих однополчан, правда, уже избавлявшихся от эйфории, что-то не замечал Рединг самоотверженности, подобной той, что проявляли советские хотя бы под тем же Харьковом. Там горстка красноармейцев могла на время сдерживать наступление целого батальона и, разумеется, лечь при этом костями. И все же немецкая военная машина, был убежден до поры Рединг, есть и останется более сильной, а посему в исходе войны можно не сомневаться: Германия получит так необходимые ей пространства и ресурсы. Вот что важно для будущих поколений.

И забыто будет, кто именно, какими средствами и путями привел нацию к процветанию, сколько молодых жизней было отдано за эту идею.

Подобными рассуждениями утешался Рединг даже в те тяжкие минуты, когда солдатская лямка вовсе уж больно натирала плечо, хотя все чаще стала являться и мысль о беспощадной и тупой воле одного, подчиняясь которой вот и он, ученый и практик, каких, что греха таить, не так уж много, делает на войне то, что доступно любому идиоту: зажигает воюющие шашки, а едва повалит дым, улепетывает что есть духу в укрытие.

Отрезвление явилось вместе с выстужающими душу ветрами в Приволжской степи. Гигантская отлаженная военная машина рейха забуксовала основательно. Это понимал уже не только он, солдат-интеллектуал Карл Рединг, но и все иные, кто простуженно хрипел рядом с ним в земляной норе, называемой блиндажом: во вшах, холоде, под непрерывный гул канонады. До грядущих наяд отсюда было как до луны. И вот как раз в те дни получил он долгожданный отпуск.

Львиную долю срока съела дорога. Всего три дня довелось Редингу провести дома. За прощальным ужином сидели в ресторане «Четыре короля». Там вместо некогда сиявших хрустальных люстр сейчас желто светили плафоны на стенах, создавая, впрочем, приятный интим. Но Зеевальд разглядел-таки бывшего главного специалиста, а ныне ефрейтора вермахта. И Рединг вспомнил тоже, что это тот самый Отто Зеевальд, против приема которого в их клуб он возражал когда-то. Определенной причины Рединг уже не помнил. Кажется, и Зеевальда видели среди тех, кто грошил и грабил еврейские лавки. Порядочные люди еще воротили в ту пору носы от фашистов. А вот теперь, в конце сорок второго, Отто Зеевальд с подчеркнутым превосходством носил мундир оберштурмфюрера, и длинный обесцвеченный лик его был важен чрезвычайно. Впрочем, и Рединг был в тройке, при галстук. И Зеевальд обратился к нему на равных. Всем видом показывал он, что былого зла не таит, но Рединг-то знал хорошо, что подобные Зеевальду обид не прощают.

Зеевальд спросил про фронт. Рединг ответил в духе казенного оптимизма — о временных затруднениях, предшествующих окончательному успеху.

— Эти болваны, ведающие призывом, даже не удосужились заглянуть в ваш послужной список, — произнес Зеевальд, сокрушенно качая головой.

Рединг убедился окончательно, что именно этой вот бескровной тле обязан он солдатской лямкой. Однако теперь оберштурмфюрер склонялся к иному: ему, видите ли, понадобился специалист-химик класса Рединга, никак уж не ниже.

Был Зеевальд, пожалуй, еще более неприятен, чем прежде, мысль о службе под его началом угнетала. К тому же хотелось двинуть ему по физиономии за те плотоядные взгляды, которые бросал он на все еще без единой морщинки белую шею Бруни и ее декольте. Но вспомнился вшивый блиндаж, и Рединг подавил вспыхнувшую первобытную ярость.

— Догадываюсь, что вы имеете в виду меня, — сказал он, избегая какого бы то ни было обращения. — Но в германский тыл переводят с фронта весьма неохотно.

Зеевальд фамильярно похлопал его по плечу:

— Предоставьте это нам, Карл.

И вот о н и и впрямь уладили все в один день. Без задержки миновал Рединг анфиладу кабинетов с одинаковыми поясными портретами фюрера, оставил тьмутымушу подписей и расписок о неразглашении всех возможных тайн и секретов и вскоре вместе со вновь назначенным врачом был посажен в машину с зашторенными окнами и привезен в закрытую промышленную зону. По ряду признаков Рединг легко догадался, что находится подземный завод чуть восточнее Котбуса.

Как и всех военных специалистов, Рединга поселили в примыкающем к кирхе небольшом городке. Невысокие дома были тщательно укрыты под кронами старых буков и сосен. Ровно в пять тридцать раздвигались высоченные стальные створы, и специалисты в строго определенном порядке, держа интервал в два человека, проходили в длинный, казавшийся бесконечным, подземный туннель, где размещались цеха, лаборатории, а ближе всего к выходу — арсенал, колоссальные склады боеприпасов.

Искренне полагал Рединг, что все ужасы войны остались там, на харьковских окраинах, заваленных неубранными трупами, в сожженных огнеметами донских хуторах, на месте которых раскачивались оледенелые тела повешенных; в промерзшей степи, где он, ефрейтор Рединг, под секущим ветром устанавливал свои дымовые шашки в каких-то двух сотнях шагов от русских. Самое страшное, оказывается, скрывалось здесь, в спокойном тылу, под сенью странно высокой кирхи. Он увидел пленных — множество людей, лишенных человеческого сана, сбитых в тупое скопище. Пленные работали безо всяких, даже самых примитивных средств защиты в тех химических цехах, куда мастера и сам он, Рединг, входили в респираторной маске и не более чем на четверть часа. Пленные же копошились, начиная

взрывчаткой и зажигательными смесями снаряды, а вскоре — и фауст-патроны, кашляя, задыхаясь, пока не кончалась их смена. Редингу ли было не знать, что в таком отравленном воздухе легкие человека вскоре превращаются в лохмотья, а глаза, отлученные ко всему еще и от дневного света, слепнут. Он заикнулся было о вентиляции, но Зеевальд (теперь он стал снова едва доступен) рассерженно взглянул искоса. Но все же объяснил:

— Каждый день прибывает четыре вагона со свежей рабочей силой, питание же отпускается строго по норме. Так что естественная убыль учтена заранее. Правда, возникают хлопоты санитарного порядка, — он пожевал бледными губами, — и все-таки они обходятся дешевле, чем предлагаемая вами вентиляция в этих цехах.

Редингу и «санитарные хлопоты» увидеть вскоре довелось. Что ни вечер, шестеро здоровяков в масках вытаскивали наверх трупы из цехов и казарм. Мертвых сваливали в овраг, обливали известью, а затем бульдозер засыпал их землей и разравнивал поверхность.

Впервые ощутил Рединг и на собственных своих плечах тяжесть ужасающей вины за погубленных. Ее взвалила на себя нация. И так же отчетливо проступила близость ответственности. Неотвратимой. Он уже не сомневался в этом, пусть после разгрома на Волге радио вопило о решающем переломе, до которого рукой подать.

Он обязан был быть благодарным Зеевальду. Не кто же иной, как оберштурмфюрер, вытащил Карла Рединга из жуткого котла, в котором погибли однополчане, и все-таки ничего, кроме презрения, тщательно скрываемого, да еще унижительного страха, Зеевальд не вызывал.

— К сожалению, Рединг, мы вынуждены были отказать в отпуске и вам, и другим специалистам, — как-то снизошел снова до разговора с ним Зеевальд. — Все мы измотались порядком, но надо находиться на посту непрерывно. Осталось немного: красные выдыхаются, днепровский вал им уже не одолеть.

Красные, однако, одолели и этот вал, и на удивление — быстро. Они прошли и гораздо дальше, и вот уже были здесь, в Германии.

— Предатели! — теперь уже в открытую поносил Зеевальд фронтовиков. — Мы здоровье кладем, чтоб обеспечить их самым лучшим оружием, а они шкуры свои спасают. — Он даже к Редингу счел возможным обратиться: — Вы-то своими глазами видели, как грязные большевики голыми руками защищались, так почему же наши не желают насмерть стоять? Представляете, — от возмущения штурмбанфюрер забыл на миг, что общается всего лишь с ефрейтором, — они даже фауст-патроны бросают на поле боя! Невзирая на страх наказания, вплоть до расстрела! И вот теперь эти русские свиньи нашим новейшим оружием сжигают наши же танки! Бешенство охватывает, когда даже мысленно видишь эту красную скотину с немецким фауст-патроном в грязных лапах. Впрочем, — спохватился Зеевальд, — я вижу, вы не разделяете моего возмущения. Вот, вот... В том-то и горе нашей нации, что мы слишком возвышенны — мы не умеем ни ненавидеть, ни презирать настоящего русских.

— Я бы уточнил, с вашего позволения, господин оберштурмфюрер, — отозвался Рединг, — мы не считаем русских людьми, животных же невозможно ненавидеть или презирать.

— Вы, как всегда, выражаетесь туманно. Как понимать вас?

Ефрейторский мундир слетел с плеч.

— Я хочу сказать, — размеренно произнес Рединг, — что только животных можно убивать, не опасаясь возмездия. Да и то — до поры. Иначе они вымрут, и в лавках не будет колбасы.

Он приготовился к худшему, но Зеевальд вдруг сжался; даже что-то, страх напоминающее, мелькнуло в его бесцветных глазах.

А утром началась эвакуация. Сперва вывозили гражданских. Опустела единственная крестьянская усадьба на взгорке, где жили сербы-лужичане. Только корова истонным мычанием напоминала, что она еще жива. Рединг знавал хозяев — суетливого Петра и по-мужицки сильную неулыбчивую Ханну. Прошлой осенью он заходил к ним пить парное молоко. Он не любил его с детства, но заставлял себя выпить на сон грядущий большую кружку. Берег себя для лучшей жизни, пусть представить ее сейчас было невозможно.

Ночью сам Зеевальд поднял Рединга. Шагая рядом с оберштурмфюрером в сырой мгле, Рединг готовил фразы, которые могли бы, хотя надежды мало, убедить Зеевальда в том, что завод взрывать нельзя; последствия непредсказуемы; даже геологические пласты могут сдвинуться с оснований; вспыхнут лесные пожары. Куда разумней и безопасней — открыть затворы и затопить завод и склады. Оберштурмфюрер выслушал терпеливо, но поморщился.

— Как все-таки мы, немцы, сентиментальны, — произнес он и сразу круто изменил тон. — Здесь не должно оставаться следов. Никаких! Понятно вам это?



И пусть при этом треснут не только ваши геологические пласты, но даже ядро земли. И запомните: мне требуется, чтоб взрыв произошел не только в назначенный день и час, но даже в назначенную минуту. Можете вы это обеспечить? Короче, есть ли штука понадежней и поточнее часового механизма? Такая, чтоб не подвела?

— Не подведут только молекулы.— Рединг не счел нужным объяснять Зеевальду, что такое электролитическая диссоциация.

— Вот это мне и нужно. А то — затопить... Для сопливых такое! — Зеевальд вперил в Рединга тяжелый взгляд.— Нет, грохнуть! И чем сильней и страшней, тем лучше. Пусть иваны решат, что наше секретное оружие уже действует.— Он спохватился, не слишком ли многим делится с ефрейтором, даже если тот — видный ученый и даже при Гитлере занесен в германскую энциклопедию. И закончил сухо: — Идите и действуйте.

До ночи возился Рединг с установкой, с расчетами. Он заботился, помимо всего, еще и о тех двух невезучих, кого оставят на подземном посту. Для чего их оставляют Рединг догадался легко: открыть механические ворота можно было только изнутри. Выходит, кто-то всерьез надеется еще воспользоваться теми боеприпасами, которые оставались в арсенале? Ох уж эти твердолобые прусские генералы! Будто не ведомо им о том, о чем даже ефрейтор Рединг уже знает: красные обошли зону и с севера, и с юга. Они приближаются к Берлину, а здесь вот все еще строят планы каких-то решительных переломных ударов.

Бес с ними. Важно, чтоб взрыв не произошел прежде времени, чтоб не погибли ни за что ни про что двое парней-дежурных (ответственность за их жизни легла бы камнем на совесть). Рединг и инструкцию для них оставил такую, что она, казалось ему, будет понятна даже не шибко образованным.

Назавтра он уезжал с самой последней колонной. Перед глазами торчала неподвижная голова Зеевальда в высоченной фуражке. Помнилось, когда все еще только собирались у комендатуры, Зеевальд разыскал Рединга и, опять круто переменявшись, по-свойски взял его под локоть.

— Вы поедете не в солдатском грузовике, а со мною.

Рединг удивленно пожал плечами и кивнул.

— Вас знают и ценят, Рединг,— продолжал, наклонившись, Зеевальд,— и не только в Германии. Там,— он многозначительно указал глазами на Запад,— вы как виднейший химик известны не меньше.

— Теперь моя очередь спрашивать: что вы хотите сказать этим, господин оберштурмфюрер?

— Только то, что сказал вам, человеку, не забывающему, надеюсь, добра.

Скорая на решения военная судьба избавила Рединга от уплаты по этому тягостному векселю. Возможно, не только он и пастор остались живы после налета русских штурмовиков; уцелевшие солдаты, очевидно, скрылись поспешно в лесах, но вот в том, что Зеевальд валялся трупом рядом со своей машиной, сомнений не оставалось. Для пастора же, так думал Рединг, потрясение оказалось роковым. Воздез очи горе, бормотал Алоиз Кюн одно и то же: что-то о втором пришествии и божьей каре, постигшей Германию, если Рединг правильно понимал его невнятную речь. Очень ненадолго пастор преобразался, особенно на кухне, когда он, в подтяжках, похожий на овдовевшего бухгалтера, готовил омлет на двоих и кофе. На западе, у Котбуса, и на юге, вовсе уж неподалеку, гремел фронт. Русские могли появиться и здесь с минуты на минуту, но странным образом не только пастор, но и Рединг вели себя так, будто ничто им не грозило. Ну, предположим, пастор как лицо духовное мог рассчитывать на нейтральное отношение к своей особе со стороны русских, но ведь и ему было известно о другом, куда более опасном обстоятельстве — о том, что рядом с кирхой пороховой погреб, и фитиль, подведенный к нему, уже тлеет. Лучше об этом знал, конечно, Рединг.

— Остается менее суток,— сказал он за очередным завтраком,— я решил войти все-таки туда и отключить детонатор. Пусть достаются русским все наши великие секреты. Надеюсь, нация простит мне это, тем паче что воевать немцам, я полагаю, не захочется еще очень и очень долго.

Глаза пастора вспыхнули радостной надеждой.

— Так, значит, вы войдете туда? — Я — с вами.

— Этого не хватало! Что вам-то делать там?

Пастор воздез руки и произнес тихо, но убежденно:

— Я должен вывести из подземелья его. Для того и оставил меня господь наш в живых.

Отрешенность, безумию сродни, заметил Рединг на лице в крутых красноватых складках.

— Кого? — спросил все-таки Рединг, уже догадываясь смутно.

— Он там, под землей. Он — в новой мученической ипостаси своей, — прошептал пастор, тревожно озираясь. Вытянутые губы его дрожали.

Рединг и сам вздрогнул, глядя на него. «Вы стали безумны, святой отец, — хотелось сказать ему, — в вас взбунтовалась совесть — совесть немца, помноженная на совесть священнослужителя. Не поздно ли?» В полной мере мог Рединг отнести это и к самому себе, но вслух он сказал, пытаясь вернуть священника к здравомыслию:

— Всех, всех, кого только возможно, должны мы спасти, герр Кюн. И этих двух парней, что сидят там на посту — тоже, потому что война проиграна. Это ясно всем, кроме наших тупых военачальников.

— Его надо спасти, его, — твердил свое Алоиз Кюн, — это знамение небесное.

Рединга взорвало:

— А до сынов божьих, которые все равно бессмысленно погибнут, даже если возьмут снаряды, хранящиеся вот здесь, в трех шагах от вашего храма, вам дела нет? А леса немецких крестов на русской земле? Я и сам мог давно лежать под одним из них. Так где же были вы, ваше преподобие, где был я, где были все, кто смеет называть себя немцем, когда война косила цвет нашей нации?

— Но что могли сделать тогда мы с вами?

— Давайте сделаем хотя бы то, что в наших силах теперь, — сказал Рединг и скомандовал, как подчиненному: — Пошли. Времени остается очень немного.

Он еще не знал, как поступит. Прежде всего заставит тех двух дежурных эсэсовцев покинуть подземелье. Успокоит совесть, а там — что подскажет судьба.

### Глава третья

Неожиданно младшой обнаружил, что стоит же — стоит он на обеих ногах! Боль не исчезла, но была уже не острой до крика, а ноющей, почти терпимой. Что-то встало все-таки на свое место — сухожилие, связка? Да и тугой бандаж, наложенный Ханной, помогал очевидно. Значит, можно, на клюку опираясь, и до расположения полка добратся как-нибудь.

Он поехал. Где тот полк теперь и что осталось от него, если они и впрямь на немецкие танки нарвались? Но иначе нельзя. Пусть даже стыд и невозможность (опять!) оправдаться. Поверят ли, что он отправился в тыл из самых святых побуждений? Получилось же, будто укрывался где-то, пока товарищи гибли.

Между тем на западе впервые, пожалуй, стало тихо, и вдруг все — и путь через лес, и сербы, и даже то, волнующее, что с Ханной было, и взбешенный Волченгов — показалось будто во сне привидевшимся. И немецкие танки — тоже. Даже мелькнуло: а не сболтнул ли о них сержант, чтоб еще больше угрызениями совести наказать его?

Он поковылял в дом, вспомнив, что оставил там, в изголовье высоченной постели, те два письма, но почувствовал кого-то за спиной, оглянулся на амбар и поспешно нацупал наган.

— А ну, рауд! Шнелль!

Костлявая фигура в донельзя вытертой, почти истлевшей арестантской робе встала в дверном проеме, широко раскинув руки, напоминающие сухие изогнутые ветви. Распятию под стать. И взгляд — будто все, все вокруг ничтожно. Взгляд в себя.

Руки упали. Младшой невольно опустил наган.

В отрешенных глазах на миг мелькнуло что-то, напоминающее отраду. Человек шагнул навстречу и сразу остановился: жестокий приступ кашля охватил высохшее тело. Он опустился на широкий обрубок и зашелся кашлем, еще более мучительным.

— Откуда пришли вы? — отбросив все прочее, требовательно произнес младшой.

Задыхаясь, человек указывал вниз, на церковный шпиль.

— Немцы там есть? — Опасаясь, что человек не понимает его, младшой повторил и по-немецки, как уж удалось: — Дойче зольдатеи зинд дорт?

Сжимая выпиравшие при яростном кашле ребра ладонями, человек помотал отрицательно головой.

— Что там такое? Вас ист дорт?

В короткие промежутки между кашлем вырывались из потрескавшихся губ булькающие слова. На каком языке? И все же (может, тут как раз и сказалась врожденная чуткость к слову), напрягая до предела и слух и внимание, младшой уловил главное и даже оцепенел на миг. Казалось, с самого начала знал уже он, что фашисты не зря так скрывают этот район. И каждый раз на пороге окончательного открытия запинался. Теперь сомнений не оставалось. Там — зона. Не то «Эдда», не

то «Эрде». В названии ли суть? Важно, что в несвязной речи сквозь хрип и стон прорывалось что-то о минах, о «фауст-патронах». Достаточно было, чтоб сообразить: несомненно там — арсенал. Вот почему рвутся в эту зону немецкие танки. Пока их близости не слышно, но это же означает, что есть еще время. Есть!

Надсадная речь прервалась. Человек словно захлебнулся и прижался губами к рукаву. Ветхая ткань на глазах пропитывалась алой кровью.

Ханна! Она должна быть где-то здесь, на подворье. Не зря и Волченогов что-то молвил язвительно о бабе-молочнице.

— Ханна! — вновь отчаянно и нетерпеливо звал младшой.

Она выбралась из погреба. Встала, растрепанная, опасливо озираясь.

Да простится младшому, но первая мысль была не о том, как помочь несчастному страдальцу. Первая мысль была о том, как быстрее сообщить о зоне своим. И он закричал иступленно:

— Где конь? Ты же привела его? Так где он теперь? Отвечай! Ну! Ну! — Он потряс сжатыми кулаками.

— Не вем тераз,— Ханна рыскала испуганными глазами по двору, будто конь мог оставаться незамеченным.— То Гандрий певно. За мною слидком...<sup>1</sup>

— Ты же обещала...

— Быв кунь. Туточки бив. Допреж...<sup>2</sup>

— Снова иди! И чтоб конь был здесь! — И едва ли не взмолился младшой:— Ты же видишь, Ханна, я ходить не могу, а мне надо. Как можно скорей. Иначе...

Она кивала послушно, но неуверенно. Уж ей ли было не знать: ежели рискнул Гандрий к усадьбе подобраться и увел-таки коня, то теперь — окончательно. Ищи не ищи — не найдешь. А глаза Ханны, уже округлившись всюю, остановились на пленном. Тот скорчился, лежал грудью на коленях и трясся, изнемогая.

Младшой с трудом отвлек ее:

— Я сам помогу ему, сам. Да иди же ты! Ну, я прошу, прошу...

Пятясь, покорно кивая, отступала Ханна к воротам, не в силах оторвать взгляд от страдальца. Кого-то напоминал он и ей, и вдруг, словно прозрев, она побежала, будто подальше от наваждения, шепча на бегу слова из молитвы о спасении душ.

Впервые на глазах у младшого умирал человек. Теперь он лежал (младшой умудрился хоть попону, схваченную под навесом, на землю постелить), но маска страдания не исчезла. И все же смирение, кротость проглядывали прежде всего в чертах изможденного с реденькой курчавящейся бородкой лица.

«Даже имя его не узнал...» Младшой тщетно пытался напоить человека. Тыкал носиком кофейника в губы ему, но они, посиневшие, не размыкались.

Под тем же навесом отыскал младшой кусок полотна и накрыл уже недвижимое тело. Смотреть на него он не мог, хотя уже привык на фронте не содрогаться при виде мертвых.

Дождаться во дворе он был не в силах. Вышел за ворота. Стоял, тревожно и напряженно глядяваясь в голый склон — от опушки к хутору. Когда же повяит-ся Ханна? С конем. Непременно! Иначе — все, все пропало. Как обидно, но ведь не зря, не зря так рвался он сквозь все препоны к кирхе этой. Похоже, фронтовая судьба, наконец, и на нем остановила свой прихотливый выбор. И вот та же судьба, теперь — несправедливая, злая, насмешливая, сделала его в самую решающую минуту почти беспомощным. Выть впору было от бессилия и досады. Ну не ушел бы, обозлившись, Волченогов, все было бы совсем иначе. Нет, под трибунал негодяя! Только так. Он заслужил сполна. За все.

Мысли неслись вихрем, но, не отрываясь, всматривался младшой в склон, где расставлены были одинокие деревья да несколько стогов. Едва не проглядел человека, который всего в полусотне шагов отсюда, чуть правее хутора, торопливо, но то и дело озираясь, пробирался вниз. Что-то знакомое мелькнуло в облаке. Неужто полковой начим? Без шинели, без фуражки... Но награды слева и справа на кителе брасаются в глаза даже издали.

Вот он, самой судьбой посланный однополчанин. Надежный человек, бывалый фронтовик.

— Товарищ старший лейтенант! — прокричал младшой как уж мог громко и несколько раз подряд.

Тот мгновенно упал, а поднялся не сразу. Долго распознавал, кто же это там зовет. А когда убедился, то встал и приблизился с видом столь строгим, не допускающим и намека на что-то свойское, будто не китель измятый и мокрый, а форма парадная была сейчас на нем.

<sup>1</sup> Не знаю теперь. Это Гандрий, наверное. За мною следом...

<sup>2</sup> Был конь. Здесь был. Недавно...

— Значит, если я вас правильно понял, какая-то местная гражданка лошадку для вас привести обещала? А внизу, возле церкви, что-то очень важное и секретное, говорите? Так, так... А сообщил вам об этом тот неизвестный и непонятно на каком языке. И сразу же он умер. И надо же такому случиться. — И безо всякого перехода, сверкнув гневно глазами, начхим вскричал: — Вы еще долго будете мне голову морочить сказками вашими, а? То, что вас и женщина эта обманула, и мертвец ваш тоже — такое вам на ум не приходило? Важные сведения получил он. Позор! Офицер, называется. Действовать необходимо. Лично убедиться, так все это или нет, а он ожидает здесь чего-то. Баба какая-то дать ему обещала... — С минуту он колебался, не по-доброму оценивая младшого, а потом скомандовал в досаде и так, что даже на ногу больную сослаться невозможно было: — А ну за мной следовать. Жив!

Стараясь не отставать, хотя удавалось это плохо, подчинившись безропотно и сразу, покорно ковылял младшой вслед за начхимом. Уже с четверть часа спускались они вниз, туда, куда вела врезанная в холм колея. Младшой ступал со шпалы на шпалу. Так, казалось, будет легче больной ноге.

То и дело попадались шлагбаумы. Они были установлены едва ли не через каждые полсотни метров. Сейчас полосатые рейки были высоко подняты, а сторожевые будки — пусты. Нависшие ветви деревьев укрывали этот узкий ров, на дне которого поблескивали мокрые рельсы. Обрубленные, но живые корни торчали из срезов холма.

— Жалко, плащ хороший немецкий остался там, наверху, в усадьбе, — решил-ся, наконец, младшой прервать молчание, становившееся все более тягостным, — вы же где-то потеряли свою шинель.

— Не где-то, а в бою, — крайне сухо оборвал начхим и добавил так, чтоб и это прозвучало упреком: — В бою мужчины, случается, даже голову теряют. Вам, наверно, не известно такое?

И опять почувствовал себя младшой приниженным. И не посмел спросить, зачем этот неприступный суровый офицер тащит за собою его, с трудом одолевающего каждый метр пути. Время от времени вынужден был младшой останавливаться, чтоб дать отдых ноге. Нервничая, то и дело поглядывая на часы, начхим, тем не менее, упорно дождался.

— Идем, уже недалеко осталось, — все-таки ободрил он хмуро и глазами указал вперед.

Там дорога словно упиралась в высокую серо-зеленую стену. Вскоре можно было уже разглядеть, что это не стена, а двустворчатые железные двери. Они были закрыты наглухо, но начхиму понадобилось для чего-то еще и совсем вплотную подойти к сдвинутым створам.

Младшой отбросил робость:

— Давно следовало сообщить нашим: в этой зоне — завод, склады. И все! Что нам делать перед этими закрытыми дверями? Своих дожидаться здесь? Немцев?

— Трусите и болтаете много, младший лейтенант! — оборвал начхим, все же не так высокомерно, как прежде. Даже голос дрогнул. — Без него я не понимаю, что и как делать. Умник! — Как бы в негодовании постучал он себя по лбу. — Сообщить... У нас что — рация, телефон имеется?

Он стукнул по двери носком испачканного в грязи сапога. Даже слабого отзвука не послышалось. Створки были сдвинуты так плотно, что лезвие бритвы между ними не протиснешь.

Теперь начхим мог бы и на опушку возвратиться, где бравый гауптман дождался его, наверняка терпение теряя. Все стало ясно: завод и склады не тронуты никем, а если кто и обретается в этом опустевшем поселке, то в лучшем случае — какие-то одиночки то ли из местных, то ли забредшие случайно, вроде этого вот недотепы, младшего лейтенанта.

Справедливости ради: все-таки куда с большим удовольствием сообщил бы начхим гауптману, что завод давно обнаружен русскими. С него-то, со случайного пленного, и в этом случае взятки были бы гладки, а вот врагам пришлось бы туго. Да, они оставались, как и прежде, врагами, пусть даже и прижали его к стенке той проклятой распиской. А хранить документы немцы, к сожалению, умеют: не сейчас, так позже, не здесь, так черт знает где и когда, но может эта окаянная бумага всплыть. При одной мысли о том, что случится дальше, начхиму становилось не по себе. Ничем не искупит он вины.

Все можно было бы скрыть, но как развяжешься с этим младшим лейтенантом? Никчемный, но, как на грех, однополчанин. А глаза неглупые. Уже давно заподозрил неладное пацан. Вон как помрачнел и все решает, решает про себя что-

то. А в кармане шинели у него, между прочим, наган. Какой бы он там слабак ни был, а на спуск сумеет нажать.

— Все! Пошли обратно! — Начхим старался не терять начальственный, даже хамоватый тон. В этом было сейчас спасение.

— Нет, один вы идите, товарищ старший лейтенант, — твердо, как о решенном, сказал младшой. — Я вам не нужен теперь. Значит, незачем и время из-за меня терять.

— А ты опять спрячешься? Не в доме, так в кустах где-нибудь.

— Можете и так доложить, если вам совесть позволяет. — Боль и обида зазвучали в голосе младшого. Будто наяву видел он, как уже рапортует начхим об обнаружении им лично (младшого тут будто и не существовало!) важнейшего склада боеприпасов, как получает еще одну, теперь — высокую награду вдобавок к тем, которым и без того на его груди тесно. — Идите, — обреченно повторил младшой, — время со мной не теряйте. Надо же танки опередить.

Но начхим все еще стоял в полушаге, как-то странно поглядывая на оттянутый карман его шинели. А потом вновь осматривал из-под бровей всю неуклюжую фигуру младшого и что-то холодно взвешивал, прикидывал.

Нет, все-таки он родился в сорочке! Постреливание несильного, напоминающего мотоциклетный, мотора донеслось откуда-то справа. Вскоре наверху показался «фольксваген». Машина явно приближалась сюда. Она остановилась на насыпи, и вышли два человека: один в горбом собравшейся на загривке шинели, другой — весь в черном, от широкополой шляпы начиная.

— Немцы! — произнес, похолодев, младшой.

— Кто же еще может быть здесь? — процедил сквозь зубы начхим. — Мы же не с турками воюем, кажется! — Он мгновенно прикинул, что эти двое вовсе негрозных с виду немцев сейчас ему не так страшны, как свои, появившись они здесь. Рванул младшого за рукав и затащил в постовую будку — в нишу слева от входа. И тут же, не допуская возражений, извлек у него наган из кармана. Теперь он мог это сделать, не вызвав подозрений. Младшой даже не воспротивился. Но покрепче сжал в кармане гранату — единственное оружие, оставшееся у него. Между тем немцы — совсем невоинственного вида ефрейтор, второй же — штатский, едва ли не обалделый какой-то, вошли в караульное помещение как раз напротив ниши. Там находился телефон, потому что вскоре донеслось несколько отрывистых фраз, произнесенных ефрейтором. А дальше начались чудеса, как оценил бы это младшой, когда бы угроза гибели витала не так близко. Страшное вершилось словно во сне, быстрее, чем он мог осознать происходящее. Высоченные двери начали медленно раздвигаться, возникла в образовавшемся проеме, выскочила, вскарабкалась по откосу вверх и вмиг исчезла фигура в эсэсовском мундире (вздыбленные волосы, казалось, приподнимают пилотку).

То был, конечно, Гесхаймер.

— Скотина трусливая! — штурмфюрер Грандке плюнул вслед ему, однако догонять не стал. Он уже увидел Рединга. — Какого черта подняли вы переполох? — Пастор и Рединг стояли совершенно спокойно, и это взъярило шарфюрера: он устыдился собственной слабости: всего минуту назад готов был тоже кинуться в бега.

— Уходите подальше, шарфюрер. Я уже пытался объяснить вам по телефону, что может произойти, если сейчас же не отключить взрывное устройство.

— Вы ажете! Ваша химия точна до единой секунды. Это вы сами нам говорили не раз.

Рединг секунду помялся.

— Да, — сказал он, — я лгу. Но это — ложь во спасение. Мы уже намеревались с господином пастором уехать из зоны, — он указал кивком на автомобиль, — но я не простил бы себе, что оставил под землей вас. Почти на верную гибель. Поймите: я взваливаю на себя бремя вины. Ведь это же не кто иной, а я установил электродетонатор... Впрочем, если вы так верны долгу и все-таки останетесь здесь, то спорить с вами грешно. Но установку я все же отключил бы.

— Черта с два! — вскричал Грандке. — Чтоб все секреты достались потом иванам?

Рединг лишь посмотрел пристально и с сожалением на эсэсовца.

— Простите меня, — произнес он тихо и обратился к пастору: — Пойдемте, ваше преподабие.

— Вы предатель, Рединг! Вы паникер. Увидите еще: Берлин устоит, вам же придется отвечать перед военным судом!

Эсэсовец оборвал себя сам, потому что как раз в это мгновение пастор на удивление легко и быстро приблизился бочком, бочком к двери и проскользнул внутрь. Голос его уже раскатывался где-то под бетонными сводами, постепенно стихая.

— Да он обезумел! Туда нельзя! Запрещено! — Грандке кинулся следом.

Он наткнулся на пастора у решетки, которой отделялось от туннеля напоминающее глубокую пещеру помещение для пленных: бесконечные ряды трехэтажных нар с обеих сторон. Сейчас нары были пусты. Алоиз Кюн стоял на коленях, держась за стальные прутья. Он то ли молился, то ли попросту рухнул на пол, выдохшись. Грандке потряс его:

— Придите в себя, ваше преподобие, и посоветуйте сами, что мне с вами делать теперь? Я обязан или убить вас или арестовать! Понимаете вы это или нет?

Алоиз Кюн поднялся. Голос его звучал возвышенно, хотя нес пастор сущую околесицу. О каком-то едва ли не сыне божием, который, видите ли, затесался в кучу червяков-пленных, тех, что еще недавно копошились на нарах вон там, за спускающейся решеткой. С трудом внушил Грандке пастору, что нет же здесь теперь никого. Ни единственного живого существа. Он, штурмфюрер Грандке, один-единственный. И он останется здесь до конца, а вот все прочие ответят: Гесхаймер — за дезертирство и трусость, Рединг — за провокацию. Обо всем узнает оберштурмфюрер Зеевальд.

— Рединг в самом деле хочет вас спасти, — вполне разумно возразил пастор и добавил, вздохнув: — А господин Зеевальд в лучшем мире, увы...

Опять усомнился Грандке в душевном здравии пастора, однако тот хотя и возбужденно, но вполне толково рассказал о том, как их колонну разнесло на подходе к мосту в прах. А в заключение возвратился все к той же своей мысли, навязчивой несомненно.

— Ответьте, молю вас: тот узник... с неземным взглядом... Его затащили сюда? Он ушел? Он на свободе? Не обманывайте ни господ, ни меня!

Это уж было слишком. Не церемонясь, схватил Грандке священника едва ли не в охапку и поволок к двери.

— Скажите спасибо, что оставляю вас в живых, — хрипел он в ухо Алоизу Кюну. Он вытолкал пастора наружу и крикнул Редингу (тот терпеливо ожидал неподалеку от дверного проема, напряженно прислушиваясь к происходившему внутри):

— Убирайтесь сами и увезите этого рехнувшегося! — Он отряхнул ладони, не торопясь направился обратно, и вдруг словно споткнулся, почуввав кого-то в постовой будке.

То ли медали на груди у начхима звякнули, то ли младшой невольно вскрикнул, неосторожно опершись на большую ногу...

Оба они, затаившись в будке, пытались, каждый по-своему, осмыслить, что же происходит теперь вот здесь, у входа под землю. Немцы были явно взбудоражены. Выкрики, суета, метания туда-сюда. Похоже, вот-вот произойдет что-то ужасное. Не зря же тот эсэсовец выскочил из подземелья с сумасшедшим лицом и помчался куда глаза глядят?

Младшой смотрел на начхима. Вся надежда была на старшего, умелого. А начхима, помимо всего, мучила еще и иная забота. Как раз вот сейчас легко было бы начхиму уйти прочь и подальше от этого треклятого места: он уже смекнул, что сутулый ефрейтор, кажется, безоружен, к тому же у него автомобиль! Избавиться бы только от этого очевидца-однопольчанина! Теперь и наган был у начхима в руке. Прижать дуло плотнее к его боку... Нет, не поднимется рука на своего, даже — на такого.

Эсэсовец между тем сделал шаг к будке, где затаились начхим и младшой, но вдруг передумал и попятился — все же не к раздвинутым дверям, где за проемом угадывался тускло освещенный туннель, а к караульному помещению. Нетрудно было догадаться, что как раз там, наверное, все оставляли огнестрельное оружие, прежде чем войти на подземный завод и в арсенал.

Окажись в руках у эсэсовца автомат, черта с два успеет тогда начхим объяснить ему, зачем он здесь и чье задание выполняет.

Решали мгновения, и если какую-то минуту назад всеми печенками ненавидел начхим этого, навязанного ему судьбой младшего лейтенанта, то теперь, как при удачной понтировке, самая захудалая карта, кажущаяся откровенно лишней, становилась самой нужной.

Риск, конечно, оставался, тем более следовало действовать решительно и быстро. Главное, отвлечь эсэсовца от себя.

— Меня слушать! — прошипел начхим в ухо младшому. Он сжал его локоть. — Я на себя сразу двоих возьму, тех, что наверху. А ты удержи хоть этого. Одного. Пошел!

Начхим толкнул младшого в спину так, чтоб тот сразу же оказался лицом

к лицу с эсэсовцем, а сам, выставив руку с наганом, быстро взбежал к «фольксвагену». Рединг и пастор — они уже садились в машину — замерли. Грозя наганом, указал начхим Редингу на руль и жестом велел: «Вперед!»

Странно, но младшой удержался на ногах. Он лишь ощутил острую боль в ступне и поэтому вскрикнул отчаянней, чем требовалось.

— Хенде хох!

Всего лишь на секунду Грандке оторопел. Русские рядом, а сам безоружен! Тут же кинулся эсэсовец к раздвинутым массивным дверям. Укрыться! То было первое побуждение. Подчинившись ему, Грандке, грохоча сапогами, пронесся по туннелю и рванул рычаг вниз. Створы бесшумно сошлись.

О том, что ждет его теперь впереди, Рединг предпочитал не думать. Он уже осознал себя пленным. Есть шанс на жизнь, и того довольно. В затылок ему дышал словно из-под земли возникший советский офицер, взьерошенный, расхристаный, хотя и при многих отличиях. Рядом с Редингом застыл пастор. Лишь время от времени бормотал он про себя что-то непонятное, да Рединг уже и не прислушивался.

Позади обоих начхим чувствовал себя спокойно. К тому же у ефрейтора руки заняты были рулем. Куда больше, чем немцы, волновал сейчас начхима тот младший лейтенант. Уж каким дюжим выглядел эсэсовец, но ведь, кажется, побежал он все-таки назад, спасаясь от слабака, ко всему — хромого! Вот те и на... Значит, чем-то грозил младший лейтенант эсэсовцу? Смутное воспоминание оформлялось в четкую картину. Не граната ли была у него в руке? Вот почему едва ли не в ужасе побежал тот эсэсовец назад. Взрыв вблизи скаладов, где чертова уйма боеприпасов! Что может быть кошмарней?

Пока все было тихо там, внизу, и все же начхим поежился.

— Шнеллер! — велел он.

— Яволь, — покорно откликнулся Рединг. Впрочем, быстрее «фольксваген» смог пойти лишь после того, как они перевалили через пригорок и начали спускаться к зарослям ольшаника перед опушкой леса.

Жизнерадостный гауптман по фамилии Оберроде с самого начала был против генеральской затеи — послать к складам только что взятого в плен советского офицера. Слава богу, хоть связали его не честным благородным офицерским, а куда более надежно: обязательством сотрудничать с ними, с немцами. Прочнее привязи не бывает. Любой советский предпочтет смерть разоблачению. Ведь во втором случае пострадают еще и его родные и близкие, едва ли не до третьего колена. Гауптман и об этом знал.

Однако посланный вперед все не возвращался, и Оберроде вновь с неприязнью подумал не только о генерале Вернере фон Принцлау, но и обо всей части офицерства, вышедшего из дворян. Это совсем не то, что требовалось армии фюрера, и ход войны подтвердил такое. Интеллигентность, романтические химеры, психология усложненная... Люди — скоты, и все тут! На войне — тем более. Вот только советские ко всему еще и фанатики. И собой могут пожертвовать, и детьми во имя идеи. А вдруг и этот попался такой же? На зря столько отличий на груди? Ну и наплевать на него!

Оберроде уже решил, что вот сейчас с двумя автоматчиками сам подберется к зоне поближе. Благо, становится все пасмурней. Он шарил биноклем по местности, выискивал подходы поскрытней, и еще издали разглядел человека, который, укрываясь то за стволами одиноких деревьев, то за бугорками, будто знал, что за ним наблюдают, подходил все ближе и ближе сюда, к опушке. Вскоре не осталось сомнений — русский. Один. И движется из зоны. Как бы только мимо не прошел!

Гауптман подозревал автоматчиков и коротко распорядился:

— Взять!

Смертельная досада терзала Волченогова. Ну на кой ляд поперся он того сачка<sup>1</sup> разыскивать?

Жгла душу и безнадежность: даже в сорок четвертом, в Прибалтике где-то, немцы могли пленного еще и в лагерь отправить. Теперь, вблизи Берлина, им во зиться с пленным недосуг. Шлепнут безо всяких сомнений.

Он сидел на сырой земле, прислонившись к сосне. Немцы, когда забирали, двинули разок-другой прикладами по шее и между лопаток, но и он одному скуду

<sup>1</sup> Сачок — чисто фронтовое словечко: свободный армейский человек, отдыхающий культурно.

свернул, а другого так в живот ногой двинул, что тот по земле с криком катался. Сейчас один из автоматчиков, тот, что с синяком под глазом, сидел в сторонке, приглядывая за пленным в оба.

Только что закончился допрос. Что именно интересует немцев в том поселке, куда он так и не добрался, Волченогов, понятно, не догадывался, однако и радовать врагов напоследок не желал.

— Наших там тьма-тьмушая, — небрежно сообщил он цокающему переводчику. — Я же зачем туда бегал? В ИПТАП<sup>1</sup>. Меня помпотех посылал узнать, починили или нет три пушки наши. Мастерские у нас с ИПТАПом общие. Вот как раз левой бугорка и развернулся ИПТАП. Чуть правей — танки на исходной. Сколь — я не считал. На что мне? Видел, что куда ни кинь — или ствол торчит, или танк. Даже «катюши» стоят. И без чехлов.

Гауптман слушал и мрачнел, а затем переводчик спросил о другом. Речь его звучала так:

— Мы видели, ты из цербикой уцадьбы шел. Отвещай, зацем?

Но и тут не сбить было сержанта.

— Бабу я там надыбал. И молочко у ней, и сама — во! — жестом показал он, какая попалась баба и зачем нужна она солдату. Гауптман Оберроде кивнул солидарно. Да, русский мужик этот был явно не из пугливых.

— За ложные цведения будец рацтрелян, — сообщил сухо переводчик.

«А ежели не обманываю, помилуете и сто грамм поднесете?» — Сержанту было ясно: так и так — конец. Он лишь помял виски: голова гудела изрядно.

Гауптман Оберроде между тем посапывал, размышляя: как же теперь-то быть? Если русские вблизи зоны, то они либо уже обнаружили подземный завод, либо сделают это в ближайшее время. Так не лучше ли рискнуть: ворваться в поселок хоть тремя-четырьмя танками, которые на ходу? Может, удастся взять снаряды?

Он связался по радиции с генералом фон Принцлау, доложил, о чем мог, выслушал поток интеллигентных, но от этого еще более неприятных упреков и воздержался от предложений. Гауптманы не дают советов генералам. Повторено было, что следует досконально убедиться: кто охраняет сейчас завод — русские часовые или эсэсовский внутренний пост? И все!

Подвел, подвел тот ублюдок... Фанатичный большевик попался, не иначе. Не зря так хотелось гауптману Оберроде всадить пулю в грудь ему, чуть повыше награда.

«Фольксваген», за рулем которого сидел, издали разглядеть можно было, немецкий солдат, вкатился на опушку и замер, словно водителю было уже известно, что здесь — свои. Вышел ефрейтор-водитель в мешковатой шинели. За ним, что-то причитая, выбрался пожилой пастор. Третьим появился советский офицер в промокшем буром кителе.

«Надо будет все-таки напоследок переодеть его в сухое», — подумал Оберроде. У него отлегло от сердца.

## Глава четвертая

Первого человека Вольфганг Гесхаймер убил еще где-то в Белоруссии в начале войны. Упрямый старик ни за что не хотел отдавать насадно визжавшего поросенка, а из открытой машины, где сидели веселые солдатики, доносились насмешливый гогот и подковырки. Старик прижимал барахтающегося кабанчика к расхристанной седой груди и кричал на своем языке, но, конечно же, понятное и немцам: семья зимой с голоду пропадет! Крик этот, насмешливые голоса товарищей, а ко всему — визг кабанчика рвали уши Вольфгангу Гесхаймеру, в ту пору рядовому зондеркоманды «СС». Потом он уверял себя, что хотел всего лишь пристрелить поросенка, чтоб тот умолк, наконец, и целился в поросычью голову, но одна пуля попала и в старика. Какое-то мгновение старик еще жил и даже стоял на ногах, глядя в лицо Гесхаймеру расширенными глазами, еще не верящими в смерть. А когда Гесхаймер вместе с командой отъезжал на грузовике, придерживая ногами упрятанную в мешок окровавленную тушку, он услышал вопли и заунывные причитания старухи. Она пала головой на грудь мертвому.

Уже вечером, жаря отбивные для взвода, Гесхаймер подумал, насколько же спокойней для души, если убиваешь кого-то на расстоянии, да еще — не видя лица. Он хотел попросить о переводе в пулеметчики на бронетранспортер, как вдруг получил назначение в глубокий тыл — в группу охраны сверхсекретного предприятия.

<sup>1</sup> ИПТАП — истребительно-противотанковый полк.



Можно было считать, что ему повезло, тем более, что его даже от караульной службы почти освободили, поскольку четырежды в неделю играл он на тромбоне в солдатском борделе как раз на полпути между зоной и Форстом. Разумеется, сама хозяйка-наставница, розовая фрау Мицци, благоволила к нему, и девочки доставали Гесхаймеру лучшие: не зря же вызывал он всеобщие восторги своими пассажами на тромбоне, подражая то жеребьячьему ржанию, то сытому хрюканью.

Сейчас, на велосипеде, подхваченном на бегу у крайних домов пустынного поселка, катил Гесхаймер по знакомой дорожке к борделю. Сам еще толком не осознал, почему именно туда, но, казалось, там, в одиноком доме среди леса, найдется если не укрытие, то какой-то иной выход. Он должен остаться в живых. Сегодня в Германии это — самое важное. Пусть фанатики, подобные Грандке, завершают всю эту жуткую кутерьму. Но без него.

Переднее колесо вдруг нырнуло вниз и сразу же резко взлетело. Гесхаймера едва не вышибло из седла. Он-то по знакомой ровной дорожке катил уверенно, а на ней оказались воронки от снарядов. С трудом объехал он следующую яму и вынужден был соскочить с велосипеда: лесной перекресток был завален рухнувшими деревьями.

Несомненно, и здесь совсем недавно, когда русские прорывались к Шпрембергу, вершился какой-то бой местного значения. Русские танки, по всему судя, опрокинули немецкий заслон и ушли по узкой просеке и прямо через лес на северозапад, ломая деревья и сминая кустарники. Похолодев, глядел Вольфганг Гесхаймер на раздавленные противотанковые орудия, в ужасе увидел прямо над своей головой скальп, застрявший в ветвях. Рядом валялась пустая трубка от фауст-патрона. Не иначе граната разорвалась прямо в руках у фаустника (подобное случалось нередко), и парня разорвало в клочья.

Казалось Гесхаймеру, к виду трупов он привык. После того старика-белоруса приходилось заниматься и более серьезными делами, чем изъятие поросенка. Вешали каких-то подозрительных в наущение другим, жгли хаты, из которых в ужасе выскакивали женщины с разгорающимися на бегу волосами; нередко прижимали они к себе младенцев, не то живых, не то уже задохнувшихся. Да и в тылу, на подземном заводе, провинившийся Гесхаймер (чаще всего — опоздание из веселого дома) по милости оберштурмфюрера Зеевальда вытаскивал наверх мертвецов в полосатых робах. Но сейчас он остолбенел, уронив велосипед: в упор, как тот старик когда-то, смотрели на него остекленевшие глаза орудийного наводчика. Глаза были раскрыты до предела и потому казались дико изумленными. Парень окоченел у своего подбитого орудия, наклонился набок, но не падал. Что-то удерживало его. Гесхаймер вздрогнул, увидев над щиколоткой натянутую до предела цепь. Другой конец ее был прикреплен к станине противотанковой пушки. Очевидно, наводчик (подобное, Гесхаймер знал, делалось и добровольно) попросил, чтоб его приковали к орудью, потому что сомневался, достанет ли духу не кинуться, очертя голову, прочь от грозящейся смерти, как кинулся сейчас он, Гесхаймер.

Взгляд буравил душу. Гесхаймер перебрался через завалы и помчался, яростно нажимая на педали, подальше отсюда.

Он бродил по длинным узким коридорам. Справа и слева выходили в них одинаковые низкие двери. За каждой — тесная, едва помещается кровать и столик с эмалированным тазом, комнатка. Все номера были сейчас пусты, а в распахнутых шкафах — лишь остатки барахла, которое девочки бросили, уезжая. Гесхаймеру же, — он теперь знал, — нужна была бы какая-нибудь охотничья куртка, брюки до колен, шляпа с короткими полями.

Он вспомнил. Именно так одевался всегда привратник. Комнатушка его находилась внизу, рядом с залом. Дверь оказалась на замке. (Запер добро свое старый хрыч, убегая!) Подняв грохот на весь дом, Гесхаймер взломал дверь, и в шкафу нашел именно то, что нужно было ему. Как по заказу. Только вместо шляпы — кепка.

Он переоделся, смял в охалку свою эсэсовскую форму, торопливо вышел во двор и, почему-то озираясь, зашел за угол, сложил все кучей и хватился, что спичек-то у него нет. (И быть не могло!) Надо было возвращаться в дом, на кухню, пошарить там.

Он открыл двери и отпрянул, но хлесткая пощечина настигла его.

Сейчас фрау Мицци была вовсе не розовой. Пятна проступили на мучнистых щеках. Она рухнула на колени и заплакала, стуча кулаками по своим ногам.

Гесхаймер отер запястьем кровь в углу рта. Тяжелая рука оказалась у старой шлюхи. Можно было посочувствовать ее девушкам. По-глупому спросил он еще и о них: всем ли удалось уехать вовремя?

— Не тебе женщинами интересоваться, кастрат вонючий. Все вы, все вы —

скоты! — Она не плюнула, но вложила столько презрения в эти слова, что Гесхаймеру и на сто лет вперед хватало бы.

Буде он остался бы жив. Впрочем, теперь у него было на это куда больше шансов, чем у того же шарфюрера Грандке.

«Да кого же он испугался! Гимназистик, курчонок какой-то. Шею сдавить — содохнет.

Грандке все еще действовал лихорадочно, почти инстинктивно. В темноте нашарил он стул, и обхватил голову руками.

Что же заставило бежать? Конечно, внезапность появления в зоне, да еще у самого входа на завод, этих русских. Так сложилась у шарфюрера Грандке служба, что до сих пор видел он лишь понурых пленных да карикатуры на оборванных «иванов» в журналах. Было от чего оторопеть. Но было и иное, куда более страшное. Нет, не камнем грозил ему тот мальчишка, вскричавший «Хенде хох!» Граната была у него в руке.

Безумие какое-то. Более жуткое придумать трудно. Озноб между лопаток и противную пустоту в животе ощутил шарфюрер Грандке. Только теперь признался он себе, что и у него в глубине души таилась все время надежда: удастся как-то спастись и ему. Не так, конечно, как презренный Гесхаймер, а достойно германца и солдата. Коль скоро русские уже здесь, шарфюрер имеет право скрыться, оставив на посту эту хитрую штуку — взрывное устройство, сработанное химиком Редингом. Пока красные разберутся, что к чему, оно рванет, и все они, сколько бы ни скопилось их в поселке и около, улетят в тартарары. Значит, остается раздвинуть створы и незаметно выскользнуть. Незаметно... Грандке горько усмехнулся. Как ни верти, а путь ему неизбежно преградит тот, кажется, еще и хромой ко всему, но ведь с гранатой! Вот в чем весь ужас.

Да человек же он, не безумец, чтоб совершить самоубийство. Они люди, а потому надо попытаться договориться. Так, чтоб оба живы остались.

Где-то валяется в ящике стола фронтовой разговорник. Кто-то из караульных, служивших в России, бросил давно. Надо отыскать фразу: «Сдайте оружие — получите свободу».

Грандке повернул барашек, тщательно упрятанный в резиновый, собранный гармошкой чехол. Тускло засветился плафон. В едва рассеявшейся темноте сразу различил он фигуру, сжавшуюся у стены. Она шевельнулась, и Грандке нащупал эсэсовский кинжал у пояса. «Alles für Deuthland»<sup>1</sup> — было вытравлено на нем.

Как же оказался он в ловушке? Инстинктивно кинулся вслед за убежавшим и не подумал, что же дальше будет? Да и наччим. Не только в спину толкнул, но и подстегнул. Не то «Задержать!», не то «Обезвредить!»

Очувшись в темном, уходящем в бесконечность коридоре — а топот сапог уже стихал где-то впереди, — младшой все-таки повернул было обратно. Заметил, что створы уже сходятся, и заторопился. Это и подвело: чересчур резко ступил на больную ногу, свалился на колени и пополз — иначе не получалось — к выходу.

Опоздал он на мгновение, и теперь корил себя за совершенную глупость, а планы, один другого сумасбродней, все-таки не покидали его изобретательную голову. В девятнадцать лет, да еще у рокового порога, все представляется возможным, кроме собственной гибели. Но что бы ни придумал он, все связывалось с тем, что прежде необходимо выйти из ловушки. Так, может, пригрозить охраннику: пусть откроет выход, иначе не пощадишь ни себя, ни его?

Младшой напряженно припоминал все известные ему немецкие слова. Придумалось, наконец: «Их унд ду — аллес капут, одер их унд ду — раус». Может, и не совсем верно, но в такую минуту эсэсовец обязан будет понять.

Он забылся на какое-то время и вздрогнул, потому что туннель слабо осветился. Немец приближался к нему. Он держал руки перед собой вытянутыми, словно для объятий.

«Хальт!» — выкрикнул младшой, когда эсэсовец был еще шагах в десяти.

— Яволь, — ответил послушно Грандке, но продолжал идти.

«Хенде хох!» — прокатилось под сводами еще отчаянней.

— Яволь, яволь.

Уже неподалеку от младшого Грандке оцепенел: высоко вскинутая рука и впрямь стискивала гранату.

«Halst du, arme Dummkopf!»<sup>2</sup> — вскричал в ужасе Грандке. — Никс! Не можна! —

<sup>1</sup> «Все для Германии».

<sup>2</sup> Остановись, глупец несчастный! (нем.).

Теперь он вскинул руки по-настоящему, как мог до предела. В страхе косил он глазом на граненый снаряд в пальцах у этого длинного худого парня. В звании его Грандке не разобрался, да и какое значение имело это теперь.

И все-таки даже в уличной драке важнее всего противника опередить.

Грандке стремительно вырвал из ножен кинжал, вместе с прыжком яростно выдохнул и воткнул клинок младшему в живот. Продола все мгновенно и чисто, как на учении. Сам геноссе Гиммлер мог бы гордиться им. Лишь одного шарфюрер Грандке не учел: младшой уже успел вырвать кольцо. Чека гранаты была освобождена. К тому же младшой и не свалился сразу. Он еще зажал рану левой рукой, шагнул навстречу отпрянувшему в безумном страхе эсэсовцу и упал почти на него. Гранату он уронил перед собой.

Вскрикнуть Грандке уже не успел.

Будь обстановка не столь жуткой, гауптман Оберроде мог бы еще и затейником изобретательным предстать. Он уже вновь обрел себя. Вот-вот должны были подойти бронетранспортеры, все, которые смог двинуть на остатках горячего генерал Вернер фон Принцлау. К утру вся армада ожила бы и двинулась в бой. Оба русских пленных становились уже обузой. Правда, «Гросстельду» («Великому герою», как, неизменно хмыкая, называл начхима гауптман Оберроде) генералом была обещана жизнь, и услугу оказал он и впрямь немалую, но лучше бы все-таки и от него избавиться. Что ж до увальня-сержанта, так этот казнь заслужил сполна: напел едва ли не про русские походные кухни у самой кирхи, а ефрейтор Рединг и пастор никого из красных ни вблизи, ни поодаль тоже, оказывается, не видали.

Волченогов же об одном лишь сожалел теперь: слишком далеко от него начхим. Вон стоит среди немцев — как свой, даром, что награды советские не снял. Эх, подержаться бы за его глотку, с белым светом прощаясь! Не иначе, гнус, давно с фрицами знался.

Волченогов даже потянулся вперед, и автоматчик, приставленный к нему, больно ткнул в грудь дулом. Но хоть глазами пытался Волченогов начхима поймать: пусть чувствует, падала, что думает о нем русский человек. Тем паче — обреченный. Начхим же делал всячески вид, будто он и не замечает сержанта-однополчанина, пока гауптману не захотелось в те короткие минуты, что оставались до подхода бронетранспортеров, развлечься, а может — избавиться сразу от обоих.

— Вы хороший, порядочный офицер, — сказал он, разумеется, через цокающего переводчика. — Вы понимаете, как недопустимо лгать, а потому вы сами немножко накажете этого обманщика... — И он подвел слегка упирающегося начхима к Волченогову. — О нет, — сказал гауптман, — убивать его ты не будешь. Влепи ему хорошую пощечину, герой, — и все.

Волченогова подняли. Потупившись, начхим встал напротив.

— Прости, сержант, — пробормотал он глухо, так, чтоб переводчик не разобрал, — уступим им. Не придавай значения, пожалуйста. Я же все равно тебя уважаю.

Будто едва ли не жизнь сержанту обещал за минутный позор, вражинам на потеху.

Волченогов опередил. Обими связанными руками двинул он начхима в нос и в зубы. Вложил в этот удар еще и всю горечь прощания с жизнью.

Гауптман за бок ухватился, глядя на то, как начхим упал и шарит, словно ослепший, руками, пытаясь подняться, а из носа и углов рта у него капает кровь.

Волченогов снова рванулся к нему, но вот это по замыслу гауптмана Оберроде было уже излишним. Привычным движением (начхим, как ни был потрясен, невольно вспомнил расправу с беднягой старшиной с продсклада) приткнул он парабеллум к боку сержанта и нажал дважды подряд на спуск. И с неостывшим пистолетом повернулся к начхиму. Но опять передумал. Уже приближался гул моторов, а вскоре, подмяв кустарники, вышли и встали в ряд шесть бронетранспортеров. Кто-то подозвал Оберроде. Требовалось объяснить, как покороче пробраться к складам, и Оберроде подманил начхима пальцем.

— Ты! — сказал он. — Хорошенько вытри нос и садись в первую машину. Покажешь прямой путь — мимо хутора, по бездорожью. Но не хитрить! — Он ткнул пальцем туда, где лежало неподвижное тело Волченогова.

Машины вытянулись в цепочку одна за другой и уже спустились с холма, когда земля и небо раскололись одновременно.

Никогда впоследствии так и не мог вспомнить начхим: то ли его выбросило прочь колоссальной воздушной волной, то ли сам он спрыгнул и, подхваченный чудовищным невидимым валом, покатился куда-то вниз.

Очнулся он в мокрых болотных зарослях. Его сотрясал озноб. Небо казалось

красным, как и все вокруг. Горькая гарь забивала дыхание. Уже немало времени, наверное, прошло после взрыва. Лягушки снова сидели на кочках, раздувая зобы. Он их не слышал.

Какое-то время брел он, сам не знал куда, подальше бы только от гибельного места, над которым повисла, не рассеиваясь, грязно-серая пелена, пробитая зловещными малиновыми клубами. То были — начхим это знал — раскаленные до предела газы, плазма. Еще долго будет она остывать, а затем падет вниз, отравляя все, что с ней соприкоснется: и листву, и воду, и землю.

Все же с каждым новым, все более уверенным шагом освобождался он от шока, отвлекся на время от гнетущих ощущений в разбитом теле и тогда во всей полноте осознал, что же произошло. И мысль, не только утешительная, но и гордая выхватила его из пропасти и возвысила в собственных глазах. Взлетела же кверху тормашками вся эта секретная фашистская зона! Без снарядов, без горючего остались теперь немцы. Значит, все эти танки, что, несомненно, готовились ударить в тыл нашим войскам, так и останутся мертвыми недвижимыми коробами в лесу, где они застряли, выдохшись. Так кто же, выходит, как не он, начхим рядового артполка, помог в этом своим? Помог, даже в плену оказавшись! Разве не он едва ли не силком приволок за собой в зону этого растерянного младшего лейтенанта, а уж тот — сейчас сомнений быть не могло — пустил-таки в ход свою гранату. Конечно же, по счастливой случайности оказалась у младшего лейтенанта «лимонка». Но начхиму везло всегда: и в игре, и в любви. И на войне — тоже.

Слух восстанавливался. Теперь начхим отчетливо слышал хруст лежалых веток под своими сапогами, а вскоре уловил и голос человека, что-то властно и чеканно произносившего по-немецки. Нет, нет... Надо держаться от немцев подальше. Пусть решат, что он погиб, а в этом случае на кой ляд им его злополучная расписка? Да и до нее ли немцам теперь в их незавидном положении? Все-таки он пошел на голос и, прячась в зарослях, подобрался к поляне.

— Meine Herrn, — впервые генерал Вернер фон Пинцлау обратился к своим подчиненным не по-уставному: — Meine Freunde<sup>1</sup>. — Он переложил перчатки из руки в руку. — Военная судьба послала мне и вам величайшее из испытаний. Не амбиции, а здравый смысл должен руководить нами в этот тяжкий час. Интересы Германии, как всегда, должны быть для нас превыше всего! — Генерал обвел взглядом замерших перед ним строй. Люди в таких же, как у генерала, кожаных куртках и танкистских шлемах смотрели на него, стараясь скрыть смятение и тревогу. — Сыны Германии! — Голос Вернера фон Принцлау взлетел: — Гибель солдата неизбежно должна быть оправдана достойной целью. Только так! Совсем еще недавно такая цель у нас была, мы с вами могли повлиять на ход сражения на подступах к нашей священной столице с юга. Именно для этого и прорвались мы в тыл к противнику, вот сюда. Однако обстоятельства сложились, к нашей горечи, против нас. Все, все было рассчитано безупречно, но произошло нечто непредвиденное — и, как следствие, арсенал был взорван. В результате наши боевые машины недвижимы, наши могучие орудия немцы. Теперь я могу повести вас в бой только пешими. Повести на явную смерть, потому что русские перебьют вас всех мгновенно. Сыны Германии! — голос Вернера фон Принцлау дрогнул. — Гибель каждого из вас станет гибелью и ваших нерожденных сыновей. Гибелью будущего Германии. Родина заклеймит меня, если, пользуясь правом командира, я заставлю вас умереть бесмысленно.

В строй кто-то шевельнулся, кто-то вскрикнул, и генерал лязгнул стальными нотами:

— Ruhe!<sup>2</sup> Я мог бы разрешить вам сбросить мундиры и рассеяться в лесах и селениях, но подобное противно воинской чести. А потому я приказываю всем, кто желает оставаться до конца солдатом: построиться походной колонной с белым флагом во главе. Я сам пойду первым, а дальше — да сбудется то, что предначертано небесами.

— Schande! — нарушив строй, свирепо растолкав тех, кто пытался удержать его, к генералу рванулся рослый дородный офицер. Начхим узнал его, сжался в комок, однако не мог оторвать взгляд от того, что вершилось сейчас на поляне. — Срам! — повторил яростно гауптман Оберроде, будто выплюнул это слово в каменное серое лицо генерала. — Чтоб эти задрипанные голозадые большевики помыкали мною! Зубами рвать их! Мужчины, немцы, кто со мной?

<sup>1</sup> Господа, друзья мои! (нем.).

<sup>2</sup> Спокойно!

— Гауптман Оберроде! Вернитесь в строй! — сдержанно, но повелительно произнес генерал.

Оберроде, однако, не подчинился. Расширенными глазами обводил он танкистов. Они стояли, потупившись, отворачиваясь от безумного требовательного взгляда.

— Неужто никто? Шкуры свиные... — Гауптман вдруг упал на колени. Дрожащей рукой вытащил он парабеллум.

Адъютант генерала кинулся к нему.

— Не мешайте офицеру, — все так же невозмутимо проронил генерал.

Пистолет в руке у Оберроде плясал. Он поводил стволом, будто выбирая между адъютантом и генералом, но тут же заметался в тоске и сунул ствол в рот, словно желал оборвать рвущиеся, как рвота, вопли.

Глухо прозвучал выстрел.

— Всем на размышление полчаса. Тем, кто подчинится моему приказу, построиться походной колонной на шоссе. Все прочие избирают судьбу по собственному усмотрению. — Вернер фон Принцлау бросил взгляд на распластанное тело. — Гауптмана Оберроде похоронить со всеми воинскими почестями, в мундире и при орденах.

«В мундире и при орденах»...

Начим не понял немецкую речь, но видел, что четверо танкистов поспешно роют яму. Он дождался, пока они спустят в могилу недвижимое тело гауптмана. Оберроде свершил теперь суд и над самим собой. Труп обернули непромокаемым темным плащом. К одежде гауптмана никто не прикоснулся, а в кармане мундира (мог ли не знать начим?) была спрятана та злосчастная расписка. Вместе с гауптманом похоронили навеки и ее.

Теперь он, кажется, был свободен. Вот только не свалиться бы с ног в этом лесу, кажущемся бесконечным. Багровые стуски, плазме сродни, всплывали над теменем, делились на цветные круги, вереницы эти удалялись одна за другой, и сразу возникал новый стусок. Начим громко стучал зубами, не в силах унять дрожь. Он основательно простыл с утра в промокшем кителе, но едва ли не в большей мере сказывалось смятение души.

«Я болен, болен...» Надо бы в санчасть. К Любе. Вот! С самого начала следовало бы укрыться там. Едва немцы упустили его из виду. Но нет. Тогда еще нельзя было. Можно сейчас, когда гауптман зарыт в землю. Только не упасть бы у этих сосен или в кустах. Снова подняться уже не удастся.

Казалось, не разбирая пути, он тем не менее вышел верно — к развилке. Уже близко мерцали костры, а вскоре, как ни старался начим быть тише, его встревоженно окликнул часовой:

— Стой! Кто идет?

Как-то не раздумывая, не узнавая собственного голоса, начим откликнулся:

— Старший лейтенант Третьяков!

Он назвал фамилией начальника разведки, известной в полку всем, даже новичкам из пополнения. Солдатик, окликнувший его, не удивился — значит, начим вышел как раз в расположение своего полка. Ему и это показалось звеном в цепи все тех же удач, хотя других воинских частей — начим об этом, разумеется, не ведал — и быть в этом районе пока не могло. В сгустившейся влажной тьме мальчишеское лицо часового было едва различимо. Да и сам паренек, робевший перед начальством, не шибко вглядывался в пробиравшегося сторонкой офицера — не первого, кто проходил нынче мимо поста. Удалившись на десяток шагов, начим все-таки решился:

— Санчасть где, не знаешь?

— А вы отсюда сразу влево возьмите, товарищ старший лейтенант, а потом вниз. Как раз там и есть она, в овражке.

В себя пришел он лишь днем. Смутной вереницей пронеслось в ослабшем сознании все недавнее, с пленения и до взрыва. Предстало таким жутким, даже в воспоминании, что он усомнился, жив ли? Жив. Чувствует ломоту во всем теле и дышать тяжело. Вот только забылось напрочь, как же оказался он здесь, в этой знакомой палатке. Это же на Любиной раскладушке он лежит. Рядом постель Клавы. Эта медсестра помимо всего ведала еще и медикаментами, а значит — спиртом тоже. Строгая сухая сорокалетняя Клава. К нему, впрочем, была она снисходительна и всегда отыскивала себе какое-то дело на стороне, когда он приходил к Любе.

Белье на нем было чистое, но влажное. Значит, он основательно пропотел. Кризис минул, вот только тело — как палками побитое.

В палатке, той, что стояла почти впритык, слева давно кто-то говорил, громко и возбужденно. Начхим узнал голос Маца. Штабной писарь этот был ко всему еще и рифмоплетом записным. Конечно же, приходил он на очередное промывание канала. Подхватил гоноккок еще где-то на Вислинском плацдарме, когда долго в обороне стояли, но ничуть не унывает. Вот и сейчас:

— В недоуменье батарея: зачем еврею гонорея?

Кто-то из раненых гмыкнул в ответ. Шуточки, анекдоты. Где он их только берет? Все это казалось сейчас начхиму ничемным, пустым. Прислушиваясь снова он стал, когда, переменив круто тон, начал писарь рассказывать, как нынче на рассвете пришли немцы колонной сдаваться в плен. Ликуя, даже захлебываясь словами, сообщал Мац разные подробности. О генерале:

— Истинный пруссак. Кортик свой сперва поцеловал, а уже потом двумя руками поднес майору Лобашу. Как святыню, понятно?

Об офицерах-танкистах:

— Все в коже с ног до головы. По два, а то и по три «Железных креста» у каждого.

И уже в полнейшем восторге называл Мац, какие виды танков, и самоходок, и бронетранспортеров оставлены немцами в лесу и сколько «тигров», и сколько «пантер». Он говорил, говорил, упиваясь, и про стомиллиметровую броню, и про спаренные крупнокалиберные пулеметы, пока не прервал его насмешливый и глуховатый голос. Конечно же, это Корявин, командир третьей батареи. Ранен, наверно.

— Ну, глядз, артисты вы — один к одному, в лоб вашу! Что ты поешь? «Захватили»... Металлолом в лесу немцы бросили! То же и с пленными. Хрен с два взяла бы ты этих танкистов, будь у них снаряды, горючее. Они сами с поднятыми ручками явились, потому что поняли: делу их — хана, Гитлер капут, как они говорят, а жить охота всем. Да они кому угодно — хоть праечной, хоть похоронной команде сдались бы теперь, не будь у них на дороге нашего полка. Герои... Вот те ребята, которые склады рванули и сами, наверно, погибли, и вправду — герои. Ты, Мац, знаешь, кто это сделал? Нет. А вот им бы-то в ножки поклониться и следовало, хотя бы за то, что и ты, и все мы живы остались. Не то прошлись бы по нам эти танки, как утюг по холстине.

— Это, наверно, наша диверсионная группа была.

— Дуб ты, Мац. В нашем собственном тылу и вдруг — диверсанты! В том-то и горе, что доблестная разведка наша понятия не имела ни про подземный завод, ни про арсенал. Это ж и вы про все только и узнали от немцев, когда они в плен сдаваться пришли.

— А кто же тогда там был? — недоуменно произнес Мац, но заключил беспечно: — Найдут их.

— Кто искать станет? — спросил в сердцах Корявин. — Нужны они вам очень. Вам факт важен: склады на воздух взлетели, немецкая танковая бригада в плен сдалась. А в штабе у вас и кроме тебя есть кому все так размалевать, что хоть героя ему сразу давай.

— Награды будут высокие, это точно, — убежденно подхватил Мац. — А про вас, товарищ старший лейтенант, замполит говорил еще сразу после боя возле моста: «Корявина — к «Красному Знамени». Вас и еще того старика из хоззвода, который танк «фаустом» поджег.

Корявин промолчал.

— А еще раньше, — доверительно продолжал Мац, — сам я слышал, майор Гуца вас на свой бывший дивизион поставить хотел. Только в звании, говорил, сперва повесить вас надо. До капитана.

— Ох, Мац, Мац. Ну не про все — вот так сразу. Я же и концы могу отдать от счастья. Ты лучше скажи, как сам-то Гуца теперь?

— Он в палатке отдельной лежит. Доктор сказал, контузия тяжелая. В санбат отправят его. Вместе поедете, товарищ старший лейтенант. — Не очень естественно Мац спохватился: — Ну, я побежал. Когда ты сам в делах по шею, забудь уже про гонорею. А подрывников найдут, товарищ старший лейтенант. Это вы напрасно.

Знали бы они... Начхим опять забылся, а когда открыл глаза, на Клавиной постели сидела Люба. Она перелистывала толстую канцелярскую книгу и время от времени делала чернильным карандашом пометки. Хотелось сказать ей что-то теплое, признательное, но слова не приходили, а сухому языку было тесно под небом. Он лежал тихо, и Люба молчала, занятая своим делом. Кто-то прошагал быстро мимо, и вскоре стало слышно, как в той палатке, что справа, он здоровается, справляется о самочувствии. Предательски заколотилось сердце. Этот мягкий вежливый тон!

— Люба!

Она радостно вскинулась.

— Тихо! Ты не знаешь, кто там?— Он показал глазами вправо.

— Да тебе-то что? Ты лежи, лежи. Вот ведь, уже и говорить начал.— Она протянула руку, положила маленькую жесткую ладонь на лоб начхиму. Взяла полотенце и отерла ему лицо, плечи.— Ожил. А то объявился, я думала — все, не встанет. Доктор тебе жаропонижающее дал трофейное. Видишь, как подействовало быстро.

— Тише, пожалуйста, Любаша. Кто там, в той палатке?

— Ну на что тебе? Ну, командир полка там лежит. Контуженный он. Сильно. А пришел, наверно, к нему тот капитан, который уполномоченный. Он и до этого уже раза два приходил, только его к майору доктор никак не допускал. Теперь позволил, видно.— Люба хихикнула в ухо начхиму:— Девчонки из санбата крем немецкий нашли. Бриолин называется. Вот тому уполномоченному как раз и надо бы. Пусть голову смажет, а то волосы у него ну никак не держатся. Ой, смех! Еще в Прибалтике он один раз приперся к нам с духами трофейными. Я ему, конечно, сразу дала понять, чтоб не рассчитывал, так он, представляешь,— к Клаве! А она же вообще ни с кем, и к ней никто. И вот все выпроваживает он меня из палатки, выпроваживает, а я сижу. Назло, да и Клава попросила тоже. Он же — страшенький, не дай бог!

Люба снова взяла конторскую книгу и склонилась над записями. Сквозь гнет в голове пробилось: не тот ли у нее журнал, в который поступивших в полковую санчасть записывают?

— Люба!

— Ну что еще?— Она заглянула в лицо ему, провела пальцами по щекам.— Колючий ты стал какой... Ничего, скоро побреешься.

Он просипел: слова вырывались с трудом, а начхим еще и старался, чтоб звучало потише:

— Отметь, что поступил я в санчасть сразу же после боя. Днем, значит. И почти без сознания. Ты поняла. Это важно. Очень.

Она наклонилась совсем низко, коснулась его грудью.

— Если тебе для чего-то нужно, чтоб так,— сделаю. Все сделаю для тебя.

Он неловко погладил ее по голове.

— Хорошая ты девушка, Любаша. Одного «спасибо» для такой ой как мало. Но я отблагодарю, не сомневайся. Отблагодарю тебя, как надо.

— А ты женился бы на мне,— с печальным вызовом посоветовала Люба. Все-таки вздохнула безнадежно и поднялась.

Он опять спохватился:

— Люба! Китель мой где?

— Да он мокрый был, хоть выжимай. Я сушить его повесила. Здесь вот неподалеку санитар огонь в бочке развел,— она успокоила, перехватив встревоженный взгляд.— Там в карманах у тебя ничего не было. Я проходить мимо буду, еще раз посмотрю, как сушится. Сейчас.

Люба взяла журнал, сумку с крестом и уже снаружи крикнула:

— Висит! Все на месте!

Дура! Это т же услышать может. Справа в палатке голоса бубнили по-прежнему: доброжелательный, размеренный — уполномоченного, и отрывистый, командирский — Гуца.

А вдруг, выйдя, уполномоченный обратит внимание? Китель-то, будь он не ладен, приметный. Тогда уж не оправдаешься ничем.

Хватит ли сил? Подняться, однако, удалось. Держась за полог, он выглянул. Над раскаленной бочкой неподалеку висели на проволоке, натянутой между деревьев, разные вещи: брюки-галифе, телогрейка, юбка женская и его китель.

Начхима шатало, как хмельного, но надо было добраться до огня, хоть умри. Он подобрал с земли кривую ветку, неловко подцепил китель, приподнял и сбросил в пламя, колеблющееся над самодельным очагом.

Вместе со всеми наградами.

В сожженной придонской степи Николай Гуца, командир артвзвода с зеленым кубиком в запыленной петличке, после первого же боя остался единственным командиром на батарее, расстрелявшей все свои снаряды. С севера на юг рассекали немецкие танки степь. Тылы были отрезаны. Вместе с заморенными конями голодные люди волокли онемевшие трехдюймовки. Уже к вечеру приказано было занять оборону по Донцу и получить, наконец, боеприпасы. Ничего лучшего не нашел старшина, как послать двух новобранцев. До лошадки, где остановился грузовичок из дивизионных тылов, добраться было несложно. Они и справились,

и привезли четыре ящика. Сгрузили, даже довольные собой, но Гуща только глянул на маркировку и ахнул: снаряды-то для сорокапятки!

Растерзать готов был он обоих, растерявшихся, жалких. Поносил их последними словами, а они, понурившись, только головы в плечи втягивали, до конца не понимая, что же вызвало такой гнев командира? А старшина разъярялся еще более, хотя ему-то лучше, чем всем, известно было, что двое эти лишь недавно переданы в артиллерию из пехоты, да и там прослужить успели, дай бог, чтоб хоть три месяца, где было им в калибрах разбираться? Но старшина, от себя вину отводя, понятно, негодовал:

— Под трибунал! Пускай там доказывают, что они — неумышленно.

Знал же, что промашку дал сам, но тем яростней представлял виноватыми этих, которым слов не доставало изначально, об оправдании уже не говоря. Они обращали к Гуще глаза, блестящие от слез, и выкрикивали в отчаянии скороговоркой что-то вовсе уж непонятное. Призванный Гущей коновод Мингазов сумел им все же растолковать, какую ужасную ошибку допустили они и что на их совесть падет гибель и людей, и пушек, когда немцы начнут наступать, и тогда оба ухватились за стриженные головы и заголосили, раскачиваясь, по-своему. Но старшина был безжалостен:

— Переведи им, Мингазов: пусть молятся не молятся богу своему, все едино — хана им будет.— И выразительно сжал горло двумя пальцами.— Вот! Поняли?

Сам он всю ночь рыскал по передовой и отыскал-таки какую-то смешанную батарею, где были и сорокапятки. Выменял нужные снаряды, а Гуща, едва забрезжило, поднялся, чтоб обойти позиции, и услышал, как за бугорком не то скулит, не то причитает кто-то. Один из новобранцев лежал там на спине, разбросав тонкие руки. Маленькая стриженная голова неестественно откинулась назад. Под челюстью чернел ступок. Рядом валялась винтовка. Земляк его стоял на коленях, припав к мертвому. Будто прощения просил за то, что самому не достало духу застрелиться.

Никто из погибших не вспоминался Гуще так часто, как тот. Щемящую жалость будил он в душе еще и потому, что в самом прямом же смысле в свое оправдание слова сказать не мог. А если бы и мог сказать, то кто бы его слушать стал?

И вот явился снова тот, с откинутой, будто оторванной детской головой,— и не отступал во все то время, пока уполномоченный мягко, но неотступно мучил одним и тем же: почему это на боевом марше, когда в любую минуту можно было столкнуться с противником (что, как известно, и произошло), полк, вопреки уставу и опыту войны, двигался тылами вперед? Напрасно, к здравому смыслу взывая, пытался Гуща объяснить само собой разумеющееся, казалось бы: даже развернуться для движения в противоположную сторону было на узкой полоске шоссе трудно, а уж перестроиться — вовсе невыносимо. На это ушла бы уйма сил, не говоря уже о времени.

— А вы, понятно, спешили,— словно соглашался и подсказывал одновременно уполномоченный, но, чувствовалось, в своих, в собственных каких-то интересах.

— Я должен был укрыть полк от воздушных налетов,— в десятый раз повторял Гуща, не в силах скрыть раздражение,— и как можно скорее. И я бы остановился на этом, когда полк подошел к лесному замку, но вдруг открылось, что есть возможность переправиться. Так почему же было не воспользоваться ею?

Гуща морщился. Мозгу под черепом становилось тесно до невыносимости.

Сунулся несмело Бакиров с котелками. Есть Гуща не мог, но все же вопросительно взглянул на уполномоченного.

— Извините, товарищ майор,— сказал тот, потупившись, но твердо,— мне принимать вместе с вами пищу не полагается.

Рукой указал Гуща повару: пусть уходит.

Недоумение и обида мелькнули на смуглом лице Бакирова. Он торопливо исчез за пологом палатки. Невольно припомнилось Гуще, что это же Бакирова где-то еще на Смоленщине славил газета. Даже не дивизионка, а армейская. Конечно же, газетчики, как водится, переборщили, и потому в полку хотя и отдавали должное доблести повара, однако и подтрунивали над ним. Особенно — все тот же писарь Мац. Едва завидев штабного повара, Мац уже цитировал наизусть из памятного газетного очерка: «Подозрительная возня и неясные шорохи снаружи не прошли мимо чуткого уха бдительного солдата. Бакиров вмиг вскочил...»

По простодушию повар и не скрывал, что поднялся тогда ночью по нужде и услышал неподалеку придушенный вскрик. В темноте различил он три фигуры в длинных балахонах. Немецкие разведчики! Они оглушили и прирезали часового, и теперь подбирались к штабной землянке с кинжалами наготове.

Конечно же, набросились бы и на командира полка, и на его адъютанта, и на дремлющего в углу телефониста. Кого-то прихватили бы как «языка», других уби-ли бы.



Около мертвого часового подобрал Бакиров автомат, зашел за спину немцам, полоснул длинной очередью и уложил всех троих.

«В короткой схватке с вооруженными до зубов фашистами победу одержал советский богатырь». — Про богатырские схватки — это они точно написали! — потешался бывало Мац, не сомневаясь, что сам он повел бы себя вот так же, доведись ему столкнуться с тремя вражескими лазутчиками.

Сейчас Бакиров и воспоминание о подвиге, совершенном этим поваром (бывает ли более тыловая и спокойная должность?), явились словно по воле уполномоченного, а тот продолжал гнуть свое:

— Уточните, кто представил вам, командиру полка, все эти сведения — о дорогах, о мосте?

Все ему, змею, уже известно досконально, но вот же — продолжает мордовать.

— Офицер наш один. Из батареи Корявина. Младший лейтенант. Фамилию я не знаю, но в штабе она известна. Установить не трудно.

— В штабе, конечно, все известно, — произнес уполномоченный, как бы даже вздохнув легонько, и сожалея, и упрекая, — а вот вы, товарищ майор, доверились, сами не знали, кому. А он ведь, к вашему сведению, исчез! Сразу же! Бесследно! Сержант Волченогов вслед за ним отправился, но был застрелен. Разведчики только что обнаружили в лесу труп. Две раны в боку. В упор пистолет был приставлен. О чем говорит все это? — И он стал делиться соображениями едва ли не доброжелательно, хотя прозвучало самое страшное: — Сопоставим факты. Младший лейтенант наводит полк на мост, а сам скрывается в неизвестном направлении. Полк подходит к мосту, не обозначенному ни на одной карте, и сразу же по колонне ударяют танки. И самый страшный удар приходится по беззащитным тылам.

Стугки боли скапливались под теменем, набухали и лопались, рассыпаясь колючими осколками. А уполномоченный сrazil вовсе уж неожиданным, диким:

— Говорят, товарищ майор, вы всегда тыловиков недолюбливали.

Даже в самом страшном бою не холодело так у Гущи сердце. К чему же клонит этот капитан, которого не оборвешь и не осадить? Он — вне подчиненности командиру полка. Словно раздумывая вслух, к пониманию взывая, с трудом произнес Гуща:

— Да вы подумайте сами: разве ж мог я тылы под удар подвести? Нарочно. На что оно? Чтоб полк без снарядов, без харчей оставить, или как? Чтоб санчасть пострадала, где раненые, где санитарки? Хотя, нет: санчасть как раз посередине очутилась. Как-то так оно вышло...

Неужто он уже и оправдывался? Неужто следовало объяснять, что санчасть случайно затесалась между двух батарей? Что в этом предосудительного, даже на пристрастный взгляд? Но тут-то и пискнуло беспомощное: «Обвинят, и ничего ты не докажешь в оправдание свое. Как те смуглые новобранцы».

А уполномоченный интересовался уже вроде бы другим:

— Разве начальник вашего штаба, майор Лобаш, не был против того, чтоб переправляться по неизвестному мосту? — И переворошил свой блокнот, как бы с записью сверяясь.

Вот оно что... Теперь рядом с безысходностью всколыхнулась ярость.

— Я, кажется, в настоящее время из строя выбыл, — сквозь зубы, преодолевая боль и туман, произнес Гуща. — Представить вам объяснение по форме не в состоянии... И все-таки сорвался: — Пишите, что вам хочется, или так, как вам докладывали про все другие. Или потрудитесь дожидаться моей поправки. Ясно? — Прозвучало вятно: «Пошел ты!..»

Все так же уступчиво уполномоченный поднялся, подобрал волосы, свисшие к ушам, надел фуражку и удалился, птясь.

— Поправляйтесь, товарищ майор, и, пожалуйста, извините за беспокойство. Служба. С меня мое начальство тоже требует.

С неделю полк ходил в именинниках. Сам командующий многозначительно молвил: «М-да...» — живо представив, чем грозил немецкий танковый удар по корпусной колонне с тыла, если бы он свершился. Лично знакомился он с оперативными документами, затребованными прямо в Ставку из штаба артполка. Лобаш на этот раз, казалось, себя самого превзошел в умении преподнести события, ничего не придумывая, однако так, чтоб выглядеть и скромно и достойно. Спустил неудобные очки к середине крупного мужицкого носа, командующий иные gladкие фразы перечитывал по нескольку раз, докапываясь до самой сути. Все представлялось заслуживающим только похвалы: чутье, зоркость и рвение полковых разведчиков (это же они, гласили бумаги, обнаружили по едва уловимым признакам замаскированную дорожку к лесному замку, а затем — дороги, ведущие к реке, и сам мост), решительность полкового командования, отважившегося пере-

править полк на тот берег в одиночку, что и сыграло самую решающую роль в дальнейших событиях, которые, будь иначе, могли развернуться ой как худо для наших. Вот только зачем двигался полк задом наперед, подставив тылы под удар? В донесении об этом сказано было как-то вскользь, зато упомянуто, что в ожидании возможного танкового удара в рядах тыловиков находились гранатометчики и даже собственные «фаустники», и бойцы эти свое дело сделали, чему свидетельством подбитый «Тигр» и самоходка. Однако командующий знал, что особый отдел все еще не успокоился, хотя сам он, будь его воля, с удовольствием поставил бы на этом нарушении крест. Ясно же, что, попытайся майор Гуца на узком шоссе перестроить полк как положено, — на это ушла бы уйма времени, и вот тогда танки, наверное, прошли бы в тыл беспрепятственно, да и сведения о них поступили бы с большим опозданием. Нет, нет. И тут военная судьба была к нам благосклонна. В прихотливости, даже в насмешливости сил, вторгающихся в ход войны нередко вопреки самым тщательно продуманным и всячески обеспеченным планам, вопреки и логике и здравому смыслу, убеждался командующий не раз. Стыдясь — сам не понимал чего, — не признавался он в этом открытии, попахивающем мистикой, не только подчиненным, но до конца и себе самому. Тем не менее, в подобных случаях неизбежно заключал он, что не зря фронт называют театром военных действий. Выходит — игра. Кровавая, беспощадная, варварская, но вершится-то она по внутренним законам игры, и не все в ней поддается разумному учету.

В самом деле, хотя бы вот этот случай. Почему, помимо всего прочего, немецкий тайный завод, а главное — арсенал, взлетел на воздух в самый выгодный для нас и самый неудачный для немцев момент? Фашистская танковая армада была в результате обезоружена, лишена горючего. Стала вмиг беспомощной, ненужной. Если бы те, кто совершил взрыв, действовали по приказу, их имена были бы известны. Но штабы наши понятия о секретной зоне не имели до той поры, пока не пришли сдаваться в плен генерал фон Принцлау и его танкисты. Так кто же и как совершил подлинный подвиг? Спас, помимо всего, сотни жизней. Не только товарищей по оружию, но и, теперь это ясно, немцев тоже?

Советские пленные, работавшие под землей, пожертвовали своей жизнью во имя победы, — полагал член Военного Совета. Он сидел сейчас рядом с командующим и просматривал документы на представление к наградам и отличиям. К самым высоким, находившимся в ведении фронта. Ведь дело совершенно было такое, какие и за всю-то войну случались нечасто. Конечно же, обстановка сейчас для немцев неблагоприятна крайне: солдаты и офицеры деморализованы, предчувствуют кончину фашизма. Фронт и тыл у противника расстроены. Но, если отвлечься: арtpолк предотвратил танковый удар с тыла по корпусной колонне, взял огромное число бронетехники, пленных во главе с видным генералом. Эх, жаль, сам командир полка оплошал — повел колонну тылами вперед. Его счастье, что у танков снаряды были на исходе, да и недосуг было немцам выязываться в бой, как говорится, местного значения. Они к арсеналу спешили. Потому-то и обошлось для полка без тяжелых последствий. Потому и особисты, возможно, окажутся снисходительней, чем обычно. Однако проступок есть проступок. Что ж, одной рукой наградить его, другой — наказать? Как в романтических рассказах? Гм...

Ну а начальник штаба? Документацию представил отличную. Грамотно, четко, ясно. Схемы — залюбуешься. Да и действовал вроде бы неплохо, хотя лично о себе — нигде ни слова. Но видно же: разведка-то в его ведении и позиции для полка занял (командир в ту пору уже выбыл) в самом для нас выгодном месте. Сунулись бы танки (не случись взрыва, конечно) — им бы так легко к корпусной колонне не прорваться. Ну и, конечно, пленные во главе с генералом, и трофеи, каких видеть не доводилось.

Лобаш... Лобаш...

Жестом подозвал он адъютанта и велел запросить и представить личное дело начальника штаба арtpолка.

А майор Лобаш давненько научился ценить каждый короткий час безмятежного пребывания вдали от передовой. Только что принял он, едва ли не впервые за все четыре года, самую настоящую ванну. Блаженствовал в теплой мыльной воде, разглядывая стены, отделанные розовой плиткой, и в совершенно солдатском восхищении ругнулся, разглядывая на потолке изображение томной полнотелой Леды и похотливого лебедя. «Вот-те буржуи, мать иху!..»

На свежих простынях, в шелковом белье отдыхал он теперь в гостинной на широченной софе.

— Семен! — кликнул он писаря Маца. Тот, слышно было, развлекал в соседней комнате анекдотцами и стишками Зину, штабную болезненно пухлую машинистку. — Как там у вас с обедом?

Писарь умолк, но ойкнула Зина:

— Ох и дурень ты, Мац! У меня же сын почти такой же.

Мац возник на пороге с самым невинным выражением на веснушчатой физиономии.

— Бакиров узбекский плов затеял, — сообщил он и облизнулся. — Вы представляете, товарищ майор, что это за объедение? — И заключил, по-пушкински отставив ножку: — На всей земле не хватит слов, чтоб рассказать, что значит — плов!

— Кончай ты, рифмоплет, — благодушно бросил ему Лобаш и потянулся. — Вон Зину корми своими стихами, а тут жрать охота невыносимо.

— Бакиров сказал, плов «доходит». Все должно дойти, должно быть доведено до нужной точки, товарищ майор. И плов, и женщина.

— Болтаешь ты, Мац, много. Почитать чего-нибудь не найдется? А нет — сбегай к моему «виллису». Там под сиденьем «Агасфер». Толстый томик такой: Давай побыстрей двигай.

Идти к машине Мацу очень не хотелось, и он тут же вернулся с тетрадкой в серой картонной обложке.

— Может, вам тоже интересно будет посмотреть, товарищ майор? Это собрание сочинений того младшего, что как раз перед мостом пропал куда-то. Помните? Мне ефрейтор Желудяк ее передал. Лежала, говорит, тетрадка в вещмешке, под запасными портянками.

Нехотя взял Лобаш тетрадку.

— А за книгой ты все-таки сбегаешь, — сказал он Мацу, разгадав его нехитрую игру, и, заранее усмехаясь, начал листать. Снисходительно, впрочем.

Страницы были покрыты строками, написанными небрежно, подчас вкось. Так пишут только для себя, зная, что ни один чужой глаз на откровения твоей души не взглянет. Поначалу Лобаш испытывал нечто похожее на неловкость и хотел уже отложить тетрадку, тем паче, что стихи казались подражательными, неуклюжими. Но все-таки что-то задело душу. Он спохватился, что перечитывает уже вслух:

Пинтов уйма различного роста,  
Влюбленной чуши городят немало,  
И я бы тоже сказал просто,  
Когда бы слов человечьих хватало.  
И может быть, что весенней порою  
И мной были бы песни обычные спеты,  
Когда была б ты тоже такою,  
К каким обращают слова-пустоцветы.  
Это — тебе, и только одна ты,  
Одна лишь презрительным взглядом не смеришь.  
Хихикают? Пусть. Ума палаты...  
А ты поймешь, а ты мне поверишь.  
Изменят, обманут, и будет несчастен  
Влюбленный Ромео, на смерть идущий,  
Взъяренный Отелло, смерть несущий.  
А я один, а я непричастен  
К вашей любовной кофейной гуще.  
Пусть буду несчастен, но все же не каюсь я,  
Что, душу измерив своей только мерою,  
Тебе, как кумиру, одной поклонюсь я,  
Тебе лишь молюсь и в тебя, только верую.  
  
И пусть грозит проклятьями ветер,  
Пускай дежурит тьма у порога, —  
Я буду только один на свете —  
Последний жрец, последнего бога...

Вверху стояло, как водится, и посвящение: «Г. Г.»

— Мац! — Лобаш, как был в белье, вдруг сел на постели: — Ты похоронку его родным уже отправил? Что с того, что Волченогова мертвым нашли? А если этот возникнет?

Но он знал: из небытия не возвращаются.

Похоже, делая уже военную, а не филологическую карьеру, Лобаш сам себе навредил. Достоинства, как это иногда бывает, стали тормозом в восхождении.

Составленные Лобашем документы, особенно же — оперативные донесения и сводки с приложением цветных оперативных схем, производили в вышестоящих штабах впечатление наилучшее. Нередко его ставили в пример даже тем штабным;

кто был куда выше рангом. Однако это умение (и старание к тому же) создало Лобашу прочную репутацию работника исключительно штабного. А ведь известно, что по этой линии подниматься куда труднее, чем по строевой.

Четыре командира полка сменились при Лобаше (Гуща был уже пятым), причем двое ушли по ранению, один был убит на наблюдательном пункте, когда подменил командира дивизиона, а вот начальник штаба их артполка, пятидесятилетний подполковник, занимал прочно свой пост, от самой Москвы начиная. Потому и Лобаш застрял в должности его первого помощника и в звании капитана. Несчастье помогло: как раз на Варшавском плацдарме геморроидальное кровотечение обострилось у подполковника настолько, что его вынуждены были комиссовать и отправить далеко в тылы. Лобаш получил очередное звание и занял возделенную должность, хотя дошло и до него окольными путями, что генерал — командир корпуса — был против назначения. Шевелилась и догадка о причинах. Помнилось, как еще в Прибалтике, проверяя боевые порядки полка, генерал, как-то непонятно хохотнув, бросил через плечо тогдашнему командиру полка:

— Твоего Лобаша куда-нибудь бы в академию преподавателем. Уж он бы научил там полковников, как перед начальством отчитываться...

Будто похвалил и даже фамилию запомнил, однако осмотром боевых позиций уже наяву генерал остался недоволен. Повторял, и все, разумеется, понимали к чему:

— Гладко, гладко на бумаге, да забыли про овраги.

Лобаш, как каждый, мог бы сказать и в собственную защиту кое-что, но не посмел. Не решился сердить генерала. А вот Гуща даже дерзости себе позволял — и ничего: тот же генерал явно благоволил к нему.

Под приснопамятным Рогачевым, где немецкие танки смяли наше окружение, комкор, когда уже все стихло, стремительно переходил от одной разгромленной позиции к другой, упрекая зло и однообразно:

— Лопухи вы, а не артиллеристы! В пехоту вас всех. Трехлинейку в руки — на большее не годитесь.

Злость и досада его были понятны: осажденный немецкий гарнизон вышел из окружения почти без потерь, и сам верховный выразил недовольство. Под горячую руку попался генералу и Гуща, в ту пору — командир дивизиона. Гуща хлопотал около пушки, покореженной и опрокинутой вверх тормашками. Рыхловатому взводному и немногим оставшимся целым солдатам никак не удавалось поставить орудие на колеса.

— Да вы ломы не под станины, а под казенник подведите. Вот так! — Гуща и кричал, и сам действовал ломом. К генералу он лишь обернулся, но лом из рук не выпускал.

— Вахлаки! Ни единого танка не сожгли, не подбили. Почему?

Гуща отряхнул, наконец, руки и встал перед генералом весьма свободно. Ему бы, как гласит армейский опыт, лучше бы промолчать, и генерал с тем же, не требующим ответа вопросом ушел бы к другим. Но Гуща вспылал:

— Вам бы, товарищ генерал, не у нас спрашивать об этом, а у своих штабных. Это же они приказали направить стволы не на фронт, а на город. Оттуда никто и не думал вырваться, зато в жопу нам (так и сказал!) танки ударили с фронта. А почему разведка даже понятия не имела, что на этом участке немцы танки сосредоточили? На какой хрен, спрашивается, такая разведка нужна?

Свита за генеральской спиной оцепенела. Командир полка исподтишка показал Гуще кулак. Генерал осадил Гущу, но едва ли не смущенно:

— Ну, ну. На верха не забирайся. С ними есть кому разбираться.

Даже, кажется, не возмутился явной непочтительностью подчиненного, только что вышедшего живым (чудом, понятно было всем) из неравного боя. Зато выхватил из кучки сопровождающих требовательным взглядом полковника с непроницаемым, будто из кости выточенным лицом. Обвисшие щеки генерала побавровели.

— Я все объясню вам, товарищ генерал, — спокойно произнес полковник.

— Не требуется! — бросил, уже не глядя на него, генерал. — Вот оно, объяснение. Налицо... — Меся сапогами грязь, подошел он к пушке и постучал рукой в перчатке по стволу, все еще направленному на город.

Все в полку восхищались тогда Гущей: мало что он не оробел перед самим командиром корпуса, так еще и показал, что мы тоже не лыком шиты — можем и в оперативной обстановке не хуже других разобраться. Так-то оно так, но все же не Гущу, а Лобаша вызывал полковник Чхиквадзе к себе в штаб, когда потребовалось составить объяснение для самой Ставки. Лобаш постарался: Ставка приняла все, со всем согласилась; даже проверка не была назначена! Довольный Чхиквадзе уже тогда хотел взять Лобаша своим помощником по оперативной работе, но чья-то сильная рука остановила. Лобаш догадывался, чья.

И не та же ли рука лишь в Польше, совсем недавно, благословила, наконец,

повышение Лобаша в звании. Примеряя майорские, уже с двумя просветами погоны, лишний раз подумал Лобаш (не утрачивая при этом, разумеется, юмора), как же все-таки мудро отмечены все в армии — от солдата до маршала — зримым свидетельством занимаемого положения. Вспомнилось кстати, что в России даже штатские чиновники разделены были на четырнадцать классовых рангов. Любой, и высший, и низший, лишь взглянув на человека, сразу понимал, с кем имеет он дело. Не зря, не зря...

Вот так же недоставало каких-то там «в петличках выпушек, погончиков» опальному профессору Лапшину, отправленному, хвала его звезде, не в Колымский край, а всего лишь в южный российский город — преподавать в университете, где и Лобаш пребывал перед войной аспирантом. Особенно недоставало, когда горячая возбужденная толпа футбольных болельщиков — и Лобаш с ними, — торопясь на стадион, зажала невзрачного с виду доктора филологии в набитом под завязку трамвае. Стиснутый со всех сторон, бедняга лишь воздух хватал по-рыбьи, поинтеллигентски не решаясь завопить во всю мочь. А иные из верзил, поигрывая плечами и боками, еще и пошучивали по-свойски:

— Ничо, дедок! Выжмем из тебя все лишнее, старуха крепче любить станет.

Знали бы они, что «дедок» и в самом Оксфорде известен. Но где там! Вот были бы наплечные знаки на Лапшине — зримое свидетельство его научного и общественного ранга.

Конечно же, Лобаш усмехался про себя, когда приходили в голову вот такие забавные мысли, однако тогда в переполненном трамвае испытал он истинную боль за немолодого человека, которого не уважают лишь потому, что не знают, кто он такой. Сам Лобаш в ту, теперь, на фронте, кажущуюся невероятно давней, пору перед Лапшиным благоговел. Перед многомудростью профессора, а паки — перед его не померкшим, невзирая на опалу, авторитетом в ученом мире. Правда, на помощь Лапшину он тогда в трамвае не кинулся (это только унизило бы профессора еще более), но отвернулся и ссутулился, чтоб не быть свидетелем унижения. Назавтра предстояла беседа с тем же Лапшиным о собственной его, Лобаша, диссертации.

Сложность состояла в том, что, еще будучи студентом, наткнулся Лобаш на изыятые жандармерией лет этак шестьдесят назад стихотворения никому не известного донныне поэта из «Народной воли». Тот горемыка скончался двадцати трех лет от чахотки, так и не добравшись до назначенного ему места ссылки. Стихи, по чести говоря, были не выдающиеся, однако значимость открытия усугублялась личностью автора-революционера, и пусть народничество было решительно и своевременно осуждено самим Владимиром Ильичем, пиетет к заблуждавшимся, но проникнутым высокими и добрыми намерениями сподвижникам Александра Ульянова сохранялся. Этим и объяснялось едва ли не почтительное, о благожелательности уже не говоря, отношение кафедры к студенческим работам, а вскоре и к диссертационной теме Лобаша.

Времена, однако, менялись и стремительно, и круто. Многие ученые мужи были выброшены на этих поворотах с кафедры. Штаты зияли многочисленными дырами вакансий, даже профессорских, следовало торопиться, и тут нужна была бы диссертация куда более актуальная, нежели скромное стихотворчество народо-вольца, угасшего до поры. Попросту говоря, что-то такое, что можно было бы хоть как-то привязать к личности вождя. Понимал это и завкафедрой, что, увы, не спасло беднягу. Все же перед самым исчезновением своим подарил он своему любимцу Лобашу отличную тему в духе эпохи: «Листовки периода гражданской войны как жанр публицистики (На опыте прокламаций и печатных обращений Царицынского агитпропа, г. 1919)». Назначенный новым научным руководителем к Лобашу профессор Лапшин в парусиновой толстовке сопоставил обе темы, угрюмо потупился и произнес, на Лобаша не глядя:

— Понимаю, молодой человек: вам нужна степень, и побыстрее. Однако вы могли бы собственную лепту в отечественную словесность внести, что удастся далеко не каждому диссертанту. Может, не будете бросать своего народника, а?

Лобаш был польщен, но и удивлен. Намного ли обогатится золотой фонд российской литературы, если присовокупить к нему еще и полторы дюжины стихотворений, которые вряд ли кто-то, кроме официальных оппонентов, когда-нибудь прочитает?

— В них — душа поколения смертников. Пусть — грань, штришок. Но и он для портрета куда как важен, — откликнулся, засветившись на миг, Лапшин. И пояснил, почувствовав необходимость: — Позволю себе заметить, что среди тысяч полотен Третьяковской галереи один-единственный пейзаж размером сорок на шестьдесят, принадлежащий кисти далеко не знаменитого Аристарха Перевощикова, все-таки не потеряя — ни для живописи, ни для глаз людских, умеющих замечать и ценить.

Аристарх Перевощиков... Так ли? Может, фамилия забылась, но какая разница?

Главное, задал задачу старик. И все-таки, лютую тоску подчас преодолевая, занялся Лобаш теми листовками. Утешало, что появилась возможность обильно нашпиговать текст высказываниями Самого, что куда трудней было сделать, исследуя творчество многострадального народника, хотя и там с помощью своего предыдущего шефа сочинил Лобаш обширную вводную главу со множеством ссылок на корифея.

Он был уже на пороге защиты, когда началась война и повела аспиранта-филолога совсем иным путем, грубым и четким, но зато позволяющим каждую минуту ощущать свою нужность — подчиненным, великому всеобщему делу. И свою власть — над людьми, обстоятельствами. И собственное будущее провидеть ясно. Пусть не генерал, однако полковник — несомненно. И в возрасте чуть за тридцать. А там можно и к литературе вернуться, но уже не аспирантишкой, заискивающим неволью перед китами, а стоя прочно на своих двоих, обутом в казенные, отлично го шевра, сапоги.

...Телефонист поднес к софе аппарат. Лобаш узнал голос Чхиквадзе. Размеренный, негромкий. Полковник будто дарил каждым произнесенным словом:

— Послушай, Лобаш, французский коньяк у тебя еще не скис? Что такое? Личное дело твое затребовано, и знаешь куда? Ко второму. Ты понял? Туда впустую не требуют.

Конечно же, Лобаш догадался, но сразу не поверилось даже.

— Какие сомнения, товарищ полковник! — воскликнул он, наверное, чересчур радостно. — За мной коньяк, за мной.

— Чудак ты, — полковник словно упрекнул, а закончил совсем сухо: — Вся армия знает, что Чхиквадзе в рот не берет. Для красного словца сказал, а ты уже сразу думаешь — в самом деле.

#### ВМЕСТО ЭПИЛОГА

«Военному дознавателю...

младшего сержанта с/ с Геращенко Любови Савельевны

Объяснительная записка.

...Что же касается сгоревшего офицерского кителя, то могу сообщить, что в карманы я не залазила. Только повесила сушить, потому что был мокрый насквозь. А что упал в огонь, так я тут ни при чем. От ветру упал»...

Люба писала объяснительную, накинув телогрейку на голые плечи и грудь. Уполномоченный блаженствовал в ее постели, курил, пуская дым затейливыми колечками. Жесткие волосы его рассыпались. О бриолине (коробочка с этим немецким кремом по-прежнему хранилась у нее в тумбочке) Люба ему так и не сказала. Душа противилась.

Лютеранская епархия города Брауншвейга  
Герру Алоизу Кюну, пастору

Ваше преподобие!

Я пишу вам из Котбуса. Именно так. Вновь судьба привела меня в убогий Лужицкий край. Два года пробыл я в плену. Тянулись они сотне лет под стать, однако правда и то, что большевики оказались к пленным куда гуманней, нежели мы, немцы гитлеровской поры. К тому же согласитесь, что два года даже в холоде и сырости, даже на скудном рационе — ничтожное наказание за то, что свершили мы с русскими, с их страной, землей, народом. К слову, к собственным беднягам, попавшим в разное время в германский плен, а ныне, казалось бы, уже освобожденным, Сталин отнесся куда как суровей. В том же диком мордовском лесу, неподалеку от нашего лагеря пребывают до сих пор за колючей проволокой и еще долго будут пребывать те, кого квалифицируют как предателей. По большевистским нормам, попасть в плен — значит изменить Родине.

Надеюсь при встрече, если вам это будет интересно, поведать обстоятельней о житье в плену. Сейчас же хочу рассказать о другом, что вам, пожалуй, интересней. Итак. Пользуясь тем, что я теперь абсолютно свободен, я не удержался и добрался вчера из нашего пересыльного пункта в Котбусе до известной вам зоны. Все это время, даже в самые тяжкие дни в Мордовии, не выходила она из головы у меня. И вот все оказалось здесь таким же, каким я и представлял это сразу же после той жуткой катастрофы, когда, по вашему, достопочтенный пастор, уверенно господу угодно было трижды подряд оставить нас с вами в живых.

Так вот. На месте подземного завода и арсеналов обширное озеро, а точнее —

болото. Безжизненное, лишь по краям поросшее чахлыми серыми травами. Ржавая вода на нескольких квадратных километрах. Жилые дома, казармы развалились. Среди обрушившихся стен — горы кирпича и битого стекла. Стены кирпичи в огромных трещинах, а башня, — это и вы знаете, обвалилась. Однако (как тут не воскликнуть снова: «О, смерть, где твое жало? Ад! Где твоя победа?» жива, жива, оказывается, та сербская усадьба, что на пригорке. Всего в полутора километрах от вымершей зоны снова торжествует жизнь. Сербы подняли свой дом и все службы. Я видел и хозяина за плугом — а впряжены были сытые, не хуже довоенных кони, — и сестру в его доме. По старой памяти угостила она меня парным молоком, и показалось оно мне теперь нектаром. У ног сербки возится с примитивными игрушками малыш. Мучительно напоминает он мне кого-то. Какой-то осколок врезался в подсознание. Вспомнить — кого, я, конечно, не смог. Хозяйка эта, зовут ее Ханна, поведала об одной подробности, которая, пожалуй, явилась главной причиной моего письма. Всего лишь за час до страшного события забрел к ним в усадьбу странный человек из военнопленных. Полагаю по описанию, едва ли не тот, ради которого бросились вы так безрассудно в подземелье (благо, эсэсовский постовой еще пощадил вас). Тот человек был очень плох. Сказать определенной — умирал. Ртом шла непрерывно кровь. Ханна почему-то (подробностей она не сообщила, а я на них и не настаивал) покинула усадьбу вовремя и не пострадала от взрыва, но когда они с братом несколько дней спустя вернулись, и дом, порядком пострадавшей, и двор были пусты.

«Никак не мог он уйти: его же ноги не носили», — настойчиво повторяла мне хозяйка, и в глазах ее стоял мистический ужас. Вот я и решил сообщить вам об этом чуде, ваше преподобие. Не знаю уж — к утешению или к вящей печали.

Да, еще одна, теперь уже попросту любопытная подробность. Ханна показала мне два написанных русскими буквами письмаца военной поры. Их забыл в сербском доме юноша-офицер. Он заглянул незадолго до взрыва. Где-то он покалечил ногу, и Ханна помогла ему, как уж там сумела.

И снова пытаюсь я извлечь из памяти какую-то занозу. Тогда у арсенала в жуткой суматохе (вы же помните, наверное: какой-то эсэсовец в панике убегает прочь, на нас с вами кидается увешанный наградами советский. Впоследствии, однако, был он встречен нашими танкистами, как свой, и для меня так и осталось загадкой, кто же это был? А вот на второго эсэсовца, — я и фамилию его помню, — Грандке, — кинулся с поднятой рукой какой-то совсем еще мальчишка, к тому же хромой, кажется. Я и теперь словно вижу, как странно подпрыгивает он, что-то по птичьей крича. Так не он ли, пожертвовав собою, и арсенал взорвал? И не его ли письма хранит Ханна, как драгоценную реликвию, и это тоже говорит о чем-то, если, кстати, вспомнить забавно лепечущего малыша?

Впрочем, не будем мучить себя загадками. Вечный покой ушедшим, и да будут благословенны все, кто остался жить и родился заново после кошмара войны. Надеюсь искренне — последней, коли человечество все-таки поуменьло хоть чуть-чуть.

С неизменным почтением.

Д-р Карл Рединг.

### Уведомление почтового управления г. Брауншвейга

Настоящее отправление передано врачебному совету психиатрической клиники в городе Лерте для прочтения пациенту Алоизу Кюну, находящемуся там на излечении.

### ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА В ОТСТАВКЕ ГОЛЫБИНА А. С.

...Как тут не вспомнить, что как раз третьего апреля два наших штурмовика догоняли свою эскадрилью, которая бомбила скопление противника на станции Котбус. И вот по пути к этому объекту, уже почти на подходе к Котбусу, оба летчика заметили отдельно стоящую цистерну. Им бы подумать: раз железнодорожная цистерна, значит, стоит она на рельсах! А на картах-то никакой железнодорожной колеи в этом квадрате не имеется! Так нет: обстреляли, цистерна вспыхнула, а они, довольные, полетели дальше. Более того: эпизод этот показался им настолько малозначительным, что они даже начальству о нем не доложили. Вот в результате этой и других подобных небрежностей, допущенных уже армейской разведкой, наши штабы по-прежнему не знали, не ведали о том, что в квадрате этом расположено тщательно укрытое под землей предприятие по производству боеприпасов,

в том числе — фаустпатронов и новейших фашистских ракет «Фау-2». Правда, генерал Вернер фон Принцлау в своих недавно опубликованных в Западной Германии воспоминаниях последний факт насчет «Фау-2» не подтвердил. Так или иначе, но снарядов для танков на арсеналах, спрятанных под землей, было предостаточно.

Но это еще не все. Уже впоследствии выяснилось, что в штабе одной из дивизий, входивших в состав вверенного мне корпуса, имелось донесение из подчиненного артполка. Когда весь корпус застрял на длительное время у переправы перед городом Шпрембергом, о чем я уже рассказывал, этот артполк, единственный, сумел воспользоваться какой-то никому не известной дорогой и мостом и переправился к селению Бад-Мускау. Беда в том, что донесение это прибыло в дивизию слишком поздно — в то время, когда по колонне артполка уже ударила немецкая танковая бригада генерала фон Принцлау. Можно считать все же подарком фронтовой судьбы, что полк этот под командованием майора Гуци оказался на пути у немецкого танкового соединения. Даже если бы танкистам удалось заpastись снарядами и горючим, чего, к счастью, не произошло, против них был уже создан своевременно заслон на очень тактически выгодном рубеже. Но наибольшей удачей следует, конечно, считать взрыв подземного предприятия и арсеналов. Оставшись без боеприпасов, не имея возможности передвигаться на своих машинах, танкисты под командованием генерала фон Принцлау в полном составе сдались в плен.

Наша признательность — героям, взорвавшим арсеналы. Кто они? Есть предположение, что это пожертвовали своей жизнью пленные, работавшие под землей. Менее вероятно, но не исключено, что эсэсовская охрана, оставленная на складах, повела себя неосторожно. Так или иначе, но взрыв, равного которому мне не приходилось наблюдать за все четыре года войны, произошел. По силе я могу сравнить его лишь со взрывом нашей первой атомной бомбы на полигоне в заволжских степях, свидетелем которого я был тоже. Но это, как известно, случилось уже в мирное время.

Записано автором в мае 1975 года на межреспубликанском патриотическом сборе молодежи под девизом: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».



Сарвар Азимов

## ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ

Узбекистан,  
живи,  
цвети  
всегда!  
Да не останется в душе  
от прошлых бедствий  
и следа!

Хамид Алимджан

Революционный процесс социального и духовного обновления советского общества пробудил живой интерес людей к историческому прошлому, культуре, охране и реставрации памятников древнего зодчества, более активному их использованию в нравственном воспитании подрастающего поколения. Наглядным свидетельством тому служат участвовавшие за последнее время публикации в центральной и республиканской печати, радио- и телепередачи. В них словно слышится крик души, молящий зов о немедленном спасении погибающих корней культуры народа.

Нужно честно признать: мы оказались не очень благодарными наследниками доставшегося нам огромного богатства. Наверное, наша многострадальная земля, да и не только наша, за всю историю опустошительных нашествий иноземных захватчиков, включая орды Чингизхана, землетрясения и другие стихийные бедствия, не потеряла столько памятников старины, национальных реликвий, сколько в период господства сталинизма, когда память народа уничтожалась ради расширения посевных площадей или была брошена на произвол судьбы, растаскивалась по кирпичику, получив наименование «вредоносных культовых сооружений».

И очнуться после такой яростной травли, такого страшного удара по культурному наследию было нелегко. Как отмечалось в одном из документов Президиума Верховного Совета УзССР («Правда Востока» от 26.5.1988 г.), «с начала пятидесятих годов уничтожено не менее 20 тысяч памятников, в Каракалпакской АССР из 400 памятников уничтожено более трети». Очаг древней цивилизации — Ферганская долина —

почти лишился своей истории. Там чудом уцелела лишь треть исторических сооружений. Остальные снесены бульдозерами, и на месте древних памятников ныне выращивается хлопок. Значительную часть исторического наследия, национального достояния народа мы потеряли навсегда. Вот почему столь справедливо требование остановить наконец этот глубоко безнравственный процесс уничтожения национального богатства, чудом сохранившегося до наших дней!

В шестидесятые годы волна разрушений памятников, к счастью, пошла на убыль. За последние годы четко обозначилась тенденция к сбережению нашего историко-культурного достояния. Подняты из руин и почти отреставрированы знаменитые памятники древности в исторической части городов Бухары, Самарканда, Хивы. Возрождаются и другие ценнейшие памятники истории и культуры в Узбекистане.

Так почему и чем мы еще недовольны? Правильно ли требовать немедленного централизованного финансирования широкомасштабных реставрационных работ по спасению памятников при наличии массы других острых социально-экономических проблем?

Сам я постоянно задавался этим вопросом и тешил себя надеждами, что все изменится к лучшему. Но вот недавно посетил Термез. И еще раз воочию увидел современные проявления невежества, осквернение памятников или, в лучшем случае, — полное равнодушие к ним.

Приведу несколько фактов. О драматической истории Старого Термеза знают не только специалисты. Выдержав нашествия македонских,

арабских и монгольских завоевателей, междоусобия местных правителей, городище сохранилось до наших дней. В настоящее время используют его как загоны для скота, мусорную свалку. Часть буддийского храмово-монастырского комплекса Фаяз-Тепа ныне — скотный двор, рядом — бахча. В части городища Старый Термез — пещаный карьер. Бывшая столица Чаганиана Будрак, городища Дальверзин-Тепа, Айртман, Джаркутан, Халчаян-Тепа, Шуроб-курган напоминают кладбище памятников, находятся на грани разрушения и полного исчезновения.

В Термезе есть мавзолей известного в исламском мире ученого-теолога, основателя суфийско-дервишского ордена Хакими — Абу Абдулы Мухаммеда аль-Хакими-Термизи, причисленного после смерти к лику святых. Этот памятник — древнейший из известных в Средней Азии ханака — обитель суфиев IX века. Правящие династии саманидов, караханидов, тимуридов, хорезмшахов не жалели средств на его реставрацию и благоустройство. По архитектурным и художественным достоинствам ансамбль Султан-Саодат и его окружение представляют собой редкостное сочетание памятников разных эпох, дополняют архитектурные ансамбли Бухары, Самарканды, Хивы. Это — живое свидетельство уровня строительной культуры и зодчества Средней Азии в I—XVII веках н. э.

В шестидесятые годы была начата реставрация этих памятников, но сейчас восстановительные работы прекращены. Под воздействием времени, жары и осадков, стихийных бедствий, бездумных действий людей память народа постепенно ветшает, приобретает неприглядный вид, разрушается.

Такие же картины можно наблюдать в любом районе Узбекистана. В Кашкадарье — это Шулюк-Тепа — древний Несеф, Еркурган — столица Согдианы в античный период, городища Шахрисабз, Олтин-Тепа, полностью разрушенный Узункир, уникальная природная пещера Амир-Темир со сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями. В Самаркандской области — знаменитые городища Афрасиаб, Джартепа, Чимбайтепа. В Наманганской — городище Ахсикент, Пап (там построен завод стройматериалов), Чуст. В Ферганской — городище Кува, Актамский и Суфанский могильники. В Бухарской области — Пайкенд, Варахша, в Хорезме — Топрак-кала, городища Хазарасп и Ваянган, резиденция Кырккыз. В Ташкенте — Бинкет, архитектурный ансамбль Хазрати Имам, мавзолей шейха Ховенди Тахура (Шейхантаур), Зайнулдина Бобо, медресе Кукельдаш, мечеть Джами, в Ташкентской области — Чиназтепа, Тешик-Тепа, Улкан Тойтепа, Учтепа, городища Канка, исчезнувший Мингурюк... Значительная часть из названных памятников — это бесценное наследие старины, которым веками гордился наш народ.

Можно было бы не бить тревогу, если бы такой не была картина по всей республике. А сколько утеряно навсегда? Сколько еще поруганных памятников, напоминающих о позорных страницах недавнего прошлого! Да и сегодня историю продолжают распахивать, использовать под кирпичные заводы, песчаные карьеры, растаскивать по кирпичику. Мы продолжаем уничтожать биографию родного края. На этом фоне прибитые к воротам, стенам развалин таблички «Охраняется государством» выглядят не иначе, как насмешкой.

Полагаю, что так могут поступать лишь те, кто начисто лишен чувства уважения к культуре,

добрым традициям своего народа, те, кто не помнит и не признает своих корней, родства. Не связано ли все это с упадком духовного и нравственного уровня общества? И можно ли считать человека, глубоко безразличного к историко-культурному наследию своего народа, полноценным?

Нельзя не коснуться и такого явления, как передача культовых сооружений в аренду под рестораны, дискотеки и т. п. Разве можно расценивать это иначе, как надругательство над вековыми национальными традициями, оскорбление чувств верующих, которые издревле входили в мечети с благоговением, после омовения, разуваясь при входе? Неуважительное отношение к святыням старшего поколения, верующих — не в этом ли корни той бездуховности, распущенности, жестокости, которые все больше беспокоят наше общество?

Обращают на себя внимание также скопища ветхих домишек, грязь, зловонные мусорные свалки вокруг памятников.

Когда все это видишь собственными глазами, невольно приходишь к выводу, что уничтожение памятников старины не случайность, а результат привитого обществу в период сталинизма пренебрежительного отношения к национальным святыням. Лишь этим можно объяснить действия отдельных местных руководителей, которые ради решения сиюминутных хозяйственных и ведомственных задач уничтожают уникальные сокровища древности.

Тревогу вызывает то, что равнодушные, нелюбовь к истории и культуре родного края передаются и подрастающему поколению.

В настоящее время средства направляются преимущественно на реставрацию наиболее ценных памятников. Однако пора понять, что для сбережения истории родного края важно сохранить не только жемчужины первой величины, но и те, которые внешне, может быть, менее примечательны, однако также являют собой историческую, архитектурную и культурную ценность.

Урбанизм нещадно наступает и на восстановленные с огромным трудом, известные всему миру уникальные памятники. В частности, городу-заповеднику мирового значения Хиве угрожает смертью Ташаузский канал, проложенный через Каракумскую пустыню без гидроизоляции покрытия. Меня в данный момент тревожит не столько то, какой объем воды будет поглощен песками на всем протяжении водной артерии, каковы потери влаги, — не об этом сейчас речь, но вот какова будет судьба сказочной Хивы, мужественных жителей Приаралья?

Хива построена на песчанике, и уровень ее земель на 9—10 метров ниже дна Ташаузского канала. На протяжении веков песчаник нормальной влажности использовался в градостроительстве Хорезма в качестве фундаментов. Как поведет себя песчаник в условиях неизбежного повышения уровня грунтовых вод, которые, как известно, прокладывают себе путь, смывая мелкие пески, а затем и устойчивые слои почвы? В случае подтопления, заболачивания местности невозможно предотвратить проседание стен, образование трещин в зданиях, построенных на песчанике. И тогда сколько времени продержатся величественные дворцы, мечети, минареты знаменитой Ичанкалы, неповторимое зодчество древнего Хорезма, совершенство законченных композиций восточной архитектуры, недавно представленных для внесения в список «Жемчужин планеты» ЮНЕСКО? Год, два, а может, три...

И вообще, насколько оправдано строительство Ташаузского канала в нынешнем виде? Как могли допустить повторения в нем почти тех же ошибок и недочетов, которые имели место при строительстве Каракумского канала? И до каких пор мы еще будем рассуждать о бесхозяйственном, расточительном отношении к водным ресурсам, дефицит которых в Средней Азии стал уже давно притчей во языцех?

Наверное, удивляться тут нечему. Уже накоплен богатый опыт превращения иссушенных песчаных оазисов пустыни в болота. Сколько болот, соленых озер и солончак образовалось вдоль тысячекилометровой Каракумского канала, лучше других знают в Туркмении. Я могу лишь вкратце описать увиденное мною года два назад. В некогда процветающем Мервском оазисе, Теджене продолжается процесс вторичного засоления почвы и захирения хлопка. В результате подъема грунтовых вод мервские городища густо поросли камышом. Гибель исторического наследия стала неотвратимой. Теперь в качестве «полигона» для мелиоративно-хозяйственных экспериментов избран экологически неблагоприятный регион, где расположена сокровищница мировой архитектуры — Хива.

Не нужно быть ясновидцем, чтобы предсказать, чем все это завершится. Ведь народная мудрость гласит: бойся стихий воды и огня. Убежден, в случае сдачи Ташаузского канала в эксплуатацию в нынешнем его виде, с низким техническим уровнем строительства, отсталой системой водопользования во вновь осваиваемых песчаных землях, запрограммированным бездумным расходом водных ресурсов, мы придем к настоящей катастрофе. Даже такие экстренные мелиоративные меры, как закрытая дренажная система, канал вокруг Хивы, отвод подпочвенных вод в мелиоративную сеть, не смогут предотвратить постепенного разрушения города-заповедника!

Как сложится горькая судьба Аральского моря, уровень которого понизился уже, как известно, на 14 метров, объем воды — на 65 процентов, площадь акватории сократилась на 40 процентов и береговая линия отступила на 60—80 километров? «Уже существует фактически новая пустыня на том месте, где шумели волны», — пишет народный писатель Каракалпакки Тулепберген Каипбергенов «Правда Востока» от 28 января с. г., — она успела проглотить два миллиона гектаров прежних пахотных земель».

Приаралье уже давно считается зоной экологической катастрофы. Больны люди, которым приходится пить отравленную пестицидами воду, принимать пищу с высокой концентрацией ядохимикатов. Новое расширение площади орошаемых земель и увеличение объема используемых водных ресурсов при несовершенстве водопользования еще больше сократит поступление воды в Арал, усугубит его и без того критическое положение. В случае гибели Арала — каковы будут климатические последствия? Кто захочет жить в Приаралье, да и сможет ли кто-либо там выжить? Ведь высохшие участки Арала уже стали мощным очагом соленакопления и рождения пылевых бурь! От перенасыщения почвы минеральными удобрениями орошаемые земли стали носителями отравы. Все это может вызвать отклонения и в биологическом, и в генетическом состоянии людей!

Законы природы имеют коварные свойства. Арал гибнет, и погибнет он не просто. Он станет крупнейшим центром распространения эпиде-

мий заразных болезней не только в среднеазиатском регионе. Гибель Арала чревата серьезнейшими экологическими и экономическими последствиями. Чтобы убедиться в этом, особых знаний не требуется. Уже начальные проявления экологической катастрофы привели к массовым заболеваниям жителей Приаралья.

Как сложится их судьба в будущем?

Как бы не пришлось расплачиваться за пренебрежение законами природы не только нам, но и многим поколениям наших потомков!

Убежден, если в полной мере не будут реализованы директивные установки ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятые в сентябре 1988 г., по отдаче водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи на нужды речных дельт и моря, неизбежно наступит день, когда солепылевые бури накроют не только Приаралье, но и Ашхабад, Ташкент... весь среднеазиатский регион, другие районы страны.

Если не приостановить этот безнравственный процесс, принимаемые ныне природоохранные меры окажутся не более чем сизифовым трудом, который уже обошелся государству в кругленькую сумму.

Есть ли логика в том, что мы, потратив огромные средства, усилия, время на освоение новых площадей в пустыне, тратим более плодородные земли в издревле обжитых районах? Оказывая экстренную помощь жителям Приаралья в снабжении питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, мы продолжаем равнодушно взирать на строительство Ташаузского канала, прекрасно зная, что он представляет собой серьезную угрозу существования Хивы, ухудшает мелиоративное состояние земель ряда районов Хорезмской области, Каракалпакской АССР и, в конце концов, нанесет последний, смертельный удар по Аралу.

Неужели до сих пор правая рука не ведает, что делает левая?

Похоже, во имя осуществления дорогостоящего и безнравственного проекта безответственных авторов и их покровителей мы упорно игнорируем серьезнейшую угрозу самой жизни в Приаралье.

Грош нам цена, если мы сегодня, на пятом году перестройки, не перестроились, на нашли рационального подхода к охране окружающей среды, не можем предотвратить гибель архитектурной жемчужины мира, защитить Арал и жителей Приаралья.

Каково мнение комитета по спасению Арала по данной проблеме, и почему он молчит? Что скажет Центр по Аральскому морю и вновь создаваемая постоянно действующая правительственная комиссия по экологической проблеме Арала?

В конце января с. г. между Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и СССР подписано соглашение о совместных мерах по восстановлению природной среды бассейна Аральского моря. И Арал, и Хива являются поводом для тревоги как Советского государства, так и ЮНЕП, ЮНЕСКО. За сохранность Хивы, спасение Арала мы несем ответственность не только перед советским народом, но и перед всем человечеством.

Я не против строительства новых каналов, я против расточительного отношения к водным и земельным ресурсам, бесценному историческому наследию, против растраниживания культурных и природных богатств, гибели Арала, пренебрежения интересами трехмиллионного населения Приаралья.

Я присоединяю свой голос к тем, кто призывает Верховный Совет СССР, Президента М. С. Горбачева объявить Приаралье зоной бедствия, решить проблему на основе проектов «Сибарал», «Каспарал» или любого, им равноценного... Предлагаю разработать хозрасчетный механизм, стимулирующий водосберегательные мероприятия в республиках Средней Азии и ввести Ташаузский канал в эксплуатацию, коль уж он построен, лишь после того, как его дно будет забетонировано и покрыто гидроизоляционной пленкой, а во вновь освоенных землях будет внедрена капельная система орошения.

## ЗАКОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!

Выше речь шла главным образом о бедственном положении памятников истории и культуры мирового, общесоюзного и республиканского значения. Очевидно, что среди всех сфер культуры дело охраны и реставрации памятников осуществляется преимущественно по остаточному принципу, и эта остаточность по существу определяет меру нашего внимания и ответственности за сохранность народного достояния. Поэтому многое из того, что сохранила земля на протяжении веков, ныне в результате равнодушия к истории и культуре нации, узковедомственного подхода, халатности оказалось перед угрозой гибели. Темпы реставрационных работ продолжают многократно отставать от процессов естественного старения, ветшания, разрушения исторических объектов.

При существующем положении вряд ли удастся сохранить даже то, что осталось. Нереально рассчитывать на бесконечное увеличение господаций на охрану и реставрацию памятников без обеспечения соответствующей отдачи. Однако нужно искать иной выход.

Много нареканий к организации реставрационных работ. Они поражены теми же болезнями, что и вся экономика: затратный, валовой механизм, алогичность норм и расценок, незаинтересованность специалистов в качестве и конечных результатах труда...

Мы знаем многих мастеров-реставраторов, знатоков и страстных пропагандистов разных архитектурных стилей и школ, декоративно-прикладного искусства древности. Большинство из них — патриоты с большой буквы. Сколько в них энтузиазма, бескорыстия! Продолжая лучшие традиции национального искусства, мастера-реставраторы по едва заметным приметам восстанавливают шедевры восточной архитектуры, живописи, дают им новую жизнь. Я умышленно не называю фамилии, чтобы нечаянно не обидеть не менее достойных похвалы. Но есть, к сожалению, среди реставраторов и такие горе-работники, которые гонят вал, делают, не поюбось этого слова, халтуру, по причине которой часть «отреставрированных» ими объектов через два-три года тускнеет и разрушается.

Можно, конечно, предьявить массу претензий к системе охраны и реставрации памятников, критиковать упущения управленческого аппарата. Оснований для этого более чем достаточно. А проблема между тем остается, порой даже усугубляется.

Так в чем же дело?

Как мне представляется, многие проблемы порождены самим Законом Узбекской ССР об охране и использовании памятников истории

и культуры от 21 декабря 1977 г. Он во многом непоследователен, юридически несовершенно и потому практически бездействует. В нем не предусмотрен единый механизм государственной охраны и использования памятников, привлечения к ответственности организаций и лиц за нарушения закона. Принимая закон, не позаботились о механизме реализации его основных положений.

Так, согласно статье 8 закона, в Узбекской ССР специально уполномоченными государственными органами охраны памятников истории и культуры являются Министерство культуры Узбекской ССР и его органы на местах. Указания этого министерства, согласно статье 12, «обязательны для министерств и ведомств, предприятий, учреждений, организаций, независимо от их ведомственной подчиненности, и для граждан». Но данный пункт закона не нашел своего отражения в положениях о соответствующих министерствах и ведомствах. Вероятно поэтому никто практически с ним не считается.

Далее, «Государственный контроль за охраной и использованием памятников истории и культуры осуществляется, согласно статье 12, Советами народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органами...» Но возникает вопрос: как они могут успешно реализовать эту функцию, если даже облсполкомы не имеют на то ни средств, ни ответственных исполнителей?

Вывод напрашивается однозначный: закон не отвечает своему главному предназначению — стать реальным гарантом охраны памятников. Поэтому многочисленные акты, протоколы инспекторов Министерства культуры УзССР о приостановлении работ, создающих опасность для сохранности памятников древности, о привлечении виновных к ответственности за их порчу, разрушения правоохранительными органами и исполкомами оставляются зачастую без внимания. Что-то я не припомню, чтобы лица или организации, виновные в нарушении правил охраны памятников, были по-настоящему наказаны. Да и не могло такого быть. Ведь наказания, предусмотренные законом, по сути смехотворны. Вдуматься только, за надругательство над памятниками, их разрушение виновные должностные лица, согласно статье 44 закона, могут наказываться штрафом до 100 рублей, а граждане — до 50 рублей! И это о шедеврах, которым нет цены!

Иначе говоря, за сохранность памятников истории и культуры никто конкретно не отвечает. И тут, как говорится, комментарии излишни.

30 марта 1989 года было принято постановление № 125 Совета Министров УзССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Общества охраны памятников истории и культуры Узбекистана». Если это действительно документ, призванный регулировать деятельность Общества охраны памятников истории и культуры Узбекистана (ООП), то ему не хватает главного: конкретности, целенаправленности, четкого разграничения функций ООП и соответствующих подразделений Министерства культуры, исполкомов местных Советов. Ну а он в определенной мере узаконивает дублирование их работы обществом. Если это документ, определяющий политику в области охраны, использования и пропаганды историко-культурного наследия, то в нем недостает концептуального видения проблемы, слишком много досадных пропусков и недочетов.

В целом данное постановление лишено внутренней логики и потому производит впечатление слабо продуманного, келейно принятого документа. Тем не менее его появление даже в нынешнем виде свидетельствует о том, что хоть и робко, но решение проблемы сдвигается с мертвой точки.

Проследим за расходованием средств ООП в 1987 и 1988 годах соответственно. Так, истрчено 243,6 и 370,7 тыс. руб. — на реставрацию архитектурных памятников; 587,2 и 627,3 тыс. руб. — на содержание аппарата ООП и покрытие его хозяйственных нужд; 142,9 и 174,5 тыс. руб. — на пропаганду и прочие работы, которые во многом дублируют соответствующие мероприятия подразделений Министерства культуры УзССР. В 1987 г. на сооружение памятника «Освобожденная женщина Востока» волевым решением было затрачено 855,4 тыс. руб. А между тем эти средства были предназначены на спасение разрушающихся памятников старины!

Проще говоря, лишь один рубль из каждых трех, поступающих в распоряжение ООП, расходуется по прямому назначению, три четверти остальных — на содержание аппарата общества, количественный состав которого достиг 350 человек, что значительно превосходит численность ряда крупных министерств и ведомств. Между тем, в отделе охраны памятников ГлавНПУ памятников культуры числится всего 31 инспектор с окладом в 1,5—2 раза ниже, чем у инспекторов ООП. Просматривается и увлеченность ООП широковещательными разговорными кампаниями вокруг проблем охраны и реставрации памятников вместо практических шагов в сторону их решения.

Знает ли обо всем этом президиум правления ООП, в состав которого входят видные ученые, общественные деятели, руководители учреждений и предприятий? Какова цена пропагандистской деятельности Общества, если оно большую часть собранных средств тратит не на спасение находящихся на грани разрушения древних памятников, а на содержание своего раздутого аппарата? В свете изложенного не целесообразней ли правительству выделять целевым назначением дополнительно 370 тыс. руб. на реставрационные работы? Тем самым оно избежало бы накладных расходов на содержание сборщиков взносов, не вводило бы в заблуждение ни себя, ни финансовых доноров, особенно школьников. Ведь детей убеждают в том, что их копейки тратят прямым назначением на обеспечение сохранности памятников старины!

Нужно изменить существующую систему охраны и реставрации памятников, создать такой механизм экономических стимулов, который поставил бы в выгодное положение тех, кто серьезно заботится об охране, реставрации и эффективном использовании памятников истории и культуры, предоставляет возможность большому количеству людей для общения с историко-культурным наследием народа.

Необходимые предпосылки для этого имеются. В политическом аспекте — перестройка инициировала процесс возрождения национального достоинства, культурного возрождения республик и регионов. Мы поставлены перед необходимостью сделать собственный выбор, принимать самостоятельные решения. Нарастает и общественное самосознание, озабоченность низким уровнем культуры, духовного и нравственного воспитания.

Для принятия кардинальных решений нужно сформулировать широкий, принципиальный

взгляд на проблему, иметь его комплексную концепцию. По частям ее не решить. Предстоит развязать узел накопленных за десятилетия проблем, затрагивающих так или иначе честь и достоинство народа, родного края.

О проблемах и путях их решения надо говорить открыто, гласно. Народ должен знать о них и иметь ясное представление о трудностях, размерах госдотаций и добровольных взносов, принципах их распределения и формах общественного контроля над расходованием средств.

В обсуждении и выработке новой системы охраны, реставрации и использовании памятников истории и культуры должны принять участие музейные работники, краеведы, учителя школ, общественные организации и неформалы, широкий круг специалистов и ученых, которым в решении подобных вопросов принадлежал до сих пор лишь совещательный голос, а порой и вовсе никакой. Словом, должны участвовать все те, кого волнует судьба памятников древности, народного достояния.

Желательно, чтобы дискуссия велась тактично, предметно, так, чтобы даже принципиальные расхождения во взглядах не приводили к навешиванию ярлыков, грубым выпадам, обидам и оскорблениям отдельных групп и лиц, с чем, к сожалению, порой приходится сталкиваться.

Одна из причин бедственного положения памятников старины — их крайне слабое использование для нужд экономики. Поэтому они до сих пор приносят своим хозяевам, местным Советам, одни лишь неприятности, дополнительные заботы, а выгоды — практически никакой.

Парадоксально, но факт: советских и зарубежных туристов притягивают в Узбекистан прежде всего исторические и культурные достопримечательности. Однако большая часть средств, которые поступают за счет туризма, изымается в анонимные фонды. Хотя бы половина из этих средств по справедливости должна оставаться в распоряжении самих объектов и местных Советов, использоваться главным образом для развития туристской индустрии, восстановления историко-культурного наследия, чтобы оно приносило обществу еще больше пользы. А мы, лишая памятники «заработанных» ими же средств, губим их, практически рубим сук, на котором держится туризм.

Необходимо установить для зарубежных туристов плату за вход в исторические места от 2 до 10 долларов США, соответственно их категоричности, как это практикуется во многих странах мира. Вырученные средства от продажи билетов должны поступать в кассу объекта и исполкома местных Советов.

В настоящее время идет процесс возвращения Советам всей полноты власти. Однако они могут воспользоваться этой властью лишь тогда, когда будут иметь собственные источники финансирования, в том числе за счет поступлений от туризма в инвалюте, свободно распоряжаться средствами.

Одним из рычагов улучшения валютного положения республики может стать развитие туристской индустрии, превращение ее в высокорентабельную отрасль экономики. Успешно развивать туризм можно лишь в увязке с решением проблем охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры, музеев. Все это «хозяйство» нужно вмонтировать в ткань местной экономики — областной, городской, районной с тем, чтобы последние на законных основаниях могли получать все необходимое для развития туристской индустрии, для своего со-

циального развития. Лишь тогда туризм, а вместе с ним памятники старины, музеи станут любимым детищем исполкомов местных Советов всех уровней. И не только потому, что восстановленные памятники украсят их территории, добавят гордости, но и потому, что они через развитие туризма будут приносить доходы, которые пойдут на развитие как исторических зон, так и самих городов, населенных пунктов.

В таком случае у исполкомов местных Советов появится заинтересованность в реставрации, обеспечении сохранности памятников истории и культуры, в благоустройстве прилегающих территорий, в развитии сфер и услуг. Найдется немало предприятий, кооперативов, организаций, желающих финансировать развитие туристской индустрии, а значит — участвовать в деле сохранения памяти народной. Вместе с тем еще большее количество людей получит возможность для общения с историко-культурным наследием наших предков.

Многие памятники следовало бы передать их исконным владельцам — деятелям религии.

Разумеется, советы по туризму, «Интурист», не выделявшие до сих пор денег даже на благоустройство и оформление туристских маршрутов, не согласятся на пересмотр такого ненормального, но удобного для них положения. Однако решить этот принципиальный вопрос необходимо во имя сохранения памятников культуры, во имя дальнейшего развития самого туризма.

В Узбекистане есть все возможности для развития отечественного и международного туризма. Однако реализации задачи препятствует слабое развитие сферы услуг, острая нехватка гостиниц. По этим причинам на протяжении многих лет приходится ограничивать прием советских и иностранных туристов в республике.

В настоящее время с некоторыми иностранными фирмами подписаны контракты, а десятки других зондируют возможность своего участия в строительстве и эксплуатации гостиничных комплексов, ресторанов, в развитии индустрии туризма. Их расчет прост и ясен: любые капиталовложения в данную сферу окупаются быстро и обещают стабильную высокую прибыль, в том числе в твердой валюте. И наши капиталовложения в эту сферу окупятся бы в течение трех, максимум четырех лет. Неужели мы сами не способные построить корпуса гостиничных комплексов по проекту зарубежных партнеров и оставить им лишь отделочные работы, оборудование и мебелировку объектов? Так мы достигли бы экономии твердой валюты и увеличения доли нашего капитала в совместных предприятиях.

За счет увеличения притока туристов в Узбекистан, их обслуживания мы смогли бы добиться роста доходов в иностранной валюте, что немаловажно в условиях перехода республики на региональный хозрасчет. Одновременно решили бы ряд социальных задач, частично — проблему занятости, способствовали бы большей популярности Узбекистана на мировой арене. И от гостей вместо постоянных жалоб слышали бы мы слова искренней благодарности.

Хочется спросить у специалистов, экономистов, есть ли вообще более прибыльная, быстроокупаемая отрасль в народном хозяйстве, чем туризм, гостиничное хозяйство? Что мешает их развитию и какие возможности упущены и упускаются до сих пор? Если причиной тому инертность государственных органов, то может быть, нужно доверить это дело кооперативам, которые с удовольствием взяли бы за его быструю реализацию?

Не хочу переоценивать наши возможности в развитии индустрии туризма. В ближайшее время своими силами мы вряд ли сможем ликвидировать недостатки в сервисе, значительно повысить профессионализм в обслуживании иностранных гостей, из-за низкого уровня которого «Интуристу» постоянно приходится выслушивать множество обоснованных жалоб. Поэтому-то необходимо сотрудничество с влиятельными иностранными фирмами, особенно туристскими, создание совместных предприятий.

Имеет смысл и передача иностранным туристским фирмам и подрядчикам действующих гостиниц для реконструкции и переоборудования, обслуживания иностранных туристов при условии, если предлагаемая арендная плата превысит ныне получаемые нами доходы от туризма в инвалюте. Таким образом мы сможем активнее перенимать их богатый опыт, знания в деле организации и совершенствования туристского сервиса.

Учитывая перспективы коренной перестройки и совершенствования туристской индустрии страны, плановым и архитектурным управлениям республики следовало бы предусматривать в градостроительных программах широкое строительство гостиничных комплексов, кемпингов, мотелей. Объективно уже сегодня Ташкент мог бы полностью загрузить гостиницы на 50 тысяч мест, Самарканд — на 30, Бухара — на 20, Хива — на 10 тысяч мест. Но в настоящее время спрос на гостиничные места превышает предложение в 10—15 раз. Некоторые могут усомниться в правильности моих расчетов. Однако сколько людей проходит мимо гостиниц, будучи уверенными в хронической нехватке мест? Сколько из них вынуждено переплачивать за «счастье» достать столь дефицитное место в гостинице, чтобы не остаться ночевать на вокзале или на улице?

Даже доходы от туризма вряд ли решат все проблемы охраны и реставрации памятников. Поэтому, ввиду общего недостатка средств и материально-технических ресурсов, придется реально взвесить наши материальные возможности и выбирать приоритеты. Нецелесообразно, продолжая капитальные реставрационные работы, перейти к режиму минимально необходимой консервации отдельных памятников с учетом конкретного их местоположения. Например, стоило бы шире практиковать легкий ремонт памятников, применять недорогие консервационные меры с использованием саманно-глинистого раствора для оштукатуривания стен. Такая мера предохранила бы памятники от увядания, случайного повреждения, свела бы к минимуму ущерб, причиняемый природными явлениями.

Но и для этого нужно разработать и финансировать целостную программу реставрации памятников истории и культуры, благоустройства прилегающих территорий с тем, чтобы они отвечали не только функциональным, но и эстетическим требованиям нашего времени.

## ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Как известно, Советский Союз в 1988 г. подписал Всемирную конвенцию ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия. Однако, ввиду недостаточной информированности о деятельности этой и других крупнейших межправительственных, международных организаций, на-

ша республика практически самоустранилась от сотрудничества с ними. О существовании ЮНЕСКО многие вспомнили лишь в период согласования условий пребывания у нас группы японских кино- и телеоператоров, прибывших на съемки многосерийного документального фильма «Великий шелковый путь» по заказу этой организации.

Было бы желательно поручить специально созданной рабочей группе проанализировать документы ЮНЕСКО, ее программы на ближайшие годы, определить приоритетные для республики вопросы и направления сотрудничества с ней. Одновременно приступить к координации с Комиссией СССР по делам ЮНЕСКО участия Узбекистана в программах ЮНЕСКО.

Разумеется, следует продолжить и работу по подготовке материалов, касающихся уникальных исторических памятников республики для внесения их в список «Жемчужин планеты» ЮНЕСКО, использовать умственный и нравственный потенциал мировой науки и культуры в деле сохранения историко-культурного достояния Узбекистана, публикации материалов о нем на средства этой организации.

Действуя таким образом, мы внесем свой вклад в реализацию соответствующей программы ЮНЕСКО, преследующей цель расширить взаимопонимание между народами.

Обобщая изложенные проблемы, считаю целесообразным принять два специальных постановления Совета Министров УзССР. В первом сформулировать долгосрочную программу правительств в области охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в Узбекистане. Во втором — утвердить долгосрочную программу превращения исторических зон республики в центры отечественного и международного туризма с развитой социально-бытовой инфраструктурой, которая должна органически вписываться в общую программу социально-экономического развития республики.

Следует обновить закон об охране памятников. Включить в него новые пункты, предусматривающие иные, кроме бюджетных, источники финансирования охраны и реставрации памятников, определение их балансовой стоимости, гарантии их сохранности и народнохозяйственного использования; полную компенсацию за причиненный ущерб памятникам или восстановление нанесенных им повреждений за счет виновных лиц.

Время диктует необходимость создания единого дееспособного органа государственной охраны памятников. Целесообразно преобразовать ведомственное ГлавНПУ памятников истории и культуры Министерства культуры и Республиканское научно-производственное объединение «Меъмор» в Главное управление государственной охраны памятников истории и культуры при Совете Министров УзССР (УзГУГОП). Укрепить его материально-техническую базу и перевести на самостоятельный баланс, полный хозяйственный расчет; уточнить, конкретизировать и четко разграничить функции УзГУГОП и других организаций, занимающихся вопросами охраны памятников, привнести права этих организаций в соответствие с их обязанностями.

Предлагаю также реорганизовать Общество охраны памятников истории и культуры Узбекистана, Государственный комитет по охране природы и создать вместо них Узбекское общество охраны памятников и природной среды (УзОО-ПиПС). Председателем этого общества, работающего на общественных началах, целесообразно

избрать одного из видных ученых или общественных деятелей. Рабочую группу УзОО-ПиПС в столице из 10—12 человек мог бы возглавить штатный ответсекретарь. Деятельность УзООПиПС должен направлять и контролировать постоянно действующий комитет Верховного Совета УзССР по охране памятников и природной среды. Нужно поставить расход добровольных взносов на охрану памятников и природной среды под строгий общественный контроль.

Но Общество должно периодически отчетываться не только перед Верховным Советом УзССР, но и перед общественностью с помощью средств массовой информации, чтобы люди могли судить о его планах, достигнутых результатах.

Областное ООПиПС возглавляет председатель, работающий на общественных началах. Рабочая группа должна состоять из 3—4 штатных сотрудников. Их деятельность направляется и контролируется постоянной комиссией областного Совета народных депутатов по охране памятников и природной среды.

Из общей суммы собранных добровольных взносов 10 процентов следует оставлять на премирование активистов УзООПиПС, включая штатных работников, 10 процентов — на пропаганду, 10 процентов — школам, для развития краеведческого движения. Но не менее 65 процентов от всей суммы доходов Общества, по согласованию с УзГУГОП, нужно перечислять на охрану и реставрацию памятников на местах.

Нужно развивать и экономику, и культуру одновременно, синхронно, так как речь идет по сути о двух сторонах одной медали, о перестройке не только быта, но и сознания, отношения миллионов людей к тому, что сделано до нас, что сделает наше поколение и что будет сделано нашими потомками.

Лучшая пропаганда пользы сохранения историко-культурного наследия в республике — хашар по приведению в порядок памятников старины и благоустройству прилегающих территорий, организация шефства над памятниками, развитие краеведческих движений юных. Организация такой работы — задача УзООПиПС, в этом — его предназначение. В таком случае не столько словами, лекциями и публикациями, сколько конкретными делами оно будет способствовать решению проблем охраны памятников и природной среды и обойдется без накладных расходов.

В таком важном и нужном деле следует больше полагаться на подвижность интеллигенции, активнее сотрудничать с неформалами, студенчеством, религиозными организациями и деятелями. Иначе говоря, нужно смелее подключать в это дело весь наш духовный потенциал, который пока не задействован из-за отчужденности нашей интеллигенции от серьезных изложенных проблем, из-за влияния стереотипов застойных времен.

Несмотря на чувствительные утраты, наша республика продолжает оставаться сокровищницей уникальных памятников истории и культуры. Исторические места Ташкента, Бухары, Самарканда, Хивы, Шахрисабза, Термеза, Коканда — золотой фонд отечественной культуры, достояние не только советского народа, но и всего человечества. В них отражена многовековая история нашего народа, его творческая и духовная жизнь. Древние сооружения, как живые очевидцы, воспроизводят историю расцвета и крушения государств, рассказывают о культуре и искусстве, о тонком художественном вкусе

и высоком мастерстве древних зодчих, ремесленников, о вкладе народов нашей страны в развитие мировой цивилизации.

По Средней Азии пролегал «Великий шелковый путь», соединявший Восток с Западом и Запад с Востоком. Возродить эту великую связь — задача нашего времени.

Памятники старины имеют принципиально важное значение для формирования чувства патриотизма, эстетического и нравственного воспитания масс, особенно подрастающего поколения.

Академик Д. Лихачев как-то заметил: если у человека хотя бы изредка не возникает потребность взглянуть на старую фотографию или вещи своих родителей, значит, он не любит их. Я бы добавил, — он неблагодарное, плохо воспитанное дитя. Можно ли считать человека, который равнодушен к судьбе памятников истории родного края, патриотом, любящим свою Родину?

До недавних пор в нашей национальной среде самой презренной чертой человека считалось пренебрежение, неуважение к старшим, к тому, что для них свято. Можно провести параллель и с отношением к истории родного края. Чего мы можем ожидать от потомков, если оставим после себя отравленные воды, земли, воздух, руины разрушенных памятников, деформированные традиции, опоганенные нравственные ценности, исковерканный язык?

Как справедливо отмечали ораторы на Втором Съезде народных депутатов СССР, среди самых острых проблем, болезней и бед общества наиболее опасной, тревожной становится бездуховность, неинтеллигентность, вульгарность, откровенное хамство значительной части его членов. И пока не воспитаем тягу к культуре, духовным и нравственным ценностям, пока в кровь и плоть нашу — всех нас — не войдет чувство исторического достоинства, уважения к наследию предков, ничего существенного у нас не изменится, и безобразия в обществе не прекратятся. Наши знания без уважения к историко-культурному наследию, добрым традициям народа, корням своим — пустая грамота, С безнравственностью, духовной глухотой справедливое общество не построишь.

Без духовного возрождения, без восстановле-

ния национальной культуры, лучших народных традиций, моральных и нравственных ценностей бессмысленно говорить и о перестройке, и о высоких идеалах. Какое может быть светлое будущее на фоне руин разрушенных мечетей, храмов, памятников зодчества?

Нужно помнить, что до тех пор, пока мы не устраним следы поругания памятников, не испушим хотя бы частично своей вины перед прошлым, настоящим и будущим, нас будут преследовать большие и малые неудачи, потрясения в социально-экономической, духовной, моральной сферах, на национальной почве. Нужно сделать все возможное для восстановления наследия предков, рожденного многовековым упорным трудом, чтобы оно и через тысячелетия служило нашему обществу, всему человечеству.

Сохранить памятники истории и культуры — значит защитить честь и достоинство нашей Родины. Спасая памятники, мы сохраним уважение к себе, то, на чем должно зиждется наше общество. Остановим же руку вандалов, покушающихся на историко-культурное достояние народа, восстанем же против окрепшей бездуховности, безнравственности!

Пусть памятники исполняют свою воспитательную миссию, а мы — свой гражданский долг перед историей, потомками, перед своей совестью.

Убежден, что каждый думающий человек сделает все от него зависящее во имя спасения непреходящих духовных ценностей.

Благодаря перестройке, гласности мы открыто, без прикрас заговорили и о новых, и о хронических язвах общества, пытаюсь побудить людей всерьез задуматься о них, найти лекарство. Но от ошибок никто, к сожалению, не застрахован. Поэтому автор отнюдь не претендует на безупречность своего анализа проблем охраны памятников, на бесспорность предлагаемых решений, а скорее рассчитывает на деловую, доброжелательную дискуссию, альтернативные предложения и проекты, на основе которых можно было бы выбрать оптимальный, реальный вариант решения, отвечающий интересам и экономики, и духовной жизни, интересам сохранения историко-культурного наследия народа.

Единственное, что беспокоит, — как бы сей голос не оказался гласом вопиющего в пустыне.





Барот Байкабулов

## **ЗВЕЗДА ХОРАСАНА**

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА В СТИХАХ

Пора юности, к которой можно отнести возраст от двадцати до тридцати лет, является также порой лета, началом жизнеутверждающих родников юности.

*Алишер Навои*

Алишербек был человеком несравненным. Он на тюркском языке создал такие стихи, которых столь много и столь хорошо никому еще не удалось создать... До сих пор не было известно такого наставника и покровителя ученых и представителей ремесел, как Алишербек.

*Зухириддин Мухаммад Бабур*

### ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Бурям, вечности подставив смело грудь,  
Через смерчи битв прокладывая путь,

С перевала к перевалу шел Герат,  
Камenea от невзгод и от утрат.

Душно в улочках от пыли и жары.  
За дувалами, как лоскутки, дворы.

Меньше птичьих гнезд убогие дома,  
Здесь владычествует нищета сама.

Друг на друга влезть лачуги норовят.  
В них влетев, оса не вылетит назад.

Еле дышит работяга от забот.  
Счастлив, если крошка в рот перепадет.

Самаркандских впечатлений дар храня,  
Алишер гнедого торопил коня.

Повзрослевшим возвращался он в Герат.  
На лице и радость встреч, и боль утрат.

В мудром взоре, закалившемся в огне,  
Скорбь и вера затаились в глубине.

В тополиную аллею въехал он.  
И внезапно был друзьями окружен.

Брат Дервиш Али уздечку взял из рук,  
Счастлив так, что даже слышен сердца стук.

Спрыгнул Алишер с гнедого скакуна,  
Словно подхватила радости волна.

Трижды брата к сердцу ласково привлек,  
Всех друзей увидев, слез сдержать не смог.

.....

Над «Боги Заганом»<sup>1</sup> сияние дня.  
Полны купола золотого огня.

Над сенью беседок, поднявшись в зенит,  
Как блюдо из золота, солнце висит.

По саду идет Навои не спеша.  
Охвачена смутным волненьем душа.

Привратник дворца его думы прервал:  
«Султан с нетерпением ждет Вас»,— сказал.

И дверь широко распахнул перед ним.  
Встал с трона владыка движеньем одним.

На тигра похожий — такая же стать,—  
Порыва и сил ему не занимать.

Чернеет на смуглом лице борода,  
Скрывая еще молодые года.

Венчает главу неземной красотой  
В жемчужинах дивных венеч золотой.

Подтянутый, стройный, одет был султан  
В расшитый камнями красный чопан<sup>2</sup>.

От воротника и до пола на нем  
Рубины адели кровавым огнем.

Объятья Хусайн широко распахнул  
И грудью к груди Алишера прильнул.

Молчанье на миг воцарилось вокруг,  
Как счастлив был с другом увидеться друг!

Во взгляде Хусайна сиянье любви,  
Цвел искренней радостью взор Навои.

Их долгой разлуке конец наступил,  
Улыбки не пряча, султан говорил:

<sup>1</sup> «Боги Заган» — один из шахских загородных садов-дворцов

<sup>2</sup> Чопан, иногда тон — парадный халат.

«Поздравить я рад с возвращением вас.  
Душа зазвенела, как праздничный саз.<sup>1</sup>»

Аллаху хвала, что<sup>2</sup> нам свидеться дал.  
От жажды вас видеть — себя я терял.

Смиранный мечтает, чтоб рядом со мной  
Вы были всегда в колеснице одной.

Народ наш велик и безбрежна страна.  
Мне мудрая ваша поддержка нужна.

Вас из Самарканда я ждал, словно свет.  
Нужны мне и дружба, и добрый совет.

Отправил посланье я вам неспроста:  
Вас ждали и я, и родные места.

Веленьям державы должны вы служить,  
Порывы души ей прошу посвятить».

Воспрянул поэт, этой речью зажжен.  
С поклоном сказал повелителю он:

«Высокую честь оказал мне султан,  
Превыше всего на земле — Хорасан!»

Хусайн улыбнулся: «Спасибо, мой друг.  
От слов ваших солнце увидел я вдруг.»

.....  
После хайта<sup>2</sup> властелин надумал пир  
Закатить такой, чтоб удивился мир.

Нет спокойствия в стране который год,  
Пусть же мощь его почувствует народ.

Были гости потому приглашены  
Из Герата и со всех концов страны.

На вельможах пышный праздничный наряд.  
Стал «Боги Заган» прекрасней во сто крат.

Вот слуга вошел с улыбкой на устах:  
«Выйти к вам сейчас изволит падишах!»

Руки все к груди прижали в тот же миг  
С мыслью: «Должность дал бы мне, аллах велик!»

Величав и важен царь был, как Шахрух<sup>3</sup>  
У присутствующиххватило дух.

Обходя вельмож, готовых пасть ничком,  
Он по-царски их приветствовал кивком.

«Неспроста я вас созвал со всех сторон.  
Вы — столпы, что укрепляют царский трон.

Вы — ресницы власти, потому у вас  
Пусть неведение не застилает глаз.

<sup>1</sup> Саз — струнный музыкальный инструмент.

<sup>2</sup> Хайт — мусульманский религиозный праздник по случаю окончания поста.

<sup>3</sup> Шахрух — тимурид, правивший Гератом. Отличался пышностью двора.

В ножны меч врага не вложен до сих пор.  
Сеют алчные царевичи раздор.

Тело — Хорасан. Народ — душа его.  
И судьба народа нам важней всего.

Мы должны, чтоб в бездне всем не утонуть,  
Руку помощи народу протянуть.

Если бек дехкан подвластных разорит,  
Этим только сам себе он навредит.

Лезть в карман народа — значит звать беду.  
Справедливости от вас и чести жду!»

С хитрецей смотрели беки на царя,  
Про себя его за эту речь коря.

Строгим взглядом шах обвел притихший зал,  
Помолчав чуть-чуть, еще сказал:

«К нам вернулся, наконец, Алишербек,  
Дивный наш поэт и человек».

Навои был благодарен и смущен.  
От таких похвал не возгордился он.

Смотрят беки и эмиры шаху в рот:  
Догадаться бы — за что такой почет.

Все готовы сделать, только прикажи,  
Хохотать и плакать будут за гроши.

Но висит напоминанием врагу  
Меч с жемчужной рукояткой на боку.

На лице у Навои улыбки свет.  
Сил и счастье шаху пожелал поэт.

И касыду юно протянул.  
А когда прочел ее — раздался гул.

Гул восторга, облетевший все края,  
То бессмертная была «Хилолия».<sup>1</sup>

Он писал ее, победе друга рад,  
Средь ночей бессонных по пути в Герат.

Хорасан поэт прославил в оде той.  
В честь Хусайна и земли своей родной.

Шах, который сам поэтом тонким был,  
Навои сердечным словом одарил:

«Ваш смиренный от касыды без ума.  
В ней явилась к нам поэзия сама!»

И поэт от похвалы горячей той  
В небе счастья плыл, как месяц молодой.

<sup>1</sup> «Хилолия» — ода Навои в честь Хусайна Байкары.

## ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Раскрыли ворота объятия свои,  
Зовет Сад богатства друзей Навои.

В гнезде родовом, в благодатном саду  
Ажурное зданье стоит на виду.

Витают еще дух отца в доме том,  
Как сон, стоны матери кружатся в нем.

Печалю ее не вернуться назад,  
От раны, от стрел ядовитых саднят.

Не смог ствол надежды свалить ураган,  
Не смог, как тростинку, сломать ее стан.

Пыль жизни ее не смогла, как листок,  
Сорвать и засыпать у вражеских ног.

Когда навалились несчастья горой,  
О стенку не билась она головой.

Швыряли каменья в нее небеса,  
Но слез пелена не закрыла глаза.

Во мраке ночном оказавшись одна,  
Зажгла сердце факелом ярким она.

И сыну в скитаньях тот факел горел,  
Вдали от Герата надеждою грел.

Спешат музыканты в приветливый дом,  
Науки творцы собираются в нем.

И светится счастьем безоблачным мать:  
В родное гнездо сын вернулся опять,

Читает стихи его весь Хорасан,  
Доверил высокую должность султан.

И словно подхваченная ветерком,  
По дому летает она мотыльком...

Стремителен вечного времени бег.  
И юности замок покинув навек,

Все так же был скромн и прост Алишер,  
Достойный для всех подражанья пример.

Сегодня друзей он своих принимал,  
Но место не в красном углу занимал —

Сидел у порога, чтоб первым он мог  
Приветствовать тех, кто шагнул на порог.

А в красном углу, с просветленным лицом,  
Поэтами названный мудрым отцом,

В чалме, что как снег на вершинах бела,  
С седой бородой, что по пояс была,

Джами восседал — старший друг Навои,  
Чьи строчки звучат, как весной соловьи.

Шепнул Алишеру тихонечко брат:  
«Идет мавляна<sup>1</sup> Ардашер<sup>2</sup> через сад!»

Чудесному гостю нежданному рад,  
Поэт устремился в темнеющий сад.

В объятия наставника он заключил  
И словно бы рану души излечил.

От гнета скрываясь уже много лет,  
Спешил Ардашер то в Герат, то в Мешхед.

Недавно вернувшись, узнал Ардашер,  
Что прибыл с почетом домой Алишер.

Уставший с дороги, лишившийся сил,  
Он все же увидеться с ним поспешил.

Изгнанник — как он Навои понимал,  
Когда тот кровавой тоской истекал!

Недаром поэт — из далеких краев  
Осыпал наставника жемчугом слов.

«Признаний души»<sup>3</sup> свет устода согрел.  
И добрый обратно ответ полетел.

Свершилась мечта — они рядом сейчас.  
Скупые слезинки застыли у глаз.

Беседа, вместе вошли они в зал.  
Все встали. И мудрый наставник сказал:

«Не я говорю вам, не Саид Хасан,  
Вещает устами родной Хорасан.

Как счастливы мы, что вернулся поэт  
И добрым вниманьем султана согрет.

Фирман падишаха дает ему власть,  
Поэтому в сердце надежда зажглась.

Нелегкий вам путь предстоит, Навои.  
Вы взвесить должны устремленья свои.

Задача почетна. Задача трудна.  
Народ голодает. Нищает страна.

Весь в золоте неуч. В почете глупцы.  
В изгнании и в нищете мудрецы.

Бессовестный лгун и обманщик в чести.  
А честный заставлен вериги нести.

Отрезан язык. Как рыдания — слова.  
От слез и страданий душа чуть жива.

Свобода в темнице. Лачуги — как хлев.  
Народ — как цепями окованный лев!..»

<sup>1</sup> Мавляна — уважительное обращение к ученым, поэтам и политикам.

<sup>2</sup> Саид Хасан Ардашер — выдающийся ученый, друг и наставник Навои.

<sup>3</sup> «Признания души» («Хисбихал») — поэтическое послание Навои устоду (мастеру-учителю) Ардашеру, отправленное из Самарканда в дни изгнания.

«Вокруг оглянитесь. Что стало с людьми?!—  
Продолжил слова Ардашера Джами. —

Мечта и надежды — бесплодный мираж.  
За жизнь человека копейки не дашь.

Невежды науку в болото влекут,  
Поэзии не разорвать крепких пут.

Но главное — в тягостных муках народ.  
Когтями впивается в грудь его гнет.

Лицо пожелтело. Одежда худа.  
Стан луком согнули нужда и беда.

Хлеб черствый он ест, и отраву он пьет.  
От ветра лачуга вот-вот упадет.

Мечети — гнездо, где интриги плетут.  
Имамы убийц и насильников чтут.

А тех, кто с насильем поспорить готов,  
Эмиры и беки лишают голов!

Тут гнева сдержать Пахлаван<sup>1</sup> не сумел,  
Недаром всегда был он дерзок и смел.

Будь проклят султан, что в могиле лежит.  
Оставил развалины Абу Саид<sup>2</sup>.

Плывут над страной рыдания и стон.  
Он тысячи жизней сожрал, как дракон.

Рука, что кинжал на народ подняла,  
По локоть в крови невиновных была.

Мерабом<sup>3</sup> Аргуна поставил султан,  
Чтоб мертвой пустынею стал Хорасан.

Арыки богатых наполнив водой,  
Он бедным арыки наполнил бедой.

Под сенью державы он грел подлецов.  
И стала страна обиталищем сов.

Убийцей родился и умер султан.  
Воспрянуть сумеет ли наш Хорасан?!»

Блестя серебром благородных седин,  
Поднялся почтеннейший Фасихиддин<sup>4</sup>.

«Султану Хусайну досталась страна,  
Которая полностью разорена.

Жиреют издоимцы на важных постах,  
У них лишь коварство и ложь на устах.

И честного могут словами связать,  
Под дудку свою заставляя плясать.

<sup>1</sup> Мухаммад Пахлаван — богатырь, известный борец и любитель поэзии. Друг Навои.

<sup>2</sup> Султан Абу Саид — тимурид, прежний правитель Хорасана.

<sup>3</sup> Мераб — распорядитель водными ресурсами.

<sup>4</sup> Фасихиддин Сахиб — известный ученый, школьный учитель Навои

На теплых местечках усевшись рядком,  
Копают они и под шаха тайком.

Ведь каждый из них, проскользнув во дворец,  
Нацелен на трон и на царский венец.

Смиранных обрадовал шахский фирман:  
Назначив вас, мудрость явил нам султан,

Вам честно открыли мы души свои  
И ждем, что нам скажет таксыр Навои!»

Отвагу друзей своих старших ценя,  
Подумал поэт — они верят в меня.

В их взорах надежда на лучшие дни.  
Пекутся о благе народа они.

Взять бремя страны только смелым под стать.  
Призвание поэта — их спутником стать.

Да, мало у трона не падавших ниц,  
Как птицы Анко легендарных яиц,<sup>1</sup>

Поэтому в путах лежит Хорасан.  
Готов ли отбросить их новый султан?

Готов ли стране свою жизнь посвятить?  
Способен ли месяц весь мир осветить?

От дум этих, как в забытьи, был поэт,  
Но в пламени сердца зажегся ответ:

«Вы правы! Должны мы народу служить.  
Подолом халата луны не закрыть.

А правды лицо — это солнечный лик.  
Бессмертною правдой народ наш велик.

Жизнь это река бытия. А народ,  
Страдая от жажды, лишь капельки пьет.

Дней радости вдоволь ему не испить.  
Он вынужден вечные муки сносить.

В руках у тиранов он ниц и убог.  
В лачугах от вечной нужды изнемог.

О кладезе знаний не ведая, он  
В пещере невежества жить обречен.

Ему ни читать, ни писать не дано.  
Закрыто в родное искусство окно.

И катится скорби народной волна.  
Давно от нее почернела страна.

Шах вороном был — города разорял,  
Руины и пепел от сел оставлял.

<sup>1</sup> Когда говорят о яйцах сказочной птицы Анко, подразумевают почти невозможное.



Дал вволю он крови напиться мечу...  
С Хусайном надежды связать я хочу!

Но как отнесется к султану народ!  
Поверит ли в то, что он мир принесет?

Признаюсь, тревожно по-прежнему мне.  
Увы, нет спокойствия в нашей стране.

Хотя и покорны вельможи на вид,  
Кинжал в рукаве у царевичей скрыт.

Вам честно скажу — я служить не хотел.  
Поэзия — вот мой желанный удел.

Но просьбы султана не мог не учесть.  
Ведь служба народу — высокая честь.

Лишь ради него дал согласие я.  
Хочу, чтобы ожили наши края.

Хочу справедливости книгу открыть  
И, следуя ей, жизнь стране посвятить!»

Высокая речь окрылила сердца.  
Готовы друзья разделить до конца

Судьбу Навои и надежды его.  
До полночи звездной цвело торжество.

Пиалы с вином поднимали друзья  
За счастье, что ждет их родные края.

## ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

В центре войск шатер огромный возведен.  
Словно сказочный дворец, сверкает он.

Как щиты султана, возле двери в ряд  
Часовые двухметровые стоят.

В напряженном ожидании совет.  
На привратнике лица сегодня нет.

Он и зеркало султана, и уста.  
Раз в смятенье он, то это неспроста.

И в шатре царит растерянности дух.  
В думы погружен султан, он нем и глух.

А в душе его клокочет ярый гнев.  
Он в сверкающем шатре, как в клетке лев.

От мороза увядает сад щедрот.  
Взгляд тяжел и черен, как пещеры свод.

Брови шах у переносицы собрал  
И хлопком к себе привратника призвал.

На собравшихся вельмож взглянул в упор,  
Приказал он Навои позвать в шатер.

Алишер явился к шаху в тот же миг.  
И немой вопрос в душе его возник.

Неужели снова ждет военный ад?  
Кто теперь — Ядгар, Махмуд или Ахмад?

Все царевичи, наверно, рождены  
Не с мечтой о мире — с жаждою войны.

Раздевая, разувая весь народ,  
Не желают думать, что их завтра ждет.

А ведь ждет самих тогда их нищета...  
Да, султан сегодня мрачен неспроста.

Может, средь народа смельчаки нашлись?  
Может, распри из-за веры начались —

На шиита поднял вновь кинжал суннит?  
Чего сегодня им услышать предстоит?!

Рядом шах с собой поэта усадил  
И в него горящий взгляд, как шип, вонзил.

Навои спокойно принял этот взгляд,  
Как всегда, помочь советом шаху рад.

И тогда Хусайн Мирзо промолвил зло:  
«К нам известие недоброе пришло.

Бунт в Герате. Камни в слуг моих летят.  
Абдаллах Хатиб<sup>1</sup> весь в ранах, говорят».

Этой новостью поэт не удивлен.  
Ожидал давно народной вспышки он.

Но, желая гнев султана погасить,  
Он решился шаха вежливо спросить:

«В чем волнения причина, мой хазрат?»  
«Чернь презренная заполнила Герат.

И дехкане даже оказались там,  
Ими выбран вожаком кузнец Рустам.

Пусть на головы безумцев гнев падет.  
Кто владыка царства — я, или народ?!

В корне надо нам крамолу истребить.  
Только так мы можем правду утвердить!»

«Я согласен с вами, шах! — сказал поэт. —  
Но позволю все же дать один совет.

В этом случае поспешность не нужна.  
Может, выяснить сначала — чья вина?

Беков мудрых я советую послать.  
Просто так народ не станет бунтовать.

Может, подлости завеса в этот раз  
Недовольства правду прячет и от вас?»

Шах задумался. Но грозный Музаффар  
Вновь раздул уже стихающий пожар!

«Недовольство — рядом с порохом свеча...  
Кровь народа смоем ржавчину с меча!»

<sup>1</sup> Абдаллах Хатиб — один из главных сборщиков податей.

Словно искра, вспыхнул Навои тогда:  
«Повелитель, кровь народа — не вода.

Не подумавши сказал беклар беги<sup>1</sup>,  
Перед ним родной народ, а не враги.

Если с ним начнем мы тоже воевать,  
Кто нас будет и кормить и одевать?!»

Шах степенно головою покачал  
И сказал, как будто мыслям отвечал:

«Прав поэт. Должны мы подданных беречь.  
Но недаром предпочли эмиры меч.

Не народ — смутьянов надо покарать.  
Небольшой отряд достаточно послать.

С головой Рустама к нам вернется он.  
И Герат победой будет усмирен!»

Сжалось горькой болью сердце Навои.  
Но зато расцвел улыбкой Хирави:

«О, великий, всемогущий наш султан!  
Ваша мудрость покорила весь диван.

Мавляна поэт, увы, понять не смог:  
Не сдержать плотине бешеный поток.

Войско смелое потоков всех сильней.  
Чтоб разбить кувшин, не надо много дней!»

Хирави в упор не видя, встал поэт:  
«Шах, прошу вас милость проявить в ответ.

В дни, когда идут сраженья без конца,  
Пусть от вас не отвернет народ лица.

Вскоре трудный бой с Ядгаром предстоит.  
Каждый на счету у нас сейчас джигит.

И пока мы не окончили войны,  
Войско крепкое, как сталь, иметь должны.

А в Герат, чтоб там покой вернуть опять,  
Бека мудрого советую послать».

В этот раз не возражал ему султан.  
Мадждиддину приказал подать кальян.

С громким бульканьем втянул табачный дым.  
И на миг застыл, угрюм и недвижим.

А потом, приняв решение, посветлел.  
Навои улыбкой доброю согрел:

«Господин поэт. Опасности таят  
Смуты в городе. Душа страны — Герат.

<sup>1</sup> Беклар беги — глава беков, военачальник, т. е. Музаффар барлас

Если там отпор не будет нами дан,  
Весь от смуты запылает Хорасан.

Собирайтесь в путь немедленно, таксыр.  
Доверяю вам вернуть Герату мир!»

Ах, как счастлив был в душе поэт сейчас.  
Поклонился он, не поднимая глаз.

И, завесой слов скрывая мыслей ход,  
Он сказал: «От шаха дара ждет народ.

Коль слуга придет к нему с пустой рукой,  
Как ему сумеет он вернуть покой?!»

Рассмеялся шах: «Какой подарок ждет  
За свое непослушание народ?!»

Задохнулся черной злобой Маджиддин.  
Из присутствующих знал лишь он один,

Что тайком от шаха он с Хатибом ввел  
Подать новую — причину бед и зол.

Улыбаясь, Навои сказал в ответ:  
«Справедливость шаха — для народа свет.

Чтобы правду отыскать, прошу, султан,  
Дать смиренному высокий ваш фирман:

Проследить, как собирается закят.  
И, поверьте, успокою я Герат!»

Дал согласие султан и приказал,  
Чтоб скорее Алишер коня седлал.

«Пусть везир великий выслушает вас  
И желанья ваши занесет в приказ!»

Поспешил поэт в свой маленький шатер.  
Ожила душа, как от прохлады гор.

Он стихи сложил в мешок походный вмиг.  
Оглядел прощально свитки верных книг.

А слуга со стенки снял булатный меч,  
Мол, поможет от опасности сберечь.

В руки взял поэт уздечку скакуна.  
Впереди трудна дорога и длинна.

А султан, желая беков ублажить  
(Поневоле должен ими дорожить!),

Обратился к Музаффару: «Свой совет  
Пусть попробует не выполнить поэт!»

Закивали беки, рад был и барлас:  
«Уберется Навои пусть с наших глаз!»

Протянул везир составленный фирман.  
Прочитал его внимательно султан.

Из него не стал и слова исключать,  
А поставил молча царскую печать.

## ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

Центральную площадь заполнил народ,  
Прибоем морским гул над нею плывет.

Надежда в глазах, ожиданье в сердцах.  
И имя поэта у всех на устах.

Глашатаи город объездили весь,  
И люди услышали странную весть.

«Поэт и хранитель печати двора  
С фирманом владыки в Герате с утра,

У главной мечети назначил он сбор,  
С народом желает вести разговор,

В руках у него не нагайка и меч —  
Свечу справедливости хочет зажечь».

Толпа среди улочек узких текла.  
На площадь центральную с криками шла.

Огонь справедливого гнева в сердцах.  
Проклятья и стоны у всех на устах.

Волнуется площадь, гудит, как набат.  
Протесты до самого неба летят.

На бога надеется нищий народ.  
От шаха к себе снисхождения ждет.

Но ссоры то там разгорятся, то тут.  
Шпионы Ядгара интриги плетут.

Эмиры, решившие шаха продать,  
Стараются масло в огонь подливать.

И многие ядом отравлены тем.  
Ни в бога, ни в шаха не верят совсем.

И есть, между прочим, причина тому:  
Рустам заключен был коварно в тюрьму.

Бессовестно беки народу клялись  
Ему облегчить беспросветную жизнь.

Аллаха в свидетели брали они,  
Что скоро наступят счастливые дни.

Клялись на Коране, что не виноват  
Хатиб, что не он ввел кабальный закят.

Они от толпы негодяя спасли  
И смерть от подручных его отвели.

Поверил народ и пошел по домам.  
Но ждали их злобные стражники там.

Хватали смутьянов, тащили в зиндан,  
Мол, так приказал им великий султан.

Но искорки бунта несли по ночам  
В лачуги герои, грозя палачам.

Они продолжали к восстанию звать,  
И улицы утром вскипали опять.

Надеялись беки — шах войско пришлет  
И кровью зальет непокорный народ.

Но горькую весть им заря принесла,  
Разбиты неправых надежд зеркала:

Их шах осчастливил не войском своим —  
Прислал Навои, ненавистного им.

И знали они, что спасения нет.  
Не жаловал дружбою беков поэт.

Он ради народа стихи создавал.  
А бек у народа последнее брал.

Нет, беки его невзлюбили не зря!  
И вдруг он в Герате! Посланник царя!

Волнуется площадь, полна до краев.  
Качается, плещется море голов.

На лицах бескровных лишь скулы черны.  
Тела сквозь лохмотья одежды видны.

И спутаны бороды, сморщены лбы.  
И согнуты станы от вихрей судьбы.

Все смотрят на арку мечети с тоской,  
Вернется ли в души их мир и покой.

В ряд первый пробился столяр Мирсадык.  
С ним рядом стоит и его ученик.

Лоб мастера тонкий обвил поясок.  
Сползла тюбетейка ему на висок.

От жизненной вьюги бородка бела.  
Бела и рубашка, хоть старой была.

К мечети сейчас устремлен его взгляд.  
Стихи Навои в его сердце звучат.

От счастья дрожит ученик Мирджалал,  
Он с детства о встрече с поэтом мечтал.

Газели давно заучил наизусть,  
Не сходят они никогда с его уст.

А сколько таких, из собравшихся здесь,  
Кто рад был услышать счастливую весть,

Кто думы свои и надежды свои,  
Пленный стихами, связал с Навои!..

И вот над толпой появился поэт.  
Он в синий камзол из адраса одет.

Чалма его черная, словно венец,  
На плечи стекает свободный конец.

Сияют глаза. Величав его вид.  
О силе и твердости он говорит.

Толпа зашумела, взметнулась она.  
Но тут же на смену пришла тишина.

Лишь слышалось в разных местах — «Навои!»  
Надежда одна на устах — «Навои!»

Поэт начинать свою речь не спешил.  
Минуту нелегкую он пережил.

Он видел глаза изможденных людей.  
На лицах следы и нужды, и плетей.

И ненависть к черным делам подлеца.  
И скорбь, что, как цепи, сковала сердца.

Он знал, как тяжел непосильный их труд.  
Он знал, как они избавления ждут  
От бед и невзгод, от кровавой войны...  
Нет, речи красивые им не нужны.

Доверия пышная речь не вернет.  
Лишь слова правдивого жаждет народ.

Как снова к султану любовь возродить?  
Как гнев справедливый его остудить?

Ведь если в раздорах увязнет народ,  
Не только султан — государство падет.

И чтобы с опасной дороги свернуть,  
Обязан поэт указать ему путь.

И с этими мыслями начал он речь,  
Стараясь в слова свою душу облечь:

«Народ! Шах великий Хусайн Байкара,  
Желая всем подданным только добра,

В Герат с поля битвы отправил меня,  
Спешить повелев, не жалея коня.

Он обеспокоен, что бунтом объят  
Алмаз его царства, престольный Герат,

И это в разгар справедливой войны  
Во имя покоя и мира страны!

Султан наш для счастья народа рожден.  
О вашем же благе заботится он.

Разумен, правдив, справедлив падишах.  
Счастливой отчизну он видит в мечтах.

В душе его выше желания нет,  
Чтоб сыт был народ, и обут, и одет.

Мечтает везде медресе возвести,  
Чтоб к светочу знаний открылись пути.

В них, не израсходовав и пятака,  
Обучится грамоте сын бедняка.

Больницы и бани построит султан.  
Мечети воздвигнет он для мусульман.

В закон о закяте, земле и воде  
Поправки внесет по своей доброте.

Он сетью арыков покроет поля.  
Вдоль новых дорог зашумят тополя.

Из новых колодцев вода потечет.  
И мертвая степь, словно сад, расцветет».

Стеснилось дыханье поэта на миг.  
Задумавшись, он головою поник.

О, нет, то мечта не султана была,  
В душе Навои она с детства жила.

Ее он вынашивал в долгих ночах.  
Горела она, как светильник, в очах.

И этого яркого пламени свет  
В глазах у народа увидел поэт.

Расправились спины. Сверкают глаза  
Стекает по скулам скупая слеза.

И гневом вскипели поэта слова:  
«Скажите — какая в Герате сова»

Покой нарушает и смуту несет?  
Откуда явились насилье и гнет?

Причина известна. Есть кучка людей,  
Где каждый — стяжатель, подлец и злодей.

Столпами страны им поручено стать.  
Доверил султан им налог собирать.

У них же от жира заплыли глаза.  
Их тронуть не могут ни стон, ни слеза.

Ни чести, ни совести нет у таких.  
Страна стала личным подворьем для них.

Используя власть, обирают народ  
И долю народа суют себе в рот.

В диване финансов гнездо этих сов,  
Все беды Герата от их голосов.

Давно имена их у всех на устах —  
С подручными это Хатиб Абдаллах.

От них постараюсь очистить диван  
И сделаю все, чтобы отправить в зиндан!»

Пронесся по площади возгласов шквал.  
Посланца султана народ призывал:

«Пусть их покарают! Тиранов в тюрьму!  
За горе прощенья нет никому!»

Когда же утих этих возгласов шквал,  
Фирман падишаха поэт показал.

Читая его под восторженный гул,  
Измученным людям он радость вернул.

И дым темной смуты рассеялся сам,  
Когда к Алишеру поднялся Рустам.

Его от когтей близкой смерти он спас,—  
Власть полную дал ему царский указ.

Перевод с узбекского Гарольда Регистана.





Борис Лунин

## СВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

«Здесь не одно воспоминанье,  
Здесь жизнь заговорила вновь»  
Ф. И. Тютчев

Из далекого прошлого доходит до нас свет от необыкновенных людей, охваченных страстным стремлением познать историю своего отечества, собрать и сохранить памятники материальной и духовной культуры народа. Бескорыстна и плодотворна деятельность этих энтузиастов разного возраста и различных профессий.

Во второй половине XIX — начале XX веков в Средней Азии из среды коренного населения стали выделяться краеведы-любители. Среди них были те, чьи интересы в основном еще не выходили за рамки собирательства, составления коллекций предметов старины, и те, которые уже приобщались к научной работе своими очерками, статьями, зарисовками жизни и быта народов Средней Азии, вносили этим посильный вклад в историю и этнографию. Примечательно также, что именно в это время участились контакты между краеведами и изучавшими край русскими учеными, что способствовало становлению национальной интеллигенции Средней Азии.

Думаю, читателям интересно будет познакомиться с жизнью и деятельностью наиболее ярких подвижников науки в Средней Азии, чьи имена достойны благодарной памяти. При этом автор помнил о том, что «биограф — не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать».

Акрам Аскарров. Он же Акрам Палванов... В дореволюционных публикациях можно встретить сведения о двух Акрамах — Аскарове и Палванове. Но в действительности речь шла об одном и том же человеке — уроженце Ташкента Акраме Аскарове. Дополнительное же имя, а вернее прозвище, он получил при жизни, потому что был высок, строен, представительен и силен. «Настоящий палван (богатырь)» — говорили о нем люди.

Купец по профессии — энергичный, деятельный, стал проявлять себя и как страстный краевед — любитель старины. Особенно привлекало его собирание монет древних и средних веков. Туркестановед Н. С. Лыкошин писал об Аскарове, что он «почти не знал русской грамоты, но зато разбирался не хуже ученого-ориенталиста в мусульманской литературе. Он вел очень простой образ жизни, внешне ничем не отличался от всех остальных соотечественников».

Известно, что Аскарров был не только предприимчивым купцом, но и деятельным поборником усовершенствования местного шелководства и шелкоткачества. На крупной Туркестанской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1886 года в Ташкенте Аскарров был одним из распорядителей ее кустарного отдела, в экспозицию которого вошли шелковые ткани, керамика, медночеканнные и ювелирные изделия. В 1890 году на проходившей в Ташкенте Туркестанской выставке предметов сельского хозяйства и промышленности функционировал организованный и возглавленный Аскаровым павильон, колоритно оформленный в национальном духе местными мастерами резьбы по дереву. В нем демонстрировались образцы кустарно-ремесленного производства, в том числе шелкоткацкой мастерской самого Аскарова.

Внимание посетителей привлекал сконструированный им новейшего типа шелкоткацкий станок. В этом же павильоне показывались и личные коллекции Аскарлова. Их основу составляло богатое нумизматическое собрание, а также предметы древности (сосуды, светильники, амулеты, перстни и другие ювелирные изделия) и народного быта. По свидетельству очевидца, коллекции Аскарлова были «хорошо известны всем, интересующимся былою жизнью страны, жизнью, на протяжении веков бившею живым ключом».

В 1884 году с Аскарловым познакомился работавший в Туркестанском крае петербургский востоковед и археолог Н. И. Веселовский. Знание жизни и быта узбекского народа, умение разговаривать с населением, осведомленность о многих памятниках древности сделали Аскарлова как бы правой рукой Веселовского. Аскарлов стал спутником в некоторых поездках Веселовского по краю (Сырдарьинская область, Фергана, Бухарский эмират), проявляя качества прирожденного археолога-любителя. Веселовского поражало, в частности, как «не будучи научно грамотным, Аскарлов обрел такой навык в собирании древних монет, что довольно точно определял время их чеканки».

Высоко оценивая неутомимую деятельность Аскарлова, Н. И. Веселовский считал своим долгом ходатайствовать перед Русским археологическим обществом о награждении Аскарлова за его заслуги перед археологией. Как писал Веселовский, «ташкентский житель Акрам Аскарлов представляет по своей деятельности и предприимчивости явление весьма редкое... Он проникся убеждением, что всякая древность имеет кроме материальной ценности еще другую — историческую, утрата которой невознаграждима никакими деньгами, и сделался ревностным оберегателем случайных находок от невежественного обращения с ними. В Ташкентский археологический музей он представил как от себя, так и от других много древних памятников, и при том без всякого вознаграждения... Живо интересуюсь археологией, (он) не только не нашол от неа барыши, но сам еще нес приплаты... Такое отношение Аскарлова к археологии заслуживает, как я думаю, внимания со стороны нашего Общества».

И вот 30 марта 1887 года общество приняло постановление «наградить Акрама Аскарлова малой серебряною медалью, выдаваемою за содействие успехам археологии». Вскоре Ученое археологическое общество (Париж) заочно избрало Акрама Аскарлова своим членом.

Но судьба уже отсчитывала последние годы жизни Аскарлова. Его, казалось бы, богатырское здоровье было подорвано скоротечным туберкулезом, от которого он и скончался 15 октября 1891 года в Ташкенте. Незадолго до кончины Аскарлова посетил известный туркестановед Н. П. Остроумов. В его личном дневнике мы находим запись: «Вспоминаю, с каким благодарным видом встретил меня Акрам Аскарлов, лежавший в чахотке, когда я навестил его. Как он был трогательно возбужден тогда, просиял и ободрился... Я просидел у него более часа». Уже тогда Аскарлова беспокоила судьба его монетной коллекции, что нашло потом отражение и в прошении матери Аскарлова на имя туркестанского генерал-губернатора: «Аскарходжа перед смертью завещал, чтобы все его движимое и недвижимое имущество было разделено между его сонаследниками, а о собранной им коллекции древностей было доведено до сведения начальства (выделено нами — Б. Л.)».

Младшим чиновником особых поручений Д. И. Эварницким (впоследствии крупным историком) была составлена опись коллекции Аскарлова, а сама она была передана на хранение в Ташкентский музей. Оказалось, что нумизматическая коллекция Аскарлова состояла из 12171 медных, 1428 серебряных и 17 золотых монет. Свыше 14 тысяч монет! Затем часть коллекции по отбору известного специалиста-нумизмата А. К. Маркова была приобретена Эрмитажем (Петербург) для его нумизматического кабинета. Собрания Эрмитажа обогатились редкими, даже редчайшими монетами чекана царей Бактрии, династий Сасанидов, Саманидов, Газневидов, Хорезмшахов, бухар-худатов, Илек-ханов, правителей из рода Тимуридов и Шейбанидов — вплоть до монет мангытских, кашгарских, кокандских XVIII—XIX веков. Часть коллекции Аскарлова была приобретена Археологической комиссией в Петербурге.

Так славно закончилась бескорыстная собирательская деятельность Акрама Аскарлова — одного из энтузиастов науки в Узбекистане второй половины XIX века.

Любителем старины был и самаркандский купец второй гильдии Мирза Бухари — владелец небольшой местной фабрики шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных изделий. Как и Акрам Аскарлов, он известен своим вкладом в прогресс шелкоткацкого дела в Узбекистане. Изделия его предприятия не раз демонстрировались на сельскохозяйственных и промышленных выставках в Ташкенте, Харькове и других городах. А как экспонент Ташкентской сельскохозяйственной выставки 1878 года он был удостоен золотой медали «за значительные усовершенствования и обширное производство шелковых изделий», в том числе разноцветных головных и других платков.

Биографические данные о Мирзе Бухари крайне скудны. Я так и не смог установить год рождения Мирзы Бухари, его образовательский ценз, семейное положение и прочее. Известно лишь, что первые письменные сообщения о его деятельности как

собирателя и любителя древностей относятся к 1883 году, а последние — к 1893-му, когда он умер в дни холерной эпидемии.

Однако нет сомнения, что местные древности Мирза Бухари собирал задолго до 1883 года, когда состоялось его знакомство с Н. И. Веселовским, прибывшим в Самарканд для раскопок на городище Афрасиаб. Веселовский осмотрел богатейшую коллекцию Мирзы Бухари и приобрел у него за счет средств Императорской археологической комиссии 1202 предмета древности, включая одиннадцать золотых, семьдесят семь серебряных и девятьсот пятьдесят медных монет, старинные серьги, несколько медных, каменных и глиняных «идольчиков», восемнадцать печатей и другие предметы. Некоторые из них хранятся сейчас в Государственном Эрмитаже. В их число входят предметы из коллекции Мирзы Бухари, поступавшие от него в эрмитажные собрания в последующие годы. Среди них особенно выделяется собрание редких монет Эвфидема, Гелиокла, Диодота, Селевка, Агафокла и других правителей Бактрии.

В 1883 году Мирза Бухари подарил Ташкентскому музею свыше ста двадцати древних и старинных монет, пять золотых перстней, тридцать одну печать и много иных предметов древности. В этом же году Мирза Бухари стал постоянным посетителем раскопок на Афрасиабе, все более втягиваясь в изучение истории родного края. Общение с Веселовским, Вяткиным и другими учеными вызвало у него большой интерес к русской жизни и культуре.

В конце 80-х годов Мирза Бухари посетил Москву и Петербург. О своих впечатлениях он рассказал в статье, опубликованной в «Туркестанской туземной газете» (Ташкент). В Кремле он «видел Грановитую палату, в которой древние русские государи принимали иностранных послов», в Оружейной палате осмотрел «разные старинные и драгоценные вещи прежних государей». Побывал Мирза Бухари и в Успенском соборе. И вот что характерно для него как ревнителя древностей: «С древнейших времен (в Москве) сохраняются все достопримечательные вещи; у нас же от ханских времен ничего подобного не сохранилось для памяти; по смерти ханов... никто не заботился о сохранении этих предметов (старинны) для будущего времени». В Третьяковской галерее на Мирзу Бухари произвели большое впечатление туркестанские полотна художника В. В. Верещагина.

В Петербурге его радушно встретил Н. И. Веселовский, вместе они посетили публичную библиотеку (ныне Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), где видели старинные восточные рукописи.

Мирза Бухари присутствовал на заседании Восточного отделения Императорского Русского археологического общества (1 декабря 1887 года), проходившем при участии таких выдающихся ученых страны, как А. Ф. Бычков, В. А. Жуковский, К. Г. Залеман, О. Э. Лемм, А. К. Марков, В. В. Радлов, В. Д. Смирнов, И. И. Толстой и другие. Все они тепло встретили гостя из Средней Азии. По словам самого Мирзы Бухари, он увидел здесь «многих ученых, которые знают языки разных мусульманских народов, а также языки монгольский, китайский, индустанский, и изучают древности разных народов. При мне ученый (академик) В. В. Радлов, отлично знающий тюркские языки и древнее уйгурское письмо, объяснял два ярлыка: один — Тохтамыш-хана, другой — Тимур-Кутлука. Очень приятно было мне слышать, как в далеком Петербурге ученые люди изучают историю прежних наших ханов и знают, что происходило при них. И мне довелось беседовать с этими учеными; у меня спрашивали объяснения некоторых слов, и я, что знал, объяснил».

Поездки Мирзы Бухари в Москву и Петербург еще более усилили его интерес к познанию прошлого своего края. И как собиратель древностей он стал теперь обращать больше внимания на выяснение того, где и при каких обстоятельствах обнаруживал предметы древности (то есть, как говорят специалисты, устанавливать паспортизацию находок).

Показательно также, что тотчас по возвращению в родной Самарканд Мирза Бухари направил в Петербург в Административный кабинет императора сорок три предмета древности (золотые монеты и прочее), найденные преимущественно в Самарканде и Бухаре. С тех пор завязалась и личная переписка Мирзы Бухари с Н. И. Веселовским, который систематически снабжал его книгами для чтения.

На страницах туркестанской печати Мирза Бухари публиковал заметки о находении предметов древности, в том числе на городище Афрасиаб, о своей собственной богатой коллекции. На эти заметки обратила внимание Императорская археологическая комиссия. По ее просьбе для осмотра коллекции различными специалистами (археологами, нумизматами, искусствоведами) из Ташкента в Петербург было отправлено свыше 6300 предметов древностей, собранных Мирзой Бухари. Об их научной ценности свидетельствует тот факт, что большинство этих предметов было оставлено по рекомендациям специалистов для приобретения.

С того времени установились постоянные связи Мирзы Бухари с Археологической комиссией, куда он направлял новые находки. Одно из его писем на имя комиссии гласило: «Я стараюсь для общей пользы и науки... оставить память прочим (потомкам),

что в Туркестанском крае занимался (приобретением предметов древностей)... дабы и другие из населения края имели бы особое понятие (понимание) о древних предметах».

Вплоть до самой кончины Мирза Бухари посылал в Археологическую комиссию и Эрмитаж монеты, чеканенные римскими и византийскими императорами, восточными правителями средневековья, терракотовые статуэтки и другие находки.

Интересно, что летом 1891 года известный поэт и мыслитель Фуркат во время посещения Самарканда жил у Мирзы Бухари, с большим вниманием знакомясь с его замечательными коллекциями, о чем Фуркат написал в редакцию «Туркистон вилайети газетаси». Известно также, что Бухари и Фуркат находились в дружеском общении с известным туркестановедом, педагогом и общественным деятелем В. П. Наливкиным.

Сквозь даль времен дошло до нас имя подвижника науки из Самарканда Мирзы Муллы Абд ар-Рахмана — страстного любителя старины, знатока восточных рукописей. Судьба света его в 1870 году с питомцем факультета восточных языков Петербургского университета известным ориенталистом А. Л. Куном, командированным в Туркестанский край «для этнографических, статистических и исторических ученых исследований».

В 1870—1872 годах А. Л. Кун совместно с А. П. Федченко, Д. К. Мышенковым и другими учеными участвовал в так называемой Искандеркульской экспедиции; в число задач ее, помимо сбора естественно-научных данных, входило изучение быта и языков узбеков и таджиков в верховьях Зарафшана и их исторического прошлого. Переводчиком в состав экспедиции был включен и Абд ар-Рахман, ставший деятельным и близким сотрудником А. Л. Куна не только в этой, но и в других экспедициях и поездках последующих лет.

Пытливый и наблюдательный Абд ар-Рахман не ограничился скромной ролью переводчика. По всем маршрутам он вел собственный путевой дневник, к счастью, дошедший до нас в архиве Куна («Дневник, веденный во время Искандеркульской экспедиции на самаркандском наречии с 25 апреля по 27 июня 1870 года»). Дневник этот и поныне сохраняет свою значимость содержащимися в нем сведениями о памятниках древности и живом быте населения. Но особое значение для науки приобрело специальное приложение к дневнику Абд ар-Рахмана, включавшее тексты встречавшихся им старинных надписей на скалах, придорожных камнях, на стенах былых зданий, а также надгробных надписей преимущественно в горных местностях Верхнего Фальгара и отчасти Матчи.

Зафиксированные Абд ар-Рахманом надписи отражали чувства и мысли нескольких людских поколений. Среди них попадались извлечения из стихов Хайяма, Саади, Хафиза, Бабура, Бедия, а также неизвестных поэтов. Некоторые из надписей сохранили нам имена их резчиков. А на труднопроходимой и опасной для жизни путника горной тропе встретились стихи Бедия: «Один шаг пути, Бедиль, от тебя до могилы, как слезинка на реснице стоишь ты — будь же осторожен!»

В рукописи дневника Абд ар-Рахмана сохранились также данные об экономическом состоянии районов от Пянджикента до берегов Искандеркуля, о хозяйственной деятельности населения, ценные записи по ягнобскому языку в горных местностях Верхнего Фальгара и Матчи.

Подобного рода путевые дневники Абд ар-Рахман вел и во время Хивинской экспедиции 1873 года по поручению А. Л. Куна и составленному им опроснику, весьма близкому по своему характеру «Программе географических исследований», рекомендованной Русским географическим обществом. И на этот раз Абд ар-Рахман зафиксировал интереснейшие данные историко-этнографического характера по областям Бухары, Шахрисябза, Хивы.

Заслугой Абд ар-Рахмана явилась и его активная помощь А. Л. Куну в изучении дафтаров (тетрадей с податными записями) из архива хивинских ханов. В архиве хранятся «Реестры, составленные по материалам салгутных дафтаров хивинских ханов, писанные рукою мирзы Абдурахмана».

Все это наследие Абд ар-Рахмана продолжает привлекать к себе внимание специалистов, воздающих должное его знаниям и усилиям. В наши дни по маршруту Абд ар-Рахмана прошел новый фиксатор надписей востоковед-эпиграфист А. Мухтаров.

Примечательная деталь: в 1872 году Абд ар-Рахман (видимо, при содействии А. Л. Куна) посетил большую Политехническую выставку в Москве. Выставка произвела на него такое впечатление, что он подробно описал ее, особенно Туркестанский отдел. Это описание свидетельствует о том, что автор был еще и талантливым литератором.

Причудлива и необычна была судьба «сына казахских степей» Шахимардана (Ивана) Ибрагимова. Родился он в 1841 году, учился в средних учебных заведениях Омска и с 1864 года работал переводчиком, а затем и столоначальником Петропавловского городского управления. В это время Ибрагимов общался с Чоканом Чингисовичем Валихановым — исследователем Центральной Азии, выдающимся деятелем науки и культуры XIX века. Из воспоминаний Ибрагимова о Валиханове явствует, что между ними существовали теплые и доверительные отношения. И вполне вероятно, что имен-

но под влиянием Валиханова зародился у Ибрагимова интерес к этнографии (к началу 60-х годов относится энергичное собрание Валихановым образцов казахского народного эпоса, сказок, песен).

С 1870 года начинается ташкентский период жизни Ибрагимова. Он работает переводчиком с персидского и татарского языков при канцелярии туркестанского генерал-губернатора. В эти годы он овладевает узбекским и другими среднеазиатскими языками. Это и привело к его назначению на пост редактора «Туркистон вилайети газетаси», выходившей на узбекском и казахском языках.

С тех пор ему все чаще приходилось общаться с Н. П. Остроумовым и другими туркестановедами, знакомиться с рукописными и печатными изданиями по Средней Азии.

Поездки по Туркестанскому краю позволяли Ибрагимову непосредственно наблюдать жизнь и быт коренного населения, вступать в контакт с ним.

Многополезной была деятельность Ибрагимова как этнографа и историка. В 70-е годы увидели свет его записи народных казахских пословиц, многие из которых носили остросоциальный характер. В Ташкенте и Петербурге были напечатаны проникнутые духом антиклерикализма статьи о муллах в казахской степи. Отмечая невежество мулл, чья «единственная забота набить себе потуже карман», Ибрагимов мечтал о том, «чтобы поскорее пришло то время, когда влияние мулл встретит оппозицию со стороны истинного просвещения».

Несколько этнографических очерков Ибрагимова освещали жизнь и быт казахских племен и родов. С одобрением встреченная видными учеными работа Ибрагимова «Заметки о киргизском суде» вошла в первый том «Сборника народных юридических обычаев», выпущенный Русским географическим обществом в 1878 году.

Зафиксированные Ибрагимовым «нравы, обычаи и особенности жизни народностей Хивинского ханства» (узбеков, туркмен, казахов и других), как и статьи «Роды и подразделения туркмен Хивы», сохраняют и теперь научное значение. Единственным в своем роде остается красочное описание Ибрагимовым массовых празднеств в Коканде.

Признанием научных заслуг Ибрагимова явилось принятие его в члены Туркестанского отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

Осуществлял Ибрагимов и переводы с русского на узбекский язык. В частности, им была переведена и издана брошюра известного естествоиспытателя А. П. Федченко «Отчего человек заболевает рикштой».

Особой заслугой Ибрагимова являлось составление и издание «Календаря-книжки на 1871 год». Это было первое в Средней Азии типографское (не литографское) издание книги на узбекском языке. Календарь содержал заметки по истории Русского государства, о торговле между Россией, Бухарой и Кокандом, географические и медицинские и другие данные. Такие же календари-книжки были выпущены на 1872 и 1873 годы.

С 1878 года Ибрагимов выполнял поручения по дипломатическим связям туркестанской администрации с Бухарским эмиратом и Хивинским ханством.

Так счастливо, казалось бы, складывалась личная судьба Ибрагимова. Но в условиях колониального режима в его жизни было немало и ухабов. Царские чиновники не простили Ибрагимову его деятельное участие в 1878 году в составе комиссии по расследованию злоупотреблений, обнаруженных в Кураминском уезде. Здесь видные чины (начальник уезда полковник Гуюс, генерал-лейтенант Головачев, камер-юнкер Савенков и другие) занимались преступными махинациями по незаконной покупке крупных земельных участков. Дело их по обвинению старались замять, но оно было настолько вопиющим, что ему пришлось все же дать ход. Но и после этого развернулась кампания запугивания потерпевших и нежелательных свидетелей из среды коренного населения — часто малограмотных и к тому же не знавших русского языка. Тут-то и проявились высокие моральные качества Ибрагимова. Как переводчик он вместе с Д. М. Граменицким и другими честными членами комиссии вопреки попыткам давления на них опросили 800 человек, чьи показания преопределили судьбу преступников, осужденных и сосланных в Сибирь.

В 1882 году Ибрагимов был «уволен по прошению от службы».

И все же в 1885 году его решили использовать на службе в Министерстве народного просвещения. Но и здесь возникло непредвиденное и непреодолимое препятствие. Вмешался влиятельный и авторитетный в правительственных кругах Н. И. Ильминский, который давно знал Ибрагимова.

Ильминский, воспитанник Казанской духовной академии, востоковед, знаток турецкого, арабского, персидского, татарского, казахского и других восточных языков, был видным деятелем царской администрации в сфере просвещения. Монархист по убеждению, страстный поборник православия, Ильминский являлся приверженцем идеи распространения начальной русской грамотности среди нерусских народов страны, что имело прогрессивный характер. В то же время его общественно-политической деятельности были присущи черты великодержавного мышления и крайне насто-

женное отношение к продвижению на ответственные посты представителей «инородцев». Поэтому Ильминский поспешил направить на имя всемогущего обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева решительные возражения против предполагаемого назначения Ибрагимова.

Отзыв Ильминского об Ибрагимове представляет для нас несомненный интерес. По словам Ильминского, Ибрагимов был известен ему «как отличный знаток азиатских языков и дельный дипломат, отлично знавший всю подноготную мусульманских стран, народов и правительств». Ибрагимов, по мнению Ильминского, как на ладони видит и знает всю совокупность мусульманского мира на всем лице земли; лично знаком со многими лицами и в России, и в Средней Азии, и в Индии, и в Киргизской (Казахской — Б. Л.) степи и т.д.... Владеет блестящим русским говором и изложением, идеями прогрессивными, даже, когда нужно, либеральными, обращением и манерами... совершенно светскими, смелостью и умелостью держать себя с достоинством... перед кем угодно.

Отличная характеристика! Казалось бы, не пожелать лучшей. Но в том-то и парадокс, что именно эти качества Ибрагимова встревожили Ильминского.

В том же послании Победоносцеву Ильминский не преминул подчеркнуть, что Ибрагимов это слишком «тонкий инструмент», и привлечение его к ведомству просвещения было бы «делом рискованным», ибо такой человек «наших мешковатых духовных может стусевать».

С циничной откровенностью писал Ильминский, что для органов царской власти было бы более подходящим иметь дело с такими «инородцами», которые бы «в русском разговоре путались и краснели, писали бы по-русски с порядочным количеством ошибок, трусили бы не только губернатора, но и мелкого столоначальника».

Так и не состоялось продвижение Ибрагимова по ведомству просвещения. Впрочем, его выдающиеся личные качества все же обратили на себя внимание, и в 1890 году он был назначен генеральным консулом вновь учрежденного Российского консульства в портовом городе Джидде (ныне Саудовская Аравия). На пути в Джидду Ибрагимов и скончался от холеры летом 1894 года.

«В Ташкенте,— сообщила газета «Туркестанские ведомости»,— получено грустное известие о смерти Ш. Ибрагимова... Кончина этого, сравнительно еще молодого, энергичного человека, на которого возлагалось столько надежд и мусульманами и русскими, произвело удручающее впечатление на всех, кто знал и искренне уважал его...»

Весьма колоритной фигурой был Саттархан Абдулгаффаров (Абдас-Саттарходжи). Он родился в Чимкенте, учился в ташкентской медресе «Шукур-хан» и в возрасте 20 лет был назначен в Чимкент муфтием. В то время царские войска заняли Чимкент (1864 г.). Как и большинство жителей города, Саттархан воспринял это с унынием и страхом.

По его собственному признанию, он «не сознавал (тогда) необходимости сближаться с русскими, хотя и видел постоянно русских в Чимкенте». Близкое знакомство молодого муфтия с артиллерийским офицером русской армии Еныкеевым, учившимся у него персидскому языку и в свою очередь обучавшим Саттархана русской грамоте, вызвало у последнего повышенный интерес к России и русскому народу.

Попытка Саттархана вмешаться в тяжбу по делу об опеке детей умершего чимкентца Рахим-бая в пользу сирот закончилась для него неудачно, вероятно, еще и потому, что «народ стал чуждаться меня,— вспоминал Саттархан,— за то, что я обращался за помощью к русскому судье». Вскоре он был отстранен от должности муфтия, однако спустя некоторое время был назначен чимкентским казием, но и в этой должности Саттархану было суждено пробыть всего девять месяцев.

Как говорил об этом сам Саттархан, он получил «немало огорчений... от влиятельных и богатых мусульман. Последние привыкли пользоваться услугами казия для того, чтобы держать в своей зависимости меньшую братию, и достигали этого большей частью за счет правосудия... Врагами моими были также фанатичные ишаны и ученые муллы. Они враждебно относились ко всему, что было чуждо для них по своей природе... и часто смущали простой народ».

Оставшись без работы, Саттархан подал прошение о назначении его учителем школы в Чимкенте. Просьбу его удовлетворили, и он стал преподавать мусульманскую грамоту. Спустя два года Саттархана перевели в Коканд на должность казия. Здесь он все более и более сближается с русскими людьми, читает произведения Л. Н. Толстого и других русских писателей, не скрывая своего свободолюбия. Это не могло не возбудить против него наиболее фанатичных и консервативных соотечественников.

Посещение Петербурга, Москвы и других русских городов произвело на Саттархана большое впечатление. В 1883 году, после переезда в Ташкент, Саттархан работает уже переводчиком «Туркестанской туземной газеты», затем репетитором-практикантом по узбекскому и персидскому языкам при Туркестанской учительской семинарии, переводчиком поземельно-податной комиссии при Сырдарьинском областном управлении.

По свидетельству современников, Саттархан «первый и единственный открыл лицо своей жене и ходил с ней к русским знакомым», устроил свою ташкентскую «квартиру

на европейский лад. Женский персонал (его семьи)... перестал закрывать лицо при посторонних; пища и одежда семьи также изменилась частично по русскому образцу...»

Известные нам свидетельства рисуют Саттархана как человека во многом передовых, прогрессивных взглядов, не утратившего связей с родным узбекским народом, любви к нему, живейшего сочувствия к его горестям и радостям.

Услугами и помощью Саттархана в качестве переводчика пользовались известные русские ученые. Так, «перевод и некоторые объяснения к переводу» песни о кокандском правителе Худоярхане, сложенной кокандцем муллою Садыком, были сделаны А. Н. Самойловичем (его слова) «при помощи Саттархана Абдулгаффарова, бывшего кокандского казия». Н. П. Остроумову Саттархан помогал также переводить на русский язык текст песни поэта Фурката о Худоярхане.

Известно и участие Саттархана в редактировании перевода на русский язык юридического трактата XII века по мусульманскому законоведению «Ал-Хидая». Зная хорошо арабский язык, Саттархан сумел передать по-русски сложные обороты подлинника.

В 1884 году он перевел на узбекский язык рукопись востоковеда Н. Ф. Петровского «Необходимые для торговцев мусульман сведения о статьях (правилах товарооборота) Договора России с Китаем».

Перу Саттархана как историка-краеведа принадлежат «Краткий очерк внутреннего состояния Кокандского ханства», весьма высоко оценивавшийся учеными. Известны также его статьи: «Овладение знаниями», «Заметки о народном самоуправлении и ишанах в Туркестане», «Мусульманские ишаны». По словам одного из современников, статья об ишанах представляла, «вероятно, единственный в своем роде труд, критикующий установившиеся веками отношения между народной массой и ее религиозными руководителями».

В 1876 году в Петербурге в актовом зале университета состоялся III Международный съезд (конгресс) ориенталистов, в котором участвовали выдающиеся отечественные и зарубежные востоковеды того времени. Комитет по его устройству сообщал, что «на первом плане в занятиях конгресса будут Сибирь, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия» как страны Востока, недостаточно известные Западной Европе. В дни работы съезда его участники познакомились с экспонатами выставок, в том числе посвященной прошлому и настоящему народов Средней Азии, их жизни и быту.

По инициативе виднейших востоковедов России (В. П. Васильева, В. В. Вельяминова-Зернова, В. В. Григорьева, В. Р. Розена, П. И. Лерха, В. Г. Тизенгаузена) на съезд были приглашены представители коренного населения Туркестанского края (узбеки, киргизы, казахи и другие). Фактически главой делегации стал Саттархан. Именно ему было поручено выступить на одном из последних заседаний съезда от имени туркестанской делегации.

Краткая, но образная и взволнованная речь Саттархана понравилась участникам съезда. По его словам, он «затруднялся выбрать предмет для своей речи», но, «подумав о цели съездовских заседаний», решил сказать несколько слов о необходимости преодолеть обособленную жизнь туркестанских мусульман в отчуждении от европейских народов. «Теперь же,— говорил на съезде Саттархан,— мы, при посредстве русского народа, можем вступить в общение с европейскими народами и сделаемся, таким образом, участниками общечеловеческой жизни и научного прогресса».

К выступлению Саттархана присоединился виднейший русский востоковед В. В. Григорьев, выразивший надежду, что «туркестанское население присоединится к общей жизни человечества». Известный финский ученый Вильгельм Лагус тоже высказал пожелание, «чтобы Восток и Запад находились в постоянном сближении между собой».

По возвращении в Ташкент Саттархан писал: «Мне было удивительно и приятно видеть, как наука сближает людей разных племен и разных вер... Во время заседаний съезда я много думал о том, как образованные народы заботятся о науках и общими силами стремятся к увеличению и к распространению их между всеми народами. Я своими глазами увидел теперь ученых людей разных стран и узнал, что эти ученые действительно имели основательные познания в истории и языках восточных народов... Свои знания европейские ученые не оставляют при себе только, а печатают их для общего сведения».

О том, что выступление Саттархана произвело большое впечатление на всех, свидетельствует письмо крупного востоковеда профессора В. Д. Смирнова, который спустя десять лет писал в Ташкент, что восточный факультет Петербургского университета нуждается в лекторе-преподавателе среднеазиатского (тюркского) наречия, и высказывал желание, чтобы им стал Саттархан — «тот самый, что был на конгрессе ориенталистов, красивый и очень толковый узбек».

В конце 1883 года в Ташкенте состоялось совещание учителей городских училищ Туркестанского края, обсудившее среди других вопросов возможность обучения в русских школах детей местных национальностей. Единственным представителем коренно-

го населения края на этом совещании был Саттархан. В своем ярком, убедительном выступлении он сказал, что притоку детей «туземцев» в русские школы препятствует религиозное недоверие, вековые предрассудки, и рекомендовал «допущение в русские школы мусульманина с возложением на него обязанности обучения детей туземному языку (смотря по местности) и первым началам мусульманской религии», чтобы сломить стену отчуждения местного населения от русской школы.

Саттархану яростно возражали питомцы Казанской духовной академии, ретрограды и монархисты Миропиев и Софийский, ссылавшиеся на то, что закон «воспрещает преподавание мусульманской религии и мусульманской грамоты в правительственных инородческих школах Туркестанского края».

Достоинным был спокойный, убедительный и смелый по тем временам ответ Саттархана. «От проявлений религиозной нетерпимости,— сказал он,— не свободно ни одно вероучение, но эта нетерпимость встречается в наши дни разве только в наиболее темных и фанатичных слоях населения, и это не может служить доводом против предложения».

В 1893 году Саттархан вернулся в Чимкент, где был казием, а в 1899 году вновь стал жителем Ташкента.

В 1938 году в Чимкенте нашли надгробную мраморную плиту, установленную на могиле Саттархана. Искусно выполненная резчиком надпись на ней заинтересовала выдающегося советского востоковеда академика И. Ю. Крачковского и его жену профессора В. А. Крачковскую. Надпись была издана в их переводе с арабского на русский. Она, в частности, сообщает, что Саттархан скончался в 57-летнем возрасте в 1902 году.

Теперь мы подходим к одному из волнующих открытий мирового значения. Это обнаружение остатков знаменитой обсерватории Улугбека в Самарканде. Раскопки проводил известный археолог-краевед В. Л. Вяткин в 1908 и 1909 годах.

Выбору места раскопок предшествовали длительные изыскания Вяткина и его добровольных помощников — энтузиастов науки. Они изучали старинные восточные рукописи, тексты народных легенд и преданий. Тщательный осмотр мест, которые с наибольшей долей вероятности могли быть использованы в свое время для строительства обсерватории, опросы старожилов города и его окрестностей также способствовали успеху.

Энергичное участие в этих мероприятиях принимал самаркандец Абу Саид Махзум. Биографические данные о нем скупы и отрывочны. Достоверно известно лишь, что он был сыном мудариса (преподавателя) в медресе Шейбанихана и сам имел духовное образование. Его интерес к познанию истории родного города, осведомленность во всем, что касалось архитектурных памятников средневекового Самарканда, не замедлили обратить на себя внимание известного востоковеда Н. И. Веселовского, посетившего Самарканд и осуществлявшего здесь археологические рекогносцировки и раскопки в 1884—1885 и 1895 годах.

Их знакомству содействовало и то, что Абу Саид Махзум был усердным собирателем старинных восточных рукописей и замечательным каллиграфом, хорошо владевшим арабской письменностью, что помогало ему успешно снимать в натуральную величину копии с весьма трудных для прочтения настенных и надмогильных надписей из Гур-Эмира и других историко-архитектурных памятников Самарканда.

Между Веселовским и Абу Саидом Махзумом установились дружественные и взаимопочтительные отношения. В 1896 году Абу Саид преподнес в дар Веселовскому любовно и искусно изготовленную копию рукописного труда Абу Тахир ибн Кази Абу Саид Самарканди «Самарийа» (60-е годы XIX века). Труд этот содержал ценнейшие для ученых данные к историко-топографическому описанию Самарканда, его округи и их историко-архитектурных памятников. «Эта книга,— гласила дарственная надпись Абу Саида,— сладостью превосходящая сахар, в подарок Вам из Самарканда пришла. В ней собраны все следы и признаки времен, и в действительности, как посмотришь, весь Самарканд к Вам прибыл».

Полученный от Абу Саида таджикский текст рукописи Н. И. Веселовский издал в 1904 году в Петербурге со своим предисловием. В нем отмечалось, что Мирза Абу Саид Махзум «один из самых начитанных в мусульманской литературе» жителей Самарканда.

В первую очередь именно благодаря этому качеству Абу Саид Махзум стал одним из ближайших и наиболее полезных соратников В. Л. Вяткина в его поисках места нахождения обсерватории Улугбека, тем более, что знание письменных источников сочеталось у Абу Саида с прекрасным знанием исторической топографии Самарканда. Вяткин не раз консультировался у Абу Саида по поводу неясных или спорных мест в текстах восточных рукописей, в частности вакфных документов, содержавших подробные описания отдельных местностей Самарканда. По словам самого Вяткина, «Абу Саид стал моим неизменным ученым советником и оказывает (мне) немалую помощь с редким усердием и бескорыстием». В 1902 году Вяткин познакомил с Абу Саидом



Махзумом приехавшего в Самарканд крупнейшего востоковеда страны В. В. Бартольда. С помощью Абу Саида («одного из обитателей медресе Тилля-Кари») он приобрел для Азиатского музея в Петербурге старинные документы «от султана Шахруха до последних Шейбанидов». С тех пор имя Абу Саида стало фигурировать в переписке Вяткина с Бартольдом («наш Абу Саид», «известный Вам Абу Саид», — писал Вяткин).

Тем временем Вяткин и его сподвижники шаг за шагом приближались к разгадке тайны обсерватории Улугбека. Абу Саиду принадлежало здесь особое место. «Его заинтересованность, — отмечал Вяткин, — достойна похвалы... Он стал моей второй тенью».

И вот долгожданный итог! В одном из документов середины XVII века было встречено упоминание о пункте «Тал-и-расад» («Холм обсерватории») в местности Накши-Джахан у арыка (Оби-Рахмат), существующего и поныне у холма, известного в народе под названием «По-и-расад» («Подножье обсерватории»). Раскопки здесь привели к уходящей в скалистую толщу высеченной узкой щели с огромным секстантом — главным инструментом обсерватории, служившим для визуального наблюдения светил и определения основных постоянных астрономических величин. Это уникальная находка наиболее старого из всех известных науке подобных инструментов, употребленных астрономами средних веков.

Заслуги Абу Саида Махзума перед востоковедением были признаны Русским комитетом для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношении — одним из постоянных центров Международного союза для изучения Средней и Восточной Азии, учрежденных XII конгрессом ориенталистов в Риме 14 октября 1899 года.

В. В. Бартольд имел честь ходатайствовать перед комитетом о выдаче вознаграждения в сумме ста рублей самаркандцу Абу Саиду, деятельному сотруднику В. Л. Вяткина. «Сведения, сообщенные В. Л. Вяткиным, показывают, что помощь Абу Саида была для него очень ценна как при установлении места обсерватории Улугбека, так и при производстве раскопок».

В заседании 11 февраля 1909 года Русский комитет единогласно постановил удовлетворить ходатайство В. В. Бартольда.

После уже известного нам награждения в 1887 году ташкентского собирателя древностей Акрама Аскарва медалью Русского археологического общества это был второй случай признания заслуг перед наукой представителя коренного населения Туркестана.

Ненадолго пережил Абу Саид Махзум открытие остатков обсерватории Улугбека. Уже будучи тяжело больным, с трудом передвигавшимся человеком, он все еще посещал места ведущихся в Самарканде раскопок. «Весной (1910 года) на раскопки цитадели (городища Афрасиаб) Абу Саид раза два-три приезжал... но был уже крайне плох», — писал Вяткин Бартольду. А в письме от 10 декабря 1910 года он сообщил: «Умер Абу Саид».

Краеоведам Душанбе и Ленинабада мы обязаны тем, что в наши дни стало известным незаслуженно забытое имя еще одного поборника науки и просвещения в Средней Азии — Ходжи Юсуфа Мирфаязова. Уроженец Ходжента (родился в 1842 году), сын владельца шелкомотальной мастерской, он с юных лет стал обращать на себя внимание любознательностью, глубоким интересом к истории и жизни народов стран Востока. Ему было 12 лет, когда во время паломничества в Мекку скончался его отец. В поисках могилы отца Юсуф совершил в составе торгового каравана свое первое путешествие в далекую Аравию. Здесь он настолько увлекся жизнью, бытом, культурой населения Аравии и окружающих ее стран, что вернулся на родину лишь восемь лет спустя. За это время он объездил крупнейшие города зарубежного Востока, изучил арабский и греческий языки, обрел знания у ученых-астрономов. На родине он продолжал штудировать географические и медицинские трактаты Ибн Сины и других выдающихся ученых и мыслителей средних веков. К нему льнули его сверстники и представители младшего и старшего поколений. Увлечательный рассказчик, он знакомил их с началами светских знаний, прививал любовь к истории родного края.

В середине 70-х годов XIX века Ходжа Юсуф ездил в Москву, Петербург и другие города России. Через Одессу он выехал в Турцию. Затем посетил Сирию, Испанию, Марокко, Францию, Италию, Грецию и другие страны. Работал в крупнейших библиотеках Стамбула, Каира, Парижа, Рима.

Все это сделало Ходжу Юсуфа человеком высокообразованным. В Ходженте он сблизился с представителями русской интеллигенции, овладел русским языком.

Его дом стал местом встречи приезжих и местных ученых, поэтов, писателей, музыкантов. Умело сочетая начала народной и новейшей научной медицины, он совместно с русскими врачами Козловым и Моисеевским успешно лечил страдающих кожными и другими болезнями. Имя его было известно в Ходженте, Бухаре, Самарканде, Фергане.

По приглашению русских ученых Ходжа Юсуф участвовал в Ойдынкульской

естественно-научной экспедиции. В 1886 году Ходжа Юсуф был приглашен участвовать в Туркестанской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. На выставке демонстрировался, привлекая всеобщее внимание, изготовленный Ходжой Юсуфом с помощью друзей уникальный глобус, предназначенный для учебных заведений. Глобус этот (хранящийся ныне в Республиканском музее истории культуры и искусства Узбекской ССР в Самарканде) был искусно и любовно сделан с использованием опилок тутовника и арчи. На нем воспроизводились очертания материков, океанов и морей, горных хребтов, различных стран и т.п. Их названия наносились черной и красной тушью арабским алфавитом.

Ходжа Юсуф не был чужд поэзии, литературы; под псевдонимами «Ходжа» и «Хайати» писал стихи на узбекском и таджикском языках. А за несколько лет до смерти завершил трактат «Фалакиёт» («Космография»), оставшийся неизданным и до сих пор не найденным.

Добрую память оставил Ходжа Юсуф и своей многолетней деятельностью в качестве мираба. По его планам и под его наблюдением возводилась плотина на реке Ходжабакирган, была усовершенствована система распределения воды на каналах Кала и Раззок, действующая до настоящего времени. Из-за острого недостатка воды, особенно в засушливые годы, гибли посевы в Костакозе, Катагане, Испитаре и других местностях Ферганской долины. И здесь были полезными предложения Ходжи Юсуфа по устройству системы использования вод, стекающих с горы Кистишар. Авторитет Ходжи Юсуфа был высок и среди русских ученых-ирригаторов. При их поддержке Ходжа Юсуф был удостоен различных наград и поощрений. Свою деятельность в ирригации Ходжентского уезда Ходжа Юсуф продолжал и в первые годы Советской власти. Незадолго до смерти (в 1924 году) Ходжа Юсуф завещал своим детям отдать его дом под школу, что и было исполнено.

«Подвижники нужны, как солнце». Эти слова А. П. Чехова можно отнести и к тем замечательным личностям, о которых мы рассказали. Память о них не должна кануть в Лету. Поиски материалов для более полной характеристики их жизни и деятельности, а также о других подвижниках науки, следует продолжать. Так, исследователей манят остающиеся почти не известными биографии таких представителей нарождавшейся узбекской интеллигенции, как Мирза Барат Касым — замечательный каллиграф и рисовальщик, обитатель одной из худжр самаркандского медресе Ширдор Мухаммед-Бак-Ходжа. Тот, который, по свидетельству академика А. Н. Самойловича, «живо интересовался русской литературой, состоял в переписке с рядом востоковедов, охотно оказывал им содействие во время посещения ими столицы Тимура» и настолько хорошо овладел русским языком, что был знаком с философскими сочинениями В. С. Соловьева, и оставил после себя рукопись брошюры по женскому вопросу, написанной с позиций прогрессивно мыслящего человека.

Как писал выдающийся ученый нашего времени академик Игнатий Юлианович Крачковский, так много сделавший для увековечения памяти востоковедов прошлого, надо верить и надеяться, что еще многие «тени отошедших когда-нибудь да осветятся мягким лучом воспоминаний».



Владимир Васильев

## «КАКИМ СУДОМ СУДИТЕ...»

«И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?»

Евангелие от Матфея, 7. 3

### 1. ИСКУШЕНИЕ БЕЗ НУЖДЫ

Опубликовав в 10-м номере «Звезды Востока» за 1988 г. свои размышления по поводу двух почти одновременно вышедших в наших журналах антиутопий «Игрек-минус» Г. В. Франке («Знамя» №№ 4, 5, 1986 г.) и «Боги в изгнании» Ю. И. Слащанина («Звезда Востока» №№ 10—12, 1986 г.), я наивно полагал, что неиссякающий поток журнальных и книжных публикаций не позволит мне вернуться к этим произведениям вторично. Но, нацелившись на Коран в первом номере «Звезды Востока» 1990 года, я все же заглянул в родную рубрику «Литературная критика» и, заметив в строчках имя Юрия Слащанина, насторожился. Очень уже странный факт запазданной реакции «заинтересованного читателя» (так значится в подзаголовке) на публикацию четырехлетней давности. Впрочем, разговор идет о книжной публикации романа Ю. Слащанина «Боги в изгнании» (изд. «Еш гвардия», 1988 г.).

А. Вулис — прочитал я имя автора. Что-то знакомое. И судя по публикации, роман Ю. Слащанина дочитал до конца не только я, но и мой неожиданный оппонент, которому поначалу я искренне обрадовался — все-таки интересно сопоставить свое читательское мнение с мнением профессионала. Порадовался я и за журналом, проявивший свой плюрализм. Но, как показало внимательное чтение, радость была преждевременна.

Чем же умудрился обмануть мои заинтересованные ожидания опытный литературный критик? Чем он ввел меня во искушение вступить с ним в полемику?

### 2. НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ...

Не будут томить Уважаемого Читателя игрой в критический детектив, шитый белыми нитками, признаюсь сразу: взяться за перо вынудила меня по за критика, вещающего истины в конечной инстанции с собственноручно изготовленного пьедестала копошащемуся где-то у подножия автору вкуче с еле различимым с интеллектуальной высоты читателем.

Аллергия у меня к подобным позам! Так что приходится предпринимать антиаллергические действия...

Подчиняясь мнению моего оппонента, утверждающего явный приоритет детективного способа мышления над иными свойственными человечеству способами, вынужден начать литературное следствие.

Зададимся вопросом: а что, собственно, произошло?

Из первых же строк анализируемой статьи суть дела становится совершенно ясной: автор романа «Боги в изгнании» Ю. Слащанин, прислав А. Вулису свой роман, обвинил его в задержке издания романа на десять лет. Задержка обусловлена отрицательной рецензией А. Вулиса, сделанной по просьбе журнала «Звезда Востока».

В принципе — заурядный факт внутренних взаимоотношений автора и критика. И странно, что критик решил сделать этот факт достоянием общестественности. Что побудило его к этому? Потребность оправдаться? Значит, наблюдается комплекс вины... Или же побудительным мотивом было оскорбленное самолюбие, дескать, как это кто-то посмел усомниться в его профессиональной компетентности? Наглеца следует в назидание отшлепать критическим прутиком и поставить на место. Или же перед нами бескорыстный искатель Истины!..

Вряд ли наше детективное расследование позволит дать определенный ответ на эти вопросы.

Да он и не нужен. Все-таки главная задача критики, на мой взгляд, — понять автора, а не вынести ему приговор. Хотя, увы, наша литературная действительность убедительно демонстрирует, сколь далек мой взгляд от общепринятого.

Исходя из презумпции невиновности, я готов поверить, что единственным мотивом произведения А. Вулиса был бескорыстный поиск Истины. Но мне мешает сам А. Вулис. Во-первых, прямая нацеленность на доказательство собственной правоты десятилетней давности, что с лобовой прямоотой звучит и в финале статьи: «...на вопрос: «Представляет ли интерес для читателя этот роман?» — критик ответил бы сегодня с прежней — нет, даже с большей — определенностью: «Увы!»

(Замечу в скобках, что за эти десять лет, судя по цитате, критик еще больше утвердился в своем праве казнить и миловать, то есть допускать к Читателю произведение или нет, не задумываясь о том, что Читатель вовсе не уполномочивал его на этот суд. Не желая осознавать, что присвоение подобного права есть индивидуальное проявление всеобщего тоталитаризма, когда один решает за многих без их согласия. И что это явление — трагедия нашей литературы, в которой произведения опаздывают на десятилетия, а десятилетия же задерживаются восхождение Коллективного Разума общества из бездн духовного инферно.)

Во-вторых, мешает мне поверить в стремление критика к истине его неискренность. Попытка держать Читателя за дурачка. Осознавая тяжесть этого обвинения, попробую его обосновать.

Итак, Читатель помнит, что весь сыр-бор разгорелся из-за отрицательной рецензии А. Вулиса. Что ж, каждый рецензент имеет право на собственное мнение. Но позвольте усомниться в невинности уважаемого критика, которую он пытается продемонстрировать прямо-таки с девической непосредственностью: «Неужели рецензия одного-единственного критика может столь роковым образом повлиять на судьбу талантливого (или просто «нормального») произведения?» Отлично зная, что может! Одна-единственная. Для того и содержится армия литконсультантов, рецензентов и иных околотитратурных коллег апостола Петра, служащего вахтером у райских ворот. Даже не рецензия, а одна фраза, одно слово, одна усмешка могут в наших условиях решить судьбу произведения. Впрочем, видимо, не только в наших. Но высшего уровня монополизация прав на истину достигает именно в тоталитарном государстве, один из вариантов которого, кстати, смоделировал в романе Ю. Славцинин, экстраполировав некоторые тенденции общества «реального социализма» в вероятное будущее.

Однако читаем в доводы А. Вулиса: «Помнится, в самый разгар застоя предстал читателю во всем своем блеске булгаковский «Мастер»...» Что ж, воспользовавшись случаем, выразим А. Вулису искреннюю признательность за то, что он способствовал публикации этого великого произведения! Но, зная все тонкости этого исторического действия, он мог бы поведать неискушенному Читателю тайны многоходовой комбинации, одним из ходов которой была первая публикация «Мастера и Маргариты» за рубежом, приведшей наконец к выходу романа в журнале «Москва». Но статья посвящена не М. Булгакову, а Ю. Славцинину, поэтому Читатель остается в неведении.

Только удачный ли пример выбран А. Вулисом

в назидание нерасторопному автору? Да, «Мастера» опубликовали, но после двадцатипятилетнего запрета на него. А ведь тоже были в свое время рецензии с соответствующим приговором: «Советскому народу такие «Мастера» не нужны»; критические разносы — недаром же Маргарита критиковала «критические» апартаменты... Может быть, А. Вулис хотел сказать, что вот гениальный М. А. Булгаков смог пробиться к Читателю в разгар застоя, а Ю. Славцинин не смог — значит, он явно не гениален. Только ведь и В. Гроссман не смог, и А. Платонов не смог, и Е. Замятин не смог, и Оруэлл не смог, и Солженицын, закаленный в сталинских лагерях, не смог... Да и сам Михаил Афанасьевич при жизни не смог, а только после смерти... Что ж, неисповедимы пути политической конъюнктуры.

То есть, если пробивная сила как-то и скоррелирована с талантом, то, несомненно, со знаком «минус».

Призывает А. Вулис на помощь и Ф. Абрамова, и Б. Можяева. «И фантасты, — отдает должное критик, — сумели поведать нашему обществу не одну и не две горькие притчи: и Ефремов, и Стругацкие, и многие другие». На счет безымянных «многих» сказать что-либо затруднительно, а вот о Ефремове и Стругацких давайте поговорим, ибо в этом случае мы оказываемся на родной для предмета нашего разговора почве фантастики.

Итак, Иван Антонович Ефремов. Флагман мирового масштаба в нашей фантастике. Имя, которое не следовало бы упоминать всуе, а если уж упоминать, то со знанием предмета, чего А. Вулис, рисуя благозвучную святочную картину «перелода застоя», когда талантливые произведения все же пробивались в печать, увы, не демонстрирует, или сознательно умалчивает часть информации, чтобы не смазать святочную благодать. Информация же, подвергнутая умолчанию, заключается в том, что сразу после выхода романа И. А. Ефремова «Час Быка», где осознание автором глубочайшего инферно современного ему бытия получило четкую философскую разработку (глубин которой я попытался коснуться в статье «Ни шага вниз» в кн. «Листья времени», М., «Молодая гвардия», 1989 г.), наша родная инфернальная идеологическая система злаязгала своими циклопическими маховиками и шестернями, стремясь уничтожить разгадавшего ее основополагающие принципы и провозгласившего необходимость уничтожения олигархии «муравьиного лжесоциализма». Как пишет Ю. М. Медведев в послесловии к первому полному изданию романа «Час Быка» (М., изд. МПИ, 1988 г.), осуществленному после пятнадцатилетнего злобно-го умолчания: «В ход пошли дикие вымыслы, обвинения в антисоветизме, антигуманизме и всех других анти — ... Замечательному ученому, флагману мировой фантастики пришлось отвечать на унижительные вопросы особ, обладавших в ту пору правом карать и миловать. Соответственно, этот хор сопровождал писателя до самой смерти. После кончины Ивана Антоновича поползли по столице искусно сфабрикованные слухи: он-де вывез из своих экспедиций полторы тонны золота! Груды алмазов! да и вообще это не т о т Ефремов: того подменили в Монголии на английского шпиона... исчез из библиотек роман «Час Быка», затем запретили даже упоминать это словосочетание... В 1974 году на XX сессии Всесоюзного палеонтологического общества, посвященной целиком тафнонимии, имени ее основателя даже не упомянули — ни устно, ни письменно...»

А. Вулис прав в единственном — да, Ивану Антоновичу Ефремову удалось опубликовать «Час Быка», но благодаря чему? Благодаря своей мировой славе автора крупнейшей коммунистической утопии «Туманность Андромеды», видимо, усыпившей бдительность бюрократов, — тем яростней оказалось их запоздалая злоба.

Почему я об этом пишу столь подробно? Да потому, что все это происходило именно в то время — десять лет тому назад, когда А. Вулис написал безобидную, по его утверждению, рецензию на произведение Ю. Слащинуна, очень близкое по жанру к «Часу Быка», то есть к жанру антиутопии в популярном его понимании, глубже которого уважаемый критик в статье и не проникает, объявляя практическую идентичность антиутопии и романа-предупреждения. Но теоретические разногласия мы рассмотрим чуть позже. Здесь же напомним, что разговор идет о времени, когда антиутопия могла быть исключительно только «буржуазной, антисоциалистической и антисоветской». Не будем кривить душой — таковой она и была относительно «реального социализма» сталинско-маоистского или брежневско-сусловского толкования. Да что говорить о «том времени» — давайте откроем «Литературный энциклопедический словарь» издания 1987 года, то есть третьего года перестройки, и прочитаем в статье «антиутопия»: «После Великого Октября... А. берет на вооружение враждебное социализму и коммунизму либерально-буржуазное сознание... А. порою становится орудием антисоциалистической пропаганды: книги Дж. Оруэлла «1984»...» Вот так...

Не будем пока говорить о художественных достоинствах и недостатках романа «Боги в изгнании», на которые критик совершенно не случайно переносит центр тяжести своего анализа, ибо ко времени написания романа и, соответственно, злополучной рецензии криминально было не отсутствие художественных достоинств, а сам жанр произведения был «вне закона», и за отсутствие бдительности мог пострадать не только автор — ему сам Бог велел страдать, чтобы впредь неповадно было такое писать, — но и редактор, и рецензент. Ведь это же банальная реальность тех лет, почему же критик умалчивает о ней? Чтобы не было оснований обвинить его в отсутствии героизма? Излишняя осторожность — требовать героизма от обычного человека, некорректно — герои долго не живут и уж, во всяком случае, не процветают. Типичные же личности, представляющие большинство, вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам. И это естественно — так социум обеспечивает свой гомеостаз. Конечно, по-человечески понятно стремление быть или хотя бы казаться выше среднего, но...

Может быть, братья Стругацкие все же помогут А. Вулису заклеить непробивного Ю. Слащинуна — недаром же он призывает их на помощь? Увы, в 1967 году А. Н. и Б. Н. Стругацкие заканчивают повесть «Гадкие лебеди», только в 1987 году опубликованную в журнале «Даугава» (№№ 2—7) под названием «Время дождя». Но тогда, в «разгар застоя», в районе 70-х, рукопись предлагалась «Звезде Востока» и... была отвергнута. Я не знаю, кто писал рецензию на «Гадких лебедей», это и не принципиально. Принципиально то, что общими усилиями рецензентов и бюрократов выход повести задержан на двадцать лет. Это те самые «неприятности, включая брюзжание критики», которые допускает А. Вулис, считая, что «пост вершителя

литературных биографий... — слишком большая честь для критики?»

Скромность — это, конечно, похвально, но не в поисках истины. Не каждый из литераторов достаивался высокого внимания Сталина, как Булгаков и Платонов; Жданова, как Зощенко и Ахматова; Хрущева и Суслова, как Гроссман. Для широких писательских масс существовали свои мини-ждановы и чуть-чуть-сусловы и проходили они именно по цеху критики, четко державшей ушки на макушке. Конечно, на каждый конкретный случай прямых указаний не было — на всех не напасешься. Но дрессированный «внутренний цензор» критика всегда был на чеку, четко определяя: пойдет — не пойдет, то есть вызовет высочайший гнев или нет. Это нормальная картина литературной жизни тоталитарного общества, порождающего в каждом из своих членов тоталитарное сознание добровольного раба-надсмотрщика.

Почему же критик, прошедший огонь, воду и медные трубы этого периода, скромно умолчал о реалиях его? Неуместно? Возможно. Но тогда не будем упоминать об Истине.

Недостаточно убедительный пример со Стругацкими? Пожалуйста, еще: «Сказка о тройке», «Улитка на склоне», «Град обреченный». Все тот же «разгар застоя». И почему это Аркадий Натанович, обидевшись на провинциальную «Звезду Востока», как москвич «не воспользовался помощью «Нового мира» или «Юности», почему не обратился в «Художественную литературу», «Молодую гвардию», «Советский писатель»..., а Борис Натанович как ленинградец не обратился в «Неву», «Звезду», «Аврору»? «За десять-то (пятнадцать, двадцать, двадцать пять — В. В.) лет, надеюсь, можно было найти другого издателя?»

Ай-яй-яй, товарищи Стругацкие, и почему вы вместо этого воспользовались услугами Самиздата? Ведь там же нет рецензентов, критиков, то бишь цензоров! Как же без них в литературе?!

Все можно понять, но зачем же издаться над молодым и неизвестным автором (каким был Ю. Слащинуна десять лет тому), а заодно и над тысячами ему подобных? Неужели такой опытный литературный волк, как А. Вулис, не знает, что вероятность пробиться в печать «самотеком» для неизвестного автора исчезающе мала? Зачем вывешивать простыни, облитые красными чернилами?.. Читатель может извинить бездарность, но лжи он не прощает...

Скажите, уважаемый товарищ критик, как я могу теперь относиться к вашим литературно-теоретическим кружевам, после такого вступления, которое вы предпослали им в своих «размышлениях»? Правильно: мягко говоря, с недоверием. И в этом ваш профессиональный просчет. Если бы вы сразу начали с теории, я не успел бы насторожиться... А теперь будем бдительны...

### 3. «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?»

Уважаемому Читателю, конечно же, с первых строк размышлений А. Вулиса ясно, что цель данной статьи — доказать, что роман Ю. Слащинуна «Боги в изгнании» — это плохо. Таким образом, уважаемый критик сразу и неосторожно нарушает каноны столь уважаемого им детектива — нам сразу ясно и «кто это сделал?» и «зачем он это сделал?», но поучать всегда легче, чем продемонстрировать личное мастерство.

Однако критик по ходу дела объясняет нам, что такое хорошо, а это уже интересно. Вот мы и намерены дальше двигаться между «хорошо» и «плохо», как между Сциллой и Харибдой — будет на то воля богов, минуем бурные воды непонимания и острые скалы лжеистин. В путь!..

Ознакомимся сначала с обвинительным заключением критика, собрав воедино его пункты, небрежно разбросанные по обширным страницам:

1. «Возможно, «Боги в изгнании» — тоже чудо. Но чтобы пробиться к этой истине, надо преодолеть серьезный лингвистический барьер... Не правда ли, ощущается потребность в русско-фантастическом словаре?.. Роман Слащинина в конечном счете оставляет нас со странным чувством, будто писатель хотел загадать будущим поколениям многостраничную загадку в машиностроительной (электронно-вычислительной и проч.) системе письмен».

2. «Некритическое отношение к современным техническим энциклопедиям».

3. «Любая фраза романа, даже случайная, свидетельствует о нарочитости, надуманности, «навязанности» научно-фантастического маскарада. То есть роман как бы существует сам по себе, а его форма существует независимо от него, в виде некоего, что ли, приложеника».

4. «Великолепная ирония, окрашивающая собой те «старые» (Замятин, Хаксли, Оруэлл — В. В.) произведения, подменяется в нашем случае любовным натиском прямых аналогий... иносказание получает буквалистскую — и даже просто буквальную — трактовку... Отмыть метафорические краски не стоит труда, полагаю, даже школьнику».

5. «Если шекспировские или пушкинские, толстовские, чеховские (каков ряд, однако — В. В.) образы — образы, то герои «Богов в изгнании» принадлежат к другой категории идеологических явлений».

6. «Главный недостаток (внимание! — В. В.) романа «Боги в изгнании» — не приключенческая его природа (это я счел бы скорее достоинством), а половинчатость автора в использовании приключенческих возможностей и тенденций. Взглянул за гуж, не говори, что не дюж, ступил на авантюрную стезю, уйми свои менторские амбиции...»

7. «Маловато в «Богам» тайны... Чуть ли не с самого начала читателю ясно, что произойдет дальше... Не то что тайне, даже элементарной неизвестности иной раз негде у Слащинина приткнуться».

И, наконец, далее следует цитированный выше приговор: «Увы!», как последний гвоздь в крышку гроба. Но это кажется мало критику, и он продолжает: «Я бы выстроил иерархию упущенных возможностей, начиная от общелитературных, общечеловеческих, от тайны, игры, и кончая технологией, приемом, словом». Это, между прочим, и могло бы составить предмет интересной работы, но «бы», как ему и положено, помешало, и мы вынуждены говорить об упущенных критиком возможностях приблизиться к Истине и продемонстрировать ее Читателю. Увы!

И самый последний гвоздь: «Боги в изгнании» — роман-констатация. Даже в годы своего создания... он был романом-констатацией. В пору перестройки — это роман-анахронизм».

Итак, Уважаемый Читатель может воочию убедиться, что список обвинений весьма внушительен. Автор должен бы быть уничтожен одним видом обвинительного заключения. Но, слава Праву, суд принимает во внимание только

обвинения, подкрепленные доказательствами. Справился ли с этим обвинитель?

Каждый читатель «размышлений» А. Вулиса имеет право сделать собственный вывод по этому вопросу. Позволю себе, как один из многих, высказать свое мнение и я.

Во-первых, о «русско-фантастическом словаре», который рекомендует А. Вулис читателю с доверительным «Не правда ли?..»

Не правда, уважаемый критик. Называть словесные игры О. Слащинина «шифровкой» примерно то же, что называть женский макияж штукатуркой. И разница здесь принципиальная: если штукатурка скрывает недостатки, то макияж выявляет достоинства. К тому же штукатурка — технология, а макияж — искусство, игра, в которую интересно играть и мужчинам и женщинам. Так и Ю. Слащинин играет с читателем в «инжеров», «фаронов», «цузаров», «кселенов». Это тоже детективный прием, но уже на уровне слова, так сказать, лингвистический детектив. Если он неинтересен какому-либо читателю, то ради Бога, пусть он отложит роман в сторону, как я откладываю 99 процентов детективов, не содержащих в себе словесной игры и социально-психологической идеи.

Впрочем, как «не Ю. Слащинин придумал научную фантастику», так не он первым начал в антиутопии словесную игру. Цитирую: «Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром лхнувх... Не знаю, стоит ли отметить, что в языке гуингмов нет слов, выражающих что-либо, относящееся ко злу, исключая тех, что обозначают уродливые черты или дурные качества еху... А именно: гхм еху, гвнагольм еху, инлхмनावилма еху, а плохо построенный дом называют инголмгнрогльв еху...»

Не сие ли есть «забубенно-тарабарская фантастика, в хитросплетениях которой сам черт ногу сломит», по определению А. Вулиса?.. Но нет, на Джонатана Свифта уважаемый критик вряд ли посмел бы замахнуться, скорей всего, попытался бы понять сам и объяснить неискушенному читателю, зачем классику понадобился этот тарабарский, точнее, гуингмовский язык.

Но оставим бессмертных в покое, вернемся к «Богам в изгнании». И зададимся вопросом: оправдана ли лингвистическая игра в романе, а если оправдана, то чем?

Оправдание же этой игры, на мой взгляд, в изменении реальности или, как любят писать фантасты, — пространственно-временного континуума относительно нашего времени с присущим ему привычным нам словарем. Да, зерна этой реальности порождены бытием «реального социализма», но плоды, которые предлагает вкусить Читателю автор «Богов в изгнании», серьезно отличаются от зерен. Да, в «фараонах» легко угадываются «фараоны», но общность это только функциональная, а не сущностная. И в «инже-рах» можно угадать инженеров, но социальная роль «инжеров» столь же отлична от роли инженеров, как роль раба-умельца отличается от роли свободного ремесленника или наемного специалиста в буржуазном обществе. Изменению социальной роли соответствует изменение словесного обозначения. Для литературного произведения такие лингвистические нюансы принципиально важны. Жаль, что этого не понимает, или делает вид, что не понимает, уважаемый критик. А вместо этого иронизирует над возрастным окончанием «па»: Тадоль-па, пытаюсь перевести его с французского или русского, для которых оно не характерно, и не замечаю более

органичного для Ю. Слащинуна узбекского: Рахман-бобо, Хахим-ака, Арофат-апа. Но это, пожалуй, простительно для критика, не знакомого с узбекским языком. Непростительно сводить лингвистический уровень современного читателя, особенно знатока и любителя фантастики (фэна, который и составляет большинство читателей Ю. Слащинуна), до своего узко филологического уровня, для которого непреодолим лингвистический барьер современного фантастического романа.

Впрочем, и в этом вопросе А. Вулис оказался непоследователен. Вслушайтесь: «Информационный потенциал явления со всеми возможными перепадами уровней и Флобера не наделяется ни малейшим эстетическим весом... Литература пользуется кульминационным пафосом сей метаморфозы ради всяческих переосмыслений, каковые являются по сути дальнейшими метаморфозами, геометрической прогрессией сдвигов в нашей оценке действующих лиц...» Это уже язык уважаемого критика. По силам ли роману Ю. Слащинуна тягаться с этой псевдонаучной в стиле филологической готики системой письмен, единственная цель которой — развесить на ухах обалдевающего читателя узбекский лагман на манер итальянского спагетти.

Но мы преодолеем потенциальную яму информационно-ловушки, закодированной для нас в функции мимесиса многоумным оппонентом и перейдем к дальнейшим пунктам обвинительного заключения.

Поскольку пункт второй его о «некритическом отношении к техническим энциклопедиям» не подкреплен даже попыткой доказательства, а упомянут между делом, авось читатель заглотит, то всерьез на него реагировать не приходится, а в шутку хотелось бы ознакомиться с критическим разбором упомянутых энциклопедий уважаемым критиком.

Третий пункт обвинения — в неорганичности соединения формы и содержания романа: «отряхнув с себя эту неорганичную оболочку, роман ни на грань не поступит ни сюжетом, ни замыслом». И далее следует цитата о «цузарах» — бывших соглядатах и доносчиках, ныне ставших «высокопоставленной прослойкой высокопоставленной касты кселензов». Видимо, цитата должна служить неопровержимым доказательством реалистичности романа и прочитываться однозначно: вся ныне существующая номенклатура, являющаяся высшей кастой общества «реального социализма», состоит из бывших соглядатаев и доносчиков. Возможно, уважаемый критик и прав, намекая на такое прочтение, хотя как человек опытный и осторожный, то бишь умный, он предоставил роль Иванушки-дурачка мне. Но в этом случае фраза, перемахивая через реализм, попадает в сферу юриспруденции и требует неопровержимых улик.

Интересно, кстати, как была прочитана эта фраза не критиком, а рецензентом Вулисом, и как она повлияла на его рецензию?..

Вот в таких условиях и приходит на помощь литература со своим «эзоповым языком», «научно-фантастическим маскарадом», «галактическими одеждами», в которые, по признанию С. Лема, он одевает земные проблемы. Любое литературное произведение неразрывными узлами связано со временем своего создания и характеризует свое время не только сюжетом и замыслом, но и формой. И в этом триединстве его особая ценность.

Вынужден заметить уважаемому критику, что для доказательства столь тяжкого для художе-

ственного произведения обвинения в несоответствии формы содержанию одной, к тому же не очень удачно подобранной, цитаты недостаточно. Каковы бы ни были достоинства и недостатки романа — принадлежность его к жанру научной фантастики неоспорима. И дело не в достаточно стандартной атрибутике (лучемер, глайдей, флайер, телепортация, телепатия и т. д.), а в том, что возникающие в романе конфликты разрешаются через использование особенностей фантастической реальности, созданной автором именно такой, какой он считал необходимой ее создать. И Кари, и Ворх, а потом и составившие инжеры, скуды, баянны используют фантастические возможности Экл-Т-Тронов, а система социальных отношений (из которой вытекает основной конфликт романа) основана опять же на фантастической системе надзора за мыслями и их диктата. Неужели профессиональный критик не видит столь гармоничной связи фантастической формы романа и его содержания, т. е. фантастической реальности? Или не желает видеть?..

В следующих, четвертом и пятом, пунктах обвинительного заключения Ю. Слащинуна сравнивается сначала с классиками антиутопии (Заматиным, Хаксли, Оруэллом), а затем уже, чтобы автор и не помышлял о дискуссиях, с Шекспиром, Пушкиным, Толстым, Чеховым... Далее по тексту статьи возникают имена Ильфа и Петрова, Олеси, Катаева, Стругацких, Кира Булычева. Но и их критику оказывается недостаточно, и он привлекает на помощь даже Ветхий Завет. И уже вовсе не к месту (В огороде бузина, а в Киеве дядька), а, видимо, только с целью поразить читателя собственной эрудицией, косвенно подтверждающей право судить и осуждать, бойким пером и не без изящества живописует критическую «интерлюдю о Борхесе».

Что можно сказать по этому поводу? В спорте это определяется как «запрещенный прием», «удар ниже пояса». Лев Николаевич отнес бы поступок критика к разделу «моветон», я же рассматриваю этот список классиков как невольное признание критика в отсутствии у него убедительных и простых аргументов для доказательства желанной мысли, что «Боги в изгнании» — это плохо. Так дубинкой убивают муху на лбу у собеседника, так стреляют из пушки по воробьям...

Ну разве позволит себе автор или его сторонник утверждать, что некий только что опубликованный роман стоит наравне с высшими достижениями человеческого духа?!.. Такие вопросы решают время и потомки. Интеллигентный же человек не только не позволит себе такого, но и не должен провоцировать на подобное сравнение.

Идея уважаемого критика понятна: он как бы показывает нам систему координат мировой литературы и просит отметить в этой системе точку, соответствующую роману Ю. Слащинуна, при этом вполне сознательно подталкивая читателя под руку: дескать, язык тарабарский, форма надуманна, ирония не зайтинско-оруэлловская, образы не шекспировские, сатира не ильф-петровская, детективность не конан-дойлевская, философский уровень не ветхозаветный и даже не борхесовский, актуальность не телевизионно-сездовская и даже не мир-хайдаровская. Вывод: нет места «Богам в изгнании» в системе координат мировой литературы и посему — отприват их обратно в изгнание.

Что ж, метода, прямо скажем, не Белинского, не Чернышевского, не Салтыкова-Щедрина, не

Антонио Грамши, не Оруэлла, не Луначарского, не Н. Ивановой, не Т. Ивановой и не В. Кожина.

Однако примем вызов уважаемого критика и сориентируемся в мировой системе координат, хотя необходимо признать в дискофорте, который испытываешь, вынужденно, походая, повулисовски, беспокоя Бессмертных. В чем и хочется принести им свои глубочайшие извинения.

Итак, вынося приговор роману «Боги в изгнании», А. Вулис определяет его жанр как «политический роман в жанре антиутопии». Произведение же этого жанра, выясняется из «размышлений заинтересованного (в чем? — В. В.) читателя», для того, чтобы отвечать критерию «хорошо», должно: иметь простой понятный всем язык, т. е. быть «обычной беллетристкой»; быть неприложимо к «злобе дня» — иначе получится «научно-фантастический маскарад», т. е. быть ироничным и не иметь прямых аналогий; «метафорические краски» должны быть неотмываемы, образы шекспировскими, т. е. не подчиняться воле автора, но в то же время им «мила публицистика, они охотнопадают в декларативный тон, в дидактику, запросно поддаются авторским указаниям и следуют авторским подсказкам», и в то же время — «ступил на авантюрную стезю, уйми свои менторские амбиции»; фантастика — хорошо, если «приобщается к традиционной литературе... на территории комической (сатирической, юмористической, пародийной и приключенческой, детективной) прозы»; должно «хорошее» произведение содержать и тайну, а политический роман тайну «постижения механизма власти», отвечать на вопрос «Кто это сделал?», как это делает Ветхий Завет, вся мировая литература, народные депутаты СССР и Р. Мир-Хайдаров... Ибо все Святые Писания, вся история, вся мировая литература — это детектив, а если не детектив, то не история и не литература.

Заранее приношу свои соболезнования автору, попытавшемуся сотворить бессмертное по выписанному А. Вулисом рецепту, один ингредиент которого отрицает другой. Единственное, что меня успокаивает, — такого автора не может существовать в природе, ибо романы пишутся не по рецептам, а из потребности духовной сущности человека материализоваться в виде произведения искусства. Индивидуальная же сущность материализуется индивидуально.

Печально другое. Похоже, что уважаемый критик вполне серьезно предлагает эту шкалу для измерения степени допустимости произведения к публикации, а то и принадлежности к мировым культурным ценностям. Боюсь, что если приложить эту шкалу к классикам, то они не выдержат критического натиска и нам придется изгнать их из мировой культуры. Например, базируясь на нескольких оценках из рецензии Дж. Оруэлла на роман Е. Замятина «Мы»: «Насколько я могу судить, это не первоклассная книга... Книга Замятина не так удачно построена (по сравнению с «О дивным новым миром» О. Хаксли — В. В.) — У нее довольно вялый и отрывочный сюжет, слишком сложный, чтобы изложить его кратко... автор определенно тяготеет к примитивизму...», и используя критический метод А. Вулиса, совершенно несложно дискредитировать в глазах неискушенного читателя великодушный, тут я полностью солидарен с А. Вулисом, роман Замятина. Но зачем?!

Теперь уточним термины, ибо суд романа «Боги в изгнании» А. Вулис осуществляет, предварительно приклеив к нему конкретный жанровый ярлык.

Уважаемый критик с терминами управляется с завидной легкостью: «Когда появляется притча о вымышленном обществе, черты которого копируют тенденции современности, жанровый выбор фантаста определяют обычно без труда: он колеблется в узеньком диапазоне между антиутопией и романом-предупреждением (что во многих случаях одно и то же)».

Позволю себе напомнить, что «притча о вымышленном обществе», во-первых, называлась после Т. Мора и называется доныне «утопией». Она может быть чисто «позитивной», то есть рисующей картину идеального, с точки зрения автора, общественного устройства, «негативной» или «контрутопией», полемизирующей с некоей «позитивной» утопией, как полемизировала давняя имя всему направлению «Утопия» Т. Мора с «Государством» и «Законами» Платона, а «Новая Атлантида» Ф. Бэкона полемизирует с «Утопией» Т. Мора и «Городом Солнца» Т. Кампанеллы и так далее вплоть до Замятина и Слащина. Она может быть и «дистопией» или «какотопией», что с греческого «какос — плохой» (кто бы подумал, что русская «какашка» — греческого происхождения!) и латинского «дис — не» означает — плохое, дурное, гиблое место. То есть описание общественного устройства, которое смерти подобно, в терминах той же утопии. К этому классу можно отнести и «романы — предупреждения», родоначальником которых, видимо, можно назвать «Откровение Иоанна Богослова», более известное широкому читателю как «Апокалипсис», весьма живописно предупреждающее мир о том, что его ждет, если он предпочтет «вавилонскую блудницу» Слову и Духу Божьему, но и не забываящее избранных Новым Иерусалимом, построенных из золота, стекла и драгоценных камней, куда более великодушный, чем многочисленные «хрустальные дворцы» и «Города Солнца» поздних утопий.

И, наконец, антиутопия как высший уровень отрицания утопии. Отрицание самой ее идеи, самого утопического идеала, запрет на утопию. Правда, в основном на том же утопическом языке, иначе произойдет смещение понятий.

И еще немного информации о мировой системе координат. В настоящее время число произведений утопического (и, следовательно, антиутопического) направления составляет около трех тысяч, с ошибкой в несколько сотен еще неизвестных исследователям новых произведений типа «Богов в изгнании». Поэтому определять координаты этого романа только по трем наиболее популярным в мире, но лишь пару лет назад ставшим известными советскому читателю произведениям Замятина, Хаксли и Оруэлла — некорректно. Почему же так непочтительно забыты (в согласии с официальным запретом?) «Час Быка» или «Град обреченный»? И не замечен «свежий» «Игрек-минус»?

Итак, Уважаемый Читатель имел возможность убедиться в том, что утопическая литература вполне самостоятельный раздел не только художественной, но и философской литературы со своими отличительными чертами и внутренними различиями. И вовсе не обязательно утопическому произведению быть политическим романом, тем более, относиться к «приключениям», чтобы иметь право на существование.

Когда-то русские путешественники, возвращаясь из заморских стран, рассказывали о людях с песьими головами, по всей видимости, так идентифицируя гамадрилов, чем вводили священный ужас на доверчивых слушателей. Так и А. Вулис, приняв утопическую литературу за



приключенческую, пугает доверчивого читателя ужасающими несоответствиями «Богов в изгнании» этому жанру. Не путайте человека с гамадрилом! Уверяю уважаемого критика, что «Боги в изгнании» гораздо ближе «Государству» Платона, «Политике» Аристотеля, «Левиафану» Т. Гоббса, чем «Собаке Баскервилей» А. Конан-Дойля.

Но как соловей, увлекшийся пением, не замечает подбирающейся к нему кошки, так и А. Вулис, исполняя вдохновенный гимн Детективу, не замечает, что «дает петуха», утверждая, что «всякая литература содержит детективные мотивы», принимая свойство любой литературы ставить вопросы и искать ответы на них за «детективность».

Утверждение сие неверно, ибо основано на непроверенной глобализации понятия «детектив», который есть не более чем часть литературы, использующей в качестве основного движущего конфликта факт преступления, с раскрытием которого разрешается конфликт и пропадает читательский интерес. Высший вид детектива — психологический детектив — порой даже отказывается от тайны преступления, перенося центр тяжести на мотивы его совершения и тем уже отрицая свою детективную сущность, вырастая из нее, как, например, «Преступление и наказание» Достоевского или «Криминальный талант» С. Родионова.

Что же до «всякой литературы», то она как способ мышления использует не только метод анализа бытия, принимаемый уважаемым критиком за «детективный мотив», но и методы синтеза, экстраполяции, интуиции, наконец, божественного озарения, о чем свидетельствует Иоанн Богослов.

Но всемирной литературы критику мало — он замахивается на всемирную историю и философию, в увлечении собственной схемой относит и их к детективному жанру. Еще сомневаясь, «куда отнести священные книги — к истории или к философии», но не испытывая сомнений в их детективности. Бог ему судья...

Так что же такое в жанровом смысле роман «Боги в изгнании»? В своей первой статье по поводу этого романа я определил его жанр как антиутопию в виде романа-предупреждения. Придерживаюсь этого определения и теперь, но хочу уточнить, что «Боги в изгнании» являются контр утопией относительно платоновского «Государства» и родственными ему утопий, моделирующих реализацию принципа эксплуатации, основанного на перераспределении ограниченных материальных благ в соответствии с кастовой иерархией. В этом аспекте роман перекликается с «Часом Быка», с которым, кстати, и написан одновременно (1967 г.). С другой стороны, как верно отмечает А. Вулис, «Боги в изгнании» основаны на реалиях «реального социализма» и экстраполяции его тенденций в будущее. То есть роман является дистопией, описывая смертельную агонию тоталитарного общества, и романом-предупреждением, предостерегающим общество от болезненных тенденций, в чем жанрово смыкается с «1984» Дж. Оруэлла. Хотя «1984» в чистом виде нельзя отнести к антиутопиям как антитоталитарный политический роман, нацеленный против реального, а не утопического общественного устройства («Ничто так не способствовало искажению исходных социалистических идей, как вера, будто Россия есть образец социализма... необходимо развеять миф о Советском Союзе, коль скоро мы стремимся возродить социалистическое движение». Дж. Оруэлл,

1947 г. предисловие к «Скотному двору»).

В то же время, в отличие от знаменитых антиутопий «Мы» и «Прекрасный новый мир», роман «Боги в изгнании» нельзя отнести к антиутопии как отрицанию утопии, отрицанию самой возможности реализации Идеала, поскольку финал романа Ю. Слащина как раз и предлагает некое утопическое разрешение какофонического конфликта, уповая на победоносное восстание скудов, ведомых баянами и инжерами. Впрочем, и герой Оруэлла Уинстон уповаает на «пролов» (кстати, как А. Вулис относится к подобному искажению святого слова «пролетарий»? Да и вообще к новоязу, будучи «идейно крепким речекряком»? Или речеписы не нутрят переяз? Но нам точно известно, что старомыслие петрят словобуд...) А такое упование есть не что иное, как следующий утопический виток тоталитарного сознания.

Что же из всего этого следует?

А то, что, на мой взгляд, устрашающее «обвинительное заключение» А. Вулиса рассыпается, словно карточный домик от дуновения ветерка, и при этом становится заметно, что карты-то крапленые...

Почему-то уважаемый критик не укоряет в менторских амбициях или прямых аналогиях с действительностью Томаса Мора, который строил свою «Утопию» на почве родной Англии, лишь переместив ее в идеальное пространство, но не упустив возможности дать развернутую критику ее современному ему положению. Почему-то Оруэллу он не ставит в укор новояз и «лобовой натиск» на сталинизм. И почему Т. Кампанелла остается безнаказанным за полное презрение к приключенческому детективу, хотя превратил все население Города Солнца в доносчиков (в цузаров по Слащину)?

Может быть, потому, что все они прекрасные беллетристы, а их образы не уступают шекспировским?

Полноте, уважаемый критик. Хотя среди утопистов в широком смысле слова попадают и блестящие стилисты, и образы их произведений порой ничуть не уступают шекспировским, но, право же, не это определяет место утопической литературы в мировой культуре. А что же? — спросит Уважаемый Читатель. Ответчу: — Постижение Идеала, то есть условий для счастливой жизни человека. Постижение через утверждение — в утопиях, и через отрицание — в антиутопиях. Борьба идей — вот движущая сила утопической литературы, создающей и отвергающей проекты «Нового Иерусалима». Извечная борьба Правды и Кривды, прошедшая через русскую «отреченную литературу», начиная с «Беседы трех святителей» и «Вопросов Иоанна Богослова господу на горе Фаворской», «Слова об Адаме», «Хожения богородицы по мукам», «Жития Андрея Юродивого», через Правду «единого общества» Ермолая-Еразма, через Правду «общности имущества» Феодосия Косого и писания протопоба Аввакума, где глубинная сущность Правды, тайна Правды всегда состояла в том, чтобы «познать, как надо жить, чтобы всем было хорошо, и научить этому других» (А. И. Яцимирский. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности, 1921 г.)

Именно эта тайна Правды, а не «тайна постижения механизма власти», как утверждает А. Вулис, и есть немеркнущий светоч утопического духа, дарящий бессмертие утопической литературе. И «Боги в изгнании» не лишены этого пламени, как, кстати, и «тайны постижения

механизма власти» кселензов, но об этом я уже писал в статье «Под маской Идеала» («Звезда Востока» № 10, 1988 г.)

Конечно, я не хочу сказать, что «Боги в изгнании» лишены недостатков и могут рекомендоваться как безупречный образец утопической литературы. Хотя совершенные произведения существуют, но не существует совершенных произведений для всех. Восприятие искусства столь же индивидуально, как и его творение, и попытки выдать свое личное восприятие за истину в конечной инстанции, чем долгое время занималась ортодоксальная советская критика, — недостойное интеллигентного человека занятие. И данная полемическая работа — всего лишь попытка противостоять продлению подобных тенденций в нашей литературной критике.

Что же до «Богов в изгнании», то я вижу как раз недостаток этого романа в излишней динамичности повествования, которая в угоду авантюриности, детективности, «читабельности» лишает его интересующей меня философичности, во всяком случае, в удовлетворяющем меня объеме, как, например, в «Часе Быка». То есть недостаток романа с моей точки зрения противоположен недостаткам, которые видит А. Вулис, но это не значит, что Ю. И. Слащинин должен удовлетворять требованиям того и другого, подобно герою знаменитой басни «Пейзаж». Будем ему благодарны за то, что у него есть свое авторское мнение, и дай Бог ему стоять на нем, ибо авторы интересны своей индивидуальностью, проявляющейся не только в достоинствах, но и в недостатках их творений, которые, как известно, есть продолжение достоинств.

Я могу предьявить Ю. Слащину обвинение в чрезмерной уязвимости Бауков — хранителей бессмертной духовной субстанции (души) ксеян, но автор может объяснить мне, что ученые-рабы не хотели делать их неуязвимыми. Так что не будем затевать спора. Роман — это фантастическая реальность. Наше читательское дело — входить в нее или нет. Реальность же, даже фантастическая, не может быть совершенной. Главная задача критика — понять ее и, уж по крайней мере, относиться с уважением к ее суверенности.

Уважаемый Читатель, конечно, обратил внимание на то, что мне не хватило дотошности кропотливо разбираться с каждым пунктом «обвинительного заключения». Но последнему его пункту я хочу уделить персональное внимание. Я имею в виду утверждение, что «Боги в изгнании» в пору создания — роман-констатация, в пору перестройки — роман-анахронизм.

Начну с того, что А. Вулис прав — это действительно констатация, как всякое произведение, согласно с эстетикой Аристотеля, объективно выполняющее функцию мимесиса — отражения реальности. Тут уважаемого критика не спасут ни Толстой, ни Чехов, ибо адекватность их отражения действительности порой убийственна. Что есть констатация? Это диагноз. В антиутопии — диагноз социальной болезни. В конкретном случае «Богов в изгнании» болезнь эта носит название «реальный социализм» с его тоталитаризмом, кастовостью, застоем, историческим тупиком догматического утопизма. Но в романе не только поставлен диагноз, но и дана история болезни, показан ее вероятный летальный исход и даже дается утопический рецепт излечения. Смею утверждать, что подобное произведение требовало в пору своего создания немало гражданского мужества и писательской чести от автора. Напоминаю, что в то время

были запрещены все произведения этого жанра: «1984», «Мы», «О дивный новый мир», «Час Быка», «Град обреченный» и так далее, и так далее, и так далее. Писатель в этих условиях сдал свой исторический экзамен (скорей всего, будучи знакомым не со всеми этими книгами, как и я). Но одновременно этот экзамен сдавала и издательская «железная когорта»: редакторы, рецензенты... И мы вынуждены констатировать, что ни в одном из упомянутых случаев, в том числе и в случае «Богов в изгнании», они этого экзамена не выдержали. Впрочем, некоторые «заинтересованные читатели» не выдержали и переэкзаменовки. Увы, это факт...

Но «Боги в изгнании», как и всякое произведение искусства, не только констатация, но и попытка о с о з н а н и я реальности через ее мысленное моделирование, трансформацию в реальность фантастическую — попытка рассмотреть себя в фантастическом зеркале, позволяющем видеть невидимое. Даже если бы эта попытка оказалась неудачной, сам ее факт заслуживает уважения, хотя уважаемый критик сам признает высокую адекватность двух реальностей, ставя это в укор автору. Я же, вспоминая горькое признание Ю. В. Андропова, возглавившего в свое время страну: «Мы не знаем того общества, в котором живем», и попытки коллективного разума общества осознать себя в последние годы, склонен видеть в этой адекватности особое достоинство романа.

Не устарел ли роман в наши публицистические перестроечные времена? Разве только тем, что многие из его положений уже закрепились в коллективном сознании общества, но при этом они не потеряли своей истинности. Или, может быть, уважаемый критик считает, что мы уже окончательно избежали опасности тоталитаризма, бюрократизации «власти Советов» при отсутствии должных политических ей противовесов? Или что президентская форма правления направлена в противоположную сторону (не по задумке, а исходя из реального авторитарно-тоталитарного общественного сознания и кризисности экономической и политической ситуации)? Или всеобщий дефицит способствует ослаблению распределительных функций бюрократии и исчезновению кастовой системы потребления? Или, быть может, А. Вулис надеется, что передача земли в собственность местным Советам будет препятствовать развитию коррупции в этой властной системе? Или множественность форм собственности ликвидирует «социалистическую буржуазию» и «теневую экономику»?

Не думаю, что уважаемый критик столь наивен. Но тогда анти тоталитарный, анти бюрократический роман Ю. Слащинина еще не имеет возможности стать анахронизмом, предупреждая о том, что пока существует (а оно существует от Платона до наших дней) разделение на тех, кто управляет, и тех, кем управляют, — идея Платона о «справедливом» обществе для избранных — бессмертна.

Можно было бы на этом и закончить дискуссию, если бы не еще одно обвинение, брошенное походя и без какого-либо конкретного обоснования научной фантастике вообще, и узбекистанской — в частности: «На глазах у всего честного народа совершается обманная (и самобманная) операция: подтасовка музыки». И никак не меньше! А работают фантасты, по Вулису, так: «Выверни наизнанку существующее правило физики, перекинь понятие из одной координат-

ной системы в другую, а дальше импровизируй в русле отправной гипотезы...» Кстати, судя по оппонированной статье, уважаемый критик приписывает свой творческий алгоритм ничего не подозревающим писателям-фантастам Узбекистана.

Что же спасает, по Вулису, научную фантастику? «Научная фантастика (не исключая ее политическую ветвь) в своих лучших современных образцах приобщается (разрядка моя — В. В.) к традиционной литературе. И чаще всего поиски идут на территории комической... прозы». То есть у фантастики отнимается право на суверенность, она достойна внимания только когда «приобщается», уподобляется, растворяется в традиционной литературе. Кстати, что есть «традиционная литература»? Гоголь, Достоевский, Маркес, Чехов, Толстой, Булгаков, Пастернак? Но разве позволительно хоть одного из этих авторов причислить к «традиционной» литературе?! К настоящей — безусловно. Но к «традиционной»?.. Если автор традиционен — он скучен, вторичен.

Все-таки, выдвигая обвинения, надо быть конкретным и доказательным. Используя термины, надо уточнять их смысл, иначе разговор становится бессмысленным, как диалог: «Ты верблюд!» — «Нет, я не верблюд!»

Разве не доказали Жюль Верн, Г. Уэллс, К. Чапек, К. Воннегут, С. Лем, И. Ефремов, Р. Шекли, неоднократно упоминаемые А. Вулисом А. и Б. Стругацкие, что фантастика не бедная родственница при «традиционной» литературе, а самостоятельная и весьма своеобразная литература?

Нельзя утверждать, что дуб лучше березы, — смотря для какой цели. Нельзя выстраивать и иерархию видов литературы — все они родные дочери Матери Культуры. Не надо ссорить их друг с другом. Не надо превращать фантастику в шута горохового — когда того требует Идея,

она сам с блеском исполняет эту сложную роль. Но в дураках остается тот, кто при этом презрительно выпячивает губу: «Фи, бластеры, нуль транспортировка, антиутопия...»

А фантастика Узбекистана требует конкретно разговора. И, будем надеяться, он еще впереди.

#### 4. КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Я до самого финала «размышлений» уважаемого критика не мог понять до конца его исходных позиций. Да, оскорбленное самолюбие, да, стремление оправдаться, доказать свою правоту, да, увлеченность собственной литературно-критической гипотезой о детективности мировой культуры, которая, кстати, имеет полное право на жизнь, пока не превращается в дубинку для битья авторов... Но чего-то мне не хватало для полноты картины...

И вот финал «размышлений»: «Сегодня, когда борьба с механизмом торможения (с левым и правым уклоном, кулаками и подкулачниками, вредителями и саботажниками, подпевалами и космополитами и т. д. и т. д. — В. В.) идет не на жизнь а на смерть, когда саботаж перестройки ведут вооружившиеся до зубов застойные кланы, опознание врага, изучение его методов — важнейшая задача литературы!» (Разрядка моя — В. В.)

Не правда ли, Уважаемый Читатель, знакомый голос — с меднодержавными обертонами и однопартийной категоричностью?.. И хотя вся моя публицистика направлена именно на решение этой задачи, мне стало совершенно ясно: если собеседник не понимает, что единственная задача литературы — быть честным в познании тайны жизни, то дальше вести плодотворную дискуссию бесполезно...

Виктор Иванов

## «ВСЯК СУЩИЙ В НЕЙ ЯЗЫК...»

### ИНОНАЦИОНАЛЬНОЕ В СПЕКТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗНОСТИ

Опыт изображения инонациональной действительности начал складываться еще в древнерусском искусстве, начиная, едва ли не со «Слова о полку Игореве», с «Хождений» игумена Даниила, купца Афанасия Никитина. Одним из первых русских писателей, среди героев которого появились во множестве люди разных национальностей, был Пушкин. Шведы, немцы, французы, итальянцы, финны, башкиры, калмыки, цыгане, татары, черкесы, евреи, украинцы... Они встречаются нам на страницах пушкинских творений как образы полнокровные, живые. Традиция, начатая Пушкиным, нашла дальнейшее развитие в русском искусстве. Представители разных наций и народностей наполняли произведения Голя и Тургенева, Л. Толстого и Горького, многих других.

И все же инонациональная действительность в общем потоке искусства получала довольно скромное, ограниченное изображение. На то были свои причины, связанные с характером национальных отношений в дореволюционной России, уровнем национальных связей, пониманием национального вопроса в целом.

Произведения многих писателей начала, середины XIX века России отличались, как правило, «однациональным» составом, все действующие лица в них были русскими, лишь изредка наряду с ними встречались французы, немцы, то есть иностранцы, живущие в России, а из народностей, населяющих Россию, пожалуй, лишь евреи, поляки да татары изредка попадали в число действующих лиц, да и то на роли чаще всего эпизодические.

В XX веке картина существенно меняется. Развитие капиталистических отношений способствовало «перемешиванию» национальностей. Первая мировая война перемешивает в своем котле множество народов Европы, сталкивает лицом к лицу представителей множества наций Бравый солдат Швейк Я. Гашека, попав в плен «очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки». Может быть, Гашек и несколько преувеличил, расширив таким образом круг

знакомств бравого солдата Швейка с представителями народов России, но он ничуть не погрешил против исторической правды, хотя и довел до крайних пределов сатирического заострения мысль о тотальном перемешивании народов, втянутых помимо своей воли в мировую бойню.

Коренным образом изменила характер национальных отношений как в России, так и во всем мире Великая Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война.

Грандиозные исторические события вовлекли в свою орбиту, закрутили, перемешали в бурном водовороте событий представителей самых разных национальностей бывшей царской империи.

Перемены в жизни не могли не отразиться в искусстве. Так, в художественной прозе 20-х годов заметны существенные сдвиги в изображении национального состава персонажей, и это, конечно, не случайно. В перечне действующих лиц «Бронепоезда 14-69» В. Иванова, например, помимо русских, мы встретим китайца, американцев, японцев, в его же «Компромиссе Наихана» активно действуют представители не менее десятка национальностей. Множество лиц разных национальностей населяет произведения Д. Фурманова, А. Фадеева.

Еще более заметные перемены в этом плане происходят в 30-е годы. Рост промышленности на некогда отсталых окраинах России, участие в труде представителей ранее угнетенных народов, возросшая миграция населения — все это не замедлило сказаться на межнациональных отношениях. Разумеется, литература и искусство не прошли мимо этих перемен.

«Путевку в жизнь» получил татарин Мустафа из кинофильма Экка и Эрмлера, жажда знаний привела в столицу казаха Хусаина Кимбаева из афиногеновского «Страха», отнюдь не второстепенным персонажем является узбек Мадали в леоновской «Метели», герои «Глубокой разведки» А. Крона — русские и азербайджанцы. Можно добавить к этому списку и образы русских людей из «Двух коммунистов» К. Яшена, из «Яшара» Дж Джабарлы, из других произведений, созданных в национальных республиках.

Стремительный вихрь событий катаевского «Времени, вперед!» захватывает и перемешивает на пыльной, открытой всем ветрам стройплощадке Кузнецкстроя представителей не одного десятка народов страны. ...«Шли костромские, степенные, с тонко раздутыми ноздрями, шли казанские татары, шли кавказцы: грузины, чеченцы; шли башкиры, шли немцы, москвичи, питерцы в пиджаках и косоворотках, шли украинцы, евреи, белорусы»...

Цепкий глаз автора романа-хроники выхватывает из многоликой, поистине вавилонской, массы строителей то «скуластое казацкое лицо», то «старого башкира с яшмовым лицом идола», то «арзамаского татарина», то человека со странной фамилией Винкич, который привычно разъясняет: «Сербская фамилия. У меня отец из сербов».

И все же утверждать, что эта благотворная традиция получила в 30-е годы дальнейшее углубление и развитие, было бы неверным. Процессы, происходящие в реальной действительности, в сфере национальных отношений, далеко не в полной мере находили отражение в литературе и искусстве. И в этом нет ничего удивительного. Советское искусство тех лет прошло мимо и многих других, не менее важных и сложных жизненных явлений и процессов.

В 30-е годы в области национальных взаимоотношений происходили важные изменения. Усиливающаяся подвижность населения увеличивала многонациональность населения республик и областей, особенно окраинных, в первую очередь в Казахстане и Средней Азии, а также в районах Севера и Сибири. Тут оказались собранными вместе представители множества национальностей, причем на всегда своей волей их влекло сюда: раскулачивание, лагеря, позже ссылки целых народов...

Казалось бы, литература, искусство должны были отразить эти сложные процессы, однако известные обстоятельства не позволили ему это сделать. Зато на монументальных полотнах дружно шагали на зрителя или восторженно внимали вождю всех народов представители разных национальностей, а не живые люди, находящиеся в реальных взаимоотношениях — трудовых, общественных, семейных, каждый со своими неповторимыми национальными чертами. Да и национальный состав произведений русских советских писателей, художников к концу 30-х годов практически снова становился все более и более однопациональным, представители народов СССР все реже и реже появлялись на страницах романов, повестей, рассказов, на экране, на драматической сцене. Опять, как и прежде, в произведениях о современной действительности они появлялись лишь изредка, чаще всего в виде экзотической фигуры: опоздавшего на поезд грузина в одной из кинокомедий, дворника или старьевщика — татарина, единственной характерной чертой которых был смешной акцент. Даже те произведения русской литературы, в которых находили отражение ситуации, в реальной жизни обязательно сводящие воедино представителей различных народов, оказывались однопациональными, населенными по преимуществу русскими, если это было произведение русского (или русскоязычного) автора, либо грузинами, армянами, украинцами и т.д., если произведение принадлежало перу автора из союзной республики.

К  
?  
Вся страна оказалась полем деятельности Великого комбинатора в диалогии И. Ильфа и Е. Петрова. На пути Остапа Бендера встретил

лось почти три десятка иностранных корреспондентов, индусский философ, румынские пограничники, а из великого множества народов, населявших необъятную Россию, промелькнули — и то лишь упомянутые в одном из эпизодов романа — татары, живущие рядом с квартирой, в которую мальчишка-беспризорник доставил один из стульев, проданных на аукционном торге, «равнодушный аджарец», доставивший на берег моря гарнитур, купленный отцом Федором, да казахи, обитавшие вдоль «Восточной магистрали», один из которых, увиденный как бы одновременно глазами и авторов, и японского дипломата, запечатлелся ярко и отчетливо, как на снимке, который успел сделать любопытный японец, пока казах не сел на своего «шершавого конька и двинулся в степь».

Разумеется, все сказанное не следует воспринимать как критику в адрес самого произведения. Жанр сатирического романа вовсе не требовал от авторов бытового правдоподобия. Но ведь и в тех произведениях, которые основывались на принципе жизнеподобия и претендовали на правдивое и глубокое отражение общественных процессов, инонациональные персонажи многих авторов не интересовали.

В реальной жизни бок о бок жили, трудились, общались друг с другом представители десятков национальностей. Произведений же, в которых это реальное многонациональное жизни страны хоть в какой-то мере находило бы отражение, становилось все меньше и меньше, они появлялись все реже и реже. Их можно было перечислить по пальцам.

Даже искусство периода Великой Отечественной войны, в горниле которой дружба народов не только прошла суровое испытание на прочность, но еще более закалилась и окрепла, воистину спаянная кровью людей разных народов, не дало в этом отношении сколько-нибудь заметных достижений. Хотя война, как никогда до сих пор, перемешала народы, как на фронте, так и в тылу, — мало сказать, перемешала — породнила представителей разных народностей (вспомним узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жену Бахри, в доме которых воспитывались как члены одной семьи дети-сироты 14 национальностей, среди которых были русские, украинцы, чуваш, еврей, татарин, молдаванин), в литературе военных и первых послевоенных лет о войне произведения, отличающиеся многонациональным составом действующих лиц, являлись скорее редким исключением, чем правилом: «Фронт» А. Корнейчука, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Знаменосцы» О. Гончара, «Двое в степи» Э. Казакевича, «Волоколамское шоссе» А. Бека.

А ведь все прекрасно понимали, что бок о бок сражались на фронте и трудились в тылу русские, украинцы, узбеки, казахи, армяне, грузины, белорусы, татары, чуваш, евреи...

«Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали... лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?» — и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов». (М. Шолохов. «Наука ненависти»).

По эту же сторону фронта в строю, изображаемом писателями — тем же М. Шолоховым

(«Они сражались за Родину») или К. Симоновым («Дни и ночи»), стояли в основном русские, ну, может быть, украинцы, а точнее — просто персонажи с украинскими фамилиями: национальная же их принадлежность авторов просто не интересовала.

И не будь живописцев, скульпторов, можно было подумать, судя по произведениям русской прозы, что представители других национальностей вообще не воевали на фронтах Отечественной войны...

Изобразительное искусство этой поры в силу специфики своей оказалось как всегда предельно внимательным к национальной принадлежности своих героев.

Возьмем, к примеру, скульптурные портреты Бария Юсупова и Ивана Хижняка, созданные в годы войны В. Мухиной. Ставя задачу раскрыть в создаваемых образах прежде всего те черты, которые свидетельствуют о их мужестве, героизме, скульптор отнюдь не отбрасывает те моменты индивидуальной характеристики, которые говорят о национальности героев. Их национальная принадлежность не вызывает сомнений: Хижняк — русский, Юсупов — татарин.

В скульптурном портрете это кажется особенно наглядным, воспринимается как естественное и само собой разумеющееся условие: как можно воссоздать образ человека, игнорируя его расовые и национальные признаки?

Аналогичная ситуация существовала и в искусстве послевоенных лет, в 50-е, 60-е, 70-е годы.

Характерной чертой развития национальных отношений в этот период является дальнейшее возрастание многонациональности населения республик, областей, городов, районов. Это вело к тому, что одновременно со значительным естественным приростом коренного населения в каждой республике росло число жителей других национальностей. В результате этих процессов, например, Узбекистан сегодня населяют представители более ста национальностей и народностей. Здесь многонациональны очень многие трудовые коллективы.

Аналогичные процессы и в других республиках.

Сегодня на любом предприятии — на фабрике, на стройке, в совхозе — бок о бок, плечом к плечу трудятся представители самых разных наций и народностей нашей страны. Даже колхоз, который в национальном отношении прежде являлся более однородным образованием, в составе его преобладали, как правило, люди одной, местной национальности (хотя исключительно однопациональных тоже никогда не было), становится все более многонациональным коллективом, ибо процесс интернационализации характерен и для развития социальной структуры сельского населения, которое традиционно представлялось национально более однородным, чем городское.

Фабрика, завод, стройка представляют в этом отношении еще более сложное по национальному составу образование.

Словом, какую бы область жизни мы ни взяли, в Узбекистане ли, на Украине ли, в Башкирии или Якутии, будь то сфера материального производства, науки или культуры — всюду вместе трудятся узбеки и русские, армяне и украинцы, грузины и татары, башкиры и евреи. «Куда ни приедешь, везде интернационал!» — заметил М. С. Горбачев во время встречи с жителями Находки в ходе своей поездки на Дальний Восток в 1988 году. Казалось бы, советское искусство не могло не отразить эту характерную при-

мету действительности. На деле же очень часто получается совершенно иначе: стоит художнику перенестись из области реальных жизненных коллизий в сферу художественного вымысла, как картина действительности становится совершенно иной, утрачивая присущее ей «многонационалие».

Возьмите практически любую из пьес о «рабочем классе», написанных в 50—60 годы, пусть это будет «Иркутская история» А. Арбузова, «Чти отца своего» В. Лаврентьева, «Битва в пути» Г. Николаевой и С. Радзинского, «Человек со стороны». И. Дворецкого, «Человек бросает якорь» И. Касумова, «Мы его величество» Р. Эбралидзе и С. Долидзе, «Кто преступник» Г. Мухарова, «Обвал» К. Насырова, «Цветы на окраине» М. Рабиева, «Долг гражданина» А. Сидки, «Мне тридцать лет» Петерсона, «По ту сторону горизонта» М. Лийвеса и т.д. и т.п., и в каждой из них действующие лица только одной национальности — либо грузины, либо эстонцы и т.п. Тенденция к сужению круга национальности персонажей наблюдается во всех советских литературных произведениях, не только в драматургии.

В произведениях 50-х, 60-х, 70-х годов, рассказывающих, по принятой в критической и литературоведческой литературе терминологии, «о мирном труде» — высоко художественный образ интернационального по составу коллектива — редкость.

Любопытно, что теоретически художники понимают характер национальных отношений верно. «Все лучшее, чем славен и богат сегодняшний Узбекистан, промышленные гиганты и гидротехнические сооружения, новостройки Ташкента, Навои, Зеравшана, Самарканда, Бухары и освоение земли Каршинской степи, научные открытия и культурные достижения — все это результат трудового и творческого содружества народов, населяющих нашу республику», — писал К. Яшен в начале 70-х годов в одной из своих статей (К. Яшен. Годы, судьбы, книги. Ташкент, 1973, с. 318)

Если же мы обратимся к художественному творчеству К. Яшена, то примеры этого «содружества народов, населяющих нашу республику», мы найдем только в его произведениях, рассказывающих о гражданской и Великой Отечественной войнах. Например, в «Путеводной звезде» из 28-и действующих лиц — 12 русских персонажей, среди героев и персонажей пьесы туркмен, казах, англичане, в «Разгроме» — из 25-и действующих лиц — 4 русских, в «Генерале Рахимове» среди 24-х действующих лиц — наряду с узбеками — и русские, и украинцы, и грузин, и армянин, и немцы, и даже турок... Но вот пьесы, рассказывающие «о мирном труде»: «Честь и любовь» (действие происходит в 1935 году в Узбекистане), «Офтобхон» (действие происходит после войны) — и ситуация резко изменилась — действующие лица пьес только одной национальности — узбеки.

И пусть в предшествующих пьесах, скажем, в «Путеводной звезде», образы представителей других национальностей не отличались особой глубиной, так же как и подбор их по национальному составу (узбек, казах, туркмен в числе главных действующих лиц пьесы — дань скорее теоретической схеме, чем реальным жизненным взаимоотношениям), внимание к проблеме межнациональных связей говорило о стремлении отразить процессы реальной действительности. Жаль, что это стремление не получило дальнейшего углубления ни у старейшего аксакала уз-

бекской литературы, ни у более молодых ее представителей.

Эта особенность присуща не только произведениям «о рабочем классе». Даже в тех случаях, когда авторы переносят действие своих произведений в такие общественные институты, в которых участие представителей многих наций и народностей является наременным, обязательным условием, они в большинстве случаев это условие упускают из виду.

Взять, к примеру, произведения, рассказывающие о жизни современной Советской Армии и Флота.

Армия всегда, во все времена сводила воедино людей самых различных национальностей. Многонациональной была армия и царской России (хотя для целого ряда народностей царской армии правительство делало «исключения»: не призывались, например, представители среднеазиатских народов. Лишь в разгар первой мировой войны их стали мобилизовывать на тыловые работы). И русские писатели, изображавшие армейскую среду, не могли пройти мимо этого факта, подтверждением чему служит множество произведений и дореволюционных русских писателей, и советских, обращающихся к этой теме — от Марлинского, Куприна до Соболева, Новикова-Прибоя, Вишневого.

Не случайны среди персонажей «Капитального ремонта» — немцы Гресе, фон Веймарн, Гедройц, а среди действующих лиц «Разлома» — их соплеменник Штубе: остзейское дворянство по давней традиции несло службу в царском флоте.

Не случайна фамилия командира корабля в «Оптимистической трагедии» — Беринг: потомки шведских флотских династий есть и в сегодняшнем советском флоте, точно так же, как не случайна и фигура матроса — финна Вайнонена, а в «Капитальном ремонте» — латыша Вайлиса: финнов, эстонцев, латышей призывали чаще всего во флот.

Советская Армия и Флот — плоть от плоти и кровь от крови — детище нашей многонациональной страны. Советская Армия представляет собой, быть может, наиболее зримое воплощение дружбы народов, дружбы, которая крепла и ширилась в тяжелых боях и походах. Любое воинское подразделение, экипаж любого корабля ВМФ состоит из представителей самых разных народов страны. Герой Советского Союза летчик Александр Райлян, вспоминая о родном селе на Кубани, говорил, что живут в нем и русские, и украинцы, и армяне, и немцы, и корейцы, и даже — ассирийцы, а в эскадрилье, которой он командовал в Афганистане, служили русские, украинцы, татары, молдаване, армяне, грузины, узбеки.

Конечно, из этого вовсе не следует, что список персонажей пьесы или романа, действие которых происходит в армейской или флотской среде, должен представлять собой реестр национальностей. Но ведь хоть как-то эта особенность нашей армии должна находить отражение в произведениях о ней. Однако большинство произведений об армии и флоте, как правило, «укомплектовано» персонажами лишь одной национальности — русскими (изредка среди русских фамилий попадают украинские, что далеко не во всех случаях выражает национальную принадлежность героя).

Исключения были, но они очень редки.

В романе Н. Думбадзе «Не беспокойся, мама» солдат-пограничник грузин Автандил Джакели абсолютно естественно вливался в многонациональный коллектив заставы, становясь его орга-

ничным членом. Столь же разнороден был национальный состав пограничной заставы в пьесе М. Ганиной «Третья встреча». И все же роман Н. Думбадзе и пьеса М. Ганиной скорее были исключениями, чем правилом.

Справедливости ради, следует заметить, что в некоторых пьесах (и фильмах) о жизни армии все же появлялись среди офицеров или солдат представители нерусской национальности. Сложилось уже и определенные штампы. В произведениях, действие которых происходит в офицерской среде, почти обязательно вы встретитесь с офицером-грузином, видимо, по традиции, идущей все еще от «Парня из нашего города» К. Симонова. В фильме режиссера Н. Засеева «Слушать в отсеках!», снятом по одноименной повести В. Тюриня, один из офицеров, как и следовало ожидать, грузин Анзор, в фильме режиссера Борозецкого по сценарию А. Кулешова «Жизнь моря армия» капитан Коберидзе, а в «Верую в любовь» режиссера Е. Михайловой по сценарию С. Шелестовой мы как бы возвращаемся к истокам этой «традиции» — к образу полковника Ваню Гудиашвили, впервые появившегося в пьесе К. Симонова, прожившего жизнь в фильме А. Столпера и В. Иванова и неизвестно зачем потревоженного в третий раз...

В жизни сводят, соединяют людей разных национальностей не только производственные отношения, не только служба в армии, или учеба в институте, но и брак, семья. По данным Госкомстата, межнациональные браки у нас в стране — явления весьма распространенные. И смешанная семья в семейно-бытовой драме, в романе или в фильме, казалось бы, давно уже должна была стать не исключением, а правилом. Но в современной сегодняшней литературе, пожалуй, даже и исключений не много.

Попытки, робкие и, думаю, в ряде случаев не имеющие четкого художественного осмысления — чрезвычайно редки: «Цыган» А. Калинина, пожалуй, один из немногих примеров. В фильме «Одиноким предоставляется общежитие» присутствие героя Фрунзика Мкртчяна — всего лишь жанровая черточка, деталь, вызванная скорее стремлением эксплицитировать типажные данные актера, чем отражение реальных жизненных процессов. В фильме режиссера И. Николаева по сценарию В. Соловьева «Атака», действие которого происходит в танковом полку, расквартированном в Туркмении, женой офицера, судя по фамилии русского (погибшего еще до начала фильма, так что точнее сказать, — вдовой), оказывается, опять-таки, судя по имени и фамилии, да по некоторым внешним приметам — костюму, прическе — туркменка, сыгранная узбекской актрисой Д. Игамбердыевой, но это — одно из редчайших исключений.

Таким образом, людей разных национальностей связывают в реальной жизни производственные интересы, соседство, дружеские отношения, семейные и родственные связи, и только искусство почему-то обходит эту качественно важную особенность нашей сегодняшней жизни.

Теоретики искусства, критики, как правило, не обращали внимания на эту проблему. Правда, справедливости ради, следует заметить, что еще в самом начале 60-х годов И. Вишневецкая, подводя в «Вопросах литературы» итоги драматургического рода и отмечая, что «пристальнее постигая действительность, драматурги продолжали крепкую и испытанную традицию нашей литературы — показывать людей в единой братской семье народов», сетовала, что «к сожалению, благородная традиция эта получила пока

что лишь количественное, механическое, а не углубленное, качественное развитие. Дело во многих пьесах сводилось к тому, что в драму попросту включается какой-либо персонаж из национальной республики или иностранец — и тема дружбы народов считается отраженной... Так возникает казах в пьесе К. Финна «Начало жизни», не несущий особой идейной и сюжетной нагрузки и приметный лишь своим акцентом. Так обнаруживается казах в комедии А. Софронова «Стряпуха», с упоеанием объясняющий, как варить беш-бармак...»

Сказано очень точно. И это замечание можно с полным правом отнести не только к драматургии 50-х годов, но и к драматургии 60-х, 70-х годов, не только к драматургии, но и к эпическому жанру — к роману, к повести, не только в литературе, но и к кинематографу.

И если тема дружбы народов специально в произведении не затрагивалась, то и вообще в перечне действующих лиц, в числе персонажей его оказывались по-прежнему представители лишь какой-нибудь одной национальности — либо русские, либо украинцы, либо грузины, либо киргизы, либо узбеки, либо казахи, независимо от того, происходило ли действие на стройке, в колхозе, в вузе, в НИИ, в больнице, в поезде, на вокзале, в Москве, в национальной республике.

Инерция эта продолжается и до настоящего времени. В романе Миколаса Служкиса «Древо света», действие которого происходит в наши дни, — все герои литовцы. В романе «Рубеж» Юрия Мушкетика герои, судя по именам и фамилиям — украинцы, но, возможно, что и не все, хотя судить о национальной принадлежности героев весьма трудно, ибо ни в их характерах, ни в языке (сужу по публикации на русском языке) национальные различия, даже если они и предполагаются автором в оригинале, уловить невозможно.

В столь же изолированной национальной среде происходит действие романа туркменского прозаика Тиркиша Джумагельдыева «Побег». Можно назвать не один десяток романов, повестей, рассказов русских писателей-прозаиков, среди действующих лиц которых одни только русские.

Однородная национальная среда запечатлена в пьесах на современную тему В. Розова, Э. Радзинского, М. Рощина, Г. Бокарева, А. Гельмана, В. Черныха, В. Дударева, А. Дозорцева, М. Макаенка, У. Умарбекова, А. Галина, Л. Петрушевской... Впрочем, список этот очень длинен.

Сходная ситуация наблюдается в литературе, драматургии, кинематографе других республик. Некоторые грузинские писатели, кинематографисты весьма чутки к этническим характеристикам своих героев. Нодар Думбадзе замечал: «У меня кахетинец говорит на кахетинском диалекте, гуриец — на гурийском». Но ведь почти ни в одном романе грузинских писателей о современной действительности (изданных на русском языке), ни в одном фильме грузинских кинематографистов, действие которого происходит сегодня в Грузии, нет ни одного персонажа не грузина.

Нет нужды повторять, что искусство — не абсолютная копия реальности, у него свои законы и состав действующих лиц художественного произведения не устанавливается с помощью калькулятора на основе данных последней переписи населения. Но реальные жизненные ситуации, в том числе и межнациональные связи, обязательно должны находить отражение в искусстве. При этом изображение инонационального харак-

тера в художественном произведении не может быть самоцелью. Заданность, искусственное конструирование ситуаций, иллюстрирующих идею дружбы народов, столь же неприемлемо, как и обидное невнимание к реалиям жизни.

Почему же традиция изображения инонационального характера, имеющая столь давние корни в русском искусстве, как и в искусствах ряда других народов Советского Союза, стала глоснуть, хиреть, а в каких-то отдельных проявлениях и вовсе сошла на нет?

Причины следует искать прежде всего в реальной действительности, в тех перегибах, перекосах и извращениях в области национальной политики, которых на протяжении нашей истории было немало.

Я вспоминаю свое военное детство. Эвакуированные в 41-м году из Монголии, где мы жили с отцом военнослужащим, мы оказались в пригороде Тюмени в поселке спецпереселенцев, бывших раскулаченных, которых, однако, вскоре отправили еще дальше в тайгу. А в опустевшие дома через некоторое время вселились новые переселенцы — калмыки и немцы Поволжья. Среди них и прошло мое детство.

От своих немецких и калмыцких сверстников, с которыми я учился в школе, играл в лапту, с которыми собирал на полях соседнего совхоза весной, когда стаявал снег, прошлогоднюю мерзлую картошку, из которой потом пекли лепешки, я получил и первые уроки немецкого и калмыцкого, и первые уроки интернационализма. Но мог ли я, не сведи меня судьба с поволжскими немцами и калмыками, узнать что-нибудь об этих народах из книг, из учебников, вообще из официальных источников 40-х — 50-х годов? Только, если из пушкинского «Памятника». Помню, в те же военные годы я услышал, как моя мама говорила об одной из своих подруг: «Она нацменка». И я долго был уверен, что «нацмены» это такая же нация, как русские, немцы или калмыки. И только потом, гораздо позднее, вспоминая слова, которым я научился от детей этой маминной подруги, я понял, что она и ее дети были татарами.

Думаю, что первые признаки пренебрежения национальной принадлежностью человека появились одновременно с появлением слова «нацмены». Что может быть нелепее этого обезличенного, нивелирующего канцеляризма! Оно сродни «винтику». Обозначение ничуть не уступающее по своей природе дореволюционному «инородец», которое, к сожалению, снова кое-где обрело права гражданства.

Обозначение переключалось и на страницы художественных произведений, а через какое-то время и в нем не стало нужды, потому что «нацмены» почти исчезли со страниц русской литературы, точно так же, как русские со страниц национальных литератур.

В первые послевоенные годы, помню, даже в детской среде стало проявляться открыто недоброжелательное отношение к еврейским детям, уже готовилась почва и для позорной кампании борьбы с космополитами, проведения средневекового процесса «врачей-отравителей». А разве сами эти кампании не отравляли сознание людей, не вносили в общество вируса шовинизма, пренебрежения к представителям других наций? А разве прошли бесследно насильственное переселение крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, калмыков, турок-месхетинцев, депортация латышей и эстонцев? Но национального вопроса по-прежнему «не существовало» ни в реальности, ни в теории, ни



в искусстве, и нет ничего удивительного, что из произведений литературы и искусства стал исчезать и почти полностью исчез инациональный характер, из произведений русских писателей образы евреев, татар, грузин, узбеков, белорусов, а из произведений писателей и художников союзных и автономных республик полнокровные образы русских. Я говорю «полнокровные» потому, что образы инациональные в отдельных произведениях все же сохранились, но это были, как правило, либо произведения, посвященные международной тематике, борьбе за мир, или произведения на тему «дружба народов».

Их было в те годы создано бесчисленное множество. И только, как отдельные ласточки на пустынном горизонте, появлялись на фоне «монациональных» по составу действующих лиц произведений изредка такие, в которых действующие лица принадлежали к разным национальностям и притом автору было безразлично и то, что они разной национальности, и то, какой они национальности.

Критика же оставалась по-прежнему к этой проблеме совершенно равнодушной, и, естественно, прошла мимо того, что когда-то было, думаю, безразлично Э. Казакевичу в его повести «Двое в стели».

Конечно, дело не только в цензурных запретах. Если нельзя было правдиво отразить какие-то аспекты межнациональных отношений, то ведь на изображении представителей других национальностей, за исключением, может быть, крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, запретов не было.

Сказались, видимо, также и боязнь национальной специфики, незнание или недостаточное знание особенностей жизни и быта, примет национального характера, о чем говорил когда-то в одной из своих статей М. Карим, с горечью отмечавший, что в других республиках почти ничего не знают о Башкирии, о ее культуре, истории, о ее сегодняшнем дне, и самое главное — о ее людях. О том же говорил в одном из интервью Ануар Алимжанов.

Обращение к изображению представителей других национальностей для художника — один из способов проникновения во внутренний мир не только человека иной нации, но и во внутренний мир человека вообще. А. Битов заметил, что «если для человека научиться понимать других людей есть важнейший этап душевной зрелости, то для художника — это его крест и его труд».

Любопытная деталь: для толстовской Марьи Дмитриевны Ходжи-Мурат «татарин, а хороший», не более. Для Толстого — Ходжи-Мурат — целый мир, галактика...

Искусство дает нам немало примеров удивительного взаимопроникновения, когда художник, будучи человеком одной национальности, проникается духом иного народа, его складом мышления, его образным поэтическим строем.

Национальный колорит никогда не был преградой для русского театра. Он не мешал удачному сценическому воплощению целого ряда иноязычных пьес. Не помешал он в 60-х годах триумфальному шествию на русской сцене грузинской комедии Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», не помешал успеху «Ханумы» Цагарелли, а еще раньше успеху «Стрекозы» Бараташвили, не мешает сейчас, когда пьесы национальных драматургов из братских республик не особенно часто, но все же идут на сцене русских театров страны.

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»,

поставленный Г. А. Товстоноговым в Ленинградском Большом драматическом театре, на мой взгляд, может служить убедительнейшим примером необычайно глубокого и тонкого проникновения в национальный характер, в самые подспудные, скрытые даже и от внимательного глаза человека другой нации, черты его.

Илларион Е. Копеляна и Илико С. Юрского были людьми разными не только по характеру, но они были из разных сел — тонкость, далеко не всегда улавливаемая даже актерами, играющими своих соплеменников.

Если же обратиться к кино, то сразу же приходит на память неповторимый Ходжа Насреддин Льва Свердлина в одноименном фильме Я. Протазанова, литературная первооснова которого тоже, кстати, создана русским писателем Л. Соловьевым (сценарий был написан им в соавторстве с В. Витковичем), а если брать примеры не очень давние, то сразу же встает перед глазами туркмен Саид, созданный С. Мишулиным в «Белом солнце пустыни»; в этом же ряду и образ следователя, созданный А. Калягиным в фильме режиссера Р. Аджагова «Допрос» по сценарию Р. Ибрагимбекова, «Тевье-молочник» М. Ульянова на телевидении, и такие работы И. Смоктуновского как Моисей Мойсеич в фильме Сергея Бондарчука «Степь» и Реваз в спектакле МХАТ (тогда еще не разделенного) «Тамада» (пьеса А. Галина, режиссер К. Гинкас).

После 1985 года, когда начали публиковаться произведения, ранее запрещенные, когда стали снимать с полки пролежавшие там годами кинофильмы, стало ясно, что подлинники художники всегда были чутки к национальным проблемам, что они прекрасно видели и видят присущее нашей жизни многообразие, что художники одной нации умеют изображать представителей других наций, что национальность героя может не только выражаться в его фамилии, но и характеризовать его внешность, выражаться в речи, в психическом складе, в мышлении, быть предметом его размышлений, может ставить героя в определенное отношение с другими героями и даже определять его судьбу.

И тогда обрел вторую жизнь забытый рассказ В. Гроссмана «В городе Бердичеве», а режиссер А. Аскольдов — постановщик фильма «Комиссар», как и исполнители главных ролей — Р. Быков, Н. Мордюкова, не только почувствовали и донесли мысль писателя, но и воплотили национальные черты героев, хорошо понимая, что в кино с его фотографически фиксирующей природой нельзя раскрыть «национальное», минуя конкретность физиономического типажа, костюма и т. д.

В повести «Ночевала тучка золотая» А. Приставкин глубоко проник в «чужую» психологию, описывая братанье чеченского и русского мальчишек.

Изображая пути и перепутья, по которым судьба ведет русского интеллигента доктора Юрия Андреевича Живаго, Б. Пастернак, художник чуткий и пронзительный, внимательный не только к внутреннему миру многонационалия, являющегося характерной чертой российской действительности.

Роман Б. Пастернака, где и время, и пространство не отвлеченные категории, а реальная среда, в которой действует герой, населен достаточно густо, и в изображении действующих лиц автор внимателен не только к их психологическим характеристикам, к их социальной принадлежности, но и к их национальности.

Естественно, роман Пастернака — не статисти-

ческий отчет о составе населения России первой четверти XX века, национальный состав его персонажей во многом случаен, — но эта случайность закономерна и оправдана, ведь действующие лица романа — это люди, с которыми жизнь так или иначе сводила главного героя.

Реальные межнациональные отношения как и в реальной действительности далеки от идиллии: «Как ты напиток держишь, азиат, — орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла-мулла косые глаза?»

Одна из самых пронзительных сцен романа — когда казак глумится над старым евреем. Для Пастернака эта сцена — не проходная. За ней следует своеобразное авторское отступление, хотя и облеченное в форму рассуждений Юрия Живаго и Гордона, но это именно авторское отступление, и в нем Пастернак вновь «выходит» на тему, — евреи в России — очень существенную, тему, глубоко волнующую его, заявленную уже на первых страницах романа.

Жанровая природа романа-эпопеи В. Гроссмана «Жизнь и судьба», его воистину вселенский масштаб охвата жизненной реальности как бы изначально предполагала многообразие его персонажей по национальному составу. И действительно, ведь только в немецком лагере, где содержится Мостовской, томятся люди пятидесяти шести национальностей. «Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба». Наряду с русскими, составляющими подавляющее большинство, роман населяют евреи, украинцы, армяне, калмыки, татары, цыгане, узбек, грузин, казах...

Жизненная судьба конкретного человека у Гроссмана зависит от многих факторов, в том числе в немалой степени и от его национальности. Этими причинами и объясняется, почему так внимателен писатель к национальным приметам внешнего облика персонажа, его речи. Как, скажем, подробно и обстоятельно он пытается передать особенности речи казанского татарина Ахмета Усмановича Каримова: «Говорил Каримов по-русски правильно, и, лишь внимательно прислушиваясь, можно было заметить легкую тень, отличающую оттенки в произношении и построении фразы»; его внешности: «лишь внимательно всмотревшись в широконосое, мятое лицо Каримова, Штрум подмечал в нем едва уловимые отклонения от обычного русского славянского типа. А в короткие мгновения, при неожиданном повороте головы, все эти мелкие отклонения объединялись, и лицо преображалось в лицо монгола.

Вот так же иногда на улице Штрум угадывал евреев в некоторых людях с белокурыми волосами, светлыми глазами, вздернутыми носами. Что-то едва ощутимое отличало еврейское происхождение таких людей — иногда это была улыбка, иногда манера удивленно морщить лоб, прищуриваться, иногда пожатие плеч».

Несомненно важно для Гроссмана, так же как и для героев Пастернака, самосознание человеком своей национальной принадлежности: «Он думал... о своем еврействе, о том, что мать его еврейка». Несомненно, для Гроссмана уважение национального достоинства человека — вопрос

не только и не столько отвлеченно-теоретический, он важнейшая составляющая его писательского и человеческого «Я». Каримов, герой романа, осуждает Достоевского: «Я нацмен, я татарин, я родился в России, я не прощаю русскому писателю его ненависть к полячишкам, жидишкам... В России у великого писателя нет права травить инородцев, презирать поляков и татар, евреев, армян, чувашей».

Думаю, что устами Каримова Гроссман выразил и свое личное убеждение, а всем своим творчеством доказал свою причастность к судьбе народа, к его страданиям, свое глубочайшее неприятие какой бы то ни было несправедливости в отношении любого народа. И потому столь последовательно раскрывает Гроссман в романе и корни антисемитизма, и процесс формирования официальной государственной политики в отношении евреев.

Трагической болью и отчаянием наполнены эпизоды в еврейском гетто, в эшелоне, увозящем евреев в лагерь, в газовой камере, к прощальным письмам матери Штрума, — к страницам, принадлежащим, без преувеличения, к высочайшим вершинам современной литературы...

Столь же густо населены национальными персонажами и последние романы А. Рыбакова «Дети Арбата» и «35-й и другие годы», автор несомненно более внимателен к этой стороне реальности, чем в ранних своих произведениях.

Можно было бы привести и еще ряд примеров из произведений, создаваемых в последние годы в разных видах искусства, свидетельствующих о не формальном, а подлинно заинтересованном внимании и к национальным чертам в характере персонажа, и к инациональным образам, однако гораздо важнее, на мой взгляд, отметить возрождение, хотя уже и на новом уровне тех традиций, которые сложились в русском искусстве в изображении инациональных характеров, традиций, заложенных Пушкиным, Львом Толстым, развитых А. Фадеевым, Б. Пастернаком, В. Гроссманом.

Сегодня эта традиция особенно важна. Ведь, по сути дела, проблема изображения инационального характера — это проблема вообще характера, вообще художественного изображения. Постигая инациональный характер, художник оттачивает свое умение проникать в «диалектику души» своих «соплеменников».

Есть и еще один аспект. Подлинная дружба народов основывается на глубоком знании истории, образа жизни, обычаев, традиций, национальной психологии других наций. Оказавшись по пути в Арзрум на осетинских похоронах, Пушкин замечает: «К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов».

Однако нередко мы и сегодня еще становимся в тупик перед некоторыми проявлениями национальной психологии, обычаями других народов, что нередко является одной из причин напряженности и даже конфликтов на национальной почве. Искусство же, как отмечал еще М. Горький, «всего легче и лучше знакомит народ с народом».

При нашем «типичном смешении азиатских и европейских лиц» (Ч. Айтматов) это жизненно необходимо. Сегодня — как никогда.



## ПОИСКИ ЖАНРА И...ПРАВДЫ

**Шукр Халмирзаев. Над пропастью. Роман.**  
Перевод с узбекского М. Мирзамухамедова.  
Ташкент. Издательство им. Гафура Гуляма,  
1989 г.

Читая эту книгу, удостоенную Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, размышляя о ней, невольно сопоставляешь три эпохи: 20-е годы — время событий, описываемых в романе, конец 70-х — начало 80-х годов — период создания книги, и время нынешнее, когда освобожденные гласностью запретные темы воспринимаются уже не с азартом, а буднично.

Тема гражданской войны, борьбы с басмачеством на протяжении десятилетий осваивалась писателями Узбекистана по преимуществу в жанре приключенческой литературы. В соответствии с его канонами противоборствующими сторонами неизменно оказывались красные и белые, а для обрисовки характеров краски избирались без полутонов — белая и черная. С реальной же, полной противоречий историей эти произведения историко-приключенческого жанра имели весьма отдаленное родство.

Обо всем этом не стоит забывать, знакомясь сегодня с романом Ш. Халмирзаева и оценивая его, ибо, во-первых, противоречия в нем есть, а во-вторых, они различной природы. Одни противоречия по сути диалектичны и произрастают из стремления автора соответствовать правде жизни, создать неоднозначные человеческие образы. Другие же связаны с тем, что писатель порой непоследователен: сам обозначает условия игры, и сам же их нарушает.

Начинается роман, как типичная книга «про разведчика»: проводы на вокзале, последние наставления перед заданием. Предполагаешь, естественно, что и задача поставлена трудная, и исполнитель подобран опытный и талантливый. Но читаешь страницу за страницей, уже подбираешься к трети всего объема книги, а главный герой все еще не приступил к выполнению задания, да и само оно продолжает оставаться туманным. Вместо захватывающей интриги с драками, погонями и всевозможной конспирацией, автор рассказывает о прошлом своего героя, который оказывается совсем не профессионалом, а рядовым красноармейцем. Правда, еще раньше Курбан был подающим большие надежды... богословом, приемным сыном ишана Суду-

ра — видного священнослужителя Бухарского эмирата.

Постепенно в повествовании прорисовываются черты романа политического, во главу угла выдвигается противостояние социальных позиций героев, каждая из которых подвергается своего рода испытанию на прочность. Бурные общественные события разметали близких людей по разные стороны социально-политической баррикады. Между служением богу и службой в Красной Армии в жизни Курбана был и бухарский зиндан — тюрьма, обозначившая крутой поворот в мировоззрении героя. Такая резкая смена жизненных ориентиров, с одной стороны, представляется возможной, с другой — ее объяснение, мотивация как бы подразумеваются. Умный, образованный молодой человек, посвятивший себя богослужению и искренне верящий в бога, не может, если следовать естественной логике характера, так быстро расстаться с верой в бога. Фрагментарные экскурсы в прошлое Курбана не содержат проявлений его сомнений, душевной борьбы.

Но прежде чем выносить однозначный упрек автору, стоит вспомнить, что, во-первых, он недвусмысленно продекларировал свою приверженность историко-приключенческому жанру, не предполагающему глубокое проникновение в психологию героев, а во-вторых, роман писался тогда, когда официальные партийные руководители республики ревностно, хотя зачастую и лицемерно, стояли на позициях воинствующего атеизма, незыблемого канона, который, помимо всего прочего, обязывал изображать служителей культа существами коварными, недалекими, только и озабоченными тем, как подսунуть «опиум» простодушному честному народу.

Поправка на время создания и выхода в свет романа на узбекском языке — начало 80-х годов — многое проясняет и резонно позволяет предположить, что жанровые противоречия возникли в романе не случайно, по авторскому недосмотру, а оказались побочным результатом осознанных тактических действий. Избрав традиционный «проходимый» канонический сюжет, писатель позволяет себе немало вольностей, главная из которых заключается в том, что в стане врагов, среди басмачей, оказываются и порядочные люди. Причем не только из числа обманутых — такое дозволялось и раньше, — но и среди людей умных, образованных.

Вскоре после выхода книги на узбекском языке в Республиканском молодежном театре «Еш гвардия» была сделана ее инсценировка, где режиссер-постановщик Б. Юлдашев, сведя к минимуму событийную сторону, сосредоточил внимание на выявлении психологии персонажей, на том, чтобы в спектакле действовали живые лю-

ди, а не картонные басмачи. Основания для такой трактовки в романе Ш. Халмирзаева есть.

В этом еще раз убеждаешься, прочитав книгу сегодня, в добротном переводе М. Мирзамухамедова, удержавшегося от искушения подправить автора.

Самой любопытной в романе представляется фигура его преосвященства ишана Судура ибн Абдуллы. Уже в начале повествования Курбан говорит о нем как о человеке, имевшем огромный авторитет и среди правителей Бухарского эмирата, и среди народа. «Иногда этот человек становится таким правдивым, способным давать фетву (мусульманская проповедь — Ю. П.) нечистым делам... Ишан Судур был блестящим законоведом, знатоком и толкователем шариата!.. Его преосвященство фактически являлся верховным правителем мусульман Восточной Бухары. У его имени тогда приставки «судур» не было. Судур — это звание! Специальное высшее духовное звание, присваиваемое эмиром».

Правда, позже читателю становится известно, что, творя праведные суд и дела, раздавая значительную часть подалий прихожан беднякам, ишан Судур немалую толику их превращал через доверенных людей в золото и драгоценности и прятал в тайнике. Но эта информация, также поведенная устами Курбана, воспринимается скорее как ритуальный довесок, уравновешивающий вроде бы в принципе невозможную личную порядочность священнослужителя. Гораздо более важным представляется другое. Во-первых, на протяжении описываемых событий, в которых он принимает непосредственное участие, ишан Судур ни разу не совершает неблагоприятного поступка, а во-вторых, и это — главное, он, человек действительно мудрый, глубоко знающий людей, оказывается растерянным от неподвластности его пониманию хода вещей, бессильным найти те единственные, берущие за душу слова, которые вдохновили бы воинов ислама на священную борьбу с частями Красной Армии, по сути, с такими же дехканами.

Хотя более половины объема повествования занимает описание событий, происходящих в штабе исламской армии, воспроизведение бесед между Ибрагимбеком, Энвером-пашой, ишаном Судуром и другими руководителями повстанческого движения, писатель не очень-то озабочен необходимостью поддерживать напряженность в развитии фабулы, созданием «образа врага». Напротив, будто следуя мудрому совету К. С. Станиславского играть злого, когда он добрый, автор стремится воссоздать многообразие человеческих устремлений, приоткрыть сущность характеров. Этому способствует используемый им прием самораскрытия образов, когда разные люди, стремясь проникнуть в замыслы ишана Судура, доверительно посвящают Курбана в свои притязания.

Линия взаимоотношений между Ибрагимбеком и Энвером-пашой включает в себя и противостояние их честолюбий, и осознание ими необходимости объединения усилий для совместных скоординированных действий, и их все более очевидную неспособность управлять ходом событий.

Писатель настойчиво проводит мысль о том, что во главе басмаческого движения стояли умные, образованные люди. Они прилагали все усилия к тому, чтобы достичь единения своих рядов, собрать все силы в кулак, повернуть к себе народ. То, что они так и не смогли найти идей, которые отвратили бы массы от большевиков, обозначило их личный крах, трагедию непони-

мания сути происходящего. Все это — проявления естественных жизненных противоречий, и отражение их в романе вызывает доверие к его автору, чего нельзя сказать о попытке писателя преодолеть в финале книги противоречия литературные, жанровые. Курбан, так и оставшийся фигурой функциональной, обслуживающей движение фабулы, тем не менее успешно выполняет свое туманное задание, вынужденно раскрывает себя и нелепо, но, естественно, героически гибнет. Все это воспринимается не иначе, как вынужденная дань тем стереотипам, от которых постепенно освобождается и писательское, и читательское сознание.

И все-таки главным в романе сегодня предстает настойчивое стремление писателя вернуть картине исторических событий многоцветие красок, оттенков, через призму взгляда в прошлое способствовать более глубокому пониманию сути современных социальных процессов.

**Ю. ПОДПОРЕНКО.**

---

## ПУТЬ МУЖЕСТВА

**Тура Мирзо. Возвращение в Фергану. (Перевод В. Кирюшина). Москва, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1989 г.**

---

Известный узбекский поэт старшего поколения Р. Парфи определяет творчество Туры Мирзо как «многотрудный путь к Родине». На первый взгляд, это определение противоречиво. Как же так? Мы не изгнанники. Родина — вокруг нас и в наших сердцах. Однако слова поэта становятся понятными, если вспомнить, во что превратили нашу большую и малую Родину бездушные, лишенные любви к земле и народу чиновники, номенклатурное перекаати-поле. Вспомним еще, что истинно любящий свой край всегда поймет боль земли далекой. Так рождается настоящая дружба народов, а не казенный лозунговый интернационализм. И этот путь к Родине действительно многотруден, порой мучителен.

У нас довольно успешно «стирались грани» не только между народами, но даже между мужчиной и женщиной. Мне всегда до боли жаль поэтесс, напрягающих нежную от природы гортань в полемическом запале. Это — не от хорошей жизни, а от слабости голосов «сильного пола». Ну а (да простят меня поклонники «психологизма» и прочих «измов») рифмованное нытье поэтов-мужчин вызывает во мне чувство пренебрежения. Мое убеждение: женская лирика должна быть женственной, мужская — мужественна. Поэтому-то мне так радостно было читать тоненькую книжку молодого узбекского поэта Туры Мирзо.

В стихах Туры Мирзо много боли. Он пишет о поруганной природе, об опустошенности человеческих душ. Однако страдание поэта плодотворно, его стихи — не крик отчаяния, а призыв

к мужанию и борьбе. Меня просто поразили чеканные строки:

Молятся травы  
О капле дождя  
Для продолжения спора  
Со смертью.

Именно в мощи духа, в неиссякаемом мужестве видит поэт высший смысл поэтического призвания. Пока живет мудрое и правдивое слово, жив народ. В этом для Туры Мирзо заключается главный урок, преподанный гениями прошлого:

Как много было предано забвению!  
Но корни вновь отыщутся твои,  
Когда живой водою откровенья  
Глаза твои омоет Навои.

Жгучее чувство личной вины перед родной землей и стремление искупить этот грех просыпается в душах от вещей слов Мир Алишера. А случайное, но становящееся символическим на русском языке совпадение звучаний «титула» царя поэтов Навои — Мир и всеобъемлющего слова «мир» придает особый смысл строке:

Мир на тебя надеется, поэт!

И, уже в другом стихотворении, Тура Мирзо доводит эту мысль до логического завершения:

И Родина поднимется с колен  
В любой беде,  
Коль сохранится слово.

Бешеные скорости современной жизни, прерывистое дыхание тех, кто несет на себе тяготы эпохи, переданы в «Монологе скакуна». Это стихи о том, что истинный героизм не требует похвалы и награды. Зачем же нужна подобная гонка, почему «наша доля — в кровь сбивать копыта»? А вот почему:

Лишь добру и совести служи,  
Ведь еще сидит над картой мира  
Зло  
И намечает рубежи.

Но, быть может, борьба эта безнадежна? Подкрадывается отчаяние, захлебывается сердце от горя, «твердь распята конницей». Неужто все потеряно? Нет! — утверждает поэт:

Тот, кто сеет зерно,  
Дальновиднее сеющих смерть.  
Рукоять кетменя  
Изначально надежней приклада.

Поэт хранит надежду и веру, невзирая на мрачные пророчества. Даже видимость конечной гибели не страшит его:

Даже мертвое сердце  
Порой удастся спасти,  
Как прообраз земного,  
Единожды данного шара.

Тура Мирзо молод, но в его творчество уже проникли зрелые размышления о грозной тайне человеческого бытия — смерти. Он восклицает:

Да будут прокляты  
Эпохи,  
Где ничего не стоит  
Жизнь.

Однако поэт видит и нечто более страшное, чем физическое уничтожение:

Страшно коснуться недуга,  
Зыбкого храма теней,  
Но умирание духа  
В людях живущих —  
Страшней.

Центральное место в сборнике занимает цикл стихотворений «Крик травы». Название цикла говорит само за себя. Поэт возлагает на себя обязанность высказать обиды безъязыкой природы, которую неблагодарный сын-человек грабит, загоняет под слой асфальта, душит бензиновой гарью и дымом заводов. Перекликается с «Криком травы» и стихотворение «Тутовники Ферганы» — о терпеливых и отважных деревьях шелковицы, охраняющих поля от смертельных бурь.

Путь, по которому зовет за собой Тура Мирзо, — это путь мужества. Перелистываешь книжку, и хочется отнести к самому поэту его же слова:

Когда в душе печально и черно,  
Отвага чья-то может нас спасти.  
Порой на камень падает зерно  
И все-таки стремится прорасти.

Вероятно, нужно сказать несколько слов о переводе, вернее — поблагодарить переводчика. Виктор Кирюшин не следует слепо за буквой узбекского текста: кое-где изменен стихотворный размер, поменялись местами строки. Но переводчику удалось добиться главного: донести до русского читателя энергию стиха, мысль и дух поэзии Туры Мирзо, и сделать это художественно.

Нам, узбекистанцам, всегда приятно узнавать о том, что еще один наш собрат по перу вышел к всесоюзному читателю. Правда, иногда радость эту омрачает сомнение: а достойного ли представителя «делегировал» Узбекистан для издания в Москве? По поводу «Возвращения в Фергану» Туры Мирзо подобных сомнений не возникает.

**В. ФЕДОРОВА.**

---

## ТАЙНА ЧЕРЕПАХИ

Тимур Пулатов. Черепаха Тарази. ФРГ, Франкфурт-на-Майне, издательство «Зуркамф», 1989 г. (на немецком языке)

---

Вышедший в ФРГ роман известного узбекского писателя Тимура Пулатова «Черепаха Тарази» привлек к себе внимание западногерманской критики. Ниже мы публикуем отзыв на этот роман Сэмюэля Бахли, литературного обозревателя газеты «Франкфуртер альгемайне цайтунг», в переводе на русский язык, осуществленном Т. Гулямовым.

\* \* \*

Ох, как непросто проникнуть в ткань авторского повествования, проникнуться литературным действием, особенно если действие это разыгрывается в средневековом Узбекистане. Рекомендован здесь, может быть, окольный путь, который нам, поколению читателей Кафки, благосклонно предлагает писатель Тимур Пулатов. Речь идет о художественных мизансценах, способных заставить читателя позабыть о пространственно-временных дистанциях, ведь описывается процесс перевоплощения, происходящий под оком скучающего судии в глазах немногочисленной публики. Рутинная история, ибо перевоплощения в то время были в порядке вещей. Как сообщают хроники, каждый узбек в конце своего жизненного пути обычно превращался в черную кошку.

Но мелкая живность и юридическое крючкотворство занимают Пулатова лишь постольку, поскольку автору нужно выказать удивление и чувство сострадания к юристу Бессазу, претерпевающему превращение в гигантскую черепаху. Внимание: инициатором превращения человека в животное (а не наоборот!) здесь выступает сама Природа, причем без всякого вмешательства людей, то есть без волшебства. Обвиняемых нет, ибо здесь человека не судят, но пытаются ему помочь.

Сюжет книги: предпринимается попытка обратить вспять процесс перевоплощения. Следует, однако, иметь в виду — тот, кто видит некую жертвенность в изменении естества, покусается тем самым на божественные установления. Узбеки уже в те времена имели представление о каре, неотвратимо следующей за подобным «нарушением субординации». Ибо в те времена Прометей все еще был прикован к скале и орел — божий посланец — ежедневно терзал его печень.

Ученый Тарази осуществляет над новой ипостасью юриста Бессазу, гигантской черепахой, медицинскую процедуру и делает это, как нам кажется, из прометеяева чувства протеста против предрассудков своего времени, отождествлявших метаморфозы божества с низведением его до уровня животного. Как и всякий первопроходец, Тарази выступает здесь одновременно и как враг, и как дитя своего века. Он

отмечает алхимию, от пут которой никак не могут освободиться его коллеги, для него занятия такого рода — чистый блеф. Но и ему не чужда метафизика превращений. Правда, он верит не в текучесть веществ, но в перерождение живых существ.

Мы ничего не знаем о Тимуре Пулатове. К нашему сожалению, издательство не сочло нужным представить нам писателя. Мы ничего не можем сказать и относительно того, в какой степени Пулатов углублялся в мир Кафки (что из Кафки в России было опубликовано, но давно и незначительным тиражом). В поступи узбекского писателя нам чудится отзвук шагов Кафки. Однако, как бы нам ни хотелось заявить о прямой преемственности, об этом не может быть и речи. У Пулатова совершенно иной тип мышления, в корне отличающаяся от кафкианской образная система. Возможно, здесь уместнее вспомнить рассказ Гете о тех случаях, когда впечатление от прочитанного столь велико, что делается отправным моментом собственного творчества.

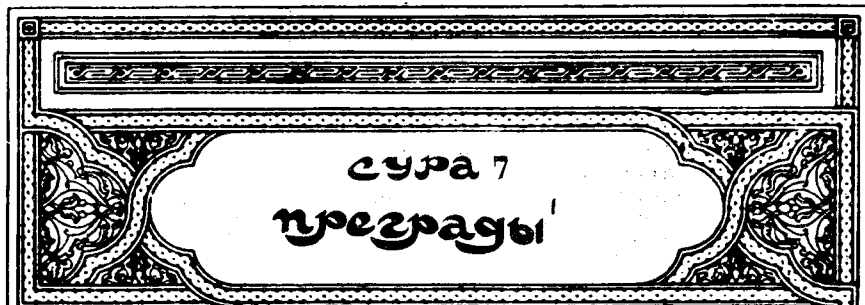
Несмотря на некоторую «густоту текста», в романе не теряются великолепные описания узбекского ландшафта. Передвигаясь по пескам вместе со своей черепахой, Тарази видит «маленькие прелести пустыни», заботливо собранные Пулатовым: неожиданно нежное цветение чертополоха, зыбучие подвижные барханы, единки варанов и их жертв — тушканчиков. Пулатовская пустыня — живет.

В конце книги человекоживотное вновь превращается в животное, попытка повернуть вспять процесс перерождения оказывается неудачной. Впрочем, за исключением одного маленького пунктика, одного темного воспоминания. Роман заканчивается следующим образом: «Случайно повернув голову, черепаха почувствовала запах одежды, некогда облегавшей ее тело. И она ощутила смутное беспокойство, подняла голову и взглянула на звезды, чтобы понять, где источник этой тоски, извечной тоски ее сородичей по человеческому?..» Тимуре Пулатову удалось заметить тоску по человеческому в глазах животного. Быть может, именно поэтому он взялся за написание своей книги.

**СЭМЮЭЛЬ БАХЛИ.**

# Коран

6,90



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1. (1). Ариф лам мим сад.<sup>2</sup> (2). Писание ниспослано тебе — пусть же не будет в твоей груди стеснения от него! — чтобы ты увещал им и чтобы оно было напоминанием верующим.

2. (3). Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте вместо него за покровителями; мало вы вспоминаете!

3. (4). И сколько селений Мы погубили! Приходила к ним Наша ярость ночью или когда они покоились.

4 (5). И было зовом их, когда приходила Наша ярость, только то, что они говорили: «Мы были неправедны!»

5 (6). Мы спросим тех, к которым были посланы, и спросим посланников.

6 (7). Мы расскажем им со знанием; ведь Мы не бываем отсутствующими!

7 (8). Вес в тот день — истина: у кого весы тяжелы, те будут счастливы,

8 (9). а у кого весы легки, те нанесли убыток самим себе за то, что были несправедливы к Нашим знамениям.<sup>3</sup>

9 (10). Мы утвердили вас на земле и устроили вам там средства жизни, — мало вы благодарны!

10 (11). Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» — и поклонились они, кроме Иблиса;<sup>4</sup> он не был из поклонившихся.

11 (12). Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Он сказал: «Я — лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины».

12 (13). Сказал Он: «Низвергнись отсюда; не годится тебе превозноситься там! Выходи же: ты — среди оказавшихся ничтожными!»

13 (14). Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены».

14 (15). Он сказал: «Ты — среди получивших отсрочку».

15 (16). Он сказал: «За то, что Ты сбил меня, я засяду против них в Твоем прямом пути.

16 (17). Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не найдешь большинства их благодарными».

17 (18). Сказал Он: «Выходи оттуда опозоренным, униженным! Тех, кто последовал из них за тобой... Я наполню геенну вами всеми!

18 (19). А ты, Адам, поселись ты и жена твоя в раю; питайтесь, чем хотите, но не приближайтесь к этому дереву, а то вы окажетесь несправедливыми!»

19 (20). И нашептал им сатана,<sup>5</sup> чтобы открыть то, что было скрыто от них из их мерзости, и сказал: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными».

20 (21). И залял он их: «Поистине, я для вас — добрый советник».

21 (22). Так низвел он их обольщением. А когда они вкусили дерева, явилась пред ними их мерзость, и стали они шить для себя райские листья. И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что сатана для вас — ясный враг?»

22 (23). Они сказали: «Господи наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток».

23 (24). Он сказал: «Низвергнитесь! Одни из вас враги для других. Для вас на земле местопребывание и пользование на время».

24 (25). Он сказал: «На ней вы будете жить, и на ней будете умирать, и из нее будете изведены».

25 (26). О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое прикрывало бы вашу мерзость, и перья. А одеяние богобоязненности — лучше. Это — из знамений Аллаха, — может быть, вы вспомните!

26(27). О сыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извел ваших родителей из рая, совлекая с них одежду, чтобы показать им их мерзость. Ведь он видит вас — он и его сонм — оттуда, откуда вы их не видите. Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют!

27 (28). А когда они сделают какую-нибудь мерзость,<sup>6</sup> то говорят: «Мы нашли в таком состоянии наших отцов, и Аллах приказал нам это». Скажи: «Поистине, Аллах не приказывает мерзости! Неужели вы станете говорить на Аллаха то, чего не знаете?»

28 (29). Скажи: «Повелел Господь мой справедливость; направляйте лица ваши в сторону всякой мечети<sup>7</sup> и взывайте к Нему, очищая пред Ним веру; как Он вас сотворил впервые, так вы и вернетесь! (30). Часть Он вел прямым путем, а над частью оправдалось заблуждение. Ведь они взяли шайтанов покровителями вместо Аллаха и думают, что они идут по прямому пути!»

29 (31). О сыны Адама! Берите свои украшения<sup>8</sup> у каждой мечети; ешьте и пейте, но не излишествуйте: ведь Он не любит излишествующих!

30 (32). Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он низвел для Своих рабов, и прелести из удела?» Скажи: «Это — только для тех, которые уверовали в ближайшей жизни в день воскресений». Так разъясняем Мы знамения для людей, которые знают!

31 (33). Скажи: «Господь мой запретил только мерзости, явные из них и скрытые<sup>9</sup>, грех и злодеяние без права, и чтобы вы придавали Аллаху в сотоварищи то, о чем Он не низвел власти, и чтобы говорили против Аллаха то, чего не знаете».

32 (34). У всякого народа — свой предел; и когда придет их предел, то они не замедлят ни на час и не ускорят».

33 (35). О сыны Адама! Когда придут посланцы из вас, рассказывая вам Мои знамения, то те, кто боялся и делал благое, — нет над ними страха, и не будут они опечалены!

34 (36). А те, которые считали ложью Мои знамения и превозносились над ними, — они — обитатели огня, в нем они пребывают вечно!

35 (37). Кто же несправедливее того, кто измыслил на Аллаха ложь или считал ложью Его знамения? Этим постигнет их удел из книги. А когда придут к ним Наши посланцы, чтобы завершить их жизнь, они скажут: «Где же те, кого вы призывали помимо Аллаха?» Они скажут: «Потерялись от нас!» И засвидетельствуют против самих себя, что они были неверными.

36 (38). Он скажет: «Войдите среди народов, которые прошли до вас из джиннов и людей, в огонь!» Каждый раз, как входил один народ, он проклинал ему подобный. А когда они собрались все там, то другой сказал о первом: «Господи! Эти сбили нас, пошли же им наказание двойное из огня». Он сказал: «Каждому — двойное, только вы не знаете!»

37 (39). И сказал первый другому: «У вас не было преимущества перед нами; вкусите же наказание за то, что вы приобрели!»

38 (40). Поистине, те, которые считали ложью Наши знамения и превозносились над ними, не откроются им врата неба, и не войдут они в рай, пока не войдет верблюд в игольное ушко». Так воздаем Мы грешникам!

39 (41). Им — из геенны ложа, а над ними — покрывала; и так воздаем Мы неправедным!

40 (42). А те, которые уверовали и творили благое, — Мы возлагаем на душу только возможное для нее, — они — обитатели рая, они в нем пребывают вечно.

41 (43). И Мы изъяли все, что было у них в груди из огорчения. Под ними текут реки, и говорят они: «Хвала Аллаху, который вывел нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной, и было возглашено: «Вот вам — рай, который дан вам в наследство за то, что вы делали!»

42 (44). И воззвали обитатели рая к обитателям огня: «Мы нашли то, что обещал



нам наш Господь, истиной, нашли ли вы истиной то, что обещал вам ваш Господь?» Они сказали: «Да». И возгласил глашатай среди них: «Проклятие Аллаха на неправедных, 43 (45), которые отвращают от пути Аллаха и стремятся обратить его в кривизну и не веруют они в жизнь будущую!»

44 (46). И между ними — завеса, а на преграде<sup>10</sup> — люди, которые знают всех по их признакам. И воззовут к обитателям рая: «Мир вам!» — те, которые не вошли в него, хотя и желали.

45 (47). А когда взоры их будут обращены к обитателям огня, они скажут: «Господи! Не помещай нас вместе с людьми неправедными!»

46 (48). И возвестили обладатели преград к людям, которых они знают по их признакам: «Не избавило вас ваше сборище и то, чем вы величались!

47 (49). Не об этих ли вы клялись, что Господь не постигнет их Своею милостью? Войдите в рай, нет страха для вас, и не будете вы опечалены!»

48 (50). И возгласят обитателя огня к обитателям рая: «Пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах!» Они скажут: «Аллах запретил и то и другое для неверных», —

49 (51). тех, которые свою религию обратили в потеху и забаву, и обольстила их эта ближняя жизнь: сегодня забудем Мы их, как и они забыли про встречу свою с этим днем и то, что они отрицали Наши знамения!

50 (52). Вот пришли Мы к ним с книгой, которую изложили со знанием, как прямой путь<sup>11</sup> и милосердие для людей, которые веруют.

51 (53). Неужели ждут они чего-либо, кроме толкования этого? В тот день, когда придет толкование его, скажут те, которые забыли его раньше: «Приходили посланники Господа нашего с истиной. Есть ли у нас заступники, которые заступятся за нас? Или мы будем возвращены и будем делать не то, что делали?» Они нанесли убыток самим себе, и исчезло от них то, что они измышляли!

52 (54). Поистине, Господь ваш — Аллах, который создал небеса и землю в шесть дней,<sup>12</sup> а потом утвердился на троне. Он закрывает ночью день, который непрестанно за ней движется... И солнце, и луну, и звезды, подчиненные Его власти. О да! Ему принадлежат и создание и власть. Благословен Аллах, Господь миров!

53 (55). Призывайте вашего Господа со смирением и в тайне. Поистине, Он не любит преступающих!

54 (56). Не производите расстройств на земле после устроения ее. Призывайте Его со страхом и упованием; поистине, милость Аллаха близка от добродетельных!

55 (57). Он — тот, который посылает ветры благовестником пред Своим милосердием. А когда они двинут тяжелое облако, Мы гоним его на мертвую страну, низводим из него воду и выводим ею всякие плоды. Так изведем Мы и мертвых, — может быть, вы опомнитесь!

56 (58). Хорошая страна — восходит ее растение с дозволения Господа ее, а та, которая дурна, — оно восходит только скудно. Так распределяем Мы знамения для людей, которые благодарны!

57 (59). Мы отправили уже Нуха к его народу, и сказал он: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него! Я боюсь для вас наказания дня великого».<sup>13</sup>

58 (60). Сказала знать из его народа: «Мы видим тебя в явном заблуждении».

59 (61). Он сказал: «О народ мой! Нет у меня заблуждения, я — только посланник от Господа миров.

60 (62). Я передаю вам послания моего Господа и советую вам; я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете.

61 (63). Разве вы удивляетесь тому, что напоминание от Господа вашего пришло к одному человеку из вас, чтобы он убеждал вас и чтобы вы были богобоязненны, и, может быть, вы будете помилованы!»

62 (64). И они сочли его лжецом, и спасли Мы его и тех, кто был с ним, в судне и потопили тех, которые считали ложью Наши знамения! Поистине, они были народом слепым!

63 (65). ... И к адитам — брата их Худа.<sup>14</sup> Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества, кроме Него! Разве вы не будете богобоязненны?»

64 (66). Сказала знать из его народа, которые не верили: «Мы видим, что ты в неразумии, и мы полагаем, что ты — лжец».

65 (67). Он сказал: «О народ мой! Нет у меня неразумия, и я только посланник от Господа миров.

66 (68). Я передаю вам послания моего Господа; я для вас — верный советник.

67 (69). Неужели вы удивились тому, что пришло к вам напоминание от Господа вашего через человека из вас, чтобы он вас увещал? Помните, как Он сделал вас преемниками после народа Нуха и увеличил вам в сотворенной наружности величину.<sup>15</sup> Вспоминайте же благодеяние Аллаха, — может быть, вы будете счастливы!»

68 (70). Они сказали: «Не для того ли ты пришел, чтобы мы поклонялись Аллаху

единому и оставили то, чему поклонялись наши отцы? Приведи же нам то, чем ты грозишь, если ты — из числа правдивых!»

69 (71). Он сказал: «Уже пало на вас от вашего Господа наказание и гнев; неужели вы будете препираться со мной об именах, которые дали вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспосылал никакой власти? Подождите же, и я с вами ожидаю».

70 (72). И Мы спасли его и тех, кто с ним, по Нашей милости и истребили до последнего тех, которые считали ложью Наши знамения и не были верующими!

71 (73). ... И к самудянам — брата их Салиха.<sup>16</sup> Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас никакого божества, кроме Него! Пришло к вам ясное свидетельство от вашего Господа: это — верблюдница Аллаха для вас знамением;<sup>17</sup> оставьте ее пастись на земле Аллаха, не касайтесь ее со злом, чтобы вас не постигло мучительное наказание».

72 (74). Вспоминайте, как Он сделал вас преемниками после адитов и поместил вас на земле, — из долин ее вы устраиваете замки, а горы высекаете, как дома. Поминайте же милости Аллаха и не ходите по земле, распространяя нечестие!»

73 (75). И сказала знать из его народа, которая возгордилась, тем, которые считались ничтожными, — тем, которые уверовали из них: «Знаете ли вы, что Салих послан от Господа своего?» Они сказали: «Поистине, мы веруем в то, с чем он послан!»

74 (76). Сказали те, которые превозносились: «Поистине, мы не веруем в то, во что вы уверовали!»

75 (77). И закололи они верблюдницу, и слушались повеления Господа их, и сказали: «О Салих! Приведи к нам то, что ты обещаешь, если ты посланник».

76 (78). И постигло их сотрясение, и наутро оказались они в своем жилье поверженными ниц.

77 (79). И отвернулся он от них и сказал: «О народ мой! Я передал вам послание Господа моего и давал вам совет, но не любите вы советников».

78 (80). ... И Лута<sup>18</sup>. Вот он сказал своему народу: «Неужели вы будете творить мерзость, в которой никто из миров вас не опередил?»

79 (81). Ведь вы приходите по страсти к мужчинам вместо женщин. Да, вы — люди, вышедшие за предел!»

80 (82). Ответом его народа было только то, что они сказали: «Изведите их из вашего селения; ведь они — люди, стремящиеся к чистоте!»

81 (83). И Мы спасли его и его семейство, кроме его жены; она была среди оставшихся.

82 (84). И пролили Мы на них дождь. Посмотри же, каков был конец грешников!

83 (85). ... И к маджанитам — брата их Шу'айба.<sup>19</sup> Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху — нет у вас никакого божества, кроме Него! Пришло к вам ясное знамение от вашего Господа. Полностью соблюдайте меру и вес. Не снижайте людям в их вещах и не портите землю после ее устройства. Это — лучше для вас, если вы верующие!»

84 (86). И не сидите на всякой дороге, пугая и отвращая от пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и стремясь искривить ее. Вспомните, как вас было мало и Он вас умножил, и посмотрите, каков был конец распространителей нечестия!

85 (87). Если часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а часть не уверовала, то терпите, пока Аллах не рассудит нас. Ведь Он — лучший из судей!»

86 (88). Сказала знать из его народа, которые превозносились: «Мы изгоним тебя, о Шу'айб, и тех, которые уверовали с тобой, из нашего селения, или ты вернешься к нашему толку». Он сказал: «Даже если бы мы ненавидели это?»

87 (89). Мы измыслим на Аллаха ложь, если вернемся к вашему толку, после того как Аллах спас нас от него. Не годится нам возвращаться к нему, если не пожелает Аллах, наш Господь. Объемлет наш Господь всякую вещь своим знанием! На Аллаха мы положились! Господи наш! Разреши между нами и нашим народом по истине, ведь Ты — лучший из решающих».

88 (90). И сказала знать из его народа, которые не веровали: «Если вы последуете за Шу'айбом, тогда вы окажетесь в убытке».

89 (91). И постигло их сотрясение, и оказались они наутро в их жилищах павшими ниц.

90 (92). Те, которые считали лжецом Шу'айба, как будто бы и не жили там! Те, которые считали лжецом Шу'айба, — они оказались в убытке!

91 (93). И отвернулся он от них и сказал: «О народ мой! Я передал вам послание моего Господа и дал вам совет. Как же мне горевать о народе неверующем?»

92 (94). Мы не посылали в селение<sup>20</sup> никакого пророка без того, чтобы не поразить обитателей его бедствием и несчастьем, — может быть, они смирятся!

93 (95). Потом Мы заменяли (им) зло благом, так что они успокаивались и говорили: «Постигали и отцов наших беда и счастье». Мы схватывали их внезапно, так что они и не знали!

94 (96). А если бы обитатели селений уверовали и боялись Бога, Мы открыли бы им

благословения неба и земли. Но они сочли ложью, и Мы схватили их за то, что они приобрели!

95 (97). Разве обитатели городов<sup>21</sup> были уверены, что к ним не придет Наша ярость ночью, когда они спят?

96 (98). Разве ж были уверены жители городов, что не придет к ним Наша ярость утром, когда они забавляются?

97 (99). Разве ж они в безопасности от хитрости Аллаха? В безопасности от хитрости Аллаха — только люди, потерпевшие убыток!

98 (100). Разве не показал Он тем, которые унаследовали землю после ее обитателей, что если бы Мы желали, так могли бы поразить их за их грехи и запечатать их сердца, так что они не слышат?

99 (101). Об этих селениях Мы рассказываем тебе известия. Приходили к ним их посланцы с ясными знамениями, но они не таковы были, чтобы уверовать в то, что раньше считали ложью. Так запечатывает Аллах сердца неверных!

100 (102). У большинства из них Мы не находили договора; большинство из них действительно Мы нашли распутными.

101 (103). Потом послали Мы после них Мусу с Нашими знамениями к Фир'ауну и его знати,<sup>22</sup> но они несправедливо поступили с ними. Посмотри же, каков был конец распутников!

102 (104). И сказал Муса: «О Фир'аун! Я — посланник Господа миров.<sup>23</sup>

103 (105). Должно говорить мне об Аллахе только истину. Я пришел к вам с ясным знамением от вашего Господа. Отправь же со мной сынов Исра'ила!» (106). Он сказал: «Если ты пришел со знамением, то доставь его, если ты из правдивых».

104 (107). И бросил он свой жезл, и вот, это — явно змей.

105 (108). И вынул он свою руку, и вот, она — бела для смотрящих.

106 (109). Сказала знать из народа Фир'ауна: «Поистине это — сведущий колдун,

107 (110). который хочет изгнать вас из вашей земли». — «Что же вы посоветуете?»

108 (111). Они сказали: «Отсрочи ему и его брату и пошли по городам сборщиков,

109 (112). чтобы они привели к тебе всякого сведущего колдуна».

110 (113). И пришли колдуны к Фир'ауну и сказали: «Поистине, для нас будет награда, если мы окажемся победившими».

111 (114). Он сказал: «Да, и вы будете тогда среди приближенных!»

112 (115). Они сказали: «О Муса! Либо ты бросишь, либо мы бросим».

113 (116). Он сказал: «Бросайте!» А когда они бросили, то околдовали глаза людей и перепугали их и привели великое колдовство.<sup>24</sup>

114 (117). И внушили Мы Мусе: «Брось свой жезл!» И вот, — он поглощает то, что они представляют.

115 (118). И проявилась истина, и лживым оказалось то, что они делали.

116 (119). И были они там побеждены и превратились в ничтожных!

117 (120). И пали колдуны, кланяясь ниц.

118 (121). Сказали они: «Мы уверовали в Господа миров,

119 (122). Господа Мусы и Харуна!»

120 (123). Сказал Фир'аун: «Вы уверовали в Него раньше, чем я позволил вам. Поистине, это — хитрость, которую вы замыслили в этом городе, чтобы вывести из него обитателей. Но вы узнаете!

121 (124). Я отрублю вам руки и ноги накрест, потом распну вас всех!»

122 (125). Они сказали: «Поистине, мы к нашему Господу обращаемся!

123 (126). Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения Господа нашего, когда они к нам пришли. Господи наш! Пролей на нас терпение и упокой нас предавшимися!»

124 (127). И сказала знать из народа Фир'ауну: «Неужели ты оставишь Мусу и его народ распространять нечестие на земле, а он оставит тебя и твоих богов?» Он сказал: «Мы перебьем сынов их и оставим в живых женщин их. Мы одержим над ними верх!»

125 (128). Сказал Муса своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите! Ведь земля принадлежит Аллаху: Он дает ее в наследие, кому пожелает из Своих рабов, а конец — богобоязненным».

126 (129). Они сказали: «Мы обижены и раньше, чем ты пришел к нам, и после того, как пришел». Он сказал: «Может быть, Господь ваш погубит вашего врага и сделает вас преемниками на земле и посмотрит, как вы поступаете!»

127 (130). И Мы поразили уже род Фир'ауна тяжкими годами и уменьшением плодов, — может быть, они опомнятся!

128 (131). Когда приходит к ним добро, они говорят: «Это — нам», — а когда постигнет их зло, они по птицам приписывают его Мусе и тем, кто с ним. О да! Птицы их — у Аллаха, но большая часть их не разумеет!<sup>25</sup>

129 (132). И говорят они: «Сколько бы ты ни приводил нам знамений, чтобы околдовать нас ими, мы тебе не поверим!»

130 (133). И Мы наслали на них потоп,<sup>26</sup> и саранчу, и насекомых, и жаб, и кровь, как знамения ясные. Но они возвеличились и стали людьми грешными.

131 (134). А когда постигло их наказание, они сказали: «О Муса! Позови нам нашего Господа, как Он договорился с тобой. Если ты удалишь от нас наказание, мы уверуем в тебя и пошлем вместе с тобой сынов Исра'ила». (135). А когда Мы удалили от них наказание до предела, которого они достигнут, вот — они нарушают обещание.

132 (136). И отомстили Мы им и потопили их в море за то, что они считали ложью Наши знамения и были небрежны к ним!

133 (137). И дали Мы в наследие людям, которых считали слабыми, востоки и запады земли, которую благословили. Исполнилось благое слово твоего Господа над сынами Исра'ила за то, что они претерпели! Погубили Мы то, что строил Фир'аун и его народ и что они воздвигали!

134 (138). И перевели Мы сынов Исра'ила через море, и пришли они к людям, которые чтут своих идолов. Они сказали: «О Муса! Сделай нам бога — такого бога, как у них». Он сказал: «Поистине, вы — люди невежественные!

135 (139). У этих погублено будет то, чего они держатся, и пусто то, что они делали!»

136 (140). Он сказал: «Неужели я буду искать для вас другого божества, кроме Аллаха, когда Он превознес вас над мирами?»

137 (141). И вот, спасли Мы вас от рода Фир'ауна, которые возлагали на вас злое наказание, убивали ваших сынов и оставляли в живых ваших женщин. В этом — великое испытание от Господа вашего!

138 (142). И обещали Мы Мусе тридцать ночей и завершили их десятью. И свершился срок Господа твоего в сорок ночей.<sup>27</sup> И сказал Муса своему брату Харуну: «Заступи меня в моем народе и устрой порядок и не следуй по пути распространяющих нечестие».

139 (143). И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, он сказал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, Он обратил ее в прах, и пал Муса пораженным.

140. Когда же он оправился, то сказал: «Хвала Тебе! Я обратился к Тебе, и я — первый уверовавший».

141 (144). Он сказал: «О Муса! Я избрал тебя пред людьми для Моих посланий и Моего слова. Бери же то, что Я дам тебе, и будь благодарным!»

142 (145). И Мы написали для него на скрижалях о всякой вещи увещание и разъяснение для всякой вещи. Возьми же это с силой и прикажи твоему народу, чтобы они держались за лучшее в этом! Я покажу вам обиталище нечестивых!

143 (146). Я отвращу от Моих знамений тех, которые превозносятся на земле без права! И если они увидят всякое знамение, то не поверят ему, а если увидят путь правоты, то не возьмутся за него; а если увидят путь заблуждения, то возьмут его своей дорогой.

144. Это — за то, что они считали ложью Наши знамения и были небрежны к ним.

145 (147). А те, которые считали ложью Наши знамения и встречу с последней жизнью, — обесплодилось дела их. Неужели им воздастся, кроме как за то, что они делали?

146 (148). И народ Мусы после него устроил себе из своих украшений тельца формой, который мычал.<sup>28</sup> Разве они не видели, что он не говорил с ними и не вел их прямым путем?

147. Они устроили его себе и были неправедны.

148 (149). Когда же по их рукам был нанесен удар и они увидели, что заблудились, они сказали: «Если не помилует нас наш Господь и не простит нам, мы будем в числе оказавшихся в убытке!»

149 (150). И когда вернулся Муса к своему народу разгневанным и огорченным, он сказал: «Плохо то, что вы совершили после меня! Разве вы ускоряется повеление вашего Господа?» И бросил он скрижали и схватил за голову своего брата,<sup>29</sup> таща его к себе. Он сказал: «О сын матери моей! Люди ослабили меня и готовы были меня убить. Не срами же меня на потеху врагам и не помещай меня вместе с людьми неправедными!»

150 (151). Он сказал: «Господи! Прости мне и моему брату и введи нас в Твою милость: ведь Ты — милосерднейший из милостивых!»

151 (152). Поистине, тех, которые устроили тельца, постигнет гнев их Господа и унижение в здешней жизни! Так Мы воздаем измышляющим ложь!

152 (153). А те, которые творили злые деяния, потом после них раскаялись и уверовали, — поистине, твой Господь после этого — прощающий, милостивый!

153 (154). И когда успокоился у Мусы гнев, он взял скрижали. В списке их — прямой путь и милость тем, которые боятся своего Господа.

154 (155). И избрал Муса из народа своего семьдесят человек для назначенного

нами срока. А когда постигло их сотрясение, он сказал: «Господи! Если бы Ты желал, то погубил бы их раньше вместе со мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали глупцы среди нас? Это — только Твое испытание, которым Ты сбиваешь, кого хочешь, с прямого пути и ведешь, кого хочешь. Ты — наш покровитель; прости же нам и помилуй нас: ведь Ты — лучший из прощающих!»

155 (156). Запиши за нами в этой ближней жизни благое деяние, и в будущей; мы обратились к Тебе! Он сказал: «Наказанием Моим Я поражаю, кого желаю, а милость Моя объемлет всякую вещь. Поэтому Я запишу ее тем, которые богобоязненны, дают очищение и которые веруют в Наши знамения;

156 (157). которые следуют за посланником, пророком, протестом, которого они находят записанным у них в Торе и Евангелии,<sup>30</sup> который побуждает их к доброму и удерживает от неодобряемого, разрешает им блага и запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на них, — вот те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали ему, и последовали за светом, который ниспослан с ним, это — те, которые имеют успех!»

157 (158). Скажи: «О люди! Я — посланник Аллаха к вам всем,

158. того, которому принадлежит власть над небесами и землей, — нет божества, кроме Него; Он живит и мертвит. Веруйте же в Аллаха и Его посланника, — пророка, протестца, который верует в Аллаха и Его словеса, и следуйте за ним, — может быть, вы пойдете прямым путем!»

159 (159). И из народа Мусы была община, которая вела истиной и действовала по ней справедливо.

160 (160). И Мы разделили их на двенадцать колен — народов. И внушили Мусе, когда его народ просил у него пить: «Ударь своим жезлом в камень!» И изверзлось оттуда двенадцать источников; все люди знали свое место питья. И осенили Мы их облаком и спустили на них манну и перепелов.<sup>31</sup> Питайтесь благами, которыми Мы вас наделили! Они Нас не обидели, но самих себя обижали!

161 (161). И вот сказано было им: «Поселитесь в этом селении, ешьте там, что пожелаете, и говорите: «Облегчение!». Входите во врата, падая ниц, и Мы простим вам ваши прегрешения. Мы умножим делающим добро!»

162 (162). И заменили те из них, которые делали несправедливость, другим речением, чем было сказано им. И послали Мы на них наказание с неба за то, что они были несправедливы.

163 (163). И спроси у них о селении, которое было около моря,<sup>32</sup> как они преступали в субботу,<sup>33</sup> когда приходили к ним их рабы в день субботы, поднимаясь прямо. А в тот день, когда они не праздновали субботы, они не приходили к ним. Так Мы испытываем их за то, что они нечестивы!

164 (164). И вот сказал народ из них: «Почему вы увещаете людей, которых Аллах погубит или накажет сильным наказанием?» Они сказали: «Для оправдания пред вашим Господом, и, может быть, они будут богобоязненны!»

165 (165). Когда же они забыли про то, что им напоминали, Мы спасли тех, которые удерживали от зла, и схватили тех, которые были несправедливы, наказанием дурным за то, что они были нечестивы.

166 (166). Когда же они преступили то, что им запрещали, Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!» (167). И вот возвестил Господь твой: «Воздвигну Я против них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их злым наказаниям». Поистине, Господь твой быстр в наказаниях, и, поистине, Он прощающ, милосерд!

167 (168). И распределили Мы их по земле народами: среди них и праведные, среди них и худшие, чем это. И испытали Мы их добром и злом, — может быть, они обратятся!

168 (169). И остались после них преемники, которые унаследовали писание. Они хватали случайности ближайшего мира и говорили: «Простится нам!» А если бы пришла к ним случайность, вроде той, они бы взяли и ее! Разве не был с них взят завет писания, что они будут говорить на Аллаха только истину, и они изучали, что было там. Жилище последнее лучше для тех, которые богобоязненны. Разве вы не образумитесь?

169 (170). А те, которые держатся за писание и выстаивают молитву... ведь Мы не губим награды делающих добро!

170 (171). И вот вытянули Мы гору над ними, точно она туча, и думали они, что она падет на них. Возьмите то, что Мы привели к вам, с силой и вспоминайте, что там, — может быть, вы будете богобоязненны!

171 (172). И вот, Господь твой извлек из сынов Адама, из спин их, их потомство и заставил их засвидетельствовать о самих себе: «Разве не Господь ваш Я?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем...». Чтобы вы не сказали в день воскресения: «Мы были небрежны к этому».

172 (173). Или не сказали бы: «Ведь еще раньше отцы наши придавали Аллаху сотоварищей, а мы были потомством после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали следующие лжи?»<sup>34</sup>

- 173 (174). Так Мы распределяем знамения,<sup>35</sup> — может быть, они обратятся!
- 174 (175). Прочитай им весть о том, кому Мы дали Наши знамения, а он ускользнул от них.<sup>36</sup> И сделал его своим последователем сатана, и был он из заблудших.
- 175 (176). А если бы Мы пожелали, то возвысили бы его имя. Но он приник к земле и последовал за своей страстью, и подобен он собаке: если бросишься на нее, высовывает язык и, если оставишь ее, высовывает.<sup>37</sup> Это — притча о людях, которые считали ложью Наши знамения. Рассказывай же рассказом, — может быть, они размышлят!
- 176 (177). Плох пример тех людей, которые считали ложью Наши знамения: самих себя они обидели!
- 177 (178). Кого ведет Аллах, тот идет по прямому пути; а кого Он сбивает, те — понесшие убыток.
- 178 (179). Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают, глаза, которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они — как скоты, даже более заблудшие. Они — находящиеся в невнимательности.
- 179 (180). У Аллаха прекрасные имена;<sup>38</sup> зовите Его по ним и оставьте тех, которые раскольничают о Его именах. Будет им воздано за то, что они делают!
- 180 (181). Из тех, кого Мы сотворили, есть народ, который ведет истиной и ею творит справедливость.
- 181 (182). А тех, которые считали ложью Наши знамения, Мы низведем так, что они не узнают.
- 182 (183). И Я даю им отсрочку: ведь Моя хитрость — прочна.
- 183 (184). Неужели они не размыслили, что у их сотоварища нет одержимости? Он ведь — только ясный увещатель.
- 184 (185). Неужели они не размышляли о власти над небесами и землей, и обо всем, что создал Аллах, и том, что, может быть, приближается их предел?<sup>39</sup> В какое же повествование после этого они уверуют?
- 185 (186). Кого сбивает с пути Аллах, тому нет водителя, и Он оставляет их скитаться слепо в своем заблуждении.
- 186 (187). Они спрашивают тебя о часе: когда он бросит якорь?<sup>40</sup> Скажи: «Знание о нем — у моего Господа, в свое время откроет его только Он. Тяжек он на небесах и на земле. Придет он к вам только внезапно».
187. Спрашивают они тебя, как будто бы ты осведомлен о нем. Скажи: «Знание о нем — только у Аллаха, но большая часть людей не знает».
- 188 (188). Скажи: «Я не владею для самого себя ни пользой, ни вредом, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал скрытое, я умножил бы себе всякое добро, и меня не коснулось бы зло. Ведь я — только увещатель и вестник для народа, который верует».
- 189 (189). Он — тот, кто сотворил вас из единой души и сделал из нее супругу, чтобы успокаиваться у нее. Когда же он ее покрыл, она понесла легкую ношу и шла с ней; когда же она отяжелела,<sup>41</sup> они оба воззвали к Аллаху, Господу их: «Если Ты даруешь нам праведного, мы будем Тебе благодарны!»
- 190 (190). И когда Он даровал им праведного, они устроили для Него сотоварищей в том, что Он даровал им. Превыше Аллах того, что они придают Ему в сотоварищи!
- 191 (191). Неужели они придают Ему в сотоварищи то, что ничего не творит, а сами они сотворены (192). и не могут ни им помочь, ни самим себе не помогают?<sup>42</sup>
- 192 (193). И если вы зовете их к прямому пути, они не следуют за вами. Безразлично для вас: будете ли вы их звать или будете вы молчать.
- 193 (194). Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, — рабы, подобные вам! Зовите же их, пусть они вам ответят, если вы правдивы!
- 194 (195). Разве у них есть ноги, на которых они ходят, или у них есть руки, которыми они хватают, или у них есть глаза, которыми они видят, или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи: «Зовите ваших сотоварищей, а потом ухищряйтесь против меня и не давайте мне отсрочки!»<sup>43</sup>
- 195 (196). Поистине, помощник мой — Аллах, который низвел книгу, и Он помогает праведникам!
- 196 (197). А те, кого вы призываете помимо Него, не могут помочь вам и самим себе не помогают».
- 197 (198). Если ты зовешь их к прямому пути, они не слушают. И ты видишь, как они смотрят на тебя, но они не видят.
- 198 (199). Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд!
- 199 (200). А если постигает тебя от сатаны какое-нибудь наваждение, то ищи убежища у Аллаха: ведь Он — слышащий, ведающий!
- 200 (201). Те, которые богобоязненны, когда коснется их видение от сатаны, вспоминают,<sup>44</sup> и вот, — они видят.
- 201 (202). А братья их<sup>45</sup> усиливают в них заблуждение и затем не сокращают его.
- 202 (203). И если ты не приведешь им знамения, они говорят: «Если бы ты его выбрал!»<sup>46</sup> Скажи: «Я только следую за тем, что ниспосылается в откровении мне от

моего Господа. Это — наглядные знамения от вашего Господа, водительство в пути и милосердие для людей верующих».

203 (204). А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему и молчите, — может быть, вы будете помилованы!

204 (205). И вспоминай твоего Господа в душе с покорностью и страхом, говоря слова по утрам и по вечерам не громко, и не будь небрежным!

205 (206). Поистине, те, которые у твоего Господа, они<sup>47</sup> не превозносятся над служением Ему и прославляют Его и Ему поклоняются!<sup>48</sup>

## КОММЕНТАРИИ

1. По хронологии сура прочитана в последний год пребывания пророка Мухаммада в Мекке перед хиджрой (предположительно, начало 622 г.). По содержанию — цельная проповедь, направленная на укрепление веры мусульман в условиях постоянной угрозы и преследования.

Тематически сура делится на пять частей. Первая (аяты 1—56) — изложение легенды об Адаме и его потомстве; вторая часть (аяты 57—100) — история Нуха, затем — собственно арабских пророков: Худа, Салиха и Шу'айба; третья часть (аяты 101—173) — рассказ о пророке Моисее и евреях, причем, в аятах 57—132 приводятся семь случаев наказания Аллахом различных народов за их отступничество; четвертая часть (аяты 174—184) — полемика с отступниками, имена которых в тексте не названы, в традиционных же толкованиях указывается на конкретные личности, выступавшие тогда против ислама; пятая часть (аяты 186—205) — проповедь о последнем часе и судном дне.

Название суры «Преграды» (по-арабски «ал-А'раф») связано с представлением об особом, огражденном месте, находящемся между раем и адом, откуда люди наблюдают как за теми, кто блаженствует в раю, так и за теми, кто испытывает адские мучения. В связи с этим европейские исследователи отождествляют «преграды» с христианскими представлениями о «чистилище», хотя совпадающие моменты здесь довольно условны. Вопрос о «преградах» на уровне догматических установлений в мусульманском богословии остался до конца не разработанным, сохранилось не вполне четкое представление, отраженное в аятах 44—49.

2. Здесь четыре «отдельные буквы». О них речь шла в начале суры 2, где «алеф, лам, мим» И. Ю. Крачковским были выражены в форме «алм».

3. В аятах 7—8 фразы — «у кого весы тяжелы», «у кого весы легки» — суть указание на день суда, когда взвешивается деяние каждого.

4. Аяты 10—11 — легенда об отказе Иблиса поклоняться Адаму, в тексте Корана различное представление о шайтане и Иблисе. Шайтан (мн. число — шайатин) имя нарицательное — общее название злых сил (из древнееврейского варианта он перешел на греческий язык — «сатанас», и на русский — «сатана»), Иблис же употребляется только в единственном числе как собственное имя одного из злых духов (из древнееврейского языка название его перешло в греческий в форме «диаболос» и далее на русский — как «дьявол»).

5. «И нашептал им сатана» — в случаях, когда речь идет об искушении Адама и его жены, упоминается шайтан. Иблис появляется лишь в случае отказа поклоняться Адаму.

6. Термин «фахиша», переводимый как «мерзость», употреблен здесь не в обычном его значении, как «прелюбодеяние», а дается как намек на обычай поклонения Каабе в нагом виде, что имело место до ислама. Предписание молиться в одежде связано с предписанием Адама и его жене одеться после исхода из рая на землю. В этом суть строгости предписания об одежде в исламе.

7. «Направляйте лица ваши в сторону всякой мечети» — свидетельствует о том, что «кибла» еще не была окончательно установлена (что произошло лишь в Медине во 2 году хиджры, т.е. в 624 году), арабы тогда молились как обращаясь лицом к Каабе, так и в сторону Иерусалима.

8. «Берите свои украшения» — буквальный перевод фразы «хузу зийнатакам». Здесь речь идет о том, чтобы человек хорошо оделся перед поклонением, в противовес тому, что было до ислама — т.е. поклонения нагишом. Следующий аят — 30 — также подтверждает это.

9. Здесь слово «мерзость» употребляется в более широком значении, включая и запрет поклонения нагишом.

10. В аятах 44—49 изображена картина, когда люди «на преграде» перекликаются и с обитателями рая, и с обитателями ада.

11. «...которую изложили со знанием, как прямой путь» — перевод не совсем ясен, по контексту — «которую ясно изложили для знания (скорее, для познания) прямого пути».

12. Представление о сотворении небес и земли в шесть дней уходит своими корнями в глубины веков, начиная с вавилонской мифологии, откуда оно переходит семитским народам. Впоследствии это получило отражение и в Торе, и в Коране.

13. С аята 57 начинается изложение семи историй наказания Аллахом народов. Аяты 57—62 — первая история о наказании народа Нуха (Ноя) потопом. Легенда о потопе также идет из глубины истории. Первые легенды содержатся в источниках Шумера и Аккада. См. «Повесть о Гильгамеше».

14. Аяты 63—70 — вторая история о наказании народа Ад (адитов). Легенда о пророке Худе и народе Ад — собственно арабская. В те времена в различных долинах встречались развалины древних жилищ, на которые указывалось в связи с легендами об адитах, самудитах и мадйанитах

(о них речь идет в последующих аятах). И хотя в науке принято считать эти народы легендарными, для категоричного отрицания их исторического существования, однако, оснований нет.

15. Фраза «увеличил вам в сотворенной наружности величину» переведена не вполне ясно, по контексту более точно: «сотворил вас великими ростом». По легендам, адиты были великанами.

16. Аяты 71—77 суть третья история — наказание народа Самуд (по библейским легендам — фемудяне) землетрясением за слушание пророка Салиха. Самудские надписи на камнях, найденные на юге Аравии, исследуют в настоящее время европейские семитологи.

17. «...это — верблюдца Аллаха для вас знамением». Упоминание легенды о том, когда Салих проповедовал самудьянам веру в Аллаха, вожди их предъявили требование: превратить большой камень, лежащий в степи, в породистую верблюдцу — тогда лишь поверят они во всемогущество Аллаха. После молитвы Салиха камень превратился в огромную верблюдцу длиной в 120 локтей. После такого чуда самудяне уверовали в Аллаха. Но горделивые из них закололи верблюдцу (см. аят 75), за что их постигло землетрясение.

18. Аяты 78—82 — легенда о Луте и наказании его народа за непослушание. От обрушившегося дождя спаслось лишь его семейство, да и то кроме его жены (четвертая история). Параллель: легенда о Лоте и наказании Содома и Гоморры дождем серы и огня. (Бытие, гл. 19).

19. Аяты 83—91 — (пятая история) наказание маджанитов, отвергавших пророка Шу'айба. Они обвиняются в несоблюдении меры и веса.

20. Аяты 92—100 — наказание обитателей селений, названия которых не обозначены (история шестая).

21. Под «обитателями городов» в толкованиях Корана подразумевается население Мекки и ее окрестностей.

22. Аяты 101—132 последняя (седьмая) история — наказание египетского фараона и его людей за преследование Мусы и евреев при исходе из Египта.

23. В аятах 104—105 речь идет о чудесах, творимых Мусой. По толкованиям, когда он бросил свой посох, тот превратился в огромного змея (араб. — суб'ан, дракон). Второе чудо — Муса показал фараону правую руку, и рука его осветила все вокруг своим светом, настолько была белой (Муса сам был смуглым), затем он спрятал руку за спину и вновь показал ее, рука стала обычной, смуглой. Тогда фараон заподозрил Мусу в колдовстве.

24. «Великое колдовство». По легендам, приведенным в толкованиях, колдуны фараона бросили на землю веревки и бревна, которые, превратившись в огромных змей, переплелись и медленно поползли, пугая окружающих. Но посох Мусы «сбил» это колдовство: змеи вновь стали веревками и бревнами.

25. У многих древних народов бытовало поверье, что существуют птица счастья и птица несчастья. Смысл аята в том, что доброе и злое в жизни зависит не от птицы счастья или несчастья, а от воли Аллаха.

26. Здесь речь идет не о потопе как таковом, здесь имеется в виду легенда о том, как фараон и его войско, преследовавшее евреев, оказались на середине моря, а затем бог вновь наполнил его водой, и они погибли. Более ясно об этом сказано в аяте 132. (Параллель: Исход, гл. 14).

27. В аятах 138—142 приводится легенда о том, как Муса пребывал без еды 40 дней на горе Синай, где и получил откровение господина (Параллель: Исход, гл. 33).

28. Легенда о том, что пока Муса пребывал на горе Синай, евреи сотворили себе бога в виде тельца из золота. Возвратившись, Муса стер тельца в порошок.

29. Муса схватил брата своего Харуна потому, что именно он сделал золотого тельца. (Параллель: Исход, гл. 32).

30. Речь о том, что Мухаммад был безграмотным (об этом говорится и в других местах Корана; кстати, и в следующем аяте — 158), в традиционных толкованиях это слово разъясняется именно в смысле безграмотности пророка, не умеющего читать и писать, а также как намек на то, что об этом было записано еще в Торе и в Евангелии. Однако в этих книгах такой записи нет.

31. Легенда о трудностях, которые претерпели евреи, оказавшиеся на Синайском полуострове. Спас их удар Мусы посохом о скалу, и тогда появились источники воды, а с небес посыпалась манна для питания. (Параллель: Исход, гл. 16).

32. Легенда о селении около моря в толкованиях отождествляется с селениями Айла или Макна, находящимися на берегу Красного моря, где тогда жили евреи. Аят содержит неодобрение иудейского обычая заниматься в день субботы только молением, прекращая все работы.

33. «Преступали субботу» в смысле — соблюдали субботу, приступали к субботним молениям.

34. Фраза «следующие лжи» не передает точного содержания; более точно: неужели Ты погубишь нас за то, что делали те (т. е. их отцы), которые следовали ложным путем.

35. Здесь более точное значение глагола «нуфассилу» — «излагаем» или «даем», «создаем», но не «распределяем».

36. В толкованиях указывается, что здесь имеется в виду отшельник Абу Амир, который сначала принял ислам, а затем отступился от веры, за что Мухаммад прозвал его нечестивцем.

37. Уподобление собаке, которая высовывает язык и когда гонят ее и когда оставляют в покое, передает смысл, что подобный человек не меняет свое отвратительное поведение в любом случае.

38. В традиции признается 99 имен Аллаха, которые еще называются и «сифат» — «качество», но в сути они выражают его атрибуты: как «единый» (ахад), «вечный» (самад), «милостивый» (рахман), «милосердный» (рахим), «живой» (хайй), с чем, чаще всего, связаны и собственные имена у мусульман.

39. «... приближается их предел» — в смысле «приближается их срок», т.е. конец света.

40. Понятия «час» и «бросит якорь» — здесь употреблены в смысле наступления конца света и начала судного дня.

41. В аяте 189 речь идет о первой беременности Евы, с которой начинается род человеческий.



42. Речь идет об идолах, которые сами сотворены, не могут помочь ни себе и не людям, т.е. неживые, в противовес им атрибут Аллаха — «живой» (хайй).

43. Дается еще более подробная характеристика идолов как неживых. Здесь следует иметь в виду, что в храме Кааба до ислама хранилось около 360 идолов различных богов, в основном камни, частично — каменные статуи. Знаменитый «черный камень» также один из них, но — самый авторитетный, самый священный.

44. «Вспоминают» — имеется в виду Аллаха.

45. «Братья их» — т. е. братья дьявола. Здесь лишь можно предположить, что это множественное число от слова дьявол. В Коране Иблис не употреблен во множественном числе, хотя вообще на арабском языке оно имеется в форме «абалиса» от «иблис».

46. Арабский глагол «иджтаба», означающий буквально «выбрал», «избрал», здесь скорее употреблен в смысле «сочинил» или «выдумал», поскольку речь идет об аятах. Ответ Мухаммада разъясняет, что эти аяты не его, не выдуманные им, а от Аллаха.

47. Под словом «они» исламоведы подразумевают ангелов. Но толкователи Корана всегда подразумевают правоверных мусульман.

48. При упоминании слов «поклоняться» или «молиться», в традиции ислама, чтец Корана прерывает чтение и совершает намаз. Это строго соблюдается чтецами Корана. В силу этого сунниты-ханифиты признают 15 таких мест, сунниты-шафииты и ханбалиты — 16, шииты — 14 мест, где в Коране нужно совершить намаз в 2 ракаата, остановив чтение.

Продолжение следует



Агата Кристи

Перевод с английского Л. Крашенинниковой

# Убийства по алфавиту

## ГЛАВА 18. ПУАРО ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ

Франклин Кларк приехал в три часа дня пополудни и, не разводя окольных разговоров, начал с главного.

— Мистер Пуаро, — сказал он, — я не чувствую удовлетворения.

— Вот как, мистер Кларк?

— Я не сомневаюсь, что Кром компетентный офицер, но, честно говоря, он меня раздражает. Этот его постоянный вид всезнайки! Я намекнул вашему другу, который здесь присутствует, что у меня на уме, но мне необходимо было уладить некоторые дела брата, и у меня просто не было возможности вернуться к этому. Я полагаю, мистер Пуаро, нам нужно действовать незамедлительно...

— Именно это утверждает Гастингс!

— Я предлагаю организовать нечто вроде специального легиона, работающего под вашим началом, который состоял бы из друзей и родственников жертв.

— Прекрасная идея.

— Я рад, что она вам понравилась. Если мы соединим свои усилия, мне кажется, мы сможем чего-нибудь добиться. И кроме того, когда придет следующее предупреждение, один из нас может оказаться в указанном месте.

— Но не забывайте, мистер Кларк, что родственники и друзья других жертв ведут несколько отличный от вашего образ жизни. Они имеют постоянную работу и...

Франклин Кларк перебил его:

— Все так. Я могу оплатить все расходы. Не скажу, что я так уж хорошо обес-

Окончание. Начало в № 5.

печен, но мой брат умер богатым человеком, и его состояние позволит мне кое-что вложить в это дело. Я предлагаю, как уже сказал, создать специальный легион, членам которого я оплачу их услуги.

— Кого вы предлагаете включить в этот легион?

— Мисс Миган Барнард — ибо частично это и ее идея. Кроме того, я предлагаю себя, мистера Дональда Фразера — жениха убитой девушки. Есть еще племянница женщины из Андовера — мисс Барнард знает ее адрес. Не думаю, чтоб оказались полезными ее муж — я слышал, он пьет — мать и отец Барнарды, они слишком стары для активных действий. Ну и еще... мисс Грей. — Он слегка покраснел, когда произнес это имя.

— О! Мисс Грей?

Никому, кроме Пуаро, не удалось бы вложить столько иронии в эти два слова. Франклин Кларк словно помолодел лет на тридцать пять. Он напоминал сейчас смущенного школьника.

— Видите ли, мисс Грей работала у моего брата больше двух лет. Она знает окрестности, людей, которые там живут, короче говоря — все. А я отсутствовал почти полтора года.

Пуаро сжалился над ним и переменял тему разговора.

— Вы были на Востоке? В Китае?

— Да, был там в качестве комиссионера — покупал фарфор для коллекции брата.

— Должно быть, это очень интересно. Кстати, мистер Кларк, мне очень нравится ваша идея. Только вчера я говорил Гастингсу, что просто необходима помощь всех заинтересованных в этом деле.

Несколько дней спустя «специальный легион» собрался в квартире Пуаро.

Пока все они послушно усаживались вокруг Пуаро, который занял свое место во главе стола с таким видом, будто был, по меньшей мере, председателем одной из коллегий министерства, я окинул взглядом присутствующих, вспоминая, какое впечатление каждый из них произвел на меня первый раз.

Все три девушки притягивали взгляд: Тора Грей своей удивительной и необычной северной красотой; Миган Барнард — чувствовавшейся в ней внутренней энергией, что так странно не согласовывалось с неподвижным, словно у индианки, выражением лица; Мери Драуэр, одетая в безукоризненно отглаженные блузку и юбку, — своим красивым и умным лицом. Двое мужчин — крупный, с бронзовым загаром и манерами уверенного в себе человека Франклин Кларк и очень сдержанный и подчеркнута спокойный Дональд Фразер — являли собой яркий контраст.

Пуаро, конечно, не мог устоять, чтобы не произнести речь.

— Мы имеем дело с тремя убийствами: старой женщины, молодой девушки и пожилого человека. Только одно объединяет этих людей — они убиты одним человеком. То, что этот человек маньяк и состояние его опасно для окружающих, — установленный факт. То, что догадаться об этом по его внешнему виду нельзя, — не менее очевидно. Этот человек может оказаться и женщиной. Пока убийце полностью удавалось замести следы. У полиции нет улики.

Но какие-то улики должны быть. Не мог же преступник просто приехать в Бексхилл в полночь, найти на пляже молодую девушку, фамилия которой начиналась бы на «Б», и...

— Нужно ли входить в эти подробности? — голос подал Дональд Фразер.

— Нам важно все, месье, — сказал Пуаро, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не для того, чтобы щадить свои чувства, отказываясь думать о подробностях, надо войти в дело целиком. Как я уже сказал, не просто удача свела преступника с Бетти Барнард. Он выбрал ее преднамеренно. А значит — заранее готовил почву. Узнал некоторые подробности: выбрал наиболее подходящее время для преступления в Андовере; наиболее подходящее место в Бексхилле, узнал привычки Кармайкла Кларка в Черстоне. Что касается меня, то я просто не верю, что нет никакого, даже малейшего намека, который помог бы нам установить, кто это.

Я выдвигаю предположение, что один из вас, а может, и все вы знаете что-то, чего, как вам кажется, вы не знаете.

Рано или поздно, если вы будете общаться друг с другом, выплывет нечто, чему вы просто не придавали значения, о чем забыли. Это похоже на игру в мозаику: у каждого из вас есть кусочек, который сам по себе ничего не значит, но когда все кусочки сложатся вместе, то получится целая картина.

— Все это слова! — сказала Миган Барнард.

— Простите... — Пуаро вопросительно взглянул на нее.

— То, что вы говорите, это только слова. Они ничего не значат.

Она говорила со страстностью, столь для нее характерной.

— Слова, мадемуазель, — это одежда мыслей.

— Я думаю, в этом утверждении есть смысл, — сказала Мери Драуэр.

— И все-таки нам лучше придерживаться поговорки: «Больше дела, меньше слов», — внесла в разговор свою лепту Франклин Кларк.

— А что вы скажете, мистер Фразер?

— Я сомневаюсь в практической пользе того, что вы предлагаете, мистер Пуаро.

— А как вы считаете, Тора? — спросил мистер Кларк.

— Мне мысль о том, чтобы поговорить о событиях, которые произошли, кажется разумной.

— Может быть, попробуем вспомнить все, что предшествовало убийству. Начнем с вас, мистер Кларк.

— Дайте подумать. В день убийства Кара я отправился рыбачить на лодке. Поймал восемь макрелей. В бухте было очень хорошо. Второй завтрак — дома. Помню, было мясо, тушенное по-ирландски. Потом я спал в гамаке. Пил чай. Написал несколько писем, но не успел к приходу почтальона. Поэтому пошел в Пейнтон, чтобы отправить их. Потом обедал и — не стыжусь признаться — перечитывал книгу Несбита, которую очень любил читать в детстве. А потом — телефонный звонок...

— Теперь подумайте, мистер Кларк, встретили вы кого-нибудь по пути к морю в то утро?

— Множество людей.

— Вы что-нибудь о них можете вспомнить?

— Ничего. Впрочем, я запомнил одну толстую женщину, она была одета в полосатое платье, полоски поперек. Я еще подумал: зачем она так оделась? С ней было двое детей... Потом видал двоих парней на пляже, они играли с фокстерьером... Ах, да, еще девушка с соломенными волосами. Когда она купалась, то все вскрикивала — даже странно, как все вспоминается, словно проявляется фотография.

— У вас хорошая память. Теперь вспомните, что было позже — в саду, по дороге на почту.

— Садовник поливал цветы. А по дороге на почту — чуть было не столкнулся с велосипедисткой, — эта глупая женщина изо всех сил кричала и махала какому-то знакомому. И это, кажется, все.

Пуаро повернулся к Торе Грей. Тора Грей ответила ясным, уверенным голосом:

— В то утро я разбирала корреспонденцию с сэром Кармайклом, и это видела экономка. Потом писала письма, а днем, по-моему, что-то шила. Сейчас трудно вспомнить. Это был самый обычный день. Я рано пошла спать.

К моему изумлению, Пуаро не стал задавать ей больше вопросов. Он обратился к мисс Барнард:

— Вспомните, пожалуйста, что было, когда вы в последний раз видели сестру?

— Это было за неделю до ее смерти. Я приезжала на субботу и воскресенье. Была прекрасная погода, и мы пошли в Гастингс, в плавательный бассейн.

— О чем вы говорили?

— Я пыталась дать ей совет, — сказала Миган.

— Она о чем-нибудь вам рассказывала?

Девушка пыталась вспомнить.

— Она говорила, что у нее неважно с деньгами. Она купила шляпку и пару летних платьев. Еще она говорила, что недолюбливает Милли Хиггли — эту девушку из кафе. Потом мы немного посмеялись над мисс Мерион, хозяйкой кафе...

— Она не упоминала о мужчине — простите меня мистер Фразер, — с которым собиралась встретиться?

— Мне бы она об этом не сказала, — сухо заметила Миган.

Пуаро повернулся к рыжеволосому молодому человеку:

— Мистер Фразер, вы сказали, что пошли в кафе и сначала намеревались подождать там и посмотреть, как выйдет Бетти Барнард. Вы никого не заметили, пока ждали ее там?

— Там было много гуляющей публики. Я не могу никого выделить.

Пуаро вздохнул и повернулся к Мери Драуэр.

— Вы получали от тети письма?

— Да, сэр.

— Когда от нее было последнее письмо?

— За два дня до убийства, сэр.

— И что в нем было написано?

— Она писала, что опять приходил этот ее «старый дьявол» и она послала его подальше, извините, сэр, за выражение. Писала, что ждет меня в среду — это мой выходной, — и мы пойдем в кино. В среду был мой день рождения, сэр.

Что-то, возможно, ожидание маленького праздника, который не состоялся, вызвало слезы у нее на глазах. Она подавила рыдание, потом извинилась.

— Простите, сэр. Я не хотела. Что толку плакать. Просто вспомнила ее и себя, как мы ждали этого маленького праздника, и не сдержалась.

Неловко шевельнулся Дональд Фразер, и Тора Грей постаралась сменить тему разговора.

— Не стоит ли нам подумать о планах на будущее? — сказала она.

— Конечно, конечно, — поддержал ее Франклин Кларк. — Я думаю, что, когда настанет момент, т. е. когда придет четвертое письмо, нам нужно будет объединить силы. А пока мы можем попытаться испытать судьбу каждый в отдельности.

Может, у мистера Пуаро есть конкретные соображения — в чем мы можем помочь?

— У меня есть несколько предложений, — отозвался Пуаро.

— Прекрасно, я их запишу, — Франклин вынул записную книжку. — Давайте, мистер Пуаро. Итак...

— Официантка Милли Хиггли может знать нечто полезное нам.

— «Милли Хиггли», — записал Кларк.

— Я предлагаю два метода действия. Вы, мисс Барнард, попробуйте метод, который я называю методом «оскорбления».

— Вы думаете, это мой стиль? — холодно заметила Миган.

— Попробуйте вызвать ее на ссору. Скажите, что она всегда недолюбливала вашу сестру, что ваша сестра рассказала вам о ней все. Это вызовет в ответ поток ответных обвинений. Она скажет вам все, что думает о вашей сестре! Могут выплыть важные факты.

— А второй метод?

— Второй метод могу предложить использовать вам, мистер Фразер. Вы должны оказать некоторые знаки внимания этой девушке.

— Это так необходимо?

— Особой необходимости нет. Просто один из возможных способов расследования.

— Может, этот метод попробовать мне? — предложил Франклин Кларк. — У меня... э... богатый опыт, мистер Пуаро.

— У вас есть свои обязанности, — резко сказала Тора Грей.

Лицо Франклина несколько вытянулось.

— Да, — сказал он. — Есть.

— *Tout de même*<sup>1</sup>, не думаю, что в настоящий момент вы что-то здесь сможете сделать, — сказал Пуаро. — Мадемуазель Тора Грей может оказаться более полезной.

Тора Грей перебила его:

— Видите ли, мистер Пуаро, я навсегда уезжаю из Девона.

— Вот как? Я не совсем понял.

— Мисс Грей любезно согласилась остаться ненадолго, чтобы помочь разобраться с коллекцией, — пояснил Франклин. — Но она, естественно, предпочитает перебраться в Лондон.

Пуаро перевел внимательный взгляд с одного на другого.

— Как чувствует себя леди Кларк? — поинтересовался он.

Я любовался легким румянцем на щеках Торы и потому чуть было не прослушал ответ Кларка. А он сказал:

— Очень плохо. Кстати, мистер Пуаро, не смогли бы вы выбраться в Девон и навестить ее? Перед моим отъездом она выразила желание повидать вас. Правда, она не в состоянии видеть кого-либо в течение более двух дней, но если рискнете — пожалуйста, за мой счет, разумеется.

— Разумеется, мистер Кларк. Вас устроит, если я поеду послезавтра?

— Хорошо. Я сообщу сиделке, и она соответствующим образом рассчитает дозу наркотика.

— А что касается вас, мое дитя, — обратился Пуаро к Мери, — вы сможете помочь нам в Андовере. Побеседуйте с детьми.

— С детьми?

— Да. Дети неохотно говорят с незнакомыми. Но вас знают на той улице, где жила ваша тетя. А там всегда играет много детей. Они могли заметить, кто входил в лавочку и выходил из нее.

— А что делать Торе Грей? И мне, если мне не нужно ехать в Бексхилл? — спросил Кларк.

— Мистер Пуаро, — спросила Тора, — какой почтовый индекс стоял на конверте третьего письма?

— «Путни», мадемуазель.

Она задумчиво проговорила:

— «СВ 15, Путни». Правильно?

<sup>1</sup> Во всяком случае (франц.).

— Да.

— Это может подсказать, где преступника следует искать в Лондоне.

— Это только так кажется.

— Мы все-таки должны его как-то спровоцировать, — сказал Кларк. — Если я помешу объявление: «АБС, срочно. Эркюль Пуаро почти настиг вас. Сто фунтов — за молчание! Х. У.». Может, конечно, не так грубо, как я сказал. Но это только идея.

— Вреда не будет, если попробовать, — сказал Пуаро. — Правда, я думаю, что АБС слишком хитер, чтобы ответить. — Пуаро улыбнулся. — Видите ли, мистер Кларк, вы все еще — я не хочу вас обидеть — вы все еще в душе мальчишка.

Франклин Кларк выглядел смущенным.

— Ну, так, — сказал он, заглядывая в тетрадь. — Начинаем. Первое направление — мисс Барнард и Милли Хиггли, второе — мистер Фразер и Милли Хиггли, третье — дети в Андове. И четвертое — объявление. Не думаю, чтобы от всего этого была какая-нибудь польза, но, по крайней мере, нам пока есть чем заняться.

## ГЛАВА 19. ИЗ ШВЕЦИИ ОНА...

Пуаро вернулся на свое место, напевая.

— К несчастью, она слишком умна, — пробормотал он.

— Кто?

— Миган Барнард. Мадемуазель Миган. Она сразу распознала, что все, что я говорю, ровно ничего не значит. Все остальные этого не почувствовали.

— Но ведь все звучало очень убедительно.

— Убедительно, да. Именно это она и почувствовала.

— Значит, все, что вы говорили, не имеет ровно никакого значения? Но зачем тогда вы так много говорили?

— Чтобы вызвать людей на разговор!

— Так вы считаете, что наши планы ни к чему не приведут?

— Ну, чего не бывает! — Он усмехнулся. — В самый разгар трагедии мы разыгрываем фарс. Задумайтесь на минуту, Гастингс! Совершенно разных людей из разных мест свела вместе общая трагедия. И эта трагедия начинает превращаться *tout à fait*<sup>1</sup>. Я помню мое первое дело в Англии. С тех пор прошло много лет. Я соединил тогда двух любящих людей очень простым способом: арестовал одного из них по подозрению в убийстве! Никак иначе соединить их было невозможно. Люди умирают, а кругом кипит жизнь, Гастингс. Убийство, как я давно заметил, странно сближает людей.

— Ну, Пуаро! — Я был просто скандализован. — Уверен, никто из присутствующих не думал ни о чем, кроме... Кроме как о постигшем их горе.

— Ах, дорогой друг! А вы?

— Я?!

— *Mais oui*<sup>2</sup>. Когда они все удалились, разве не вы отошли от двери, мурлыча себе под нос?

— Это вовсе не означает, что я такой уж черствый человек.

— Разумеется. Но ваша песенка выдала ваши мысли.

— Неужели?

— Да. Напевать мотивчики очень опасно. Мелодия, которую напевали вы, известна мне еще со времен войны. — И Пуаро пропел: «Ах, во времена былые любил брюнетку я, ах во времена былые любил блондинку я, из Швеции, из Швеции, из Идена она...» — Чего уж яснее? *Mais je crois que la blonde l'emporte sur la brunette!*<sup>3</sup>

— Право же, Пуаро! — воскликнул я, слегка краснея.

— *C'est tout naturel*<sup>4</sup>. А вы заметили, как Франклин Кларк вдруг проникся симпатией к мадемуазель Миган? А заметили ли вы, что мадемуазель Грей это не понравилось? А мистер Дональд Фразер, он...

— Пуаро, вы просто очень сентиментальны.

— Вот уж ни в малейшей степени. Это вы сентиментальны, Гастингс.

Я только было собрался пылко ему возразить, как в этот момент дверь отворилась. К моему изумлению, вошла в нее Тора Грей.

<sup>1</sup> В свою полную противоположность (франц.).

<sup>2</sup> Ну да, конечно (франц.).

<sup>3</sup> Я думаю, блондинка побеждает брюнетку (франц.).

<sup>4</sup> Это вполне естественно (франц.).

— Простите, что я снова беспокою вас, — спокойно проговорила она. — Но я хотела кое о чем рассказать вам, мистер Пуаро.

— Пожалуйста, мадемуазель. Присаживайтесь.

— Дело вот в чем, мистер Пуаро. Мистер Кларк очень великодушно дал вам понять, что я покидаю Комбесайд по собственному желанию. На самом деле это не совсем так. Я готова была остаться — с коллекцией очень много работы. Но леди Кларк хочет, чтобы я уехала! Я могу это понять. Она очень больна, ее мозг постоянно затуманен наркотиками. Это делает ее подозрительной. Она, непонятно почему, меня невзлюбила и настаивает, чтобы я покинула дом.

В глубине души я испытывал восхищение и сочувствие к ней.

— Вы просто молодец, что пришли и сказали нам об этом, — сказал я.

— Всегда лучше говорить правду, — ответила она, улыбнувшись. — Мне не хотелось пользоваться великодушием мистера Кларка. Он добрый, благородный человек. — В голосе ее слышны были нотки восхищения.

— Вы поступили честно, мадемуазель, — сказал Пуаро.

— Это для меня был удар, — печально сказала Тора. — Я не знала, что леди Кларк так не любит меня. Наоборот, мне казалось, что она хорошо ко мне относится.

Она поднялась. Я проводил ее до входной двери.

— Ей не откажешь в мужестве, этой девушке, — произнес я, возвращаясь к своему месту.

— И в расчетливости. Эта девушка умеет смотреть в будущее.

Я с сомнением взглянул на Пуаро.

— Она очень красивая девушка, — сказал я.

— И очень хорошо одевается. Эта кашемировая накидка, воротник из серебристой лисы *dernier cri!*<sup>1</sup>

— Да вы не хуже модистки, Пуаро. Я никогда не замечаю, во что одеты люди.

— Тогда вам следует причислить себя к нудистам.

И видя, что я уже готов с негодованием возразить ему, он вдруг сменил тему разговора.

— Знаете, Гастингс, меня не покидает ощущение, что сегодня в разговоре упомянули что-то очень важное. Не могу понять, что именно... Просто впечатление, промелькнувшее на мгновение. Оно напомнило мне о чем-то, что я уже видел или слышал.

— В Черстоне?

— Нет, не в Черстоне. До этого... Придет время, и это всплывет.

Он взглянул на меня, засмеялся и снова пропел ту мелодию.

— А ведь она ангел, а? «Из Швеции, из Швеции, из Идена она...»

— Пуаро, — сказал я. — Подите-ка вы к дьяволу!

## ГЛАВА 20. ЛЕДИ КЛАРК

В поместье Комберсайд, когда мы приехали туда во второй раз, царил дух меланхолии. Может, из-за погоды — был пасмурный сентябрьский день; может, потому, что дом наполовину опустел. Комнаты первого этажа были заперты, окна закрыты ставнями, и в небольшой комнате, куда нас провели, было душно.

Поправляя накрахмаленные манжеты, к нам вышла опытная на вид сиделка.

— Мистер Пуаро? — проговорила она. — Я сиделка Капстик. Я получила от мистера Кларка письмо, уведомляющее о вашем приезде.

Пуаро спросил о здоровье леди Кларк.

— Не так плохо, если учитывать, как обстоят дела вообще.

Я понял, что под «как обстоят дела вообще», подразумевалось, что она обречена.

— Надеяться на улучшение бессмысленно, но новые методы лечения значительно облегчают ее состояние. Доктор Логан доволен.

— Это верно, что она не поправится?

— Ну, так говорить не принято... — Сиделку эти слова привели в замешательство.

— Вероятно, смерть мужа была для нее сильным ударом?

— Видите ли, мистер Пуаро, таким шоком, как для здорового человека, это не было. Леди Кларк в ее состоянии все кажется немного размытым, нереальным.

— Извините за вопрос, она и ее муж были привязаны друг к другу?

— Да, они были счастливой парой. Он очень расстраивался и переживал за нее,

<sup>1</sup> Последний крик (франц.).

бедняжка. К тому же он врач, а это все усугубляет. Он не мог тешить себя призрачными надеждами. Я думаю, он очень переживал, особенно сначала.

— Сначала? А потом меньше?

— Люди ко всему привыкают. И потом, у сэра Кармайкла была его коллекция. Такое занятие для мужчины — большое утешение. Он время от времени ездил на распродажи, и потом они с мисс Грей занимались каталогом — переделывали экспозицию и каталоги по новой системе.

— Ах да, мисс Грей. Она ведь уже уехала?

— Уехала. И мне очень жаль. Но у женщин, когда они нездоровы, случаются странные фантазии. И спорить с ними тогда бесполезно. Лучше не возражать. Мисс Грей поступила разумно.

— Леди Кларк ее недолюбливала?

— Нет, то есть не недолюбливала. Мне кажется, сначала мисс Грей ей даже нравилась. Но, право, мне неудобно поведывать вам здесь всякие сплетни. Моя больная, верно, уже волнуется.

Она провела нас навстречу, на второй этаж. Раньше эта комната, вероятно, служила спальней, теперь ее превратили в очень уютную гостиную.

Леди Кларк сидела в большом кресле у окна. Она была до жалости худа, лицо серое, измученное — вид человека, которого постоянно терзают боли. Взгляд был затуманенный.

— Это мистер Пуаро, вы хотели его видеть, — высоким жизнерадостным голосом возвестила сиделка Капстик.

— Ах да, Пуаро, — проговорила леди Кларк и протянула руку.

— Мой друг, капитан Гастингс, — сказал Пуаро.

— Я рада, что вы приехали.

Мы сели туда, куда указал ее рассеянный жест. Воцарилось молчание. Наконец она взяла себя в руки.

— Вы насчет Кара, его смерти, так ведь? Ах да...

Она вздохнула и с тем же отсутствующим видом покачала головой.

— Мы никогда не думали, что будет все наоборот... Я была уверена, что уйду первой. — Она помолчала. — Кар был очень сильным, для его возраста это даже удивительно. Он никогда не болел. Ему было около шестидесяти, но он никогда не выглядел старше, чем на пятьдесят. Да, он был очень сильный.

Она впала в забытье. Пуаро, хорошо знавший действие наркотиков, создающих впечатление, что время бесконечно, ничего не сказал.

Прошло некоторое время, и леди Кларк вдруг проговорила:

— Да, хорошо, что вы приехали. Я говорила Франклину. Он обещал, что не забудет передать вам. Я надеюсь, что Франклин не совершит глупости. Его так легко обмануть, хоть он и объездил весь свет. Что поделаешь, мужчины до седых волос остаются мальчишками... Особенно это относится к Франклину.

— Он человек импульсивный, — сказал Пуаро.

— Да, да. И очень благородный. Мужчины так простодушны. Даже Кар... — Голос ее стал слабеть. Она с лихорадочным нетерпением трянула головой.

— Все расплывается, — пожаловалась она. — Человеческое тело — страшная обуза, когда оно берет над тобой верх, мистер Пуаро. Думаешь только о том, отпустит боль или нет — все остальное теряет смысл.

— Я знаю, леди Кларк. В этом одна из трагедий этой жизни.

— Я просто тупею. Не могу даже вспомнить, что я хотела вам сказать.

— Это как-то связано со смертью вашего мужа?

— Да, возможно... Этот сумасшедший, бедняга... Я имею в виду убийцу. Шум и скорости нашей теперешней жизни — люди этого не выдерживают. Мне всегда жаль было психически больных. Они, вероятно, испытывают странные вещи. И потом, когда человека запирают — это должно быть ужасно. Но что можно поделать, если они убивают людей... — Она сочувственно покачала головой. — Вы еще не поймали его?

— Нет, пока нет.

— Он, наверное, крутился где-то здесь поблизости в тот день.

— Сейчас здесь так много приезжих, леди Кларк. Время отпусков и каникул.

— Да, я забыла... Но они все у пляжей, они не приходят к дому.

— В тот день к дому не подходили посторонние.

— Кто это сказал? — заинтересовалась леди Кларк с неожиданной живостью.

Пуаро немного растерялся.

— Прислуга, — сказал он. — Мисс Грей.

Леди Кларк очень отчетливо произнесла:

— Эта девушка — лгунья.

Я чуть не вскопился со стула. Пуаро бросил на меня останавливающий взгляд.

Леди Кларк с лихорадочной поспешностью продолжала:



— Я не люблю ее. Я никогда ее не любила. Кар очень хорошо о ней отзывался. Часто повторял, что она сирота и у нее никого нет в этом мире. Что плохого в том, что человек сирота? Иногда это просто благословение божие, но люди этого не понимают. Вот если у вас никудышный отец и мать-пьяница — тогда вы имеете право жаловаться. Он говорил: она такая мужественная, такая старательная. Да, нужно признать, уж она постаралась!

— Не надо волноваться, милая леди Кларк, — вмешалась сиделка Капстик. — Вам нельзя утомляться.

— Я очень быстро рассчитала ее! У Франклина хватило нахальства предположить, что она мне может стать утешением. «Чем скорее она отсюда уедет, тем лучше», — вот что я ему сказала. Франклин — глупец. Я не хочу, чтобы он с ней связывался. Он мальчишка! Никакого здравого смысла! «Я выплачу ей за три месяца вперед, и пусть она уезжает. Я не хочу больше видеть ее в доме», — сказала я. У больных есть одно преимущество — с ними не спорят, им не возражают. Он сделал, что я сказала, и она уехала. Уехала как жертва несправедливости — я полагаю, еще более милая и мужественная!

— Ну же, дорогая леди Кларк, не надо волноваться. Это вам вредно.

Леди Кларк отмахнулась от сиделки Капстик.

— Вы точно так же, как и другие, заблуждаетесь на ее счет.

— Не говорите так, леди Кларк. Мне мисс Грей кажется очень милой девушкой.

— У меня просто не хватает терпения на всех вас, — слабо произнесла леди Кларк.

— Да ведь она уехала, совсем уехала.

Леди Кларк вяло покачала головой и ничего не ответила. Пуаро спросил:

— Почему вы сказали, что мисс Грей лгунья?

— Потому, что она лгунья. Она сказала, что никто посторонний не подходил в тот день к дому, не так ли?

— Да.

— Ну что же. Я видела ее своими собственными глазами — из этого окна, она разговаривала на крыльце с незнакомым человеком.

— Когда это было?

— Утром того дня, когда умер Кар, около одиннадцати.

— Как выглядел этот человек?

— Очень заурядно. Ничего бросающегося в глаза.

— Торговец, джентльмен?

— Не торговец, но очень невзрачный человек. Я не могу вспомнить.

Неожиданная боль исказила ее лицо.

— Я немного устала. Сестра...

Мы вышли.

— Очень странная история, — сказал я, когда мы возвращались в Лондон. — Этот незнакомец и мисс Грей.

— Вот видите, Гастингс, не зря я все время повторял: что-нибудь да обнаружится.

— Почему девушка солгала и сказала, что никого не видела?

— Могу предложить несколько объяснений, одно чрезвычайно простое.

— Это что, выговор?

— Не совсем. Просто предлагаю вам проверить свое воображение. Но можно и не ломать голову. Проще спросить самое мисс Грей.

— А предположим, она еще раз солжет?

— Вот это уже наведет на подозрения.

— Чудовищно даже предположить, что такая девушка может быть заодно с психически ненормальным человеком.

— Вот именно.

Я на несколько минут задумался. Потом со вздохом сказал:

— У хорошеньких девушек бывают неприятности.

— Du tout<sup>1</sup>. Не смущайте свой ум этой мыслью.

— Но это правда, — настаивал я. — Все против нее только потому, что она хорошенькая.

— Вы говорите betises<sup>2</sup>, мой друг. Кто это был против нее в Комбесайде? Сэр Кармайл? Франклин? Сестра Капстик?

— Леди Кларк была против нее.

— Мой дорогой друг, вы полны милосердных чувств по отношению к молодой и красивой девушке. А я — к старой больной даме. А может быть, именно леди

<sup>1</sup> Отнюдь нет (франц.).

<sup>2</sup> Глупости (франц.).

Кларк разглядела ее лучше всех. Ее муж, мистер Франклин, сестра Капстик — все они слепы, как летучие мыши, капитан Гастингс — тоже.

— У вас против нее предубеждение, Пуаро.

К моему изумлению, глаза Пуаро блеснули.

— А может, мне еще раз хочется взглянуть, как вы будете взгромождаться на свою рыцарскую лошадь. Ведь вы всегда были у нас рыцарем, всегда готовы были поспешить на помощь прекрасной даме, если она оказывалась в беде.

— Вечно вы насмешничаете, Пуаро, — проговорил я, не удержавшись от улыбки.

— Нельзя же все время ходить с трагическим видом. Меня все больше интересуют человеческие отношения во всех этих перипетиях. Сначала Андовер, трагическая жизнь миссис Ашер, всю жизнь тянувшей пьяницу-мужа; ее трогательная привязанность к племяннице. Одного этого хватит на целый роман. Потом Бексхилл, милые люди, счастливая пара, две дочери, так не похожие друг на друга, — хорошенькая кудрявая пустышка Бетти и Миган с сильным, целенаправленным характером, ясным умом и бескомпромиссным стремлением к правде. И еще один человек — сдержанный молодой шотландец, его ревность и обожание погибшей. Наконец, дом в Черстоне. Умиравшая жена, муж, поглощенный только своей коллекцией и возникающей нежностью к молодой женщине, которая так старательно помогает ему; его младший брат, энергичный, обаятельный, с отблеском романтики далеких путешествий, которые он совершил.

— Подумайте, Гастингс, при обычных обстоятельствах эти три драмы никогда бы не соприкоснулись. Все шло бы по назначенному пути. Меня не устают завораживать бесконечная изменчивость и неожиданные повороты жизни.

— Уже Паддингтон, — сообщил я.

У меня было чувство, что наконец-то что-то произойдет.

Когда мы добрались до дома, нам сообщили, что Пуаро ждет какой-то человек. Я ожидал увидеть Франклина, Джапа, на худой конец, но, к моему изумлению, это оказался не кто иной, как Дональд Фразер. Он выглядел смущенным, больше чем всегда бросалась в глаза его скованность.

Пуаро не стал особенно нажимать на него, чтобы выяснить цель визита. Вместо этого он предложил Фразеру бокал вина и сэндвичи. Пока их не принесли, он сам поддерживал разговор. И только когда мы справились с бутербродами и вином, он вернул разговор нужное направление.

— Вы приехали из Бексхилла, мистер Фразер?

— Да.

— Как успехи с Милли Хиггли?

— Милли Хиггли... — Фразер с удивлением повторил это имя. — А, эта девушка! Нет, я не пытался пока ничего делать. Это... — Он замолчал, нервно ломая пальцы. — Не знаю, почему я вдруг к вам приехал, — неожиданно выпалил он.

— Я знаю, — сказал Пуаро.

— Вы не можете знать. Это невозможно.

— Вы приехали, потому что вам необходимо высказаться. И вы сделали правильный выбор. Я самый подходящий для этого человек. Говорите!

Уверенный тон Пуаро сделал свое дело. Фразер взглянул на него со странным благодарным послушанием.

— Вы действительно так думаете?

— Parbleu<sup>1</sup>. Я в этом уверен.

— Мистер Пуаро, вы разбираетесь в снах?

Я ожидал чего угодно, только не этого вопроса. Пуаро же, как всегда, был мудр и не показал своего удивления.

— Разбираюсь, — сказал он. — Вам снилось...

— Нет! Нет! Это необычный сон.

— Необычный?

— Он снится мне уже третью ночь подряд, сэр... Мне кажется, что я схожу с ума.

— Рассказывайте.

Лицо Фразера было мертвенно-бледным, глаза горели каким-то странным блеском. По правде говоря, он выглядел ненормальным.

— Я на пляже ищу Бетти. Она потерялась, просто потерялась — понимаете? — мне нужно ее найти. Мне нужно отдать ее поясок. Я несу его в руке. И потом... вдруг все меняется. Я ее больше не ищу. Вот она здесь, передо мной, сидит на гальке. Она не видит, как я подхожу... Нет, не могу...

— Продолжайте. — Голос у Пуаро властный, твердый.

<sup>1</sup> Черт возьми! (франц.).

— Я подхожу к ней сзади... она не слышит моих шагов... я накидываю пояс на ее шею и стягиваю... о... стягиваю...

Его голос агонизирует. Я вцепился пальцами в стул. Впечатление такое, словно это происходит на самом деле.

— Она задыхается... она мертва... я задушил ее... голова ее откидывается назад, и — о, ужас! — я вижу, что это Миган!

Он откинулся назад, белый, трясущийся. Пуаро налил стакан вина и протянул ему.

— Что это значит, мистер Пуаро? Ну скажите, мистер Пуаро, почему мне это снится? Каждую ночь?

— Выпейте вина, — приказал Пуаро.

Молодой человек повиновался. Немного успокоившись, спросил:

— Что это значит? Я... я же не убивал ее!

Что ответил Пуаро, я не знаю, потому что в эту минуту услышал стук почтальона и вышел из комнаты.

То, что я увидел в почтовом ящике, начисто вытеснило из моей головы странные признания Дональда Фразера. Нет, это невозможно. Я вбежал в гостиную.

— Пуаро! — закричал я. — Пришло четвертое письмо!

Он вскочил, выхватил у меня конверт, вскрыл его. И мы все трое прочитали:

«Мистер Пуаро, мне вас искренне жаль. Если у вас не получится сразу, попытайтесь, попытайтесь еще раз! У нас с вами впереди долгий путь.

Может, Типперери? Нет, это слишком далеко! Это буква «Т».

Следующий маленький инцидент произойдет в Донкастере 11-го сентября. До свидания. АБС».

## ГЛАВА 21. «ОПИШИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!»

Наступает момент, когда элемент обыденности, как называл его Пуаро, в общей картине происходящего стал преобладать. Все понимали, что предпринять что-то, пока не придет четвертое письмо и не станет ясно, где готовится убийство «Д», невозможно. И это чувство разряжало обстановку.

Но теперь-то, когда получено это письмо, охота возобновлялась.

Из Скотланд Ярда приехал инспектор Кром, и пока он сидел у Пуаро, появились Франклин Кларк и Миган Барнард. Девушка объяснила, что она приехала из Бексхилла.

— Я хотела спросить мистера Кларка кое о чем.

Она была взволнованна и как будто спешила найти причину, убедительно объясняющую ее приезд. Я машинально отметил это, но не придавал особого значения. Мои мысли занимало письмо. Они вытеснили все остальное.

Кром, по-видимому, был доволен, что присутствуют все участники драмы. Он выглядел официальным и более, чем обычно, сдержанным.

— Я возьму это с собой, мистер Пуаро. Если вам нужна копия...

— Нет-нет, это не обязательно.

— Какие у вас планы, инспектор? — спросил Кларк.

— Обширные.

— На этот раз он не уйдет, — сказал Кларк. — Могу вам сказать, инспектор, что мы основали по этому делу ассоциацию заинтересованных лиц.

Инспектор Кром в своей лучшей манере произнес:

— О, неужели?

— Вы, конечно, считаете нас дилетантами, инспектор?

— Но ведь у вас значительно меньше возможностей, чем требуется. Не так ли, мистер Кларк?

— У нас личный интерес, а это не мало. Вообще-то я удивлен, что некто АБС одержал верх над нами.

Как я заметил, Крома, если не срабатывали другие методы, можно было заставить говорить с помощью прямого вызова.

— Глупец, он очень ясно предупредил нас. Одиннадцатое — это среда следующей недели. У нас достаточно времени для широкой кампании в прессе. В Донкастере будут предупреждены. Каждый, чья фамилия начинается на «Д» будет настороже. Мы введем в город значительные полицейские силы. Эти меры уже согласованы с главным констеблем Англии. Весь Донкастер, и полиция, и гражданское население, будут готовы к активным действиям, и, я думаю, мы до него доберемся!

Кларк спокойно заметил:

— Сразу видно, что вы не интересуетесь спортом, инспектор.

Кром удивленно посмотрел на него.

— Что вы этим хотите сказать, мистер Кларк?

— Бог мой, разве вы не знаете, что в следующую среду в Донкастере проходят Сент-Леджерские бега?

Как ни старался инспектор быть спокойным, на этот раз он не произнес свое знаменитое: «О, неужели?» Вместо этого он сказал:

— Верно. Да, это осложняет дело... АБС вовсе не глупец, хоть и психически ненормальный.

Минуту или две все молчали, осмысливая положение. Огромное количество страстных поклонников этого спорта, которые хлынут в Донкастер, принесут уйму осложнений.

Пуаро пробормотал: «C'est ingiepeix. Tout de même c'est bien imaginé, ça<sup>1</sup>.

— Я думаю, — сказал Кларк, — что убийство произойдет прямо на бегах, может даже в тот момент, когда будут разыгрывать приз Леджера.

Инспектор Кром поднялся и взял письмо.

— Да, бега сильно осложняют дело, — повторил он и с этими словами вышел из комнаты.

Мы услышали голоса в холле, а минуту спустя вошла Тора Грей. Она озабоченно произнесла:

— Инспектор сказал мне, что пришло еще одно письмо. Где на этот раз произойдет убийство?

За окном шел дождь. На Торе — черный жакет, юбка, мех. На белокурой головке, чуть набекрень, надета прелестная маленькая черная шапочка. Говорила она, глядя на Кларка, потом подошла к нему в ожидании ответа.

— В Донкастере, как раз во время бегов на приз Сент-Леджера.

Мы принялись обсуждать ситуацию. Разумеется, все мы собирались туда ехать, но наши планы осложняли бега. Все испытывали уныние. Чего может добиться маленькая группа в шесть человек, как бы сильно она ни была заинтересована, если там будет множество полицейских, которые не оставят без внимания ни один подозрительный уголок. Словно отвечая на мои невысказанные мысли, Пуаро уверенным тоном, так обычно говорят учителя и священники, сказал:

— Дети мои, мне надо расплыться. Пусть каждый из нас спросит себя: «Что я знаю об убийце?» И таким образом мы воссоздадим образ искомого человека.

— Мы же совсем ничего о нем не знаем, — беспомощно вздохнула Тора.

— Нет, нет, мадемуазель, не следует огорчаться, это не так. Каждый из нас хоть что-то да знает, надо только хорошенько подумать. Я уверен, что информация заложена в каждом из нас.

Кларк покачал головой:

— И все-таки ничего мы не знаем: молод он или стар, светлые у него волосы или темные. Никто из нас никогда его не видел. Мы уже, кажется, перебрали все, что нам известно.

— Не все! Например, мисс Грей сказала нам, что не видела и не разговаривала ни с кем посторонним в день убийства сэра Кармайкла Кларка.

Тора Грей кивнула:

— Совершенно верно.

— А так ли это? Леди Кларк утверждает, мадемуазель, что из своего окна видела, как вы стояли на крыльце и разговаривали с мужчиной.

— Она видела, как я разговаривала с незнакомым мужчиной? — Грей выразила искреннее удивление. Этот чистый и ясный взгляд не мог быть притворным. — Леди Кларк, должно быть, ошиблась. Я никогда... О! — Жаркая волна прихлынула к ее лицу. — Вспомнила! Господи, я начисто об этом забыла. Это был один из тех, кто крутится буквально под ногами — продает чулки! Обычно они очень настойчивы. Я с трудом от него избавилась. Я как раз шла через холл, когда он подошел к двери и собирался звонить. Но уверяю вас, это был совершенно безобидный человек.

Пуаро ходил по комнате, сжав руками голову. Он что-то бормотал с такой горячностью, что все замолчали, не спуская с него глаз.

— Чулки, — бормотал он. — Чулки... чулки... чулки... ça vient<sup>2</sup>... чулки... вот мотив... да, три месяца назад и вчера... и теперь. Bon Dieu<sup>3</sup>, я понял!

Он сел, уставившись на меня пристальным взглядом.

— Помните, Гастингс? Андовер, магазинчик. Мы поднялись наверх, в спальню. На стуле там была пара новых шелковых чулок. И теперь я знаю, что привлекло

<sup>1</sup> Умно. Все это очень хорошо придумано. (франц.).

<sup>2</sup> Это бывает (франц.).

<sup>3</sup> О боже (франц.).

мое внимание два дня назад. Это вы, мадемуазель, — он повернулся к Миган, — рассказывали о своей матушке, которая плакала потому, что она купила вашей сестре новые чулки в день убийства.

Он оглянулся на нас.

— Видите? Этот мотив повторился три раза. Это не простое совпадение. Когда мадемуазель рассказывала, у меня было чувство, что то, о чем она говорит, с чем-то связано. Теперь я знаю с чем. Слова, которые произнесла соседка миссис Ашер о людях, которые вечно пытаются тебе что-нибудь всучить. Она упомянула тогда чулки. Скажите, мадемуазель, действительно ли ваша мать купила их не в магазине, а у человека, пришедшего к ней в дом?

— Да, теперь я вспоминаю... Она говорила, что ей жаль этих несчастных, которые вынуждены постоянно разъезжать, чтобы что-то кому-то продать.

— Но какая здесь связь?! — воскликнул Франклин.

— Повторяю, друзья мои, это не просто совпадение. Три преступления — и каждый раз фигурирует человек, продающий чулки.

Он обернулся к Торе.

— A vous la parole!! Опишите этого человека!

Она смотрела на него растерянно.

— Не могу... не знаю... Он был в очках, и поношенное пальто...

— Mieux que ça mademoiselle?

— Он сутулился... Больше ничего не знаю. Я на него почти не смотрела. Он не из тех, кто заметен.

Пуаро мрачно произнес:

— Вы совершенно правы, мадемуазель. Весь секрет убийств заключается в вашем описании убийцы, в том, что он незаметен. В том, что убийца именно он, сомнений нет! Да, теперь совершенно ясно — вы описали убийцу!

## ГЛАВА 22. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Мистер Александр Бонапарт Каст сидел неподвижно. Нетронутый остывший завтрак лежал перед ним на тарелке. Чайник для заварки подпирал газету, которую с жадным интересом читал мистер Каст. Неожиданно он поднялся, с минуту ходил из угла в угол, потом снова опустился на стул у окна. Закрыл лицо руками и застонал.

Он не услышал стука отворяемой двери. В дверях стояла его квартирная хозяйка миссис Малбюри.

— Я подумала, мистер Каст, не захотите ли вы вкусенького. Что с вами? Вам нездоровится?

Мистер Каст отнял руки от лица.

— Ничего, ничего, миссис Малбюри. Мне сегодня с утра действительно нездоровится.

Миссис Малбюри посмотрела на поднос с завтраком.

— Да, я вижу. Вы даже не притронулись к завтраку. У вас снова болит голова?

— Нет... Вообще-то — да.

— Я вам сочувствую. Так вы сегодня не поедете?

Мистер Каст неожиданно вскочил.

— Нет, нет. Надо ехать. Дело важное, очень важное.

У него тряслись руки. Увидев, как он взволнован, миссис Малбюри попыталась его успокоить.

— Ну что же? Надо так надо. Далеко едете?

— Нет, я еду... — он на мгновение заколебался, — в Челтенхем.

В том, как неуверенно произнес он это, было что-то странное, и миссис Малбюри взглянула на него с удивлением.

— Челтенхем хорошее место, — сказала она. — Однажды я ездила туда из Бристоля. Там очень хорошие магазины.

— Вероятно так... да.

Миссис Малбюри неуклюже наклонилась, чтобы подобрать скомканную газету, лежащую на полу у двери.

— Сегодня в газетах ничего, кроме как об убийствах, не пишут, — сказала она, прежде чем положить газету на стол. — У меня мурашки по телу от всего этого. Я даже не читаю сейчас газет.

<sup>1</sup> Вам слово! (франц.).

<sup>2</sup> Подробнее, мадемуазель (франц.).

Губы мистера Каста шевельнулись, но звуков не последовало.

— В следующий раз он собирается совершить убийство в Донкастере, — сказала миссис Малбюри. — Завтра! Тут уж мурашки точно побегут. Если бы я жила в Донкастере и моя фамилия начиналась на «Д», я уехала бы оттуда первым же поездом, чтобы не рисковать. Что вы сказали, мистер Каст?

— Ничего, миссис Малбюри, ничего.

— Он думает, что бага дадут ему преимущества. Говорят, туда наехало много полицейских и... Что с вами, мистер Каст? Вы ужасно выглядите. Не выпить ли вам чего-нибудь? Право же, вам не нужно сегодня ехать.

Мистер Каст взял себя в руки.

— Это необходимо, миссис Малбюри. Я всегда был пунктуален в своих делах. Люди должны, должны думать, что на нас можно положиться! Когда я за что-то берусь, то дело довожу до конца. Только так и можно — в бизнесе.

— Но если вы больны?

— Я не болен, миссис Малбюри. Немного расстроен — личные неурядицы. И плохо спал. Право же, я в порядке.

Он сказал это так убедительно, что миссис Малбюри ничего не осталось, как забрать поднос с завтраком и выйти из комнаты.

Мистер Каст достал из-под кровати чемодан и стал укладываться. Пижама, умывальные принадлежности, запасной воротничок, кожаные тапочки. Потом открыл комод и извлек оттуда с дюжину, или около того, плоских картонных коробочек размером 7×10 дюймов и уложил их в чемодан. Бросил мимоletный взгляд на железнодорожный справочник на столе и с чемоданом в руке вышел из комнаты.

Пройдя в холл, он надел пальто и шляпу. При этом он тяжело вздохнул, так тяжело, что вышедшая в этот момент из соседней двери девушка посмотрела на него с сочувствием.

— У вас все в порядке, мистер Каст?

— Все в порядке, мисс Лили.

— Вы так тяжело вздохнули!

Он неожиданно спросил:

— У вас не бывает дурных предчувствий, мисс Лили?

— Ну, не знаю... Конечно, бывают дни, когда чувствуешь, что все идет не так, а иногда — все идет как по маслу.

— И у меня так, — сказал мистер Каст и снова вздохнул. — Ну, до свидания, мисс Лили. Вы ко мне всегда так хорошо относились.

— Не говорите «до свидания» таким тоном, будто уезжаете навсегда, — засмеялась Лили. — Увидимся в пятницу. Куда вы на этот раз едете? Опять на морской курорт?

— Нет, нет, в... э... Челтенхем.

— Ну, там тоже хорошо. Конечно, не так, как в Токи. Вот уж где поистине красиво! Хочу поехать туда в отпуск на следующий год. Кстати, вы ведь там были, совсем близко от места, где произошло убийство, убийство АБС. И вы могли оказаться совсем рядом с убийцей!

— Да, мог, конечно, — согласился мистер Каст с такой вымученной улыбкой, что Лили это заметила.

— Ах, мистер Каст, вы неважно выглядите.

— Да нет, хорошо. Вполне хорошо. До свидания, мисс.

Он подхватил чемодан и заторопился к выходу.

— Забавный старик, — снисходительно пробормотала Лили Малбюри. — Помоему, он немного не в себе.

Инспектор Кром сказал своему подчиненному:

— Составьте список всех фирм, производящих чулки, и поработайте с ними. Мне нужны агенты, которые работают как комиссионеры.

— Это связано с делом АБС, сэр?

— Да, одна из идей мистера Эркюля Пуаро, — тон у инспектора был пренебрежительный. — Из этого может ничего не выйти, но не следует пренебрегать даже малейшей возможностью.

— В свое время мистер Пуаро сделал немало, но сейчас, мне кажется, он сдал позиции.

— Да он просто шарлатан, — сказал инспектор Кром. — Все время что-то строит из себя. На некоторых это производит впечатление. Но не на меня. Так, теперь что касается Донкастера...

Том Хартиган сказал Лили Малбюри:

— Видел вашего блаженного сегодня утром.

— Мистера Каста?

— Да, Каста. На Юстонском вокзале. Он, как всегда, был похож на растерявшуюся курицу. Я думаю, он не вполне нормален. Ему нужен человек, чтоб за ним приглядывал. Сначала он уронил газету, потом билет. Я подобрал — он даже не заметил, что потерял его. Страшно меня благодарил, но только, я думаю, меня не узнал.

— Может быть. Он stalkивался-то с тобой только в холле, да и то нечасто. Они протанцевали еще один круг.

— Ты хорошо танцуешь, — сказал Том.

— Еще потанцуем... — Лили теснее прижалась к нему.

Еще круг.

— На Юстонском или Паддингтонском вокзале ты видел Каста? — спросила вдруг Лили.

— На Юстонском.

— Ты уверен?

— Ну конечно. А почему ты спрашиваешь?

— Забавно. Я думала, что в Челтенхем поезд идет с Паддингтонского.

— Так и есть. Но старина Каст ехал не в Челтенхем. Он уезжал в Донкастер.

— В Челтенхем.

— В Донкастер. Я уж знаю, девочка. Ведь это я подобрал билет!

— А мне он сказал, что едет в Челтенхем.

— И все-таки он ехал в Донкастер. Я поставил на Светляка в призовом забеге. Посмотреть бы своими глазами, каким он придет. Везет же некоторым!



Рисунки В. Будаева

— Не думаю, чтоб он поехал на бега. Не похож он на тех, кто этим интересуется.

Ох, Том, — продолжала Лили. — Надеюсь, его не убьют? Ведь убийство должно произойти в Донкастере.

— Касту это не грозит: фамилия на «К».

— Его в прошлый раз могли убить. Он был неподалеку от Черстона, в Токи, как раз когда было последнее убийство.

— Бывают же совпадения! А в Бексхилле он, случаем, не был? — засмеялся Том.

Лили нахмурила брови.

— Он уезжал... Да, точно помню, что уезжал... Он тогда забыл купальный костюм, мама ему его чинила. Она еще сказала: «Ну вот, мистер Каст все-таки уехал без купального костюма», а я сказала: «Подумаешь, костюм! Ты знаешь, что было страшное убийство: в Бексхилле задушили девушку».

— Но если ему так нужен был купальный костюм — значит, он собирался на курорт. Послушай-ка, Лили, знаешь, что ваш блаженный и есть убийца!

— Да что вы! Бедняга мистер Каст! Да он и мухи не обидит! — рассмеялась Лили.

Они продолжали беззаботно танцевать, занятые друг другом. Но где-то внутри затаилось беспокойство.

Этот день я, кажется, не забуду, пока буду жить.

Когда при мне упоминают Сент-Леджер, я немедленно думаю об убийстве, но не о бегах. И первое, что приходит на ум — это болезненное чувство беспомощности. Мы все были там: я, Пуаро, Кларк, Фразер, Миган Барнард, Тора Грей и Мери Драуэр. Но могли ли мы рассчитывать, что кто-то из нас, лишь мимоходом видевший человека, узнает его. Все взоры устремлены на Тору Грей.

От непосильной ответственности обычное спокойствие покинуло ее. Где уверенные манеры? Она сидела, сжимая руки, и, чуть не плача, объясняла Пуаро:

— Я на него даже толком не взглянула. Ну почему — я? Какая глупость! Теперь все зависит от меня одной, а я... я не смогу ничего сделать. Потому что если даже я и увижу его, то не узнаю. У меня плохая память на лица.

Что бы Пуаро ни говорил мне о девушке, как бы к ней ни относился, теперь я видел: это была сама доброта. И Пуаро был с ней ласков, так что мне даже пришла в голову мысль, что он не меньше чем я равнодушен к хорошеньким девушкам, когда они пребывают в расстроенных чувствах.

Он ласково потрепал ее по плечу.

— Ну-ну, малышка, не надо печалиться, это нам не поможет. Если вы его увидите, то наверняка узнаете.

— Почему вы так думаете?

— Ну, прежде всего потому, что за черным, в конце концов, всегда выпадает красное. Это как в рулетке. Даже если очень долго выпадает черное, за ним неизбежно выпадает красное — таков закон игры.

— Вы хотите сказать, что удача изменчива?

— Вот именно, Гастингс. Зачастую игроку (а ведь убийца самый настоящий игрок, только играет не на деньги, а на жизнь) не хватает элементарного чувства предвидения. Он выигрывает, и ему кажется, что так будет всегда. Он не в состоянии уйти вовремя — пока полны карманы. Так и с преступником, которому сопутствует удача. Он не может поверить, что она ему изменит. Он относит все только на свой счет. Но, друзья, как бы тщательно ни было спланировано преступление, оно не будет успешным без его величества Случая.

— Не слишком ли отвлеченно? — заметил Франклин Кларк.

Пуаро махнул рукой.

— Вы думаете, на этот раз удача изменит преступнику? — сказала Миган, хмуря брови.

— Рано или поздно, но это случится! Я в это верю! Чулки — это начало. Теперь у него все пойдет не так, как ему хотелось бы, он начнет ошибаться.

— То, что вы говорите, обнадеживает, — заметил Франклин Кларк. — Нам всем нужно немного надежды. Все это время я живу с отвратительным чувством беспомощности.

— И все же я сильно сомневаюсь, что мы практически что-то можем предпринять, — проговорил Дональд Фразер.

Миган заметила:

— Не будь пессимистом, Дон.

Чуть покраснев от смущения, вмешалась Мери Драуэр:

— Я хочу сказать, что всякое бывает. Преступник здесь, и мы здесь, а люди иногда сталкиваются самым неожиданным образом.

Я заметил раздраженно:

— Если бы мы хоть что-то еще могли сделать.

— Не забывайте, Гастингс, полиция делает все возможное. Специальные патрули. Наш инспектор Кром, хоть у него и малопривычные манеры, офицер очень дотошный и неглупый. И полковник Андерсен, главный констебль, — человек действия. Они предприняли все возможные меры. Ведется патрулирование в городе и на ипподроме. Потом еще кампания в прессе. Жители предупреждены.

Дональд Фразер покачал головой и с надеждой произнес:

— Я думаю, он не решится. Надо быть просто ненормальным...

— К несчастью, — сухо заметил Кларк, — он и есть ненормальный. Как вы думаете, мистер Пуаро, попытается он это сделать, или не решится?

— Я считаю, что он так сильно на этом зациклился, что постарается выполнить свое обещание. Не сделать это — значит признать свое поражение, а его большое самолюбие этого никогда не допустит. Это мнение и доктора Томпсона. Но наша задача — не допустить этого.

Дональд снова покачал головой.

— Он очень хитер.

Пуаро взглянул на часы. Мы поняли намек. Решено было, что мы будем в горо-



де целый день: утром — патрулируя по возможности больше улиц, а вечером — наиболее удобные для преступления места.

Я сказал — «мы». Конечно, что касается меня — от такого патрулирования толку было бы мало, вряд ли я когда-нибудь сталкивался с убийцей. И я предложил себя в качестве дамского опекуна.

Пуаро согласился, но глаза у него при этом лукаво блеснули.

Девушки отправились надевать шляпки. Дональд Фразер стоял у окна, погруженный в свои мысли. Франклин Кларк поглядел на него и, решив, по-видимому, что он слишком поглощен собой, чтобы обращать внимание на то, что происходит вокруг, обратился к Пуаро:

— Послушайте, мистер Пуаро, я знаю, что вы ездили в Черстон и виделись с моей невесткой. Она не говорила... не намекала... я хочу сказать, она вообще не предполагает... — Он в замешательстве замолк.

Пуаро отвечал с совершенно простодушным видом, что сразу возбудило во мне подозрения.

— Comment? <sup>1</sup> Ваша невестка говорила, намекала, предполагала...

Франклин Кларк покраснел.

— Может, вы думаете, что сейчас не время руководствоваться личными мотивами?

— Du tout! <sup>2</sup>

— Но мне хочется выяснить до конца...

— Прекрасное желание.

Тут мне показалось, Кларк начал догадываться, что простодушный на вид Пуаро забавляется ситуацией. Он неуклюже выпалил:

— Моя невестка прекрасная женщина — я всегда ее любил. Конечно, теперь она больна и иногда... такая болезнь, действие наркотиков, ну и все прочее... иногда возникают странные фантазии по поводу разных людей!

Теперь в глазах Пуаро уже явственно прыгали веселые искорки. Кларк, поглощенный нелегкой задачей, как бы поделикатнее выразить свои мысли, не замечал этого.

— Это о Торе, Торе Грей, — сказал он.

— А, так вы говорите о мисс Грей? — В тоне Пуаро прозвучало простодушное удивление.

— Видите ли, Тора, то есть мисс Грей, ну, как бы это сказать — хорошенькая девушка.

— Да, возможно, — согласился Пуаро.

— А женщины, даже самые разумные, ревниво относятся к чужой красоте. И конечно, Тора была для брата просто находкой — он всегда повторял, что не встречал лучшего секретаря, он к ней тепло относился, но все было совершенно невинно. Я хочу сказать, Тора — не из тех девушек...

— Нет? — с надеждой произнес Пуаро.

— Но у нее была навязчивая идея — она ревновала. Конечно, она этого не показывала. Я хочу, чтобы вы поняли, мистер Пуаро, что все это безосновательно. Просто воображение больного человека. Вот смотрите... — он пошарил в кармане. — Письмо, которое я получил от брата, когда был в Малайзии. Мне хотелось бы, чтобы вы его прочли, из него вам станет ясно, какие у них были отношения.

Пуаро взял письмо. Кларк встал чуть сзади и, водя пальцем, прочитал небольшой абзац:

«Все по-прежнему. Боли у Шарлотты терпимые. Хотелось бы, чтобы можно было сказать что-то более утешительное, но... Может быть, ты помнишь Тору Грей? Она замечательная девушка и большое утешение для меня. Не знаю, как я прожил бы это тяжелое время, если бы не она. Ее сочувствие и интерес неиссякаемы. У нее прекрасный вкус и инстинктивное чувство прекрасного. Она разделяет мое увлечение искусством Китая. Мне повезло, что я ее нашел. Даже родная дочь не могла бы стать более близким мне и понимающим человеком. У нее была нелегкая и не всегда счастливая жизнь, и я рад, что здесь она нашла дом и настоящую привязанность».

— Вот видите, как мой брат к ней относился! И потому я считаю: как только брат умер, его жена отказала ей от дома! Женщины — сущие дьяволы, мистер Пуаро!

— Не забывайте, что ваша невестка больна, ее мучают боли.

— Я знаю. Я это себе постоянно повторяю. И осуждать ее нельзя. Но я думаю,

<sup>1</sup> Как вы сказали? (франц.)

<sup>2</sup> Во все нет! (франц.)

что вы поняли... Мне не хотелось, чтобы у вас осталось неверное представление о Торе из-за того, что вам могла сказать леди Кларк.

Пуаро вернул письмо.

— Могу вас успокоить. Я никогда не позволяю себе зависеть от чьих-то убеждений. Я полагаюсь только на себя.

— Прекрасно, — сказал Кларк, убирая письмо. — Я все равно рад, что показал вам его. А вот и девушки. Пожалуй, нам пора отправляться.

Когда мы вышли из комнаты, Пуаро отозвал меня.

— Вы решительно намерены сопровождать эту экспедицию?

— Да, оставаться здесь и ждать было бы невыносимо.

— Действовать может и ум, не обязательно тело, Гастингс.

— У вас это лучше получается, чем у меня, — сказал я.

— Вы как всегда правы, Гастингс. Я не ошибусь, если скажу, что вы собираетесь одной из дам оказать предпочтенье?

— Да.

— И какой же даме вы окажете честь?

— Я... э... еще не думал.

— Мисс Барнард?

— Очень самостоятельная девушка, — пробормотал я.

— Мисс Грей?

— Да, пожалуй.

— Гастингс, я нахожу, что вы меня бессовестно обманывали. Ведь вы уже давно решили провести день с вашим белокурый ангелом!

— Ну, право же, Пуаро...

— Боюсь огорчить вас, но ваша помощь понадобится в другом месте.

— О, пожалуйста. Правда, я убежден, что вы и сами равнодушны к этой датской куколке, Миган.

— Вам придется сопровождать другую даму. Это Мери Драуэр. И я прошу вас ни на минуту не покидать ее.

— Но почему?

— Потому, дорогой друг, что ее фамилия начинается на «Д». Мы должны исключить случайность.

Сначала его соображения показались мне уж слишком надуманными. Но потом я вспомнил особую, болезненную ненависть, которую АБС испытывал к Пуаро. В таком случае, мысль убрать Мери Драуэр могла показаться ему очень удачным штрихом в его картине. И я обещал добросовестно отнестись к поручению. Вышел, оставив Пуаро сидящим на стуле у окна. Перед ним была маленькая рулетка. Он крутил ее, и когда я выходил из двери, крикнул мне вслед:

— Красное — это хорошее предзнаменование, Гастингс!

## ГЛАВА 24. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Мистер Лидбеттер чуть не выругался от нетерпения, когда его сосед поднялся и, неловко пробираясь мимо него, споткнулся и уронил шляпу на переднее сиденье, а потом еще и наклонился, чтобы поднять ее. Это произошло как раз в самый интересный момент захватывающего фильма, который мистер Лидбеттер мечтал посмотреть всю неделю.

Златовласую героиню играла Кетрин Ройял, по мнению мистера Лидбеттера — самая выдающаяся киноактриса мира.

Мистер Лидбеттер раздраженно передвинулся влево. Вот люди! Неужели нельзя дожидаться конца фильма? Уходить в самый захватывающий момент!

Ну, наконец-то! Мешавший джентльмен ушел, и теперь мистеру Лидбеттеру хорошо виден был весь экран и Кетрин Ройял, стоявшая у окна роскошного нью-йоркского дома. А вот она садится в поезд с ребенком на руках. Какие в Нью-Йорке интересные поезда, совсем не такие, как английские. Теперь Стив в своей горной хижине. Фильм благополучно катился к своему трогательно-сентиментальному концу. Мистер Лидбеттер удовлетворенно вздохнул, когда в зале вспыхнул свет, неторопливо поднялся. Обычно он не торопился к выходу. Ему требовалась минута или две, чтобы вернуться к прозе окружающей жизни.

Он оглянулся. Народу сегодня немного. Естественно, все на бегах. Мистер Лидбеттер азартные игры не одобрял. И это позволяло ему всецело отдаваться кино. Все спешили к выходу. Мистер Лидбеттер собрался влиться в общий поток. Мужчина, сидевший перед ним, спал, тяжело привалившись к спинке стула.

Какой-то сердитый джентльмен говорил спящему: «Извините, сэр, но...» Ноги спящего мешали ему пройти.

У выхода из зала мистер Лидбеттер оглянулся. Там была какая-то суета. Может, мужчина, сидевший перед ним, не спал, а был мертвецки пьян?

Он на мгновение заколебался, но все-таки вышел — и упустил сенсацию дня, сенсацию даже более яркую, чем неожиданная победа на бегах Половинки — лошади-аутсайдера, она выиграла приз Сент Леджера при ставках 85 к 1.

Служитель зала, между тем, сказал:

— Думаю, вы правы, сэр... Он болен... Как, в чем дело, сэр?

Собеседник с громким восклицанием отдернул от сидящего руку и теперь рассматривал ее. Она была в крови.

Служитель приглушенно вскрикнул. Он заметил что-то желтое под сиденьем стула.

— Боже милосердный! — воскликнул он. — Это... это же АБС!

## ГЛАВА 25. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Мистер Каст вышел из кинотеатра и взглянул на небо.

Прекрасный вечер. По-настоящему прекрасный. В голову пришли строки из Броунинга<sup>1</sup>: «Господь на небесах. И все спокойно в этом мире».

Ему всегда нравились эти строки. Только иногда бывали моменты, когда он чувствовал, что это не так.

Он шел по улице, улыбаясь самому себе. Дошел до «Черного лебедя», где остановился в этот приезд.

Он поднялся по лестнице в спальню, маленькую душную комнату на третьем этаже; из окна был виден мощный внутренний двор и гараж.

Когда он вошел в комнату, улыбка вдруг погасла. На рукаве пиджака, как раз около манжета, он увидел пятно. Осторожно потрогал его, оно было мокрое и красное — кровь! Он сунул руку в карман и извлек отсюда нечто неожиданное — длинный тонкий нож. Лезвие было липким и красным.

Мистер Каст сел и просидел неподвижно долгое время. Потом его глаза метнулись по комнате — это были глаза загнанного зверя. Он лихорадочно облизывал губы.

— Я не виноват...

Он снова лихорадочно облизнул губы, осторожно прикоснулся к пятну. Подошел к умывальнику. Снял пиджак, намочил рукав и осторожно отжал его. Боже! Вода в раковине была красной<sup>2</sup>.

В дверь постучали. Он стоял неподвижно, не в силах сдвинуться с места. Дверь отворилась. Вошла полная молодая женщина с кувшином в руке.

— О, простите, сэр. Ваша горячая вода, сэр.

Он с трудом проговорил:

— Спасибо. Я постирал в холодной...

Зачем он так сказал? Ее взгляд медленно обратился к раковине.

Он смеялся и произнес:

— Я... я порезал руку...

Потом последовала пауза — да, точно, очень долгая пауза, — прежде чем она проговорила:

— Да, сэр.

Она вышла и закрыла дверь.

Мистер Каст словно обратился в камень. Прислушался.

Там, наверное, голоса, восклицания, шум поднимающихся по лестнице шагов. Но он ничего не слышал, кроме стука своего собственного сердца.

Потом вдруг из этой странной неподвижности он пришел в движение. Надел пиджак, на цыпочках подошел к двери и открыл ее. Никакого шума, кроме обычного приглушенного бормотания, доносившегося из бара. Он стал осторожно спускаться по лестнице. Никого. Это была удача. Он задержался у подножья лестницы. Куда теперь? Наконец он принял решение, метнулся вдоль небольшого коридорчика к двери, ведущей во двор. Двое шоферов возились у машины, обсуждая победителей и проигравших в бегах. Мистер Каст заторопился через двор на улицу. За первый угол, направо, потом налево, снова направо... Можно ли появиться-

<sup>1</sup> Броунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт. Строил сюжеты большинства своих произведений на материале Средневековья и Возрождения.

<sup>2</sup> В Англии и Америке отверстие раковины сначала закрывают специальной пробкой, потом набирают воду и умываются.

ся на станции? Да — там будут толпы народа, дополнительные поезда, — если удача сопутствует ему, тогда все удастся.

## ГЛАВА 26. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Инспектор Кром слушал взволнованный рассказ мистера Лидбеттера.

— Инспектор, у меня сердце останавливается, когда я об этом думаю. Ведь он сидел рядом со мной на протяжении всего фильма!

Инспектор Кром, которого совсем не интересовало, как ведет себя сердце мистера Лидбеттера, сказал:

— Расскажите, этот человек уходил в конце фильма? Он проходил мимо вас и споткнулся...

— Притворился, что споткнулся. Теперь я это понимаю. Потом перегнулся через сиденье, чтобы поднять шляпу. Тогда-то он и заколол беднягу.

— И вы ничего не слышали? Ни крика? Ни стоны?

Мистер Лидбеттер не слышал ничего, кроме громкого хриловатого голоса Кетрин Ройял.

— Можете вы его описать?

— Очень крупный мужчина. Ну просто гигант.

— Темноволосый, светловолосый?

— Мне показалось, он лысый. И вид у него подозрительный.

— Он случайно, не хроمال? — спросил инспектор Кром.

— Да, да, вот вы сказали — и я вспомнил: вроде бы он хроمال. Смуглый. Наверное, из иностранцев.

— Он пришел до начала фильма, когда еще горел свет?

— Нет, фильм уже начался.

Инспектор кивнул, велел мистеру Лидбеттеру подписать протокол и с радостью расстался с ним.

— Вот уж самый никчемный свидетель, которого только можно себе представить, — прокомментировал он. — Такой подтвердит что угодно, только подсажи ему. Он понятия не имеет, как на самом деле выглядит преступник. Зовите обратно служителя.

Служитель, в униформе, страшно скованный, вошел и встал по стойке смирно, поедая глазами полковника Андерсена.

— Ну, Джемисон, послушаем, что вы скажете.

Джемисон отдал честь.

— Итак, Джемисон, слушаем вас.

— Так точно, сэр. В самом конце сеанса, сэр, мне сообщили, что кому-то плохо. Дженгльмен сидел в ряду, где билеты по два шиллинга и четыре пенса. Он тяжело навалился на кресло. А другие дженгльмены стояли кругом. Мне не понравилось, как он выглядел, сэр. Один дженгльмен, который стоял с ним рядом, тронул рукой его пиджак и потом показал руку — там была кровь, сэр. Ясно, этот человек был мертв, его зарезали, сэр. Потом справочник АБС, сэр. Он был под сиденьем. Чтобы все сделать правильно, я ничего не трогал, сэр, и немедленно сообщил в полицию о происшедшем.

— Очень хорошо, Джемисон, вы все сделали верно.

— Благодарю вас, сэр.

— Вы не заметили одного, а может — и двух мужчин, уходивших с этих рядов минут за пять до конца сеанса?

— Было таких несколько человек, сэр.

— Вы можете их описать?

— Боюсь, что нет, сэр. Один был — мистер Джеффри Парнел. Потом молодой парень Сэм Бейкер со своей девушкой. Больше никого не приметил.

— Жаль. Но и этого может быть достаточно, Джемисон.

— Да, сэр.

Служитель отдал честь и удалился.

— Результаты медицинского освидетельствования мы уже получили, — сказал полковник Андерсен. — Давайте послушаем следующего свидетеля.

Вошел полицейский констебль, отдал честь.

— Там мистер Эркуль Пуаро и с ним дженгльмен.

Инспектор Кром нахмурился:

— Пусть войдут.

Входя, мы услышали конец фразы инспектора Крома. Оба они — и Кром, и главный констебль — выглядели расстроенными. Полковник Андерсен поприветствовал нас кивком головы.

— Рад вашему появлению, мистер Пуаро, — вежливо сказал он. По-видимому, догадался, что мы слышали слова Крома.

— Вот видите — все сначала.

— Еще убийство АБС?

— Да. Наглая работа. Удар ножом в спину.

— На этот раз — нож?

— Да, как видите, убийца меняет приемы. Сначала проламывает голову, потом душил, теперь вот — нож. Разносторонний тип. Вот медицинские подробности, если интересуетесь. — Он придвинул к Пуаро бумагу. — Справочник АБС нашли на полу, у ног убитого.

— Убитого опознали?

— Да, но от этого нам пока не легче. Фамилия убитого Эрсфилд, Джордж Эрсфилд, парикмахер по профессии.

— Интересно, — прокомментировал Пуаро. — Где же первая буква «Д» в его фамилии?

— Послушаем следующего свидетеля? — спросил Кром. — Он спешит.

Средних лет мужчина был сильно взволнован, от возбуждения голос у него срывался на пронзительные ноты.

— Это был настоящий шок. Со мной такого раньше не случалось! У меня слабое сердце, сэр, очень слабое. Для меня это могло кончиться...

— Пожалуйста, назовите свое имя, — попросил инспектор.

— Даунз, Роджер Эммануил Даунз.

— Профессия?

— Директор Хайфилдской школы для мальчиков.

— Мистер Даунз, расскажите подробно, что произошло.

— Могу, только очень коротко, джентльмены. По окончании сеанса я поднялся. Слева от меня место было свободно, а с другой стороны сидел человек. Я не мог пройти мимо него: мешали вытянутые ноги. Я попросил его позволить мне пройти. Он не двинулся. Я повторил просьбу... э... немного громче. Он не реагировал. Я взялся за его плечо, чтобы разбудить. Он стал соскальзывать со стула, и я понял, что он без сознания. Я крикнул: «Человеку плохо! Позовите служителя!» Пришел служитель. Когда я убрал руку с плеча, то увидел, что она в крови. Я понял, что человек зарезан. Джентльмены, со мной же могло произойти все что угодно. Я много лет страдаю сердечной недостаточностью...

Полковник Андерсен смотрел на мистера Даунза со странным выражением.

— Вы под счастливой звездой родились, мистер Даунз, — сказал он. — Говорите, сидели всего через кресло от убитого?

— Вообще-то я сначала сидел рядом с убитым, но потом пересел на другое кресло, потому что впереди кресло было свободным.

— Ведь вы почти такого же роста и сложения, что и убитый, и тоже с шарфом вокруг шеи?

— Не понимаю...

— Я объясню вам, — сказал полковник Андерсен, — почему вы счастливый человек. Что-то сбило с толку убийцу, который шел вслед за вами. Он перепутал, он выбрал не ту спину. Я готов съесть свою собственную шляпу, если этот нож не предназначался вам!

Сердце мистера Даунза с трудом выдержало предыдущее испытание, но это было уж слишком. Он стал задыхаться, лицо его приобрело серо-пепельный оттенок.

— Воды, — выдохнул он, — воды!

Принесли воду. Он пил медленно, и к нему стал постепенно возвращаться нормальный цвет лица.

— Мне, — сказал он. — Почему мне?

— Очень похоже, что вам, — сказал Кром. — На мой взгляд, это единственное возможное объяснение.

— Вы хотите сказать, что этот человек... этот... этот выродок — этот кровожадный псих следил за мной и только выжидал подходящего момента?

— Я бы сказал, что так оно и было.

— Но, боже милосердный, почему — я? — потребовал объяснения разъяренный директор школы.

Инспектор Кром подавил искушение ответить: «А почему бы и не вы?» Вместо этого он сказал:

— Я думаю, бесполезно искать какие-то объяснения действиям сумасшедшего.

— Господь всемогущий, — вполне осмысленно прошептал мистер Даунз.

Он поднялся. У него был вид потрясенного человека.

— Если я вам больше не нужен, господа, мне лучше отправиться сейчас домой. Я... я ненавижу себя чувствую.

— Все будет в порядке, мистер Даунз, мы пошлем с вами констебля, с вами ничего не случится.

— О, нет... нет. Благодарю. В этом нет необходимости.

— Она может возникнуть, — заметил полковник Андерсен.

Он взглянул на инспектора, словно о чем-то спрашивая. Тот так же незаметно кивнул.

Мистер Даунз вышел, пошатываясь.

— На всякий случай пошлите с ним двоих, — сказал Андерсен.

— Да, сэр. Ваш инспектор Райс уже распорядился. За домом установят наблюдение.

— Вы думаете, — заметил Пуаро, — что АБС заметит ошибку и попытается ее исправить?

Андерсен кивнул.

— По-моему, он очень последователен, этот АБС.

Пуаро согласно кивнул.

— Жаль, что мы до сих пор не знаем, как он выглядит, — раздраженно заметил полковник. — Мы все еще блуждаем в потемках.

— Имейте терпение, — заметил Пуаро.

— Вы кажетесь уверенным, мистер Пуаро. У вас есть причины для оптимизма?

— Да, полковник Андерсен. До сих пор убийца еще ни разу не ошибался. Значит...

— Если это все, чем вы располагаете, то это не много, — сказал констебль.

— Мистер Болл из «Черного лебедя» и с ним молодая женщина настаивают, что у них есть полезные для полиции сведения.

— Нас интересует все, что связано с делом. Пусть войдут.

Мистер Болл из «Черного лебедя» оказался крупным, неповоротливым мужчиной, от которого, к тому же, пахивало пивом. С ним была молоденькая пухленькая женщина, явно чем-то очень взволнованная.

— Надеюсь, мы не очень некстати. Мы не отнимем у вас много времени, — низким голосом пророкотал мистер Болл. — Но вот эта девушка, Мери ее зовут, кланется, что знает что-то, что вас заинтересует.

Мери смущенно улыбнулась.

— Ну, милая, что же вы знаете? — сказал полковник Андерсен. — Как ваше полное имя?

— Мери Странд.

— Хорошо, говорите, милая Мери Странд.

— Ее обязанность — носить горячую воду в мужские номера, — решил помочь ей мистер Болл. — У нас остановились многие, приехавшие на бега, а кто-то — по коммерческим делам.

— Ну-ну, — торопил Андерсен и обратился к девушке: — Рассказывай, не робей.

— Понимаете... я постучала, а мне не ответили. Иначе я не вошла бы в номер. Я вошла, а он стоял у крана и мыл руки.

Она замолкла.

— Продолжайте, милая, — приободрил Андерсен.

Мери взглянула на хозяина; видно, ей это придало смелости.

— «Ваша горячая вода, сэр, — говорю я, — я к вам стучалась»... А он говорит: «О, я уже обошелся холодной». Ну, и я взглянула в раковину и — о, господи, помоги мне! — увидела, что вода красная!

— Красная?!

Тут вмешался Болл.

— Девушка мне сказала, что он был без пиджака, он держал его за рукав, а рукав был весь мокрый.

— Верно, детка?

— Да, сэр, верно, сэр. И лицо, сэр. У него было такое странное, мертвенно-бледное лицо, сэр. Мне даже стало плохо.

— Когда это произошло? — резко спросил Андерсен.

— Минут пятнадцать шестого.

— Больше трех часов назад. Почему же вы не пришли сразу?

— Так ведь она не говорила, — сказал Билл, — пока не передали, что соверше-

но еще одно убийство. Тут-то она и рассказала. Ну, я сразу не поверил, пошел наверх. В комнате — никого. Я расспросил одного из парней во дворе, тот сказал, что видел какого-то мужчину, проходившего через двор... Тут я сказал Мери, что ей надо бы сходить в полицию. Она не захотела, и я сказал, что пойду с ней.

Инспектор Кром вынул лист бумаги.

— Опишите его, да поскорее. Нам нельзя терять время.

— Среднего роста, — сказала Мери. — Сутулится. В очках.

— Как одет?

— Темный костюм и гамбургская шляпа. Вид довольно потрепанный.

К этому описанию она мало что могла добавить, но инспектор Кром и не настаивал. Вскоре заработали все телефонные линии, но ни инспектор, ни главный констебль особого оптимизма не испытывали. Кром вспомнил, что человек, которого видели и во дворе, был без портфеля или чемодана.

— Может, в номере что-то найдем? — предположил он.

Двоих сотрудников отправили в «Черный лебедь».

Мистер Болл, гордый, исполненный сознания своей значительности, вместе с едва сдерживающей слезы девушкой пошли с ними. Сержант вернулся десять минут спустя.

— Я принес журнал регистрации, сэр. Вот подпись.

Мы обступили его. Почерк был мелкий, разобрать было непросто.

— А. Б. Кейст или Каст? — предположил главный констебль.

— А вещи? — спросил Андерсен.

— Два больших чемодана, сэр, полные картонных коробочек.

— Коробочек? А что в них, в этих коробочках?

— Чулки, сэр. Шелковые чулки.

Кром повернулся к Пуаро:

— Поздравляю. Ваше подозрение оказалось верным.

## ГЛАВА 28. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Инспектор Кром сидел в своем кабинете в Скотланд Ярде. Раздался телефонный звонок, он поднял трубку.

— Говорит Джакобс. У меня сейчас молодой человек. Мне кажется, он представляет для вас интерес.

Кром вздохнул. По меньшей мере, человек двадцать ежедневно являлись в Скотланд Ярд с важной, как им представлялось, информацией по делу АБС. Одни были просто чудаки, иные действительно верили, что их информация станет решающей. В обязанности сержанта Джакобса входила сортировка информации: задерживать ненужную и посылать начальству ту, которая представляла интерес.

— Ну хорошо, Джакобс. Посылайте его сюда.

Несколько минут спустя сержант Джакобс привел молодого и довольно симпатичного человека.

— Это Том Хартиган, сэр.

Инспектор поднялся и дружелюбно пожал Тому руку.

— Доброе утро, мистер Хартиган. Присаживайтесь. Хотите сигарету?

Том Хартиган отказался. Он неуклюже сел и настороженно взглянул на одного из тех, перед кем втайне преклонялся. Внешность инспектора слегка разочаровала его: выглядел тот слишком обыденно.

— Ну что ж. Вы хотите мне что-то важное рассказать — рассказывайте!

Том нервно начал:

— Может, тут ничего и нет. Может, мне просто кажется... Может, я напрасно отниму у вас время.

Инспектор вздохнул: сколько времени он уже потратил зря!

— Дело обстоит так, сэр. У меня есть девушка, сэр, и ее мать сдает комнаты. Это в Каледен Таун. Они уже с год как сдали третий этаж человеку по имени Каст.

— Каст?

— Верно, сэр. Станный он человек, этот Каст. Очень деликатный, но какой-то непонятный. Из тех, про кого говорят: он и мухи не обидит. И если бы не один случай, мне ничего плохого и в голову бы не пришло. Уж очень странно все совпадало. Лили — это моя девушка, сэр, — она была убеждена, что он сказал Челтенхем, и ее мать говорит то же. Она точно помнит, как они разговаривали в утро его отъезда. Тогда я не придавал этому особого значения. Тут Лили говорит, что она надеется, что этот Каст не столкнется с АБС в Донкастере. Потом говорит: надо же такое совпадение — он был как раз около Черстона, когда там произошло последнее преступление. Я в шутку спрашиваю, не был ли он перед этим в Бексхилле,

а она отвечает, что не знает, где он был, но что на морском курорте — это точно. И мы об этом больше не думали. Но по правде, сэр, меня внутри что-то беспокоило. Я начал думать об этом Касте: ведь какой он ни безобидный, но может стать — психически больной.

Том перевел дыхание и продолжил. Инспектор Кром слушал его очень внимательно.

— А после убийства в Донкастере, сэр, в газетах появились объявления... В первый же свободный вечер я поехал к Лили и поинтересовался, каковы инициалы мистера Каста. Она сначала не могла вспомнить, но ее мать вспомнила. Как раз А. Б. Ну, мы стали думать, уезжал ли мистер Каст во время первого убийства — в Андовере. Не так просто вспомнить, сэр, что было три месяца назад. Нам пришлось поработать, но в конце концов вспомнили, что к миссис Малбюри именно 21 июня приезжал брат из Канады. Он приехал без предупреждения, и свободной кровати не оказалось. Тут Лили предложила: мистера Каста нет и пусть Берт Смит поспит на его кровати. Но миссис Малбюри не согласилась, она считала, что это несправедливо по отношению к ее жильцу, а она любит, чтоб все было по совести. Но дату мы точно выяснили: корабль Берта Смита прибыл в Сауттемптонский док как раз в тот день.

Инспектор Кром что-то помечал время от времени в блокноте.

— Это все? — спросил он.

— Все, сэр. Я надеюсь, вы не думаете, будто муха видится мне слонем? — Том слегка покраснел.

— Все нет. Вы правильно сделали, что пришли. Конечно, это пока приблизительные сведения. Но все, что вы сообщили, дает мне основания побеседовать с мистером Кастом. Он сейчас дома?

— Да, сэр.

— Когда он вернулся?

— Вечером, когда произошло убийство в Донкастере, сэр.

— И что он с тех пор делает?

— Он больше сидит дома, сэр. Миссис Малбюри говорит, что он очень странно выглядит. Покупает много газет — рано утром выходит и покупает утренние, а как стемнеет — идет за вечерними. Миссис Малбюри говорит, что он разговаривает сам с собой и что странности его становятся все заметнее.

— Какой у миссис Малбюри адрес?

Том продиктовал.

— Благодарю вас. Я, вероятно, заеду сегодня днем. И уж само собой разумеется, будьте настороже, если столкнетесь с мистером Кастом.

Он встал и пожал Тому руку.

— Можете не беспокоиться, вы очень правильно поступили, что пришли к нам. Всего хорошего, мистер Хартиган.

— Ну, сэр, — спросил Джакобс, входя в комнату несколько минут спустя после ухода Тома, — думаете, тут что-нибудь есть?

— Похоже. Нам пока не повезло с фирмами, производящими чулки. А ведь тогда мы хоть за что-то ухватились бы. Кстати, подайте мне папку с черстонским делом.

В поисках чего-то он несколько минут просматривал бумаги.

— А, вот оно. Это среди заявлений, сделанных полиции Токи. Молодой парень по имени Хилл сообщает, что, выходя из Токи Палладиума после фильма с участием Кети Ройял, обратил внимание на очень странного человека, который разговаривал сам с собой. Хилл слышал, как он произнес: «Это идея». А ведь тот же фильм шел и в донкастерском кинотеатре, где произошло убийство?

— Да, сэр.

— Может, в этом тоже что-то есть. Возможно, что идея следующего преступления возникла именно тогда. Здесь есть адрес Хилла.

— Уже теплее... — произнес инспектор. Фраза прозвучала забавно, потому что всем было известно, что инспектор постоянно мерз.

— Какие будут приказания?

— Возьмите пару человек и установите слежку, только не спугните птичку. Мне нужно согласовать с помощником комиссара, и тогда, я думаю, что привезем его сюда и спросим, не хочет ли он сделать нам заявление. Похоже, что он уже почти готов к разговору.

Лили ждала Тома Хартигана на набережной.

— Все в порядке, Том?

Том кивнул.

— Я видел самого инспектора Крома. Честно говоря, не таким я представлял себе детектива.



— Это новые кадры лорда Тренчарда, — с уважением произнесла Лили. — Говорят, способные ребята. Ну, что он сказал?

Том коротко передал ей разговор.

— Так они думают, это действительно он?

— Не думают так наверняка, но и не исключают. Во всяком случае, он зайдет и задаст ему несколько вопросов.

— Бедный мистер Каст.

— Нечего его жалеть, моя девочка. Он совершил четыре ужасных убийства. Теперь пойдем и немного перекусим, детка. Подумай, если только это все правда, мое имя попадет в газеты! Ну и твое, конечно. И твоей матери. Может, даже фотографии поместят.

— О, Том! — Лили сжала ему руку.

— Так пошли?

— Мне надо позвонить.

Она перебежала через дорогу, а три минуты спустя вернулась чуть раскрасневшаяся.

— Ну, пошли, Том. — Она взяла его под руку. — Расскажи мне еще про Скотланд Ярд. Дженгльмена из Бельгии ты там не видел? Того, кому АБС все время пишет письма?

— Нет, того не было.

— Расскажи все по порядку. Что было, когда ты вошел? С кем ты разговаривал и что говорил?

Мистер Каст аккуратно повесил трубку и повернулся к двери. Там стояла миссис Малбюри, снедаемая любопытством.

— Не часто, однако вам звонят.

— Да... э... миссис Малбюри, не часто.

— Надеюсь, новости хорошие?

— А, да... — О боже, как настойчивы бывают эти женщины! Его взгляд случайно остановился на заголовке одной из газет. «Рождения — женитьбы — смерти».

— Моя сестра родила мальчика, — выпалил он.

— Ах, мистер Каст! Какая приятная новость! (А ведь ни разу за все эти годы он почему-то не упомянул о сестре.) Я удивилась, скажу вам по правде, когда какая-то дама попросила вас к телефону. «Мистера Каста», — сказала она. Мне даже показалось, что это голос Лили — было что-то похожее, только голос был уж очень самоуверенный, если хотите знать — высокомерный. Ну, мистер Каст, примите мои поздравления. Это у вас первый, или еще есть племянники и племянницы?

— Это единственный мой племянник, — сказал мистер Каст. — Единственный, и вряд ли будут другие. Э... я думаю, мне надо ехать немедленно. Сестра хочет, чтобы я приехал. Я думаю, если потороплюсь — то успею на поезд.

— Вы надолго уедете, мистер Каст?

— Два-три дня, не больше.

Он скрылся в спальне. Миссис Малбюри отправилась на кухню, с умилением размышляя о «милой крошке». Ей вдруг стало не по себе. Ведь вчера вечером они вместе с Томом и Лили так старательно сопоставляли даты! Пытались доказать, что мистер Каст есть ужасное чудовище.

Сообщение о том, что у сестры мистера Каста появился малыш, успокоило ее подозрения. Теперь она доверяла своему жильцу безоговорочно.

«Намучилась, наверное, бедняжка», — думала миссис Малбюри, пробуя, горячи ли уют, которым она собиралась гладить шелковую сорочку Лили. И ее мысли потекли по обычному руслу.

Мистер Каст потихоньку спустился по лестнице с сумкой в руке. Глаза его на мгновение остановились на телефонном аппарате. В голове словно эхом отозвался этот короткий телефонный разговор: «Это вы, мистер Каст? Я думаю, вам небезынтересно знать, что вас собирается посетить инспектор из Скотланд Ярда...»

Что он ответил, он вспомнить точно не мог.

«Благодарю, благодарю, милая моя... вы очень добры...» — что-то в этом роде. Почему она позвонила? И как узнала о предстоящем визите? Она изменила голос, чтобы мать не узнала... Похоже... да, похоже, что она знает... Но если она знает... Да... Женщины иногда ведут себя странно. Непредсказуемо жестоко или, наоборот, мягко. Однажды он видел, как Лили выпускала из мышеловки мышь. Добрая девушка. Добрая и симпатичная.

Он замешкался в холле у вешалки, забитой пальто и зонтами.

— Может быгь...

Легкий шум в кухне заставил его поторопиться: в любой момент может выйти миссис Малбюри...

Он отворил дверь, вышел и закрыл ее за собой.  
— Куда теперь?

## ГЛАВА 29. В СКОТЛАНД ЯРДЕ

Снова совещание. Нас четверо. Помощник комиссара, инспектор Кром, Пуаро и я.

Помощник комиссара сказал:

— Очень хорошая мысль, мистер Пуаро. Действительно надо проверить всех, кто продает чулки.

Пуаро сделал жест рукой:

— Этот человек не может быть обычным агентом. Он продает непосредственно клиентам, а не ищет заказы.

— Вам все ясно, инспектор?

— Да, сэр. — Кром заглянул в свою папку. — Доложить, как обстоят дела?

— Да, пожалуйста.

— Мы уже проверили Черстон, Пейгнтон и Токи, составили списки людей, у которых он побывал и которым предлагал чулки. Должен сказать, что он работает добросовестно. Останавливался в отеле Питт — маленький отель около Торре Стейши. Вернулся туда в 22.30 в день убийства. Вероятно, поездом, который отбывал из Черстона в 21.57 и прибывал в Торре в 22.20. Пока не поступало подтверждений, что в поезде видели человека с описанной внешностью, но в тот день проходила регата в Данемауфе и поезда были переполнены.

— То же и с Бексхиллом. Останавливался в Глобе. Предлагал чулки приблизительно в дюжине адресов, включая миссис Барнард, но исключая «Рыжего кота». Из отеля уехал рано вечером, в Лондон прибыл в 11.30 следующего утра. В Андове-ре все повторяется. Останавливался в Фивао. Предлагал чулки миссис Фаулер — соседке миссис Ашер, и еще полдюжине людей на этой улице. Пара, изъятая у ее племянницы Мери Драуэр, идентична обнаруженным в чемодане Каста.

— Пока все идет как надо, — заметил помощник комиссара.

— Действуя согласно полученной информации, — сказал инспектор, — я отправился по адресу, который мне сообщил Хартиган, но оказалось, что за полчаса до моего появления Каст ушел из дому. Ему кто-то звонил, как мне сообщила хозяйка. Она сказала, что это был единственный звонок за все время, пока он там жил.

— Соучастник? — предположил помощник комиссара.

— Два ли, — сказал Пуаро.

Все с недоумением смотрели на него. А инспектор продолжил:

— Я тщательно осмотрел его комнату. Обыск отменяет всякие сомнения. Я нашел пачку бумаги такого же качества, что та, на которой печатались письма, большое количество чулочных изделий и пакет такой же формы и размера, что и пакеты с чулками. Там было восемь новеньких железнодорожных справочников АБС!

— Ну, это уже многое, — прокомментировал помощник комиссара.

— Но ножа в комнате не оказалось. — В голосе инспектора прозвучала нотка ликования.

— Нужно быть совсем ненормальным, чтобы принести нож в дом, — заметил Пуаро.

— Каковым преступник, судя по всему, и является, — продолжал ликовать инспектор. — И все же я считал, что нож должен быть где-то дома. Я стал прикидывать, какое место могло быть самым подходящим? Окинув все вокруг взором, я понял: вешалка! Ее никогда не переставляют. Мне с большим трудом удалось ее сдвинуть с места — там-то и оказался нож.

— Хорошая работа, Кром, — еще раз с одобрением произнес помощник комиссара. — Теперь осталось только одно — найти убийцу.

— Найдем, сэр. Непременно найдем! — Тон у инспектора был уверенный.

— Что скажете, мистер Пуаро?

Пуаро вздрогнул, словно его вывели из забытья.

— Простите?

— Мы говорили о том, что поймать преступника — теперь только дело времени. Вы согласны?

— О, да. Несомненно.

Тон был такой рассеянный, что все смотрели на него с любопытством.

— Вас что-то беспокоит, мистер Пуаро?

— Да, меня интересуют мотивы преступления.

— Но, послушайте, он же ненормальный, — нетерпеливо произнес помощник комиссара.

— Я понимаю, что имеет в виду мистер Пуаро, — великодушно пришел на помощь Кром. — Он прав. Существует какая-то навязчивая идея. Я думаю, мы выясним. Может, это мания преследования и он мог ассоциировать ее с мистером Пуаро? Может, у него навязчивая идея, что мистер Пуаро — детектив, приставленный к нему.

— Хм, — произнес помощник комиссара. — Это сейчас так называется? Прежде — если человек был сумасшедшим, его так и называли. И не искали этому иных определений. И он, сумасшедший, сидел себе там, где ему и положено было сидеть. А сейчас какой-нибудь очень уж современный врач поместит преступника в психиатрическую лечебницу, там ему будут говорить, какой он хороший, как хорошо вел себя в течение сорока пяти дней, и выпустят на волю как полноправного члена общества.

Пуаро улыбнулся, но ничего не сказал.

Совещание заканчивалось.

— Что же, — проговорил помощник комиссара, — как вы сказали, инспектор Кром, поимка убийцы — это вопрос времени.

## ГЛАВА 30. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Мистер Каст стоял у овощного магазина и пристально смотрел на дорогу. Да, вот это место. «Миссис Ашер. Газеты и табачные изделия». В пустой витрине объявление — «Сдается». Пусто и безжизненно.

— Простите, сэръ... — Жена зеленщика пыталась дотянуться до лимонов на лотке. Он извинился и отодвинулся. Потом медленно побрел прочь — в сторону главной улицы.

Плохо... очень плохо... Денег почти не осталось... Если ты целый день ничего не ел, голова становится странной.

Он взглянул на афишу у газетного киоска. «Дело АБС. Убийца все еще на свободе. Интервью с мистером Эркюлем Пуаро».

Каст пробормотал: «Эркюль Пуаро. Интересно, знает ли он...» Он пошел дальше. Не следует стоять, уставившись на плакат. Он подумал, что долго так не протянет. Еще шаг... Еще... Человек вообще странное и смешное существо... А он. Александр Бонапарт, особенно смешон. Он всегда был смешон. И над ним всегда смеялись.

Куда он идет? Не знает он этого. Идет, опустив голову. А когда поднял взор, то увидел, что перед ним отделение полиции.

— Забавно, — сказал мистер Каст. И даже хихикнул. Потом сделал несколько шагов навстречу свету и, покачнувшись, начал падать.

## ГЛАВА 31. ЭРКЮЛЬ ПУАРО ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

Был ясный ноябрьский день. Доктор Томпсон и старший инспектор Джап заехали к Пуаро, чтобы познакомить его с результатами предварительного судебного рассмотрения дела Александра Бонапарта Каста.

У Пуаро была небольшая простуда, которая помешала ему присутствовать на заседании. К счастью, он не настаивал, чтобы я составил ему компанию.

— Суд принял дело к производству, — сказал Джап. — Вот так-то.

— Разве это обычная практика, — спросил я, — когда защита вступает уже на этой стадии?

— Молодой адвокат Лукас старательный работник, надо отдать ему должное. Но в этом случае возможен только один вариант защиты — психическое отклонение от нормы.

Пуаро пожал плечами.

— Сумасшествие — не причина для оправдания. А заключение в тюрьме Ее Величества едва ли предпочтительнее, чем смертный приговор.

— Лукас, видно, полагает, что у него есть шанс, — сказал Джап. — Но боюсь, он не до конца понимает, какая у нас сильная позиция. Лукас ухватился за дело, потому что оно необычное. Он еще молод и жаждет славы. С полным алиби по убийству в Бексхилле дело становится недостаточно убедительным.

Пуаро повернулся к доктору Томпсону:

— А ваше мнение, доктор?

— Честно говоря, не знаю, что и сказать. Каст очень успешно играет нормального человека, хоть и страдает эпилепсией.

— Однако ж, удивительная случайность, — проговорил я.



— Вы имеете в виду приступ эпилепсии в полицейском участке? Эффектный конец драмы. АБС всегда рассчитывал на эффект.

— Мне кажется, в том, как он все отрицает, есть что-то убедительное, — сказал я.

Доктор Томпсон улыбнулся.

— Не следует покупаться на театральную позу «клянусь богом».

— Когда люди выступают излишне пылко — это значит, что они виновны, — поддержал его Кром.

— Общепринятая точка зрения такова, что такой человек даже в бессознательном состоянии не совершит действия, противного его желанию, — продолжал Томпсон.

Он стал пространно обсуждать этот вопрос, употребляя время от времени выражения «большое зло» и «малое зло», пока окончательно меня не запутал, — случай не редкий, если специалист слишком уж увлечется своим предметом.

— Итак, я против гипотезы, что Каст совершал преступления, не сознавая этого. Письма полностью подтверждают мою версию. Они доказывают преднамеренность и тщательную разработку плана преступления.

— Феномен писем пока нами не объяснен, — сказал Пуаро.

— Вас это волнует?

— Естественно. Ведь они адресованы мне. Пока я не доберусь до причины, почему они адресованы именно мне, я не буду чувствовать, что дело окончательно прояснилось.

— Вас можно понять. А не сталкивались ли вы каким-то образом с этим человеком раньше?

— Нет.

Доктор Томпсон ушел, Джап остался.

— Вас беспокоит алиби? — спросил Пуаро.

— Да, конечно, — признался инспектор. — Я не верю в алиби, но будет чертовски трудно его опровергнуть. Этот Странжер — крепкий орешек.

— Расскажите о нем.

— Ему около сорока. Уверенный в себе человек, горный инженер. Настаивал на том, чтобы записали его показания срочно, потому что уезжает в Чили и надеется, что внесет ясность в интересующее нас дело.

— На меня он произвел впечатление положительного человека, — сказал я.

— Думаю, он относится к тому типу людей, которые ни при каких обстоятельствах не признают своих ошибок, — сказал Пуаро в раздумье.

— Да, он настаивает на своих показаниях. Клянется небом, что встретился с Кастом в Истборне в отеле «Белый крест» вечером двадцать четвертого июля.

В тот вечер он чувствовал себя одиноким и нуждался в слушателе, и Каст оказался идеальным собеседником. После ужина они играли в домино. Странжер оказался большим любителем домино, и Каст, к его изумлению, тоже. Странная игра — домино. Некоторые обо всем забывают, когда играют в домино. Каст хотел было пойти спать, но Странжер и слушать об этом не стал. Он клянется, что кончили играть за полночь. Они разошлись в десять минут первого. А если Каст находился в «Белом кресте» в десять минут первого, то он, естественно, не мог душиить Бетти Барнард на пляже в Бексхилле между двенадцатью и часом ночи.

— Да, Кромю тут есть над чем подумать, — сказал Джап.

— А этот человек, Странжер, — он абсолютно в этом уверен?

Предположим, Странжер ошибается, и человек этот вовсе не Каст. Вряд ли у Каста могли быть сообщники — у маньяков их не бывает. Может, девушка умерла позже? Но врач настаивает на своих показаниях. К тому же выбраться из отеля незамеченным, добраться до Бексхилла — ведь это четырнадцать миль! Конечно, это не так уж важно: от убийства в Донкастере он не отвертится. Он совершил убийство в Донкастере. Он совершил убийство в Черстоне. Он совершил убийство в Андове. Тогда, черт побери, он должен был совершить и бексхиллское убийство! Но где, где доказательства?

Джап тряхнул головой и поднялся.

— Думаю, теперь ваш черед, мистер Пуаро. Кром в полном тумане. Ну-ка, покажите, на что они способны.

Джап удалился.

Вместо ответа Пуаро задал вопрос:

— Скажите, Гастингс, вы считаете дело ясным?

— Мы нашли преступника, а у нас достаточно улик. Нужны только детали.

Пуаро покачал головой.

— Дело окончено! А дело — это человек, Гастингс. И пока мы не будем знать о человеке все, загадку нельзя считать разгаданной. А значит — это вовсе не победа.

— Нам уже многое о нем известно.

— Знаем, где родился. Знаем, что участвовал в войне, получил нетяжелое ранение в голову и был комиссован из армии из-за эпилепсии. Знаем, что он жил у миссис Малбюри около двух лет. Знаем, что он тихий, необщительный человек — из тех, кого просто не замечают. Знаем, что он продумал и совершил четко продуманное преступление, но сделал при этом несколько непростительных ошибок. Знаем, что убивал безжалостно и хладнокровно. Но знаем и то, что оказался великодушным и не позволил пострадать невиновным, ведь ему легко было свалить вину на не причастных к этому людей. Разве вы не видите, Гастингс, что этот человек состоит из одних противоречий? Глупый и коварный, безжалостный и великодушный — должно быть в нем нечто примиряющее эти противоречия. Я все время только тем и занимаюсь, что пытаюсь понять убийцу. И сейчас понял, что совсем его не понимаю. Не понимаю мотива убийств, не понимаю, почему выбрал именно этих людей?

— По алфавиту, — опять начал я.

— Разве Бетти Барнард единственная в Бексхилле, чье имя начинается на «Б»? Бетти Барнард единственная, чье имя начинается на «Б»? Бетти Барнард — на этот счет у меня есть идея... Это так, это должно быть только так... Но если это так...

Он замолк на некоторое время. Я не хотел ему мешать и вроде бы даже задремал, а проснулся от того, что почувствовал на своем плече руку Пуаро.

— Мон cher Гастингс<sup>1</sup>, — произнес он с теплотой. — Мой добрый гений.

Такое неожиданное высокое мнение о моих способностях смутило меня.

— Это так, — настаивал Пуаро. — Вы всегда мне помогаете. Вы приносите мне удачу. Вы меня вдохновляете.

— На что же я вдохновил вас теперь?

— Я вспомнил одно ваше замечание, совершенно блестящее. Разве не говорил я вам, что вы гениально формулируете очевидные истины? Именно очевидное-то я часто и не беру во внимание. А ваше замечание сделало все абсолютно ясным. Теперь я вижу ответы на все мои вопросы. Почему — именно миссис Ашер, почему — сэр Кармайкл Кларк, почему — убийство в Донкастере, и наконец — почему именно Эркуль Пуаро!

— Вы объясните?

— Не сейчас. Сначала мне нужна кое-какая информация. И получу я ее от нашего специального легиона. А потом — потом я встречусь с убийцей. Мы встретимся с ним лицом к лицу, два противника — АБС и Эркуль Пуаро. Мы с ним будем разговаривать! Je vous assure<sup>2</sup>, Гастингс — для человека, который что-то

<sup>1</sup> Мой дорогой (франц.).

<sup>2</sup> Я вас уверяю (франц.).

скрывает, нет ничего опаснее разговора! Речь — так сказал мне однажды старый и мудрый француз — это механизм, который мешает человеку думать. Разговор — верное средство, чтобы выяснить то, что человек хочет скрыть.

— И что вы надеетесь услышать от Каста?

Эржюль Пуаро улыбнулся.

— Ложь. Но с ее помощью я узнаю правду!

## ГЛАВА 32. ПОЙМАТЬ ЛИСУ

Несколько дней Пуаро был очень занят. Он куда-то таинственно исчезал, почти не разговаривал, хмурился и постоянно отказывался удовлетворить мое любопытство, касающееся моих блестящих способностей, которые, если верить ему, я демонстрировал в прошлом.

Он не приглашал меня в свои загадочные поездки, что мне не нравилось.

И вот он заявил, что намерен посетить Бексхилл и его окрестности, и предложил мне сопровождать его. Я с готовностью согласился. Как выяснилось, пригласили не только меня. Все члены нашего специального легиона были тоже приглашены. Пуаро заинтриговал всех, но к концу дня мне удалось выяснить, в каком направлении работали мысли Пуаро.

Сначала он посетил мистера и миссис Барнард и узнал точно, когда именно был у них мистер Каст и что он говорил. Потом он поехал в отель, где останавливался Каст, и узнал там все, что касалось отъезда этого джентльмена. Мне показалось, что ничего нового не прибавилось, но вид у Пуаро был довольный.

Потом он направился на пляж, туда, где было обнаружено тело Бетти Барнард. Там он внимательно рассматривал гальку. Я не видел в этом особого смысла, ведь прибой непрерывно заливал берег. Но я знал, что действия Пуаро всегда подчинены определенной идее, какими бы бессмысленными на первый взгляд они ни казались.

Потом он отправился к ближайшей стоянке машин. Оттуда — на остановку автобусов, прибывающих из Истборна. Они пережидали некоторое время перед отправлением в Бексхилл.

Наконец он привел нас в кафе «Рыжий кот», где мы выпили не совсем свежего чаю, а обслуживала нас пухленькая официантка Милли Хиггли, и Пуаро сделал ей комплимент: «У англичанок ноги всегда слишком худы, но у вас, мадемуазель — прекрасные ноги.»

Милли Хиггли не смутилась. Уж она знает этих французских джентльменов!

Пуаро не стал отрицать: ну что ж, француз так француз. Он бросал на нее пылакие взгляды, очень удивил и даже шокировал меня.

— Voila<sup>1</sup>, — сказал Пуаро. — С Бексхиллом все ясно. Поехали в Истборн. Одно небольшое расследование — и у меня все. Сейчас возвращаемся в отель и пьем по коктейлю. Этот карлтоновский чай просто отвратителен.

Пока мы потягивали коктейли, Франклин Кларк с любопытством спросил у Пуаро:

— Мы здесь для того, чтобы опровергнуть алиби? Тогда не понимаю, что вас так радует: ведь новых фактов мы не обнаружили.

— Не обнаружили, это правда. Но... терпение, друзья... немножечко терпения...

Лицо его приняло серьезное выражение.

— Мой друг Гастингс однажды рассказывал, что в молодости они играли в игру под названием — «Правда». Игра, где задают три вопроса — на два из них нужно ответить правдиво, а на третий можно солгать. Вопросы, разумеется, могли быть самого нескромного толка. Все клялись, что будут говорить правду и ничего кроме правды.

Он замолк.

— Так что же? — спросила Миган.

— Так вот, я хочу сыграть в эту игру. Только вопроса будет достаточно одного. Каждому по одному вопросу.

— Давайте. Готов ответить на любой вопрос, — сказал Кларк.

— Только отнеситесь к этому серьезно.

Все мы, порядком удивленные, мгновенно посерьезнели. И даже поклялись, что будем отвечать только правду.

— Вот и ладно, — произнес Пуаро. — Начинаем.

— Я готова, — сказала Тора Грей.

<sup>1</sup> Ну вот (франц.).

— Правило отдавать предпочтение дамам в данном случае было бы невежливым. Начнем с мужчин.

Он повернулся к Франклину Кларку.

— Что, дорогой мистер Кларк, вы думаете о шляпках, которые носили женщины в этом сезоне в Аскоте?

Франклин Кларк в изумлении уставился на него.

— Это шутка? Вы серьезно предлагаете этот вопрос?

— Серьезно.

Кларк улыбнулся.

— Ну, мистер Пуаро, я вообще-то не был в Аскоте, но, судя по тому, какие шляпки я видел на дамах, разъезжающих на машинах, шляпки аскотских дам в этом сезоне более забавны, чем всегда. Совершенно фантастические.

Пуаро улыбнулся и повернулся к Дональду Фразеру.

— Когда вы брали в этом году отпуск, месье?

— Отпуск? Две первые недели августа.

Лицо у него вдруг дернулось. Я догадался, что вопрос заставил его вспомнить о своем горе.

Пуаро обратился к Торе Грей, и я заметил, что голос у него прозвучал иначе — более неприязненно. Вопрос был резкий.

— Мадемуазель, в случае смерти леди Кларк, вышли бы вы замуж за сэра Кармайкла Кларка, если бы он сделал вам предложение?

Девушка вскочила.

— Как вы смеете задавать мне подобные вопросы! Это... это оскорбительно!

— Возможно. Но вы поклялись отвечать правду. Да или нет?

— Сэр Кармайкл был очень добр ко мне. Он относился ко мне почти как к дочери. И я относилась к нему с благодарностью. Я была привязана к нему.

— Извините, но это не ответ. Да или нет, мадемуазель?

Она колебалась.

— Нет.

— Благодарю, мадемуазель.

Он повернулся к Миган Барнард. У нее было очень бледное лицо, она с трудом сдерживала дыхание, словно готовилась к тяжелому испытанию.

Голос Пуаро — как удар хлыста.

— Мадемуазель, каким вы надеетесь видеть результат расследования? Хотите, чтобы истина восторжествовала?

Она гордо откинула голову. Я знал, что Миган была фанатично правдива. Ответ был короткий и совершенно поразил меня.

— Нет! — сказала она.

Все вскочили. Пуаро наклонился вперед, всматриваясь в ее лицо.

— Мадемуазель Миган, вы, может быть, не хотите правды, но мой долг — всегда говорить правду.

Он повернулся к Мери Драуэр.

— Скажите, дитя мое, у вас есть молодой человек?

Мери, которая смотрела на него со страхом, вспыхнула, пришла в замешательство.

— О, мистер Пуаро, я... я не вполне уверена.

Он улыбнулся.

— Alors c'est bien, mon enfant<sup>1</sup>.

Он повернулся в мою сторону.

— Идемте, Гастингс, пора отправляться в Истборн.

У выхода нас ждала машина. Она повезла нас по дороге вдоль берега.

— Бесплезно вас сейчас о чем-то спрашивать, Пуаро?

— Постарайтесь пока сами осмыслить все.

Я замолчал. Пуаро, довольный собой, потихоньку мурлыкал. Когда мы проезжали Певенси, он попросил шофера остановиться, чтобы взглянуть на замок.

На обратном пути к машине он задержался, наблюдая за ребяташками, распевшими песенку.

— О чем они поют, Гастингс? Я не могу разобрать слов.

Я прислушался.

...поймать лису  
и в клетку посадить,  
и никогда не выпускать ее оттуда!

<sup>1</sup> Итак, все хорошо, дитя мое (франц.).

— Поймать лису и в клетку посадить, и никогда не выпускать ее оттуда! — повторил Пуаро.

Лицо его вдруг сделалось мрачным и строгим.

— Это ужасно, Гастингс.— Он с минуту помолчал.— Вы когда-нибудь охотились на лисиц?

— Нет, мне это не по карману. Да и не думаю, чтобы тут была хорошая охота.

— Я имел в виду Англию вообще. Станный вид спорта! Сначала засада, потом трубят в рог и начинается погоня. Лисица бежит из последних сил — но собаки настигают ее.

— Гончие ведь!

— Быстрая и страшная смерть! Во всяком случае, уж лучше так — быстрая и жестокая смерть, чем то, о чем пели ребятишки.

— Быть запертым в клетке навечно? Ужасно.

Пуаро покачал головой и, меняя тон, проговорил:

— Завтра я собираюсь посетить Каста.— Обратился к шоферу:— Обрато в Лондон.

— Разве мы не едем в Истборн?

— Зачем? Мне достаточно того, что я уже знаю.

### ГЛАВА 33. АЛЕКСАНДР БОНАПАРТ КАСТ

Я не присутствовал при разговоре с этим странным человеком. Благодаря своим связям с полицией и необычным обстоятельствам дела, Пуаро без труда получил разрешение в управлении полиции, но на меня оно не распространялось. Кроме того, Пуаро считал, что беседа должна происходить без свидетелей, сугубо конфиденциально.

Но он так подробно рассказал мне, как она происходила, что я описываю ее сейчас с такой же уверенностью, как если бы присутствовал на ней сам.

Вероятно, это был драматический момент — встреча противников в этом трагическом противоборстве. На месте Пуаро я бы несомненно испытывал волнение.

Но Пуаро был как всегда прозаичен.

— Вы меня знаете? — спросил он мягко.

Человек покачал головой.

— Нет. Может, вы помощник мистера Лукаса? Или — вы от мистера Майнарда? (Майнард и Сом — адвокатская фирма).

Тон был вежливый, но безразличный. Человек был погружен в себя.

— Я — Эржюль Пуаро.

Пуаро произнес эти слова и ждал эффекта.

Мистер Каст поднял голову.

— О, вот как!

Прозвучало это вполне естественно, таким тоном мог произнести инспектор Кром, не было только его высокомерия. Минуту спустя он повторил свою фразу. Но теперь она прозвучала иначе. В тоне можно было почувствовать пробуждающийся интерес.

— Да, — сказал Пуаро.— Я тот человек, которому вы писали письма.

И контакт сразу нарушился. Мистер Каст с раздражением крикнул:

— Я вам никогда ничего не писал.

— Но если это не вы, то кто же?

— Враг. У меня, должно быть, есть враг. Все складывается против меня. Полиция — все, все — против меня. Это какой-то гигантский заговор.

Пуаро не ответил.

Мистер Каст продолжал:

— Все всегда были против меня! Всегда!

— Даже когда вы были ребенком?

Мистер Каст на минуту задумался:

— Нет, не совсем. Моя мать меня очень любила. И она была честолюбива, ужасно честолюбива. Потому-то она и дала мне высокопарное имя. У нее была абсурдная уверенность, что я чего-нибудь достигну в этом мире. Она постоянно говорила, что я должен утвердиться — говорила о силе воли... Каждый может стать хозяином своей судьбы, — говорила она, она повторяла, что я все могу!

Он на мгновение замолчал.

— Конечно, она ошибалась. Я очень скоро это понял. Я не из тех, кто чего-то добивается в жизни. Я постоянно делал что-то не так. Я всегда боялся людей. В школе у меня все получалось плохо: и спорт, и учеба. Бедная моя мама! Я разочаровал ее... Даже в коммерческом колледже на освоение машинописи и стеногра-



фии у меня ушло значительно больше времени, чем у моих товарищей. Но, тем не менее, я не чувствовал себя неспособным. Не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду.

Он вдруг бросил на Пуаро умоляющий взгляд.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Продолжайте.

— Просто я жил с чувством, что все кругом считают меня, скажем так, не слишком умным. И это действовало на меня парализующе. То же самое происходило потом, когда я начал работать.

— А на войне? — подсказал Пуаро.

Лицо мистера Каста внезапно озарилось улыбкой.

— Вы знаете, — сказал он, — на войне мне было хорошо. Там я почувствовал, что не хуже других. Все мы оказались в одном котле, и я был не хуже других. Улыбка погасла.

— А потом меня ранило в голову. Небольшая рана. Но потом — эпилепсия... Но я думаю, они не должны были меня из-за этого комиссовать. Это несправедливо.

— Ну а потом? — спросил Пуаро.

— Я получил место клерка. Конечно, тогда можно было делать большие деньги. Надо сказать, что сразу после войны дела у меня шли не так уж и плохо, хотя заработок был небольшой. Но потом — я совсем не продвигался по службе. Я был недостаточно пробивным. И жить становилось все труднее. Особенно трудно стало, когда начался кризис. Я едва сводил концы с концами, а выглядеть надо было rispetтабельно: ведь это государственное учреждение. И я принял предложение фирмы: заработок плюс комиссионные!

Пуаро мягко проговорил:

— Вам, вероятно, известно, что фирма, которая наняла вас, отрицает этот факт?

Мистер Каст снова разволновался, сказал, что они в заговоре против него.

— Но у меня есть письменные свидетельства — их письма ко мне с инструкциями и списками людей, которым я должен предложить товар.

— Не письменные, а отпечатанные на машинке?

— Но это все равно. Естественно, крупная фирма рассылает письма отпечатанными на машинке.

— Но, мистер Каст, все эти письма отпечатаны на машинке, которую мы нашли в вашей комнате. Так что все это выглядит так, как если бы вы сами напечатали и отправили себе эти письма.

— Нет, нет! Это заговор против меня! Заговор! Заговор!

— А справочники АБС, которые нашли в буфете?

— Я ничего о них не знаю. Я думал, там чулки.

— Почему вы отметили в андоверском списке фамилию миссис Ашер?

— Потому, что решил начать с нее. Надо же с кого-нибудь начинать.

— Это верно. С кого-нибудь начинать надо.

— Я не это имел в виду! — кричал мистер Каст.

— Но вы поняли, что я имел в виду?

Мистер Каст ничего не ответил. Его била дрожь.

— Я не делал этого! — сказал он. — Я абсолютно невиновен! Все это ошибка. Ну подумайте о втором преступлении — в Бексхилле. Я играл тогда в домино, в Истборне. Это вы должны признать!

Голос прозвучал триумфально.

— Да, — сказал Пуаро, словно раздумывая. — Но ведь так легко ошибиться на один день! А если вы такой человек, как мистер Странжер — самоуверенный и упрямый, вам и в голову не придет, что вы ошиблись. Что же касается книги регистрации, то дату нетрудно подделать, когда расписываешься.

— В тот вечер я играл в домино!

— Вы хорошо играете в домино, мистер Каст?

Каста вопрос немного сбил с толку.

— Я... ну, думаю, что да.

— Эта игра требует внимания. И умения.

— О, там надо играть! Мы в городе часто играли в домино в обеденный перерыв. Вы не поверите, как эта игра способна свести совершенно незнакомых людей. Он усмехнулся.

— Помню одного человека... Я никогда его не забуду из-за того, что он мне тогда сказал... Мы разговорились за чашкой кофе, а потом сели играть в домино. И уже через двадцать минут я чувствовал себя так, словно знал его всю жизнь.

— И что же он сказал вам?

Лицо мистера Каста омрачилось.

— Он сказал, что судьба написана на моей руке. Он показал свою руку и две линии на ладони, которые предсказывали, что он два раза будет очень близок к тому, чтобы погибнуть в воде. Он и вправду два раза чудом спасся. А потом по-

смотрел на мою руку и сказал мне, что я стану одним из самых известных в Англии людей, прежде чем умру. Сказал, что обо мне будет говорить вся страна. Но он сказал... сказал...

Мистер Каст замолк.

— Продолжайте.

Пуаро гипнотизировал его. Мистер Каст взглянул на него, потом в сторону и снова на него, так кролик смотрит на удава.

— Он сказал... сказал, что я могу умереть насильственной смертью. Он тогда засмеялся и сказал, что очень похоже, что даже на эшафоте. Потом засмеялся и сказал, что это только шутка...

Мистер Каст вдруг замолк и больше не смотрел на Пуаро. Глаза нервно бегали с предмета на предмет.

— Голова... меня очень беспокоит голова... головные боли иногда просто невыносимые, потом я не помню... не помню... — Он окончательно замолк.

Пуаро подался вперед. Говорил тихо, убедительно.

— Но вы помните, что совершали убийства?

Мистер Каст посмотрел на него. Он казался совершенно спокойным. Он больше не сопротивлялся. Он действительно был совершенно спокоен.

— Да.

— И надеюсь, сможете объяснить, почему вы их совершали?

Мистер Каст покачал головой:

— Не знаю.

#### ГЛАВА 34. ПУАРО ОБЪЯСНЯЕТ

Мы с напряженным вниманием слушали Пуаро.

— Меня все время интересовала причина. Гастингс сказал мне, что дело конечно. Но дело — это человек! Сказать, что он человек психически неполноценный — это еще не ответить на вопрос. Считать, что сумасшедший совершает преступление только потому, что он сумасшедший, — неразумно. Психически ненормальный человек тоже логичен и последователен в своих действиях, как и здоровый, но только со своей точки зрения. Например, если человек настаивает, что ему нужно выйти на улицу и гулять там в набедренной повязке, его поведение покажется нам нелепым. Но если мы знаем, что он считает себя Махатмой Ганди, это будет объяснимо и даже логично.

— А в нашем случае необходимо понять человека, для которого логично совершить четыре преступления, предварительно сообщив об этом в письмах Эркюлю Пуаро?

— Мой друг Гастингс подтвердит, что с момента получения первого письма я был расстроен и подавлен. Я с самого начала почувствовал, что здесь что-то не так.

— И вы были правы, — сухо заметил Франклин Кларк.

— Да, но там, в самом начале, я сделал ошибку. Конечно, я сознавал, что в тот момент у меня не было возможности выяснить, кто был этот человек. Единственный путь — постараться понять его. У меня ведь были некоторые данные: письмо, способ убийства, и наконец — объект преступления. Мне нужно было понять мотив преступления и что толкнуло убийцу написать письмо.

— Жажда славы? — предположил Кларк.

— Да, конечно, было очевидно, что это мания. Но почему мне? Почему именно Эркюлю Пуаро? Проще было добиться славы, отправив письмо в Скотланд Ярд. А еще проще — в газету. Газета могла не напечатать первое письмо, но к моменту второго убийства преступник мог быть уверен, что это будет сенсация. Так почему же все-таки Эркюлю Пуаро? Может, здесь причина личного свойства? В письме едва ощутима неприязнь к иностранцам, но этого, конечно же, недостаточно, чтобы этим все объяснить. Потом пришло второе письмо — за ним убийство Бетти Барнард в Бексхилле. Теперь стало ясным, что убийства пойдут в алфавитном порядке. Но этот факт не решал моего главного вопроса.

Миган Барнард беспокойно заерзала в кресле.

— А разве не существует, скажем, жажды крови? — спросила она.

— Вы правы, мадемуазель, существует. Жажда убивать. Но это не согласовывалось с фактами нашего дела. Маньяк с манией убийства обычно стремится совершить убийств как можно больше. Это неискраемая жажда. И такой убийца, как правило, прячет следы преступления, никогда не афиширует их. А если мы приглядимся ко всем четырем жертвам, мы увидим, что, если бы убийца захотел, его никогда бы не заподозрили.

Так вот. Зачем ему было привлекать к себе внимание? Так ли уж необходимо было привлекать к себе внимание? Так ли уж необходимо было оставлять у тела жертвы железнодорожный справочник? Может, его комплекс именно в этом? Я не мог понять, чем руководствовался убийца. Уж не великодушием ли? Может, его страшила мысль, что преступления могут приписать не убийцам? И хотя на главный вопрос я не находил ответа, кое-что я узнавал.

— Ну-ну?... подал голос Фразер Кларк.

— Ну, прежде всего — педантичность преступника. Все преступления в алфавитном порядке. Для него, очевидно, это было важно. И другой закономерности в выборе жертв не было: миссис Ашер, Бетти Барнард, Кармайкл Кларк — все они такие разные. Пол и возраст не интересовали убийцу. У него отсутствовал какой-либо принцип, кроме выбора жертвы по алфавиту.

Я позволил себе остановиться на одной догадке: выбор убийцы обусловлен связью с железной дорогой, с поездками. Любовь к поездкам чаще бывает у мужчин и идет от детства: мальчишек больше занимает железная дорога, чем девочек. Это может каким-то образом свидетельствовать о неразвитости.

Кое в чем помогла мне смерть Бетти Барнард. Задушена она собственным поясом — значит, человеком, с которым она была в дружеских отношениях, а может — и более близких. Когда я немного больше узнал о ней, картина почти прояснилась.

Бетти Барнард равнодушно относилась к знакам внимания, если они исходили от интересных мужчин. Поэтому, чтобы увлечь ее, убийца должен был обладать привлекательностью. Я представляю себе сцену на пляже; он восхищается ею, шутливо набрасывает поясок ей на шею и, может быть, даже говорит: «Я тебя задушю». И все это милая игра, она смеется, а он затягивает пояс.

Дональд Фразер вскочил. Лицо у него было мертвенно бледным.

— Мистер Пуаро, бога ради...

Пуаро сделал успокаивающий жест.

— Все, я больше об этом не говорю. Поговорим о следующем убийстве — сэра Кармайкла Кларка. Убийца использует уже применявшийся им метод: удар по голове. Опять алфавитный порядок. Но менястораживает одна деталь. Ведь чтобы быть до конца последовательным, убийца придерживается определенности в выборе городов. Если Андовер в списке на «А» — 155-й, то в списке на «Б» тоже должен идти либо 155-й, либо 156-й, а тогда на «С» — 157-й. А у него города выбраны без всякой последовательности.

— Может, вы придаете излишнее значение педантичности убийцы, Пуаро, — предположил я. — Просто вы сами очень педантичны. Это у вас почти болезнь.

— Нет, не болезнь! Но могу допустить, что тут я немного пережал. *Rassons!*<sup>1</sup>

Преступление в Черстоне мне почти ничего не дало. Не повезло: письмо с предупреждением пришло не по тому адресу и нельзя было как следует подготовиться. Зато к моменту преступления в Данемауфе у нас уже была надежная защита. К тому же такая улика, как чулки. Появление поблизости от мест преступления человека, продающего чулки, — не простое совпадение. Но должен сказать, что описание этого человека, которое дала Тора Грей, и мое представление о человеке, задушившем Бетти Барнард, не совпадали.

О последующих событиях скажу коротко. Совершенно четвертое убийство — человека по имени Джордж Эрсфилд. Предполагается, что убийца ошибся, приняв его за некоего Даунза, человека примерно такого же телосложения, сидевшего неподалеку от него в зале. И, наконец, поворот событий. Удача отвернулась от убийцы. Он арестован.

— Дело, как сказал Гастингс, окончено!

— Действительно, на взгляд публики, это так. Преступник в тюрьме и, по всей вероятности, отправится в Бродмур. Убийств больше не будет. Конец. Но только не для меня! У Каста есть алиби на вечер убийства в Бексхилле.

— Это меня все время беспокоило, — сказал Франклин Кларк.

— Да, и меня тоже. Потому что это алиби скорее всего — правда. Но это не может быть правдой, если только... И вот тут возникают два очень интересных соображения.

Предположим, друзья, что Каст совершил три преступления: «А», «С» и «Д», но не совершал преступления «Б».

— Мистер Пуаро, но...

Пуаро взглядом заставил Миган Барнард замолчать.

— Молчите, мадемуазель. Я хочу правды! Я уже сыт ложью! Предположим,

<sup>1</sup> Продолжим! (франц.).

как я уже сказал, АБС не совершал второго преступления. Вы помните, что оно произошло рано утром 25-го, в день, когда АБС приехал, чтобы его совершить. Предположим, кто-то опередил его. Как он поступит в таких обстоятельствах? Совершит еще одно убийство или притаится и воспримет его как зловещий подарок судьбы?

— Мистер Пуаро, — воскликнула Миган, — но это невероятное предположение! Все преступления совершены одним человеком!

— У этой гипотезы одно достоинство: она объясняет несоответствие между личностью Александра Бонапарта Каста, который в жизни не завел ни одной интрижки с девушкой, и личностью убийцы Бетти Барнард. Ведь и прежде бывало, что потенциальные убийцы брали на себя преступления совершенные другими. Скажем — не все преступления, приписываемые Джеку Потрошителю, совершил он сам. Но пойдем дальше.

Тут возникает осложнение. К моменту убийства Барнард публика не знала, что виновник — АБС, факты не были обнародованы. Убийство в Андовере почти не привлекало внимания. А про железнодорожный справочник в прессе даже не упомянули. Отсюда следует, что тот, кто убил Бетти Барнард, должен располагать фактами, известными только очень ограниченному кругу людей. Мне, полиции, некоторым родственникам и соседям миссис Ашер. Таким образом, эта линия упирается в тупик.

Вид у окружающих был растерянный. Все озадачены и пребывали в замешательстве.

Дональд Фразер в раздумье произнес:

— В конце концов, полицейские тоже люди, и не без слабостей. Среди них попадаются тоже очень привлекательные...

Он замолк и взглянул на Пуаро. Тот легонько покачал головой.

— Все проще. Я же сказал, что есть у меня второе соображение.

Допустим, Каст не убивал Бетти Барнард. Допустим, ее убил кто-то другой. Не мог ли этот другой совершить и все остальные преступления?

— Но это бессмысленно! — воскликнул Кларк.

— Разве? И тогда я сделал то, что мне следовало сделать с самого начала. Я еще раз вернулся к письмам. С самого первого раза я почувствовал, что тут что-то не так.

Вначале я, не раздумывая, принял как само собой разумеющееся, что их написал сумасшедший. Теперь я снова взялся за них. И на этот раз пришел к выводу совершенно обратному. Их писал абсолютно здравомыслящий человек — это-то меня все время и настораживало! И вот теперь я уверен, что это была подделка! Это не были письма маньяка. Это были письма нормального человека.

— Но это абсурд! — выкрикнул Франклин Кларк.

— *Mats si!*<sup>1</sup> Давайте рассуждать. Какая цепь преследовалась письмами? Привлечь внимание к их автору, привлечь внимание к убийствам. *En vérité*<sup>2</sup>, на первый взгляд это не имеет смысла. Но потом блеснул свет. Письма концентрировали внимание на серии убийств. За лесом деревьев не видно.

Я пытался понять, куда клонит Пуаро. И, кажется, понял.

— Итак, я имел дело с чрезвычайно умным, неистощимым на выдумку убийцей. Убийцей жестоким, отчаянно смелым, и игроком по натуре. Это не мистер Каст! Он никогда не смог бы совершить этих убийств. Это был совсем другой человек. Человек с мальчишеским темпераментом — вспомните письма, написанные в манере школьника, вспомните железнодорожный справочник! Это был человек, к которому неравнодушны женщины. Человек, ни во что не ставящий чужую жизнь. Наконец — человек, для которого одно из этих убийств был действительно очень важным!

Какие вопросы задает полиция, когда совершено убийство? Мотивы: кому выгодна эта смерть. Затем возникает следующий вопрос: что может предпринять убийца? Попробует обезпечить себе алиби. Но это всегда не просто. Наш убийца прибег к совершенно фантастическому средству — он создал убийцу-маньяка!

Мне оставалось только внимательно еще раз рассмотреть все случаи и найти возможного виновника. Убийство в Андовере? Наиболее вероятный объект подозрения — Франц Ашер. Но я не мог представить себе, чтобы Ашер продумал и выполнил такой сложный план, не мог я себе представить, чтоб он был способен на умышенное убийство. Убийство в Бексхилле? Возможный вариант — Дональд Фразер. Умен, методичен. Но у него мог быть только один мотив — ревность, а ревность и умышенное убийство — вещи слишком далекие друг от друга. К тому же я выяснил, что отпуск у него был в августе, следовательно, он вряд ли мог иметь

<sup>1</sup> Напротив (франц.).

<sup>2</sup> И в самом деле (франц.).

отношение к убийству в Черстоне. Теперь мы и подошли к этому самому убийству в Черстоне.

Пуаро медленно перевел взгляд на Франклина Кларка.

— Здесь все совпало. Человек-убийца, о котором я постоянно думал, и человек, которого я знал лично, оказались одним и тем же лицом. Это Франклин Кларк! Отчаянный характер авантюриста, страстная приверженность ко всему английскому. Обаяние, естественность и непринужденность — он с легкостью мог увлечь девушку. И при этом — четкая логика. Вспомните, он здесь, при нас, составлял список, кому что следует предпринять по расследованию дела «АБС». И наконец — его мальчишеский темперамент. Об этом говорила леди Кларк, об этом говорит его выбор чтения: он как-то вскользь заметил, что любит перечитывать «Детей железной дороги» Е. Несбита. Я больше не сомневался: человеком, который писал письма и совершил эти убийства, был Франклин Кларк.

Кларк неожиданно расхохотался.

— Чрезвычайно умно! А как насчет нашего друга Каста, которого поймали с поличным? Как насчет крови у него на рукаве? Нож, который нашли в квартире? Он отрицает свои преступления...

Пуаро перебил его:

— Вы ошиблись. Он признает...

— Что? — Кларк выглядел совершенно растерянным.

— Да, — мягко сказал Пуаро. — Как только я начал разговор, я понял, что он верит в то, что виновен.

— И даже это вас не удовлетворило, мистер Пуаро? — спросил Кларк.

— Нет! Потому что, как только я увидел его, я понял, что он невиновен! Он недалекий, нерешительный, легко поддающийся влиянию человек. Я думаю, идея родилась у вас после случайной встречи в маленьком городском кафе со странным человеком, носящим не менее странное громкое имя. В тот момент вы прикидывали в уме разные варианты убийства брата. Вас беспокоило будущее. Не знаю, поняли ли вы, что сыграли мне на руку, когда показали письмо, адресованное вам братом. Там слишком ясно сквозила его привязанность и увлечение мисс Торой Грей. Его чувства, правда, были покровительственными, — такими, во всяком случае, он хотел их видеть. Но все равно появилась реальная опасность, что, со смертью жены, почувствовав себя одиноким, он обратится за поддержкой к этой красивой девушке, и все может кончиться, как это часто случается с пожилыми людьми, женитьбой. Ваши страхи усиливало то, что вы знали мисс Грей. О, вы, я думаю, прекрасно разбираетесь в людях. Вы решили — не знаю, верно или неверно, — что мисс Грей из тех молодых женщин, которые упорно пробивают себе дорогу, и она не упустит шанс стать леди Кларк. Брат ваш человек очень богатый, здоровый и энергичный. У него могли появиться дети, а с ними — сами понимаете... Я полагаю, в душе вы не считали свою жизнь удачной. Вы жили как пережати-поле. А катящийся камень, как известно, мхом не обрастает. Вас грызла зависть к богатству брата.

Итак, я повторяю, вы тогда перебирали в уме разные варианты, а встреча с мистером Кастом подсказала вам идею. Громкие имена, приступы эпилепсии и мигрени, о которых он рассказал вам, его жалкая заурядная внешность — вас осенило, что это то самое, что вам так необходимо.

Вы прекрасно все организовали. Заказали на имя Каста большую партию чулок. Послали ему посылку со справочниками АБС, в такой же упаковке, что и чулки. Послали ему от имени фирмы письмо, отпечатанное на машинке, с предложением хорошей зарплаты и комиссионных. Вы так хорошо продумали все, что отпечатали все письма, которые затем постепенно отсылали, а потом подарили ему машинку, на которой они были напечатаны.

Теперь, поскольку фамилия вашего брата на «С», вам оставалось подобрать две жертвы, чьи имена, соответственно, начинались бы на «А» и «Б» и жили бы они в городе или местечке с названием, начинавшимся на ту же букву.

Андовер показался вам подходящим, а предварительная рекогносцировка навела вас на магазинчик миссис Ашер — как вероятное место будущего преступления. Ее имя было крупно написано над входом, и вы обнаружили, что в магазинчике она обычно одна.

Чтобы убить ее, требовались хладнокровие, дерзость, ну и немного удачи!

С буквой «Б» тактику пришлось переменить. Одинокие женщины в магазинчиках могли теперь быть предупреждены. Я полагаю, вы зачастили в кафе и чайные, разговаривали и перемигивались там с девушками, потихоньку выясняя, чье имя начинается с нужной вам буквы.

В Бетти Барнард вы нашли как раз то, что нужно. Вы пару раз встретились с ней в разных местах, объяснив, что женаты и потому встречаться вынуждены подалеке от людских глаз. Потом, когда план был готов, вы принялись за дело.

Послали Касту список тех, кого он должен посетить в Андовере; с расчетом, чтобы он оказался в нужный вам день. Послали и первое анонимное письмо мне.

И в назначенный день вы отправились в Андовер и убили миссис Ашер. И ничто вашим планам не помешало. Задача номер один была выполнена.

Что касается второго убийства, тут вы обезопасили себя тем, что совершили его на день раньше. Я абсолютно уверен, что Бетти была убита задолго до полуночи 24 июля.

Теперь мы подходим к убийству номер три — главному, с вашей точки зрения, убийству.

И здесь я должен поблагодарить Гастингса, который подсказал мне такую ясную и очевидную мысль, не пришедшую почему-то никому в голову. Он предположил, что третье письмо было послано не по тому адресу с умыслом! И он прав. Этот простой факт и дал мне ответ на вопрос, который я так долго не мог решить. Почему письма адресованы Эркюлю Пуаро — частному детективу, а не полиции? Вы очень умно написали адрес Вайтхевен — Вайтхос. Такая естественная, на первый взгляд, описка. Но Гастингс оказался достаточно проницательным, он сразу понял, зачем это сделано!

Конечно же, письмо не должно сразу дойти до адресата! Полиция начнет поиск тогда, когда убийство уже совершится. Поздние прогулки брата — прекрасная возможность для этого. А страх перед АБС настолько захватил всех, что никому и в голову не пришло, что убийцей можете быть вы. Брат убит — цель достигнута. Больше убивать вы не хотели. Но, с другой стороны, если убийства прекратятся, это может вызвать подозрение...

Ваша подставная лошадка так хорошо играла роль, что никто не обратил внимания на человека, который побывал на месте каждого из трех преступлений!

Вы человек дерзкий и решили, что нужно еще четвертое убийство, но на этот раз неплохо бы указать полиции, в каком направлении вести расследование, и вы это сделали.

А местом для следующего преступления вы выбрали Донкастер. План был прост. Ваше присутствие в городе — естественно. Вы все время в курсе событий. Фирма направит мистера Каста в Донкастер, и вы все время будете следовать за ним, выжидая подходящего момента. И все вышло просто прекрасно. Мистер Каст отправился в кино. Вы сели неподалеку. Когда он поднялся, чтобы выйти, вы сделали то же самое. Притворившись, что споткнулись, наклонились вперед, ударили ножом задремавшего в кресле перед вами человека, оставив у него на коленях справочник АБС, и, проходя мимо Каста, постарались натолкнуться на него, чтобы вытереть нож о его рукав, а потом сунуть нож ему в карман.

Вы и не собирались искать жертву, чье имя начиналось бы на «Д». Теперь подойдет любая! Вы совершенно правильно рассчитали, что это сочтут ошибкой. Наверняка среди зрителей поблизости найдется человек, чье имя начиналось бы на «Д».

Теперь, друзья, посмотрим на это дело с точки зрения мистера Каста.

Преступление в Андовере никак его не затронуло. Удивило и поразило убийство в Бексхилле: ведь он был там в это время! А потом преступление в Черстоне и заголовки во всех газетах. Преступление АБС в Андовере, когда он был там, преступление АБС в Бексхилле, в Черстоне... У людей, страдающих эпилепсией, часто бывают провалы в памяти. Учтите еще, что Каст невротик и легко поддается внушению.

И вдруг он получает приказ ехать в Донкастер.

Донкастер! Он знает, что там должно произойти следующее убийство. Рок судьбы, думает он. Он совершенно потерял голову. Ему казалось, что хозяйка смотрит на него с подозрением, и он сказал ей, что едет в Челтенхем.

Едет в Донкастер. Днем отправляется в кино. Может, даже задремал там ненадолго.

Представьте, что он чувствует, вернувшись в гостиницу, когда обнаруживает кровь на рукаве пиджака и окровавленный нож у себя в кармане. Все его смутные подозрения оказываются реальностью... Он, он и есть убийца! Он совершенно уверен: он, Александр Бонапар Каст, маньяк-убийца. Поняв это, он ведет себя как загнанное животное. Он возвращается на свою квартиру в Лондон. Здесь он в безопасности, здесь его не подозревают. Они думают, что он был в Челтенхеме. У него нож, он прячет его за вешалкой. И вот однажды его предупреждают, что за ним едет полиция. Это конец! Они узнали! И загнанное животное предпринимает отчаянную попытку бегства.

Он поехал именно в Андовер — патологическое желание посмотреть место, где было совершено преступление, преступление, которое совершил, хотя ничего об этом не помнил. У него кончились деньги, он измучен... Ноги привели в полицейский участок.

Но и загнанный зверь так просто не отдаст свою жизнь. Мистер Каст искренне

поверил, что убивал, только настаивает, что не помнит этого. И он с отчаянием держится за алиби, доказывающее его непричастность ко второму убийству. Хотя бы в этом он невиновен!

Я уже говорил: когда увидел его, я понял, что он не убийца, а мое имя ему ни о чем не говорит. Но я понял и то, что он считает себя убийцей.

— Когда он сказал это, то окончательно укрепил мою уверенность в своей правоте.

— Это, — сказал Кларк, — полнейший абсурд.

— Нет, мистер Кларк. Вы были в сравнительной безопасности, пока вас не подозревали. Но как только вас заподозрили, появились и доказательства.

— Доказательства?

— Да, я нашел трость, которой вы воспользовались для убийства в Андовере. Обыкновенная трость с тяжелым набалдашником. Вас опознали, выбрали вашу из дюжины фотографий. Два человека, видевшие, как вы выходили из кинотеатра как раз тогда, когда вам следовало находиться на Донкастерском ипподроме. В Бексхилле вас опознала Милли Хиггли, вспомнила вас и девушка из придорожного рестораника, где вы были с Бетти Барнард в тот роковой вечер. И, наконец, самое ужасное для вас — вы забыли принять самые элементарные меры предосторожности. На пишущей машинке Каста остались отпечатки ваших пальцев.

Кларк с минуту сидел неподвижно, потом сказал:

— Я проиграл, мистер Пуаро. Но все равно игра стоила свеч!

Мгновенным движением он выхватил из кармана автоматический пистолет и приставил к виску.

Я не удержался и вскрикнул, ожидая выстрела.

Но выстрела не последовало, только глухо щелкнул курок. Кларк уставился на него в недоумении, у него вырвалось проклятие.

— Вы заметили, мистер Кларк, что у меня сегодня новый слуга — мой старый знакомый. Он прекрасный карманный вор. Он позаимствовал на время ваш пистолет, разрядил его и вернул на место, а вы ничего не заметили.



— Проклятый бельгиец! — побагровев от ярости, выкрикнул Кларк.

— Да, именно так вы к нам и относитесь. Нет, мистер Кларк, у вас не будет легкой смерти. Вы сказали мистеру Касту, что два раза чуть было не утонули. Вы понимаете, что это значит? Просто судьба берегла вас для иного конца.

— Вы...

Он так и не смог ничего выговорить. Лицо мертвенно побелело, кулаки угрожающе сжались.

Из соседней комнаты вышли два детектива Скотланд Ярда. Одним из них был Кром. Он подошел и произнес неизменную свою формулу:

— Предупреждаю, все, что вы скажете, может свидетельствовать против вас.  
— Он уже достаточно сказал...— Пуаро повернулся к Кларку: — Хоть вы и преисполнены чувства собственного превосходства, я все же скажу вам, что ваше преступление недостойно англичанина. Оно неспортивно!

## ГЛАВА 35. ФИНАЛ

К стыду своему, признаюсь: когда дверь за Кларком закрылась, я начал истерически хохотать.

Пуаро посмотрел на меня с удивлением.

— Вы сказали, что преступление — неспортивно!!!

— Это верно. Оно отвратительно. И не столько оттого, что он убил брата, сколько из-за жестокости, с которой обрек несчастного человека на смерть заживо. «Поймать лису, и в клетку посадить, и никогда не выпускать оттуда». Я считаю, это неспортивно!

Миган Барнард тяжело вздохнула.

— Я не могу верить. Не могу. Неужели все это правда?

— Да, мадемуазель. Но кошмар кончился.

Она взглянула на него и залилась краской.

Пуаро повернулся к Фразеру Дональду.

— Все это время мадемуазель Миган терзал страх, что именно вы совершили второе убийство.



Дональд Фразер спокойно проговорил:

— Было время — мне и самому так казалось.

— Из-за вашего сна? — Пуаро придвинулся к молодому человеку и, понизив голос, доверительно сказал: — Ваш сон легко объяснить. Вы поняли, что образ сестры тускнеет в вашей памяти и вместо него появился другой. Мадемуазель Миган заняла в вашем сердце место сестры, но вам невыносима была мысль, что вы изменили, вам хотелось заглушить, убить эту мысль!

Глаза Фразера обратились к Миган.

— Не бойтесь забыть этот сон, — мягко сказал Пуаро. — В мадемуазель Миган вы нашли то, что не так часто встречается — чудесное доброе сердце.

Взгляд Фразера оживился.

— Думаю, что вы правы.

Мы все столпились вокруг Пуаро.

— А те вопросы, которые вы всем нам тогда задавали? Они зачем-то были нужны, Пуаро?



— Некоторые из них были *simplement une blague*<sup>1</sup>. Но я выяснил одну вещь, а именно: Франклин Кларк находился в Лондоне в момент, когда было опущено первое письмо, и еще — я хотел увидеть его лицо, когда буду задавать вопросы мадемуазель Торе. В этот момент он забыл об осторожности, и я заметил в его глазах гнев и злобу.

— Вы не очень-то щадили мои чувства,— заметила Тора Грей.

— Не думаю, что вы ответили мне правду, мадемуазель,— сухо сказал Пуаро.— А теперь ваши надежды снова не оправдались. Франклин Кларк не унаследует денег брата.

Она высоко подняла голову и проговорила:

— Есть ли еще необходимость, чтобы я оставалась здесь и выслушивала ваши оскорбления?

— Никакой,— ответил Пуаро, вежливо придерживая дверь, чтобы она могла выйти.

— Эти отпечатки пальцев, Пуаро,— проговорил я в раздумье.— Он был просто сражен, когда вы о них упомянули.

— О да, очень полезная вещь — отпечатки пальцев. Я сказал о них, чтобы доставить удовольствие вам, мой друг.

— Как, Пуаро? — воскликнул он. — Так их не было?

— Нив малейшей степени, *mon ami*<sup>2</sup>,— подтвердил Пуаро.

Теперь я должен рассказать о визите, который нам нанес мистер Александр Бонапарт Каст несколько дней спустя. После того, как он изо всех сил и долго жал Пуаро руку, невнятно пытаясь выразить свою благодарность, мистер Каст вдруг выпрямился во весь рост и торжественно произнес:

— Вы знаете, газета предложила мне сотню фунтов — представляете — сотню! — за мое краткое жизнеописание. Я... я даже не знаю, как мне поступить.

— Я бы не взял сотню,— сказал Пуаро.— Будьте тверды, скажите, что ваша цена — пятьсот фунтов.

— Неужели вы действительно думаете, что я могу...

— Вы должны понять,— произнес Пуаро, улыбаясь,— что вы очень знаменитый сейчас в Англии человек.

Мистер Каст расправил плечи. На лице играла радостная улыбка.

— Знаете, наверное, вы правы. Я последую вашему совету, мистер Пуаро. Деньги мне пригодятся, очень пригодятся. Я устрою себе небольшой отпуск... И еще я сделаю хороший подарок к свадьбе Лили Малбюри. Она хорошая девушка. Хорошая и милая девушка, мистер Пуаро.

Пуаро похлопал его по плечу.

— Вы совершенно правы. Порадуйтесь немного жизни. И один маленький совет — навестите окулиста. Эти ваши головные боли — может быть, вам просто нужны новые очки?

Мистер Каст с чувством пожал ему руку.

— Вы великий человек, мистер Пуаро.

Пуаро и не подумал счесть это за дежурный комплимент. И даже не пытался принять вид скромного человека.

Когда мистер Каст, полный чувства собственного достоинства, наконец удалился, мой старый друг, улыбаясь, повернулся ко мне:

— Итак, с очередной удачей, Гастингс! *Vive le sport*<sup>3</sup>!

<sup>1</sup> Просто шуткой (франц.).

<sup>2</sup> Мой друг (франц.).

<sup>3</sup> Да здравствует спорт! (франц.).



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

## И красок буйство, и мыслей простота...

Должно быть, так у каждого из нас — сколько бы ни ездил, ни видел, а есть те места, тот край, где однажды был ты обласкан красотой и так и несешь ее в себе. Когда-то в селении под Хивой мне было дано прикоснуться к искусству резчиков, орнаменталистов, украсивших колхозный Дворец культуры. То было удивительное искусство — певучая вязь «ислими» и звездчатая стрельчатость «гиреха», и казалось, взор мой купался в красках здешней земли, которые нанесла на орнаменты кисть живописцев, и я повторил про себя строки Навои: «как аромат и цвет похищен был тобой у старых роз...» С тех пор мне дорог Узбекистан. Люблю прирожденное благородство и душевную тонкость его людей, его древние и юные краски. И вот на нашей вкладке Узбекистан на этот раз — в образах.

Что было пятнадцать, даже десять лет назад? Тогда только-только выходили на самостоятельную творческую дорогу те художники, которые сегодня заявили о себе во весь голос, и он услышан, и вписался в хор нашего многонационального искусства. Правда, и тогда были твердо ощутимы то единственное устремление поисков, та культура реалистического мастерства, что объединяет художников: русского, узбека, таджика, казаха... Было создано немало интересных вещей, но хотелось отчетливой увидеть лицо именно узбекского искусства. Узбекского в содержании, в тематике, в сюжетах и в самой образной плоти, в темпераменте, в ритмике красок. Тем и примечательны казались еще в то время Г. Чернухин, Н. Бабаев, Р. Вико, А. Барнаев, что национальное содержание сплеталось у них с национальной мелодикой. Чувствовалось — здесь начало.

И чувствовалось еще, что поиски более энергичного, более отвечающего времени художественного языка у живописцев беспокойных и ищущих были, что называется, на кончике кисти. Помню тот давний разговор в мастерской В. Бурмакина; казалось, все ранее написанные холсты художник как бы обратил к стене и спрашивал у себя — где подступы к тем ритмам, тем краскам, которые вернее, точнее выразили бы душевный строй народа?

И вот теперь — новые полотна художника. Приподнятый поэтический лад сменил былую «очерковость». Это плод раздумий художника, искавшего некогда новые пути. Его сельские красавицы — вот уж, действительно, «аромат и цвет похищен был тобой у старых роз: цвет взяла для уст румяных, аромат для черных кос» — сколь характерны эти холсты в своей эмоциональной узбекской окрашенности и сколь приятно, что художником, русским по рождению, сказано такое красивое слово об Узбекистане! Всего десять лет — много это или мало в искусстве?

Сложный процесс становления оказался спрессован во времени. Взять хотя бы Г. Чернухина. У кого-то возникнет желание не согласиться с подчеркнутым рационализмом в построении его работ, но каков бы ни был спор, произведения такого уровня свидетельствуют о причастности автора к новаторским процессам, которые происходят во всем нашем многонациональном искусстве. Искусство Узбекистана предстало и в своей складывающейся профессиональной зрелости, и в той активности творческих сил, которая ярче всего говорит об увлеченности художников трудами и днями своего края. Живой взгляд художника выше стилизации, и в этом смысле искусство республики находит себя в новизне современного Узбекистана.

Я еще не был знаком с А. Барнаевым, с его холстами, но уже видел на крупных стройках современность — напряженную и мускулистую. Экскаваторы грызли красные скалы, самосвалы везли красные камни, строители были в касках, запорошенных красной, неземной, марсианской пылью, и казались похожими на космонавтов, а кругом

нависала огромность взбудораженных гор. Когда я увидел этот невероятный в живописи мастера, раздробленный и перевороченный колесами красный камень, напряженность земли, машин, металла — мне показалось: сказано то самое верное слово, которое бывает единственным.

А Р. Вико по-сыновнему приходит к родным голубым и зеленым долинам, к тем образам женщин из народа, в которых видятся и матери, и сестры. Картины, что он написал, несут в себе ощущение семьи, дома, родного очага — того дома, тех близких, с которых начинаются и народ, и Родина и которые у каждого народа — свои. И это тоже — утверждение народного бытия, как высокой ценности, принадлежащей нравственному достоянию современного Узбекистана.

Ощущением радости, праздничности проникнуто полотно Г. Хашимовой. Присущая художнику нотка юмора отнюдь не «приземляет» героинь, напротив, художник любит легкость, грациозность движений женщин, их красотой. Чувством собственного достоинства, внутренним спокойствием проникнуты сдержанные, величавые, свободные движения героинь этого полотна.

В неведомом дотолем эмоциональном ключе воспринимает Узбекистан Н. Кашина в своих вибрирующих светом и воздухом полотнах.

Конечно же, не из одних похвал должна складываться оценка творчества узбекских художников. Сказано уже однажды Алишером Навои: «На тех лужайках, где не первый ты, как соберешь ты первые цветы?» И, видимо, очень много значат для ищущего художника следующие строки этого же четверостишия: «Ведь не одна лужайка в цветнике, и ты не попрошайка в цветнике...».

**Р. САИДОВ.**

## О НАШИХ АВТОРАХ

**БАЙКАБУЛОВ** Барот Тилляевич родился в 1937 году в селе Кенега Ургутского района Самаркандской области.

Стихи Б. Байкабулова печатаются с 1954 года. Он ввел в узбекскую поэзию форму сонета, написал венки сонетов и поэмы в сонетах. Особое место в его творчестве занимает тема Навои.

Работает Б. Байкабулов и в области перевода. Перевел на узбекский язык сонеты Петрарки, Шекспира, Мицкевича, стихи Бехера, Неруды, Гамзатова, поэму М. Турсун-заде и других.

**НОВИКОВ** Юрий Федорович, член-корреспондент ВАСХНИЛ, доктор технических наук, профессор. Окончил машиностроительный институт. В настоящее время — директор Центрально-исследовательской лаборатории комплексной переработки растительного сырья и отходов агропромышленного производства (ЦНИЛКП). Известен как автор научно-популярных книг по истории земледелия, археологии, этнографии.

Издательством «Молодая гвардия» в серии «Эврика» выпущены его книги «Осторожно — terra!», «Беседы о животноводстве», «Беседы о сельском хозяйстве».

**ЛУНИН** Борис Владимирович, доктор исторических наук, профессор. Родился в 1906 году в Женева, где в это время его родители гостили у деда-политэмигранта. В 1924 году окончил экстерном Донской археологический институт в Рос-

тове-на-Дону. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении», «Научные общества Туркестана», «В. И. Ленин и народы Средней Азии», «Жизнь и деятельность академика В. В. Бартольда» и других. Неоднократно публиковался в журнале «Звезда Востока».

**БОКСЕР** Борис (Б. Ресков) в 1941 году был вместе с родителями эвакуирован из осажденного фашистами Киева в Ташкент. Как и многие его сверстники, со школьной скамьи встал в армейский строй. Окончил артучилище, командовал пушечным взводом в боях под Варшавой и на Берлинском направлении. Ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

После войны окончил Ташкентский университет, работал в республиканских органах печати, в издательствах. Более четверти века занимается литературным творчеством. Начиная с 1961 года выходят в свет его книги: «Самаркандские прелюды», «Ключи к воротам», «Особая должность», «Время игры», «Главная заповедь» и др. Наиболее значительное произведение — роман «Святая стража», опубликованный в 1987 году.

Занимался переводами на русский язык романов и повестей узбекских и каракалпакских писателей. Среди них: Дж. Абдуллаханов, М. Кариев, А. Бекимбетов и другие.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.  
Корректор З. Г. Байбазарова.

---

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Телефоны: главного редактора — 32-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43; отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

---

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 2.04.90 г. Подписано к печати 23.05.90 г. Р—00016. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип. № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 216528. Заказ № 2983. Цена 1 рубль.

---

Ордена Трудового Красного Знамени  
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.  
Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.